Цена 90 коп.

Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 6 / 1988

Алексей АДЖУБЕЙ. Те десять лет. Воспоминания

Александр ВЕЛИКИН. Санитар. Повесть

Стихи
Константина ВАНШЕНКИНА,
Александра ГАЛИЧА, Владимира ШУВАЕВА

Статьи
А. МАРЧЕНКО, В. СЕЛЮНИНА, О. ЛАЦИСА,
Г. ПОПОВА, Н. ШМЕЛЕВА,
академика Ю. ЗОЛОТОВА

Знамя, 1988, № 5, 1—240.

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1988

Май



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга пятая
МАЙ
1988

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Дмитрий Гусаров

ПРОПАВШИЙ ОТРЯД

(ИСТОРИЯ НЕОКОНЧЕННОГО ПОИСКА)

Одна была страшна судьбина:
В сраженье без вести пропасть.
А. Твардовский.

I. ЗАГАДКА ВОЕННОЙ ПОРЫ

1

Летом 1942 года, во время двухмесячного рейда партизанской бригады по тылам врага, таинственно пропал отряд «Мстители».

Вот как объясняет случившееся комиссар бригады Н. П. Аристов в своем рапорте Штабу партизанского движения на Карельском фронте 9 сентября 1942 года:

«Отряду «Мстители» под командованием Попова была поставлена задача отобрать наиболее сильных людей и в сопровождении одного из разведчиков разыскать концентраты, сброшенные с самолета и спрятанные накануне. 7 августа в 14 часов Попов с группой 50 человек вышел на розыски продуктов питания. Мы ожидали его до утра 8 августа, но он почему-то не вернулся. Никакой стрельбы в том направлении, куда пошел Попов, не было. Решили двигаться на переправу, а один взвод из отряда «Мстители» под командованием Бузулуцкова с отделением, приданным из отряда «Боевые друзья», оставили на высоте 195,1, чтоб он дождался возвращения Попова и вместе с ним догнал бригаду за рекой Сидра...

8 августа утром переправились через реку Сидра, снова получили с самолетов продовольствие и остановились на привал, рассчитывая дождаться здесь отряда Попова...

...Охрана переправы была поручена отрядам «Боевые друзья» и «За Родину». Около 12 часов в районе, откуда мы пришли, начался бой. Кто его вел — взвод Бузулуцкова, оставшийся на высоте 195,1, или подошедший Попов с отрядом — определить мы не могли. Слышно было, как в ход пошли гранаты. Командование бригады приняло решение бросить на высоту 195,1 взвод отряда «За Родину» с задачей ударить силами этого взвода по правому флангу противника, установить связь с Поповым и не пустить противника к переправе. Взвод под командованием Мурахина выступил от реки Сидра через 15 минут, начал обход болота с запада. Пройдя около одного километра, взвод столкнулся с противником численностью до роты. Белофинны шли прямо по болоту. Мурахин воспользовался этим, занял удобный рубеж на опушке леса и, подпустив белофиннов на близкое расстояние, открыл по ним шквальный ружейно-пулеметный огонь. Белофинны, не ожидавшие такого удара, скрылись в лес, оставив на болоте до 30 трупов своих солдат и офицеров, и начали обходить взвод Мурахина с правого фланга, стараясь прижать к реке. Одновременно с этим по взводу Мурахина был открыт ураганный минометный огонь, под прикрытием которого противник предпринял атаку против взвода. Комиссар отряда «За Родину» Плеве бросает в помощь взводу Мурахина второй взвод под командованием тов. Самсонова.

Мурахин и Самсонов снова подпускают противника на близкое расстояние и почти в упор открывают по нему огонь. Белофинны и на этот раз вынуждены были отойти, неся большие потери...

Партизаны отошли только после того, как получили приказ командования бригады. В этом бою противник только убитыми потерял свыше

70 человек. Наши потери — 8 человек убитыми, 3 раненых и 4 пропавших без вести.

В силу того, что противник подтягивал к реке Сидра новые силы, а связи с Поповым установить не удалось, поздно вечером 8 августа бригада начала движение на север. На прикрытие отхода были оставлены отряды «Боевые друзья» и «За Родину»...

...Для установления связи с Поповым и сообщения ему дальнейшего маршрута движения бригады было выделено 6 разведчиков под руководством тов. Полевика. Перед ними была поставлена задача: глубоким обходом слева достичь высоты 195,1, выяснить там обстановку и во что бы то ни стало связаться с Поповым. Полевик выступил на выполнение задачи одновременно с выходом бригады от реки Сидра...

...В 13 часов 12 августа достигли высоты безымянной (координаты 60—98) и направили разведку к реке Волома. Днем к нам прибыла группа разведчиков под руководством тов. Яковлева, выходившая к озеру Гардюс, чтобы встретить отделение Полевика и отряд «Мстители», которые должны были выйти сюда по нашему маршруту. Яковлев никого не встретил, судьба отряда Попова начинает серьезно беспокоить всю бригаду».

(ПАКО, фонд 213, опись 1 ед. хр. 263 стр. 10—11—12).

С огромными потерями бригада через две недели пробилась к своим. Из 597 партизан, перешедших 13 июля 1942 г. линию фронта, назад вернулись немногим более 120 человек.

Были дни и бои, когда бригада теряла людей не меньше, чем осталось их с отрядом Попова. У высоты 264,9 в ночь с 30-го на 31-е июля погибло более ста человек, при прорыве через дорогу Паданы — Кузнаволок — около шестидесяти, при переправе через Елмозеро — столько же.

Но те потери — тоже горькие и невосполнимые — приходились более или менее равномерно на каждый из отрядов, в сознании рядовых партизан они не соединялись в общую для всей бригады цифру и воспринимались как неизбежные.

Иное дело — потеря целого отряда.

В дни, когда комиссар Аристов писал свой подробный рапорт о рейде бригады, еще жила с каждым часом убывающая надежда, что или сам отряд, или хоть какая-нибудь группа из него пробьются через линию фронта и принесут известия — что же произошло там, северо-западнее Сидрозера.

10 октября 1942 года Штаб партизанского движения Карельского фронта принимает решение считать отряд «Мстители» без вести пропавшим. Родственникам бойцов и командиров отряда было разослано извещение: «ваш муж (сын, отец, брат), участвуя в боях против немецко-финских захватчиков, пропал без вести в августе 1942 года».

Для военного времени в этом не было ничего странного. Отряд действительно пропал без вести, и никто не знал: погиб ли он в бою или был оттеснен противником в глухие леса Пенинги, и партизаны один за другим поумирали от полного истощения.

Странно другое. Когда через два года территория Карелии была освобождена от оккупантов, не было сделано даже малейшей попытки раскрыть эту тайну.

Составлялись отчеты и описания, приводились в порядок документы, выяснялись дела и судьбы не только групп, но и отдельных людей, участвовавших в партизанской и подпольной борьбе, а судьба большого отряда по какой-то нелепой случайности так и осталась без внимания, он продолжал числиться в без вести пропавших.

Появлялись статьи, диссертации и книги по истории партизанского движения в Карелии, а о печальной судьбе отряда «Мстители», сформированного осенью 1941 года из партийно-советского актива Шелтозерского и Пудожского районов, в них даже не упоминалось.

Невольно закрадывалось подозрение: а не проявил ли отряд, попавший в окружение, трусость и не сдался ли на милость врага?

Нет, сами ветераны — участники рейда бригады — так не считали. Никто из них не сомневался, что отряд Попова погиб. Расходились лишь в предположениях, как и при каких обстоятельствах это произошло.

Во время первого слета партизан Карелии в 1967 году я опросил полтора десятка участников рейда. Почти каждый помнил, как уходил отряд Попова с высоты 195,1, с каким нетерпением ждали тогда его возвращения, и не могли взять в толк, куда он подевался — ушел за какие-то четыре-пять километров и словно в воду канул...

Бывший помощник начальника штаба бригады Николай Георгиевич Пименов, командовавший в том походе отрядом «Буревестник», сказал:

— Думаю, отряд Попова нашел сброшенные с самолетов продукты. Ослабевшие люди поели, решили отдохнуть, набраться сил, чтобы догнать бригаду... Постовые проворонили, и финны беспощадно взяли их в ножи.

Бывший командир отряда «Боевые друзья» Федор Иванович Греков считал:

— Попов нарвался на засаду, которую финны устроили у сброшенных продуктов... Финны это практиковали. Так уже было с моим отрядом за шесть дней до этого, но тогда, слава богу, все хорошо кончилось, продукты мы отбили и потеряли лишь одного человека.

Все это лишь предположения. Нужен был хотя бы единственный свидетель.

Еще живы были начальник Карельского штаба партизанского движения генерал-майор Сергей Яковлевич Вершинин и член Военного Совета фронта, секретарь ЦК КП КФССР генерал-майор Геннадий Николаевич Куприянов.

С. Я. Вершинин жил в Москве. Я знал, что он болеет, но все же не раз порывался звонить ему. В ту пору я приступал к работе над романом-хроникой «За чертой милосердия», у меня было много вопросов, связанных с поросозерским бригадным рейдом, два раза я заказывал междугородный разговор, час ожидания мучился от сознания, что тревожу больного человека по пустякам, и оба раза, помнится, чувствовал какое-то облегчение, что разговор не состоялся — первый раз телефон не ответил, второй — Сергей Яковлевич уже не смог подойти к аппарату.

Вскоре его не стало. Потом я клял свою нерешительность, хотя и понимал, что генерал Вершинин не мог знать об отряде Попова больше того, что засвидетельствовано в рапорте Аристова.

С Г. Н. Куприяновым было проще. Он жил в Пушкине под Ленинградом, был бодр, жизнерадостен, дружелюбен, часто навещал Петрозаводск, любил, когда его внимательно слушают, по любому вопросу имел твердое, неуступчивое суждение, обижался на несогласие, но был отходчив.

Долгие часы проводили мы в разговорах о партизанских делах и военных годах. А однажды такая беседа продолжалась почти беспрерывно двое суток. Он приехал навестить меня в писательском Доме творчества в Комарове, остался на одну ночь, потом на вторую.

Тогда-то я и спросил его: отчего так получилось, что до сих пор не прояснена судьба отряда «Мстители» и он числится без вести пропавшим, хотя отряд, конечно же, погиб? Неужели в 1944 году, когда был освобожден Сегозерский район, нельзя было обследовать место его гибели?

Вопрос, как видно, остро задел Куприянова.

— Кто вам сказал, что отряд Попова погиб? — спросил он тем тоном, каким, наверное, разговаривал с бестолковыми подчиненными в годы войны. — Отряд Попова не погиб. Он вышел в расположение 27-й дивизии и передан в ее состав. Да-да, не удивляйтесь. Я хорошо помню, как приказал Вершинину отправить офицера штаба в 27-ю дивизию с этим поручением...

Я ошарашенно смотрел на солидного, даже величественного генерала, бывшего члена Военного Совета фронта и первого секретаря ЦК компартии республики. Я не знал, как реагировать — возмутиться или рассмеяться, приняв все это за шутку.

Я не сделал ни того, ни другого. Во мне еще жил, наверное, тот восемнадцатилетний мальчишка, который в сентябре 1942 года с благоговением и восторгом слушал в сегежском кинотеатре речь генерала Куприянова на вручении наград участникам поросозерского партизанского рейда.

Сдержанно и примирительно я начал ссылаться на документы партархива, на официальный итоговый отчет Штаба партизанского движения, составленный осенью 1944 года, где отряд «Мстители» продолжал чис-

литься без вести пропавшим, на отсутствие каких-либо письменных свидетельств, что отряд вышел в свой тыл и передан в 27-ю дивизию.

Куприянов был непреклонен:

— Тогда мы не придавали документам такого значения, как сейчас. Это был сорок второй год! О передаче знали несколько человек... Вершинин в сорок четвертом мог забыть этот факт!

Помнится, в Комарове я пустил в ход самый неотразимый, как мне казалось, довод. Отряд «Мстители» в подавляющем большинстве состоял из пудожан или шелтозерцев. Если девяносто человек были переданы в армию, то хоть кто-то из них должен был вернуться домой, не могли же они все до единого погибнуть...

— А вы проверяли? Нет? Вот и проверьте! — И, подумав, Куприянов добавил: — Впереди было еще три года войны... А потери в армии не сравнить с нашими, партизанскими... Там гибли не отряды, а полки и дивизии...

2

Проверять не потребовалось.

Неожиданно объявился бывший партизан отряда «Мстители» Иван Соболев. По отчетным спискам бригады он числился ушедшим с отрядом на поиски продуктов, а на самом деле, за неделю до этого, в бою на высоте 264,9 был тяжело ранен, попал в плен, чудом остался жив и с 1944 года работает в угольном забое в г. Новошахтинске Ростовской области. По моей просьбе он написал подробнейшие воспоминания — две плотно исписанные убористым почерком тетради. Часть их я включил отдельной главой в роман «За чертой милосердия».

Сам Иван не мог знать о судьбе отряда, но в Медвежьегорском лагере военнопленных он неожиданно встретил другого бойца из отряда «Мстители», Павла Оберемко. Тот тоже не участвовал в последнем бою, который вел отряд, так как за несколько дней до этого отошел в сторонку, собирая ягоды и грибы, оторвался от товарищей и заблудился. Много дней шел один, пробираясь на север. Он-то, Павел Оберемко, и наткнулся однажды на место боя, где увидел убитыми своих товарищей — командира Попова, политрука Лонина, медсестру Машу Сидорову — весь отряд «Мстители»...

Это было первое, хотя и косвенное, свидетельство, что отряд «Мстители» не пропал без вести, не передан в состав 27-й дивизии, а пал в бою с противником.

Почти одновременно появилось второе — веское и неоспоримое.

29 августа 1970 года лесник Юккогубского лесничества Довбыш письменно сообщил в Медвежьегорский райвоенкомат, что при отводе лесосек в 13-м квартале (в трех километрах вверх по течению реки Сидра) обнаружены пятьдесят незахороненных погибших партизан, возле которых найдены пустые пулеметные диски, котелки, кружки.

В течение сентября сотрудники Медвежьегорского райвоенкомата, редакции районной газеты «Вперед» и лесничества дважды произвели обследование местности вблизи высоты 195,1. Они обнаружили останки семидесяти погибших, перенесли их в село Паданы и 4 октября 1970 года торжественно захоронили в братскую могилу в центре села.

К сожалению, и члены поисковой группы, и райвоенкомат ничего не знали об истории исчезновения отряда «Мстители» и не организовали тщательной экспертизы. Более того, о своей находке они сообщили в Петрозаводск лишь после захоронения.

Отряд погиб — это ясно. Но как, при каких обстоятельствах? Успел ли Попов вернуться на высоту и соединиться со взводом Бузулуцкова? Окружил ли их противник на самой высоте, или Попов, нарвавшись на засаду возле сброшенных продуктов, с боем отступил к высоте в надежде на помощь бригады, не зная, что она уже на переправе в восьми километрах отсюда? Настораживал тот факт, что остатки в большинстве своем были найдены на крохотном пятачке, словно люди находились не на линии обороны, а были расстреляны спящими. Но кто тогда вел бой, длившийся около часа? Ведь бой хорошо был слышен от переправы через Сидру?

Приходила в голову и такая мысль — совсем уж неприятная. А вдруг остатки отряда, израсходовав боеприпасы, прекратили сопротивление,

а финны в горячке и озлоблении за собственные потери расстреляли безоружных партизан, чтобы не возиться с ними в глухом лесу? Ведь были же случаи и в этой операции, и в других, когда они безжалостно пристреливали раненых партизан, как и партизаны не больно церемонились в таких случаях. Война шла за чертой милосердия, а тайга никогда не знала жалости...

Своими находками, мучительными раздумьями и предположениями я делился с Г. Н. Куприяновым.

После бесед в Комарове в течение ноября Геннадий Николаевич прислал мне четыре письма — одно весьма пространное: на девятнадцати страницах машинописи... В письмах он был предельно дружелюбен и доброжелателен, но раз от разу все резче заострял наши разногласия, распространяя их на другие события и лица партизанской истории. Никакие доводы, свидетельства и аргументы на него не действовали. Он продолжал считать, что отряд Попова не погиб и даже не пропал без вести, а был передан им в состав 27-й дивизии. В каждом его последующем письме нарастала обида — почему нужно верить косвенному показанию рядового бойца, бывшего к тому же в плену, и не верить прямому свидетельству члена Военного Совета фронта, первого секретаря ЦК компартии республики, занимавшегося руководством партизанским движением с момента его организации и до окончания боевых действий?

Свою версию Г. Н. Куприянов в 1975 г. опубликует в книге «За линией Карельского фронта», где, рассуждая о потерях бригады во время летнего похода 1942 года, напишет:

«Партизаны, конечно, понесли значительные потери, но все же к 18-му разъезду Кировской железной дороги 25 августа вышли организованно 178 партизан. Отдельные группы и одиночные бойцы выходили еще несколько дней. Около 90 человек вышли в расположение 27-й дивизии и были переданы в ее состав».

Более того, примерно в это же время Г. Н. Куприянов в адрес партархива Карельского обкома КПСС, где хранятся материалы по партизанскому движению, направил справку с изложением своей версии о потерях бригады, которую просил зарегистрировать как официальный документ.

Правда, через несколько лет, во втором издании книги «За линией Карельского фронта», уже не будет упоминания о передаче отряда «Мстители» в состав армии и цифры бригадных потерь будут приближены к реальным.

Книга вышла в свет в 1979 году, когда автора уже не было в живых.

Сравнивая оба издания, перечитывая полтора десятка адресованных мне писем, вспоминая наши долгие и подчас весьма горячие разговоры, я все пытаюсь понять — как и откуда взялась у Г. Н. Куприянова версия об отряде Попова? Рождена ли она всплеском генеральской амбиции, когда во время комаровской встречи я своим вопросом — почему после войны было проявлено безразличие к судьбе целого отряда — невольно уязвил Геннадия Николаевича, вынудил его резко отреагировать.

А он был человеком своего времени, не умел признавать ошибок даже в частных вопросах. После войны он подвергся необоснованным репрессиям. И чувство собственной непогрешимости в отношении к прошлому усилилось в нем после полной реабилитации и возвращения ему генеральского звания. Возможно, он искренне верил, что осенью 1942 года действительно отдавал приказание о передаче партизанского отряда в состав армейской части?

Был же, должен был быть какой-то исток у этой версии...

В 1982 году из писем читателей — ветеранов Карельского фронта я узнал, что в сентябре 1942 года в тыл противника западнее Елмозера и Сегозера были направлены разведотряды 27-й стрелковой дивизии и 33-й отдельной лыжной бригады с задачей оказать содействие выходящим в свой тыл партизанам. Скорее всего речь шла о помощи отряду «Мстители», который считался, согласно рапорту Н. П. Аристова, действующим самостоятельно. Разведотряд 27-й дивизии насчитывал около 90 человек. Пройти глубоко в тыл дивизионным разведчикам не удалось, они проникли всего на 20—30 километров, были обнаружены противником и отходили на свою сторону с боями.

Конечно же, об их возвращении было доложено члену Военного Совета фронта Г. Н. Куприянову, руководившему партизанским движением, и, вероятно, этот факт претерпел такую странную аберрацию в его памяти...

Тем более что в конце октября 1942 года отряд «Мстители» был заново сформирован из курсантов партизанской школы, в декабре он начал боевые действия, в первом же походе случились свои драмы — разведвзвод наткнулся на заранее подготовленную засаду противника, понес ощутимые потери, но отряду удалось избежать ловушки, и он вышел на свою сторону.

Возможно, и это сыграло свою роль в возникновении версии о том, что отряд «Мстители» спасся...

Теперь несколько легче стало понять, почему после освобождения Сегозерского района в 1944 году никто не занялся судьбой отряда «Мстители», коль сам Г. Н. Куприянов считал, что отряд вышел к своим и передан в состав 27-й дивизии.

II. РАЗДУМЬЯ У ВЕЧНОГО ОГНЯ

«Нет без вести пропавших, а есть лишь ненайденные...»

Этой фразой заканчивал я в 1975 году главу романа-хроники «За чертой милосердия», рассказывавшую о том, как уходил в безвестие партизанский отряд «Мстители».

Я долго колебался. Есть ли у меня право на такое утверждение? Надо ли тревожить приглушенную временем боль, пробуждать надежду, что каждая из миллионов безвестных судеб станет рано или поздно известной, а павший на войне солдат обретет небезымянную могилу?

Роман еще не был напечатан, и карельское радио передавало отрывок из него о том, как взвод Андрея Бузулуцкова вел первый бой у бараков Тумбы, а в далеком пудожском поселке Кривцы дело едва не кончилось бедой. Вдова комвзвода, Евгения Алексеевна, вслушавшись в передачу, вдруг побледнела и, крикнув сыну и внукам: «Идите сюда... Слушайте... Нашелся ваш дедушка», — потеряла сознание.

Через несколько дней я буду держать в руках ее большое взволнованное письмо, где она сама объяснит:

«...Ведь для нас, особенно для меня, он действительно нашелся, т. к. 33 года хранится полуистертый листок-извещение о том, что «ваш муж Бузулуцков А. И., командир взвода, участвуя в боях против немецко-финских захватчиков, пропал без вести». А оказывается, все обстоятельства его гибели известны — только мы, его родные и близкие, ничего не знаем. Так и потянулись годы ожидания — ведь пропал без вести — еще не значит, что убит».

Да, могила успокаивает.

Не только тех, кто обретает в ней вечное пристанище. Не боль и горечь живущих, а их совесть и веру, что исполнили они святой и извечный долг живых перед мертвыми.

Из понимания этого, от нашего бессилия и невозможности разыскать, захоронить и воздать должное каждому, кто пал на Великой войне, во многих крупных городах через четверть века после Победы появилась Могила Неизвестного Солдата.

Я помню, как торжественно и скорбно зажигали огонь над могилой безымянного солдата в Петрозаводске. Со слезами на глазах шли мы в процессии за факелом, доставленным на бронетранспортере из Ленинграда; вокруг — на площади и прилегающих улицах — толпы народа, море цветов, надрывные, щемящие душу звуки оркестра, потом — тишина, орудийные залпы, и над металлической звездой затрепетал, заметался, словно бы ища выхода из темной горловины, оранжевый язык пламени.

Был безветренный, солнечный день, а он метался, рвался из стороны в сторону, и не было ему покоя. Казалось, вот-вот он оторвется и улетит, и ощущение этого родило беспокойство, которое не покидает меня и поныне.

Мы хоронили останки неизвестного солдата, найденные в карельском лесу. Мы воздали ему почести, которых удостаивается не каждый маршал, ибо могила его — в самом центре города, и теперь для горожан нет священнее места.

А он ведь не был безымянным. Были у него имя и фамилия, было место на земле, которое называем мы своей родиной, были школа, колхоз или завод, были командиры и товарищи по взводу, роте или батальону, ведь хранятся же до сих пор в архивах мобилизационные военкоматовские документы, штабные списки, сводки потерь, рапорты и донесения, может, живы еще отец или мать, брат или сестра, жена или дети...

Не оттого ли так беспокойно мечется, трепещет, рвется и вновь вспыхивает оранжевое пламя, чтоб у нас, живущих, память и душа не ублаготворялись словами, начертанными на могиле, о неизвестности имени и бессмертии его подвига, чтоб скорбь наша не становилась ритуальной привычкой, а возвращала нас к судьбам тех, кто все еще считается без вести пропавшим...

Каждый день дважды — по пути на работу и обратно — я прохожу мимо Вечного огня, и всякий раз думы мои об одном и том же. Они упираются в боль, тоску и виноватость, ибо память о невернувшихся и канувших в безвестие начинается с собственного отца. С рядового солдата Гусарова Якова Васильевича, который ушел на войну через четыре месяца после меня, вскоре был тяжело ранен, долго лечился в Иркутском госпитале, писал домой с надеждой, что, наверное, уже отвоевался, потом утешал жену и дочерей, что, может быть, дадут ему краткосрочный отпуск, ведь по пути на фронт Свердловска не минуешь, а там рукой подать до Ирбита, каких-то двести верст... Нет, не состоялась и побывка. Последняя его открытка извещала: «Шагаем по земле освобожденной Украины, догоняем фронт».

Житомир освобождали дважды.

Зимой 1944 года, когда его взяли вторично, в адрес моего двоюродного брата Петра Батунина, воевавшего под Ленинградом, пришло письмецо, в котором сердобольная малограмотная крестьянка сообщала, что Гусаров Я. В. скончался от тяжелых ран в ее хате. То ли она не указала обратного адреса, то ли брат очень уж торопился известить нашу семью и упустил такую важную деталь (а торопился брат не зря — через короткое время пришло известие и о его гибели), но об отце знаю лишь то, что он погиб где-то под Житомиром и, наверное, хоть как-то похоронен, коли нашлась добрая душа и сообщила о его смерти по первому обнаруженному у покойного адресу.

Я пробовал искать. Еще студентом, будучи однажды в Киеве, добрался до Житомира. Знал, что ничего не найду и не узнаю: кому в 1949 году было до братских могил, когда живые люди ютились едва ли не в землянках. Просто хотелось взглянуть на землю, в которую лег отец...

Потом по моей просьбе через облвоенкомат вел поиск писатель Владимир Канивец. Фамилии отца не оказалось даже в списках павших на житомирской земле.

Позже юные следопыты из житомирского села, где директором школы работал мой партизанский товарищ Бронислав Крушинский, совершили обход многих кладбищ и братских могил, но их старания оказались безрезультатными.

Семеро близких моих родственников не вернулись с войны, но какие-то скудные сведения — когда и на каком фронте они погибли — имеются лишь о двоих-троих.

Бытовала и у нас, партизан, поговорка: «Война все спишет!»

Не знаю, кто и когда первым пустил ее в ход, но появилась она чуть ли не с самого начала войны и получила повсеместное хождение как на фронте, так и в тылу. Она употреблялась вроде бы и не всерьез, вроде бы в полушутку, но сколько горя, бед и утрат принесла ее утешительная, вседозволяющая простота!

Война действительно списала многое. Победа и время оправдали и сгладили даже самое трудное и обидное.

И нашу странную неподготовленность к войне, хотя ощущали ее неизбежность и готовились все двадцать лет. И наше оскорбительное недоверие к тысячам и миллионам, оказавшимся в плену или оккупации, даже к тем, кому со смертельным риском удалось вырваться из-за враже-

ской колючей проволоки. И нашу излюбленную, идущую чуть ли не из Очаковских времен тактику: «Даешь любой ценой! Пуля — дура, штык — молодец!», — когда у безымянной высоты нередко ложились в землю роты и батальоны, а позже оказывалось, что в оперативном отношении эта высота существенной роли не играла...

Ни война, ни Победа, ни время не могли списать или сгладить одного — память о павших. А почти двадцать лет после войны мы словно бы не знали этого и делали так недопустимо мало. Особенно в отношении без вести пропавших.

Многое, очень многое уже невосстановимо.

Не потому ли наша боль, горечь, вина перед погибшими как бы удвоились?

...Думы мои начинаются с отца и неизбежно приходят к партизанам отряда «Мстители». Их долгое безвестие давно стало болью моей совести, словно сам я был с ними на высоте 195,1, но почему-то остался жив, а их нет даже в списках погибших...

III. БЕЗЫМЯННЫЕ ВЫСОТЫ

1

У документальной книги почти неизбежно какое-то продолжение. Если не в литературе, то в жизни.

В пятидесятые годы сквозь безлюдные леса потянулась с юга на север Западно-Карельская железная дорога. В ту пору мало кто знал, что через двадцать — двадцать пять лет упрется она своей левой веткой в неожиданно зародившийся, стремительно выросший горняцкий город Костомукшу и по звонким рельсам загромыхают на юг, в Череповец и на Урал, составы с железорудными окатышами.

В ту пору дорога окупала себя карельским лесом. Один за другим вдоль нее возникали крупные леспромхозы: Поросозерский, Лахколамбинский, Гимольский, Суккозерский, Воломский...

Дорога проходила в тридцати километрах западнее тех мест, где в августе 1942 года пролегала печальная тропа отхода партизанской бригады.

Делянки Суккозерского леспромхоза уже в середине семидесятых годов приблизились к высоте 264,9 — к той самой, на которой партизаны всю ночь с 30 на 31 июля вели кровопролитный бой в плотном вражеском окружении, откуда утром пошли на смертельный прорыв, смяли ошеломленного противника и на несколько суток оторвались от него.

У этой высоты погибли комбриг И. А. Григорьев и более ста партизан.

Лес давно уже скрыл следы той давней трагедии. Когда попадаешь сюда, кажется, что это и есть тот самый, теперь уже такой редкий в Карелии, заповедный край непуганых птиц и нехоженых троп, куда не ступала нога человека. Бесконечные светлые сосновые боры на взгорьях и пологостях, темные ельники в низинах, ива и ольшаник по краям болот и тихих, словно загустевших озер-ламбушек, а под ногами — мягкий пружинящий мох, брусничник и черничник, которые давно укутали и скудную почву, и россыпи камней, и скальные выходы, и даже роднички, невидимо и неслышно сочащиеся к большой воде.

Жители лесных поселков были переселенцами из дальних краев, и они даже не подозревали, что в этих местах когда-то шла партизанская война. Судя по всему, первые «находки» были сделаны сборщиками грибов и ягод, ибо уже в конце 60-х годов в поселке Суккозеро высоту 264,9 стали называть «Смерть-горой». Под моховым пластом случайно обнаруживали то скелет человека, то пулеметный диск, то котелок или алюминиевую ложку. Ходили слухи, что кто-то наткнулся на целую гору ботинок американского производства. К этому быстро привыкли. В Белоруссии или в Смоленской области и не такое доводилось видывать... Вот там была война — так война! Там до сих пор танки в земле находят. Скрежетнул плуг о железо, глядь — а это крышка танкового люка; начали откапывать — целый танк оказался. Да еще свой, советский, хоть и старенький, довоенный, но дулом — на запад. То ли сам в окоп провалился, то ли специально закопали, в дот превратили. А тут — какие-то скелет, диск, ботинки...

Похоже, так рассуждали не только шутники из рядовых лесорубов, но и их тогдашние руководители — директор леспромхоза, секретарь парткома, председатель поселкового Совета. Во всяком случае, никто из них не только не проявил никакого внимания к находкам, но даже не счел нужным известить о них республиканские органы или комитет ветеранов войны.

Более того, партизанам, навечно залегшим в оборону на высоте 264,9 в 1942 году, через 40 лет пришлось испытать второй штурм, когда «Смерть-гору» оглушил торопливый, захлебывающийся треск бензопил «Дружба», надсадный рев трелевочных тракторов, лязг гусениц и тяжкое, похожее на глубокие глухие взрывы буханье падавших на землю сосен.

Да, это был настоящий штурм, выдержать который партизаны уже не смогли бы — ни живые, ни мертвые. Тысяча кубометров «деловой древесины», понадобившихся для квартального плана, оказалась дороже памяти о павших.

Ах, этот штурм, этот злополучный план, это вечное и вседозволяющее — «стране нужен лес»!

Казалось бы, еще в пятидесятых годах, когда минула горячка послевоенного восстановления, уже всем стало ясно — и в жизни, и в литературе, что лесозаготовки нельзя уподоблять ни сражению, ни штурму, ни одиночному бою человека с природой, что при таком уподоблении мы ведем огонь по себе и в буквальном смысле рубим сук, на котором сидим.

Но где там!

На словах мы все понимаем, даже умом осознаем трагическую суть, кажется, и до чувств наших вроде что-то доходит, а как коснется практики — куда все девается?

Так было и с высотой 264,9...

Проникались, одобряли, обещали и давали указания нижестоящим. Все, начиная с секретарей обкома партии и до главного инженера леспромхоза.

Первый приступ удалось ненадолго остановить, когда лесосека придвинулась к подножию высоты и начала обтекать ее по склонам.

Тут решающую роль сыграла инициатива молодого симпатичного парня, шофера лесовоза из поселка Суккозеро Сергея Симоняна. В конце 1980 года редакция карельской республиканской газеты «Ленинская правда» получила его письмо:

«В 1977 году я прочитал книгу Д. Я. Гусарова «За чертой милосердия». Книга меня очень заинтересовала и взволновала. Много раз я ее перечитывал. В книге упоминаются наши озера, реки, словом, описана наша местность. По карте я примерно прикинул маршрут движения партизанской бригады, конечно, это было далеко не точно, но вскоре предположения подтвердились. Во время трелевки леса нашли саперную лопатку, гильзы... Это было в районе озер Большое и Малое Матченъярви.

В книге описывалась высота 264,9, на которой партизаны вели бой в окружении. Эту высоту я начал искать летом 1977 года вначале с братьями Валерой и Юрой. В книге высота описана очень хорошо, но когда стали ее искать, то не нашли. Конечно, может, и не совсем правильно было искать по описанию, но еще раз повторяю, в книге она описана очень хорошо... Неожиданно нам повезло. Как-то приехал мой тесть из Гимол и рассказал, что когда он работал дорожным мастером, то на одной сопке нашел останки нескольких человек, полотно палатки, котелки. В июне 1980 года я со своими ребятами-школьниками пошел в те места. Судя по всему, это и есть высота 264,9. Действительно, мы обнаружили там останки погибших, котелки, питание для рации, патроны, выложенные камнями ячейки для стрельбы. Позже мы не раз бывали там, и каждый раз были новые находки...»

20 февраля 1981 года газета напечатала большой очерк своего спецкора Юрия Шлейкина «Высота 264,9 — подвиг и память», где рассказала о трехлетней поисковой работе Сергея Симоняна и его юных друзей. Благодаря им и, конечно же, с помощью тогдашнего председателя поселкового Совета, школьного учителя А. М. Коряковского и секретаря Муезерского райкома партии Ю. П. Власова 9 мая того же года в центре Сук-

козера были торжественно открыты памятный гранитный обелиск и братская могила, в которой захоронены останки десятков погибших партизан, бережно перенесенные с высоты 264,9.

Была у юных поисковиков мечта — сохранить в неприкосновенности легендарную высоту, оставить ее оазисом нетронутой карельской природы и местом партизанской славы, ведь молодому поселку так не хватает точек опоры для воспитания у новых поколений исторической памяти. Об этом же просили и бывшие партизаны, приехавшие на открытие братской могилы.

Пока шли торжества и не утихала газетная шумиха, все это было обещано.

Но, как оказалось, ненадолго...

Нового штурма высота не выдержала. В считанные дни она превратилась в обычный лунный ландшафт, какой оставляют, к великой горечи, лесорубы по всей Карелии.

И, как всегда, виноватого уже не найдешь.

Логика простая: останки убраны, работать можно, порубочный билет у леспромхоза давно на руках, лесосечные фонды и так на исходе, а что-либо изменить на месте никто не в силах, надо просить разрешения у центра, а кто в «Кареллеспроме» станет изымать тысячу кубометров из фондов леспромхоза, если лесу и так не хватает...

Когда это произошло, Сергей Симонян уже вплотную занимался другой партизанской высотой, где загадочно погиб отряд «Мстители».

2

В июле 1981 года Сергей Симонян писал мне:

«В июне мы 4 раза ходили в походы, на поиски следов бригады. Три раза я водил своих ребят к предполагаемой высоте 195,1. И там удалось найти много разных вещей. Нами найдены около 30 незахороненных партизан. Очевидно, взвод Бузулуцкова. Около погибших мы нашли котелки, кружки, ложки, 6 гранат, два компаса, финку, авторучку, перочинный ножик, медикаменты и т. п. На одной ложке видна надпись, правда, не очень четко, но мы прочитали — ложка принадлежала Смирновой Вале... То, что останки принадлежат партизанам, вне сомнений...

Все останки найдены в радиусе 50 метров. Очевидно, партизаны отдыхали, когда напали финны, не многим из них удалось отбежать в сторону... Но бой, очевидно, был, около многих нашли кучки стреляных гильз...

Интересно то, что мы нашли погибших партизан в том же месте, что и лесник Довбыш в 1970 году. Судя по его же схеме.

Четвертый поход мы планировали большой, хотели пройти по всему маршруту. Но нам его, мягко говоря, сорвали. А ведь у нас уже была собрана группа, приехала А. С. Пименова (бывшая партизанка). Некоторые ребята не поехали в отпуска с родителями — так у нас все были уже настроены.

Все, кроме наших руководителей, которые не понимают, что нельзя жить одним только планом. Меня не отпустили даже в счет очередного отпуска... Дмитрий Яковлевич, поймите меня правильно. Я не жалуюсь вам и не прошу чего-либо для себя. Прошу Вас — сделайте что-нибудь, чтобы не ставили нам палки в колеса. Лето пройдет быстро, и опять упустим время...»

Я писал, звонил, обращался в райком партии, в обком комсомола, к директору леспромхоза. Везде находил понимание, поддержку, сочувствие, заверения: «Нет вопросов, это такой пустяк!»

А через месяц новое письмо от Сережи:

«Останки партизан мы нашли на высоте, в небольшой ложбинке. Насколько я помню по карте, которую мы смотрели в партархиве, это та самая высота 195,1.

Высота с западной и восточной стороны зажата болотами, болота проходимые, с запада — заросшие, с востока — открытые. Грунт на высоте каменистый...

Мы понимаем, что время упускать нельзя, и к этой высоте уже приближаются лесовозные дороги, да и лучшей погоды для похода и поисков

ожидать не приходится. Все надежды теперь возлагаю на отпуск, который должен быть с 15 августа.

Должен был быть! Но на днях начальник лесопункта сказал, что отпуск перенесут на сентябрь! Конечно, пройти по местам боев я смогу и в сентябре, но не смогут пойти со мной школьники, а для них это было бы хорошим уроком (хотя один урок мы уже получили)...

В одном будьте уверены, что по мере возможности я буду ходить на места боев бригады и обо всем новом буду ставить вас в известность... Прилагаю примерную схему местности, где были нами найдены останки...»

В конце августа Сергею все же был предоставлен отпуск, и вместе с восемью комсомольцами он прошел по следам партизанской бригады от высоты 264,9 до места трагической переправы через Елмозеро. Путь не близкий — более ста километров. Шли налегке, неся в рюкзаках самое необходимое, однако до конца намеченного маршрута добрались лишь втроем — остальные обессилели и вынуждены были вернуться.

Вот тогда-то поисковики и могли реально представить — что же довелось испытать на этом пути партизанам, падавшим с ног от голодного истощения, израненным и измотанным беспрерывным преследованием, шедшим по лесам не шесть, а пятьдесят шесть дней, несшим за плечами не туристские рюкзаки, а тяжкий партизанский скарб, оружие и боеприпасы...

Когда я думаю о Сергее Симоняне и его юных товарищах, то невольно вспоминаю случай военной поры, который из забавного стал пророческим.

Произошло это не здесь, а далеко на севере, на Кандалакшском направлении. Летом 1943 года наш отряд «Боевые друзья» пробирался в глубокий вражеский тыл, в район финского селения Хаутаярви. Шли уже третью неделю. Тучи гнуса и нестерпимый зной, онемевшие пудовые ноги и тьма в глазах от усталости, а впереди все те же скалистые сопки и болота, подъемы и спуски, карабканье и сползание. Казалось, следующий шаг будет уже последним, однако так тянется и час, и день, и вот уже полтораста верст... И ты уже давно перестал думать о том, что предстоит ведь и обратный путь, наверняка еще более трудный, голодный, возможно, с носилками для раненых. Ты живешь уже не будущим и не текущим днем, даже не часом, а каждой минутой, которая приближает тебя к долгожданному привалу, но тянется нестерпимо долго. Только бы устоять, только бы выдержать, не свалиться...

Вот тогда-то мы и услышали впервые грустную шутку от своего командира разведвзвода Михаила Николаева:

— Вперед, ребята! По нашим следам пойдут пионеры...

Согнувшись под тяжестью вещмешка, он стоял в сторонке от тропы, силился улыбнуться, но слишком уж жалкой и вымученной была улыбка на его багровом от натуги, искусанном комарами лице.

Не знаю, взбодрила ли эта шутка кого-нибудь, но мне в ту минуту показалась она чуть ли не издевательской. Какие пионеры? Зачем им идти сюда, в эту проклятую глухомань, где, кроме мошки, комаров и морошки, ничего нет?

Однако шутка в отряде прижилась. Никто, конечно, не принимал всерьез ее смысла, но в трудную минуту, даже когда сам комвзвода уже выбыл из отряда после тяжелого ранения, находились охотники повторять:

— Вперед, ребята! По нашим следам пойдут пионеры!

А ведь и действительно пошли.

...Каждое лето поисковая группа Сергея Симоняна совершала по нескольку походов к высоте 195,1. Метр за метром ребята бережно поднимали моховый пласт, находили партизанское снаряжение, боеприпасы, личные вещи с инициалами партизан. Уже были обнаружены вещи командира отделения Самарканда Мамедова, бойцов Николая Петушкова и Александра Медведева. Все они были из разных взводов отряда «Мстители», и стало ясно, что отряд Попова вернулся на высоту, соединился со взводом Бузулуцкова и здесь принял последний бой.

Осенью 1982 года останки партизан, обнаруженные на высоте 195,1, были торжественно переданы для захоронения в братскую могилу в центре села Паданы. Там с осени 1947 года покоятся прах командира партизанской бригады Ивана Антоновича Григорьева и останки партизан, захороненные в 1970 году.

Вновь в поселке Суккозеро звучала траурная музыка, произносились речи, люди вытирали слезы и искренне благодарили неутомимых поисковиков. Были на проводах и секретари Муезерского райкома партии, и руководители леспромхоза, и представители военкомата. Они видели, как всколыхнуло это событие жизнь лесного поселка, с какой гордостью отзывались люди о делах своих молодых следопытов. В те минуты, наверное, каждый, если и не выражал словами, то ощущал в душе чувство раскаяния, что мало помогал этим славным парням в их реальном комсомольском деле.

В клубе поселка была развернута экспозиция находок на высоте 195,1 — изъеденное ржавчиной оружие, пулеметные диски, котелки, ложки, компас, целлулоидные расчески, остатки партизанской обуви. И тут же схема маршрута бригады, фотографии партизан, письма от родственников.

Тогда-то и родилась мысль — создать в поселке Суккозеро небольшой общественный музей, посвященный легендарному походу партизанской бригады. Ведь предстояло еще так много сделать — обследовать не только районы высоты 195,1, но и места боев у реки Сидра, у дороги Паданы — Кузнаволок, у переправы через Елмозеро. А главное, попытаться найти что-либо такое, что помогло бы раскрыть загадку отряда «Мстители», установить: как и при каких обстоятельствах он погиб?

Задумка с музеем всем пришлась по душе. Помощь обещали и райком партии, и леспромхоз, и райвоенкомат. Была у ребят мечта — из поселка Гимолы перевезти пустующее деревянное здание склада орса и своими руками воздвигнуть дом, часть которого займет партизанский музей, вторую половину — комнаты для кружковой работы... И казалось, все идет на лад, есть общее согласие.

Радостный и воодушевленный, приехал Сергей в Петрозаводск. Подолгу сидели мы в партархиве над сохранившейся военной картой-верстовкой, где точно обозначены маршрут, места боев, привалов, разведок и стычек с противником. Эти пометки были перенесены в 1942 году с походной карты начальника штаба Д. И. Колесника.

Обширна была зона дальнейших поисков. Но в первую очередь предстояло произвести раскопы в квадрате, где были сброшены продукты и куда ушел отряд «Мстители».

Между тем интерес к судьбе отряда «Мстители» ширился, и возникали новые группы следопытов. Поисковую работу в селе Паданы возглавил инженер леспромхоза Тайсто Олавович Кайнулайнен, прекрасный знаток здешних мест. Старинное карельское село, бывшее до войны райцентром и некогда славившееся на всю страну Сегозерским народным хором, с 1980 года вновь начало обретать известность, становилось местом, куда стремились родственники погибших в бригадном рейде и пропавших без вести партизан, чтобы поклониться их праху и возложить цветы на братскую могилу.

Но могила оставалась безымянной. Вернуть имена захороненным в ней, воздвигнуть обелиск с точным указанием фамилий партизан — такова была главная цель группы Т. О. Кайнулайнена.

В работу включился поисковый отряд из Архангельска, созданный на лесопильно-деревообрабатывающем комбинате имени Ленина. Его возглавили инженер С. Яковлев и ветеран войны М. Моторин. В 1983 и 1984 гг. архангелогородцы совершили два выхода на высоту 195,1, вместе с группой С. Симоняна и Т. Кайнулайнена вели раскопы, обследовали окружающую местность. Второй выход был особенно удачным: под толстым слоем мха удалось обнаружить останки еще одного партизана и под ним, на земле, орден Красной Звезды № 39447. Первым увидел орден племянник командира отряда «Мстители» восемнадцатилетний Андрюша Попов, приехавший из далекого Сыктывкара, чтобы побывать на месте гибели дяди.

Через неделю без особого труда удалось установить, что этим орденом в мае 1942 года был награжден за мужество и отвагу в зимних походах боец партизанского отряда «Мстители» Уфимцев Павел Михайлович, родившийся в 1918 году в с. Белослудское, Ирбитского района, Свердловской области и до войны работавший на дорожном строительстве в Карелии.

Находка ордена стала новым, теперь уже документальным и бесспорным подтверждением, что обнаруженные на высоте 195,1 останки принадлежат бойцам и командирам отряда «Мстители», что отряд не исчез бесследно и не был передан в состав 27-й дивизии, как утверждал Г. Н. Куприянов, а честно сложил головы в неравной схватке с врагом.

Впрочем, никаких новых доказательств этого уже не требовалось.

IV. НИТИ И ОБРЫВЫ

1

Осенью 1979 года мне позвонила по телефону сотрудница партархива Карельского обкома КПСС Полина Михайловна Кузьмина и сообщила:

— Еду в Днепропетровск, к герою вашего романа «За чертой милосердия». Угадайте, к кому?

Это был уже не первый случай, когда неожиданно объявлялись упоминаемые в книге участники бригадного похода, о послевоенной судьбе которых я ничего не знал. Так было с представителем разведотдела армии Д. Ситниковым, с политруком разведвзвода Г. Малюком, с командиром отряда им. Чапаева Н. Шестаковым... Но герой романа из Днепропетровска? Грешным делом подумалось: уж не отыскался ли начальник штаба бригады Дмитрий Илларионович Колесник, уехавший в декабре 1942 года на учебу в Москву и в Карелию больше не вернувшийся? Ходили слухи, что он погиб при форсировании Днепра и даже удостоен посмертно звания Героя Советского Союза. Давно следовало бы уточнить, но все руки не доходят. А вдруг он?

— Ладно, все равно не угадаете, — прервала затянувшуюся паузу Полина Михайловна. — Нашелся Павел Оберемко. Да-да, тот самый, который в лагере военнопленных в Медвежьегорске рассказывал Ивану Соболеву, что видел погибший отряд «Мстители». После плена он служил в армии, с 1948 года живет в Днепропетровске.

— Как он отыскался?

— Из райвоенкомата пришел запрос с просьбой подтвердить, что Оберемко действительно в 1942 году служил в партизанском отряде... Я уже списалась с Павлом, разрешение на командировку получено...

Да, не зря ветераны войны называют Полину Михайловну «партизанской мамой». Ей самой не привелось участвовать в партизанском движении, и свое поистине почетное звание она заслужила многолетней работой по объединению партизан в одну семью, по упорядочению архивов, по выяснению судеб и розыску тех, кого трудные послевоенные годы раскидали по всей стране. Во многом ее старание сделало возможным общий слет карельских партизан и подпольщиков в 1967 году и последовавшие за ним частые поотрядные встречи. Можно было радоваться и поражаться тому, как легко и быстро шестидесятилетняя женщина снималась с места, летела, ехала, плыла чуть ли не на край света, едва лишь появлялась надежда прояснить еще одну партизанскую судьбу.

— Вашей книги Оберемко не читал. Просит привезти. Может, дадите автограф?

— Конечно, конечно...

С нетерпением ждал я возвращения Полины Михайловны из Днепропетровска. Десять лет назад И. Ф. Соболев написал по моей просьбе подробнейшие воспоминания о военных годах — две тетради мельчайшей скорописи на обеих сторонах каждого листа... Я отнесся к ним с полным доверием. Мне по душе были и взволнованная сбивчивость рассказа, и внимание к деталям, и сиюминутность видения, словно бы автор не вспоминает о далеких годах, а говорит прямо оттуда, из-за черты милосердия.

Несколько смущало меня в рукописи одно. Эпизод встречи с Оберемко был написан Соболевым на отдельном листе и пришпилен к воспоминаниям, словно автор забыл о нем и спохватился лишь тогда, когда обе

тетради были уже заполнены. Возможно ли забыть и пропустить такое — встречу в лагере военнопленных с товарищем не только по отряду, но и по взводу, ведь Соболев и Оберемко служили в одном взводе? Вдруг Оберемко теперь не подтвердит показаний о гибели отряда?

Но мои опасения оказались напрасными.

Не знаю, испытывала ли что-либо подобное Полина Михайловна, когда ехала в Днепропетровск, но вернулась она довольная и даже счастливая не только тем, что прояснилась судьба еще одного бывшего партизана, но и тем, что подтвердились свидетельства другого, да еще выявились кое-какие новые имена.

Память у Павла Оберемко оказалась отличной. Он в основном сходно повторил то, что рассказывал в 1942 году в лагере военнопленных Соболеву. Кроме того, Павел Оберемко сообщил, что в санчасти медвежьегорского пересыльного лагеря военнопленных он встретил партизанку из другого отряда, Надю, которая в апреле 1942 года, раненной, попала в плен во время неудачной операции в Заонежье. Потом, по слухам, она участвовала вместе с несколькими мужчинами в побеге и в лагерь больше не вернулась...

Я слушал рассказ Полины Михайловны о поездке, радовался вместе с ней, понимал, что судьба партизанки Нади станет ее новой заботой, но еще не мог и предполагать, что эта судьба будет так тесно переплетена с моими поисками.

Тогда я не читал официального письменного отчета Полины Михайловны о командировке, а в нем, как оказалось позднее, был даже не один, а целых два кончика нити, которая могла на несколько лет ускорить выявление того, что стало известным лишь теперь. Правда, для этого надо было знать многое другое, что тоже выяснилось не сразу.

Но, как говорится, всему свой черед. В ту пору я вплотную был занят «Партизанской музыкой», а свою задачу в отношении «Мстителей» видел лишь в том, чтоб поскорее вернуть отряд из разряда без вести пропавших.

9 января 1981 года я направил письмо первому секретарю Карельского обкома КПСС И. И. Сенькину с просьбой внести наконец ясность в судьбу партизанского отряда «Мстители»... Напомнив кратко историю отряда, я писал, что в настоящее время, на мой взгляд, имеются достаточные и убедительные свидетельства для того, чтобы пересмотреть решение военных лет и считать отряд «Мстители» не пропавшим без вести, а погибшим в боях за Родину.

В качестве доводов я ссылался на находки останков партизан, сделанные лесоустроителями в 1970 году (группа С. Симоняна еще не ходила на высоту 195,1), на показания Павла Оберемко и, наконец, на документальное подтверждение финской печати. А первое такое свидетельство в конце 1980 года появилось.

В Финляндии, в издательстве «Вейлин-Гёёз» был опубликован роман «За чертой милосердия». Предисловие к финскому изданию написал видный военный историк Хельге Сеппяля, автор монографии «Советские партизаны во второй мировой войне». К последней фразе главы, где рассказывается об исчезновении отряда Попова, в финском издании романа сделано такое примечание:

«По данным финских исследователей, история отряда Попова завершилась трагически. Он погиб при столкновении с засадой финских егерей-пограничников. Количество жертв было подтверждено позже, когда финская глубинная разведка прошла по местам боев».

Первым результатом моего письма стало создание небольшой экспертной комиссии, которой поручалось изучить материалы и подготовить решение.

Летом 1981 года было принято официальное решение считать бойцов и командиров отряда «Мстители» павшими в бою за Родину 8 августа 1942 года, о чем партархив должен выдать соответствующие справки родственникам погибших. Формальности благополучно завершились.

Суккозерские и паданские поисковики получили возможность поименно перечислить бойцов и командиров отряда «Мстители» на братской могиле в центре села Паданы.

К 40-летию Победы было решено переоборудовать могилу, установить гранитные плиты с фамилиями захороненных, вокруг разбить сквер — создать скромный мемориал партизанам, подпольщикам и воинам Советской Армии, погибшим в борьбе с оккупантами на сегозерской земле.

9 мая 1985 года мемориал был открыт.

Казалось бы, сделано главное. Братская могила перестала быть безымянной.

И все же нет на душе покоя...

Ни у меня, разбередившего романом-хроникой «За чертой милосердия» эту давнюю и полузабытую трагедию, ни у Сережи Симоняна и Тайсто Кайнулайнена, вплотную соприкоснувшихся с тайной карельского леса, ни у родственников партизан — жен, детей, внуков, братьев и сестер, которые, узнав, наконец, о месте гибели и захоронения своих близких, числившихся сорок лет пропавшими без вести, ежегодно в начале августа съезжаются в Паданы, возлагают цветы на братскую могилу, с помощью поисковиков добираются за сто тяжелейших лесных верст до высоты 195,1, скорбно стоят у деревянного обелиска с фронтовой звездочкой, который соорудил Сергей Симонян со своими школьниками на месте гибели отряда, — и нет нужды гадать, о чем думают они в эти минуты...

Что же произошло здесь, на этой высоте, которую и высотой-то называть трудно — такая она просторная, ровная, мягко покатая, — тогда, сорок два, сорок три, а теперь уже и сорок шесть лет назад?

Я был на высоте вместе с ними 2 августа 1986 года.

Тогда нас собралось особенно много — более пятидесяти человек из Петрозаводска, Пудожа, Сегежи, Архангельска, Вологды, Сыктывкара, даже небольшая группа школьников-следопытов из Москвы... В светлом сосновом бору, в десятках верст от человеческого жилья традиционная минута молчания как бы свела в одну скорбную точку и седовласых ветеранов и притихших подростков.

Лес был словно заколдован — ни шума ветра, ни птичьего посвиста, всюду покой и умиротворение... Произносились, конечно, и недолгие речи, а потом, когда спустились к подножию, где Симонян несколько лет назад оборудовал стоянку с укрытием от дождей, прозвучали песни военных лет, однако ощущение грусти, затаенности, недосказанности так и осталось самым памятным от того тихого августовского дня.

Мы жгли костер, и жаркое ровное пламя все время возвращало меня к видению другого огня — мечущегося, беспокойного, рвущегося из глубины могилы Неизвестного солдата.

Я был здесь впервые.

Сначала с Сергеем Симоняном, потом в одиночестве я бродил по высоте с таким ощущением, словно бы когда-то уже бывал тут, но так давно, что все приходится узнавать заново. С востока должно быть широкое болото. А-а, вот оно — только за сорок лет затянулось густым кустарником, и кое-где поднялись редкие сосенки. Вот и родничок, такой тихий, чистый и почти обязательный для каждого партизанского привала... А ламбушка, на берегу которой Вася Чуткин — мой единственный придуманный герой из романа «За чертой милосердия» — сделал два последних для себя роковых выстрела по крадущимся к партизанскому лагерю егерям? Где оно, это самое озерцо? Такое ли оно, каким виделось в моем воображении? Да, и ламбушка была на месте, хотя показалась не так близко, как представлялось мне... Ощущение реальности тех далеких дней было таким сильным, что я готов был отыскивать и куст, за которым по воде совершал последнюю перебежку мой вымышленный, но такой дорогой и живой для меня Вася...

И вдруг я почувствовал укол совести.

Я гоняюсь за воображаемым, ищу схожести со своим книжным описанием, а здесь ведь развернулась не воображаемая, а самая настоящая трагедия. Здесь, на крохотном пятачке, один за другим пали более ста человек — и кто теперь скажет, как это происходило?

Никого из них я никогда не знал, некоторых видел на довоенных фотографиях, иных смутно представлял по описаниям Ивана Соболева, Ивана Казимирова, Бориса Воронова, а большинство помню лишь по списоч-

ному составу отряда — фамилия, имя, отчество, должность, год рождения, партийность...

Но всех вместе, в отрядной цепочке, я их вижу так отчетливо, словно бы вот теперь они тяжело и уже расслабленно выходят из болота на каменистую твердь и медленно бредут к месту привала.

Они сделали свое дело. Продукты в вещмешках у наиболее сильных, и командир отряда Александр Попов, опираясь на палку, торопится туда в самый центр высоты, где вчера находился костер штаба бригады, чтоб доложить о прибытии, объяснить причину задержки и, конечно же, выслушать сердитый выговор Аристова. Попов уже готов к этому, он сам понимает, что нарушил приказ, не вернулся к сроку.

Но нет на высоте ни Аристова, ни Колесника, ни штаба, ни бригады. Его встречает только взвод Андрея Бузулуцкова, который счастлив, что дождался возвращения отряда.

Попов, конечно, удивлен и расстроен.

Люди утомлены до предела. Они измотаны не только переходом, но и бессонной от напряжения ночью, когда пришлось держать в охранении чуть ли не половину отряда. Он рассчитывал, что людям удастся отдохнуть под прикрытием бригады хотя бы пару часов, они заслужили это.

Приказав Бузулуцкову выставить усиленные посты, Попов объявил двухчасовой привал...

...Все это нетрудно себе представить — так, наверняка, было, коль отряд вернулся на высоту и не застал бригады. Попов, конечно же, расспросил Бузулуцкова, давно ли ушла бригада и когда в последний раз тревожили финны.

Узнав, что вчера подходили две вражеские разведывательные группы, а с тех пор все тихо, успокоился. Настоящих боев уже не было более недели, хотя чувствовалось, что финны следят за бригадой. Случались лишь короткие перестрелки. Настоящие бои ждали впереди — на реке Сидра, на дорогах, которые миновать нельзя.

А что было дальше?

Теперь-то, в 1986 году, мы знаем, что движение отряда «Мстители» от места выброски продуктов не было для финнов тайной. Финская егерская рота из второго батальона 12-й бригады под командованием лейтенанта Олави Алакулпи уже скрытно окружала высоту, а на помощь ей спешила от Сидрозера другая рота.

Но не знал этого и не мог знать Александр Иванович Попов. Возможно, он совершил бы отход с высоты до полного окружения или положил бы весь отряд в круговую оборону.

А дальше начинаются голые догадки и предположения. Был бой. Длился он совсем недолго. Так и не известно, занял ли отряд круговую оборону. Судя по всему, не успел, и отстреливаться пришлось на этом стометровом в диаметре пятачке в центре высоты... Кто-то с пулеметом пробился за роковой круг, выскочил к болоту и пал там с полупустым диском. Его останки найдены группой Симоняна совсем недавно.

Финны, как всегда, не лезли, конечно, в атаку. Они больше всего ценят в лесном бою плотность огневого прикрытия, а тут был как раз такой случай, когда под перекрестным огнем партизанам деваться было некуда.

И все же опять-таки это лишь предположение, моя версия, которую я ничем, кроме собственного воображения, подтвердить не могу...

Родственники партизан подходили познакомиться, поговорить, искренне и душевно поблагодарить — и в каждом взгляде мне чудился невысказанный вопрос, и я заранее чувствовал себя словно бы виноватым, что до сих пор не могу дать им исчерпывающего ответа.

Что я мог ответить?

Разве что откровенно рассказать о том, как возникали и потом так же неожиданно обрывались ниточки надежды, хотя каждый кончик был из одного клубка.

Это я сделал 3 августа 1986 года на встрече в Паданском Доме культуры, где, кроме родственников партизан, гостей и поисковиков, присутствовало много жителей села.

2

Важный обрыв случился по моей вине.

В Финляндии, сразу же после выхода в свет романа-хроники «За чертой милосердия», в газетах появилось много рецензий.

Тема минувшей войны всегда остро волновала и финских писателей, и широкие читательские круги. Интерес к ней, как мне думается, вызван искренним стремлением честного, трудолюбивого народа понять, что же произошло, как он оказался в одной упряжке с гитлеровской Германией и за какие идеалы сражались и отдавали жизни на советской земле молодые парни из Суоми.

Финская художественная баталистика насчитывает, вероятно, многие сотни, если не тысячи, произведений самых различных жанров, а роман Вяйне Линна «Неизвестный солдат» еще в 1955 году взбудоражил всю страну и сделал малоизвестного автора живым классиком.

Часто издаются и широко известны в Финляндии книги советских военных писателей.

Повышенное внимание прессы к роману «За чертой милосердия», вышедшему под заглавием «Тайга не знает пощады», следует, вероятно, объяснить тем, что это была первая советская книга, изданная в Финляндии, в которой русский писатель повествует о войне против финнов, причем делает это на документальной основе и рассказывает о событиях, известных по финской печати.

Рецензии попадали ко мне не сразу. Проходило какое-то время, иногда значительное, пока кто-нибудь из знакомых, чаще всего переводчица Улла-Лийса Хейно, пришлет вырезку или ксерокопию. Потом еще требовалось найти человека, который согласится, хотя бы «прямо с листа», перевести статью на русский.

Финнов меньше всего интересовала эстетическая сторона книги или анализ литературно-художественных ее достоинств или недостатков. В каждой статье были суждения, конечно, и об этом, но сводились они к чисто оценочным моментам, а главное внимание тому — объективен ли писатель, правдив ли он в изображении событий и фактов, точно ли знает историю войны и «не тянет ли одеяло на себя». Последнее выражение я прямо взял из одного читательского письма.

Такой подход был мне особенно по душе, так как роман и для меня важен не столько художественной, сколько документальной стороной, и когда при работе возникала дилемма, я всегда отдавал предпочтение второй. Недостатки первой остаются на счету автора, недостатки последней рождают полуправду истории.

Знакомясь с рецензиями, я все время ждал: мелькнет же, наверное, что-либо об отряде Попова.

И, наконец, мелькнуло.

В неведомой мне до тех пор газете «Кескипохьянмаа» от 15 декабря 1980 года появилась большая статья под заголовком «Горечь партизанской войны в чащобах Пенинги». Ее автор Аксели Оллила служил в 6-й роте 12-й егерской бригады, которая в течение месяца вела преследование партизан.

Аксели Оллила писал:

«Финны много раз пытались поймать партизанскую бригаду в капкан, перекрывая перешейки озер, но она то выскальзывала в лес, как мыло из рук, то прорывалась сквозь засады ценой больших потерь.

Отряд «Мстители» погиб полностью, оказавшись в окружении егерской роты нашего батальона под командованием Олави Алакулпи. Только паданский карельский парень остался единственным в живых из попавших в окружение. Для русских было в течение 30 лет неясным исчезновение отряда «Мстители» под командованием Попова. Разве паданский парень не вернулся из плена? Не бежал ли он во время передачи пленных в Швецию или даже в США?..

...Место боя — на краю лесной поляны, на поросшей красивыми соснами песчаной гряде. Влекомые шумом боя, мы прибежали на место боя, когда все уже закончилось».

По имевшимся у меня на тот период сведениям, в плену у финнов было четверо партизан из отряда «Мстители»: Иван Казимиров, Иван Со-

болев, Павел Оберемко, Петр Некрашевич. Все они попали в плен до отделения отряда от бригады, и никто из них не является ни карелом, ни уроженцем Падан.

Выходит, был пятый?

Итак — «паданский, карельский парень, оказавшийся в плену»... Кто он, и какова его судьба? Если жив, то он единственный, кто смог бы рассказать, что же произошло в трагический день 8 августа 1942 года... Но почему о нем ничего не известно у нас? Неужели он действительно предпочел не возвращаться из плена на Родину? Если он сделал это, то значит, на его совести был какой-то проступок, он совершил что-то такое, за что боялся расплаты...

Какой неблаговидный поступок он мог совершить?

Связь с противником и предательство исключаются, ибо в плену этот пятый оказался в ходе последнего боя. Да и какие важные сведения мог он выдать врагу, если в течение уже трех недель партизанская бригада двигалась по лесам, со всех сторон сопровождаемая финскими егерскими подразделениями? Что мог знать о маршруте рядовой партизан или командир отделения, если даже отрядные командиры узнавали о нем лишь перед выходом, а маршрут чуть ли не ежедневно — то вынужденно, то с целью маскировки — менялся. Состояние бригады, ее ежедневно убывающий состав, вооружение и потери также не составляли загадки для финнов, которые шли по пятам...

Если же он совершил какое-то преступление перед Родиной, уже находясь в плену, то советские контрольные органы, работавшие в Финляндии после перемирия, конечно же, знали бы об этом. Во всяком случае, какие-то свидетельства должны остаться среди официальных документов.

Конечно, и сам факт сдачи партизана на милость врага считался в военные годы тяжким проступком, даже наказуемым преступлением. Но здесь все зависело от обстоятельств, при каких это произошло. Одно дело, когда в плену оказывался тяжело раненный, беспомощный человек, и другое — если кто-либо поднял руки по трусости и малодушию.

Судя по всему, «пятый» не был ранен. Иначе Аксели Оллила не преминул бы упомянуть об этом. Не отсюда ли и последовало его логическое построение, что пленный партизан мог не вернуться на Родину, сбежать в Швецию или в США?

Кстати, и Соболев, и другие, побывавшие в финском плену, вспоминали, что за неделю до заключения перемирия между СССР и Финляндией лагерное начальство официально объявило пленным, что каждый, кто чувствует какую-то вину перед своими и не хочет возвращаться на Родину, может заявить об этом, и он будет переведен в другое место.

Нашлись и такие, кто заявил. Но сразу же среди пленных возникли самостийные трибуналы, которые не только судили, но и приводили приговоры в исполнение. Финское начальство, успевшее изолировать многих своих тайных осведомителей, уже не в силах было справиться с такими трибуналами, действовавшими по ночам. Оно накануне приезда советских офицеров из контрольной комиссии на многое закрывало глаза и опасливо ждало, какая будет расплата за прошлое.

Так что у «пятого» при желании были возможности сбежать на Запад. Но почему-то никак не верилось, что была в том необходимость. За годы войны десятки партизан и подпольщиков оказались в руках врага, встречались среди них и малодушные предатели, но мне неизвестны случаи побега в Швецию или в США. Предатели предстали перед советским судом.

Чем же все-таки вызвано предположение Аксели Оллила?

Много раз и подолгу вглядывался я в скупые строки статьи, у разных людей перепроверял точность перевода каждого слова, пока, наконец, не убедил себя, что фраза о дальнейшей судьбе паданского парня вовсе не намек, а всего лишь удивление бывшего финского фронтовика тем обстоятельством, что мы до сих пор так мало знаем о трагической судьбе отряда «Мстители».

Сразу стало легче на душе.

Надо искать «паданского парня», который после боя на высоте 195,1 мог оказаться в плену. По имевшимся у меня данным, конечно же, неполным и, как выяснилось позже, не всегда точным, такого в отряде «Мстители» на 8 августа 1942 года не было.

Я связался с заведующим партархивом Карельского обкома КПСС Александром Яковлевичем Ригиным, который по поручению секретаря обкома занимался историей отряда, познакомил его со статьей Аксели Оллила, просил еще раз проверить все архивные материалы.

Через какое-то время он сообщил, что в документах ничего обнаружить не удалось.

Осенью 1981 года в Петрозаводске проходил международный симпозиум историков, посвященный обсуждению темы «Выход Финляндии из войны». В составе финской делегации приехал и Хельге Сеппяля, с которым мы были заочно знакомы. Он знал меня по роману «За чертой милосердия», о котором дважды писал в газете «Хельсингин саномат», и консультировал финское издание, я с 1972 года был знаком с его монографией «Советские партизаны в годы второй мировой войны».

Мы оказались ровесниками. И даже наши военные биографии как бы зеркально отражали одна другую. В одно примерно время мы добровольцами пришли на войну, он долгое время находился на западном побережье Онежского озера, я — на восточном.

В последние годы он стал известным историком, автором ряда книг, множества статей, соавтором шеститомной, затем и двенадцатитомной финской «Истории второй мировой войны», преподавателем военной академии, подполковником генерального штаба.

Почти тридцать лет он считался авторитетным в Финляндии и преуспевающим официальным военным историком. Издатели охотно печатали его книги, газеты сами искали сотрудничества с ним. Но в последнее десятилетие в его взглядах стала заметна тяга к большей аналитичности, самостоятельности, независимости и даже полемичности в оценках тех или иных событий предвоенной и военной поры. Это не был поворот или отказ от прежних концепций, это была естественная эволюция углубления в правду, какую переживает, наверное, каждый историк, философ или писатель, если он честно и непредвзято относится к своему делу. В период, когда мы встретились, Хельге Сеппяля обдумывал книгу, которая через несколько лет выйдет под названием «Финляндия как агрессор в 1941 году» и вызовет переполох среди официальных военных историков. Остро полемичным было его выступление и на симпозиуме по вопросу выхода Финляндии из войны. Забегая немного вперед, скажу, что следующая его рукопись «Финляндия как оккупант в 1941—1944 гг.» уже не нашла среди финских издателей охотников выпустить ее в свет.

Два вечера мы провели в беседах — поначалу настороженных, потом откровенных, доверительных, даже дружеских, правда, несколько затрудненных из-за необходимости пользоваться услугами переводчика. Об этом сам Хельге Сеппяля вспоминал в очерке «Партизан из Петрозаводска» (журнал «Maailma ja me» № 9, 1983 г.):

«До встречи думал, даже немного опасался, каким окажется всамделишный партизан, который к тому же был ранен финнами в войну. Может, он непреклонный, недоступный, с печатью горечи и подозрительности. Встретил совершенно другого, чем предполагал, человека... Мы не чувствовали никакой неприязни друг к другу, скорее — наоборот, хорошо понимали друга друга. Общим у нас был не только возраст, но и наше знание войны».

Вот, казалось бы, редкий и счастливый случай с помощью финского специалиста-историка выяснить, наконец, обстоятельства гибели отряда «Мстители».

Я не преминул им воспользоваться.

Хельге Сеппяля охотно согласился помочь. В тот последний шумный и веселый вечер за ресторанным столиком все представлялось несложным и доступным. Мы оба искренне верили, что, конечно же, он найдет нескольких непосредственных участников событий, может быть, еще жив бывший командир 12-й финской бригады полковник Мякиниеми, точно жив бывший командир 5-го пограничного батальона майор Кивикко, вероятно, несложно будет отыскать лейтенанта Олави Алакулпи, ну и, естественно, надо будет встретиться с Аксели Оллила.

Через два-три месяца Хельге Сеппяля написал мне, что двух участников тех событий он нашел, они живут в разных городах и оба согласились на встречу. Ни фамилий, ни адресов он мне не сообщил.

Еще через какое-то время он известил, что оба финских ветерана от встречи отказались — один сослался на плохую память, второй давно дал себе зарок не бередить душу воспоминаниями о войне.

Но Сеппяля не теряет надежду, будет искать других...

Потом Х. Сеппяля надолго заболел, потом, наверное, нахлынули иные, более важные дела — он засел за рукопись новой книги, а быть назойливым мне не хотелось, да и сам я к тому времени был целиком поглощен работой над «Партизанской музыкой»...

Нет, не проявил я тогда настойчивости, и теперь искренне жалею об этом.

Ниточка с «пятым» оборвалась. И всплыла она совершенно неожиданно через два года.

V. ПАМЯТЬ, ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

1

Тем временем поиск разрастался.

Сергей Симонян с помощью печати и общественности отчаянно боролся в своем Суккозере, чтобы уберечь от порубок хотя бы высоту 195,1, коль не удалось спасти «Смерть-гору», и торопился тщательно обследовать полосу, прилежащую к Сидрозеру, где были сброшены для партизан продукты.

Тайсто Кайнулайнен в Паданах энергично продвигал дело с обустройством братской могилы в центре села, разыскивал родственников бойцов и командиров отряда «Мстители», завязывал с ними переписку.

Члены архангельской группы «Поиск», совершившие летом 1983 года первый выход на высоту 195,1, занимались розысками родственников своих земляков-партизан, активно печатали статьи и очерки в областных газетах, готовились к новому походу.

Свою тихую, внешне незаметную работу вела Полина Михайловна Кузьмина. К тому времени она уже вышла на пенсию, но продолжала оставаться «партизанской мамой», совершая поездки на партизанские встречи в Москву и Мурманск, Сыктывкар и Вологду.

Я еще не знал, что она уже установила, кто такая партизанка Надя, бывшая в плену у финнов. Ею оказалась Надежда Евгеньевна Шаманина из отряда «Полярник». Более того, партизанка Надя была жива, и путем переписки с местными краеведами удалось найти ее адрес.

Помню, когда Полина Михайловна рассказала мне о том, что партизанка Надя активно участвовала в побеге из лагеря военнопленных, я поразился самому факту успешного побега, но, занятый своими заботами, не проявил к нему особого интереса. Загадка отряда «Мстители», которая свелась к поиску «паданского парня», казалась мне куда более важной, а побег Нади с группой пленных выглядел неправдоподобно удачливым, и разве я мог думать, что одно с другим будет так тесно связано.

Тогда я и не предполагал, что «карельский паданский парень» окажется совсем рядом.

2

В 1983 году Павел Оберемко сообщил архангельским следопытам, что в медвежьегорском пересыльном лагере военнопленных находился еще один партизан из отряда «Мстители» — Алексей Грябин. Более того, позже, уже в 1985 году, он написал мне:

«В первую ночь Иван Соболев, Алексей Грябин и я пролежали на третьем этаже нар, и каждый из нас рассказывал, что знал. Я рассказал, как нашел останки отряда Попова и где. Алеша Грябин рассказал, как отряд Попова нарвался на засаду финнов, убит был радист, и Попов послал его и еще одного бойца в бригаду за подкреплением. До расположения бригады они не дошли, были обнаружены финнами. При перестрелке его напарник погиб, а его взяли в плен».

Трудно сказать, почему Павел не вспомнил о Грябине раньше.

Но не будем слишком строги — прошло столько лет, а какие странные зигзаги может вытворять несовершенная человеческая память, мы имеем случай убедиться не один раз. Не забудем, что в ту горькую пору Павлу Оберемко было всего лишь семнадцать лет. Вероятно, упоминание финского ветерана Аксели Оллила об оставшемся в живых карельском паданском парне оживило и его память. Кстати, и Иван Соболев в своих подробнейших воспоминаниях 1970 года ни словом не упомянул о Грябине и теперь в ответ на мой прямой вопрос признался: «Вас интересует Алексей Грябин. Я вам правду скажу, почти ничего не помню за него».

Ивану было тогда восемнадцать...

По официальным спискам безвозвратных потерь бригады Алексей Грябин, как и Павел Оберемко, числится умершим от голода до ухода отряда на последнее задание.

С Павлом Оберемко можно как-то понять: он заблудился, отстал, потерялся, а в тех условиях потеряться означало пропасть...

Но почему попал в число умерших от голода Алексей Грябин?

Это уже не первый случай неточностей в отчетных документах об отряде «Мстители».

Объяснить их можно только одним — отчет составлялся по памяти и по отрывочным пометкам в блокнотах комиссара бригады Н. П. Аристова и начштаба Д. И. Колесника, когда ни одного живого человека из отряда рядом не было. Несомненно сказывалось и стремление командования, чтобы число пропавших без вести было как можно меньше.

Но самое удивительное и загадочное наступило тогда, когда выяснилось, что Алексей Грябин погиб с оружием в руках в июне 1943 года на окраине родного села и вместе с двумя своими павшими товарищами, фамилии которых неизвестны, похоронен сначала на кладбище, а потом перенесен в братскую могилу в центре Падан. Его имя значится в книге памяти «Вечная слава героям», хранящейся в сельсовете.

Паданы — старинное карельское село, расположенное на западном берегу огромного Сегозера. До войны оно было центром Сегозерского района. Леспромхоз, сплавконтора, МТС, промкомбинат, средняя школа — и ни одного каменного здания в этом тихом, своеобразном селении, где приезжие быстро осваивали карельский язык, а дети местных уроженцев, окончив сельскую школу, стремились в Петрозаводск, чтобы продолжить образование, получить специальность.

Это село оккупационные власти считали образцовым местом для проведения в жизнь политики национального единения карелов и финнов. Политика эта давно и тщательно разрабатывалась не только идеологами активно действовавшего в Финляндии Карельского академического общества, но и на государственном уровне. В приказе по войскам от 10 июля 1941 года маршал Маннергейм так определил цель вступления Финляндии в войну на стороне Германии:

«Во время освободительной войны 1918 года я заявил, что не вложу меча в ножны, пока Финляндия и Восточная Карелия не будут свободными. Теперь день их освобождения близок».

О том, какими идеологическими приемами осуществлялась эта политика «национального единения», может свидетельствовать секретная инструкция, изданная 12 июля 1942 года цензурным ведомством Ставки Главного командования финской армии, в которой, среди множества других запретительных пунктов, предписывалось в печати и публичных выступлениях вместо слов «карельский язык» употреблять оборот «карельский диалект финского языка», а всех русских людей, даже если их предки жили здесь со времен Новгородской Руси, следует именовать не «коренными жителями», а «переселенцами».

На практике эта политика националистической экспансии проводилась при помощи «кнута и пряника».

Кнут — для «русских пришельцев». Пряник — для «родного младшего брата», которого «пришельцы» притесняли на протяжении двадцати советских лет.

Для политики заигрывания и привлечения Паданы были особенно подходящи, так как русских в оккупированном селе почти не осталось.

Здесь для местного населения издавалась газета «Паданские вести», работала школа на финском языке, действовали православная и лютеранская церкви, больница; молодежь поощрялась к сближению с финскими солдатами, поддерживался интерес к прошлому, к фольклору и этнографии, проводились калевальские праздники — внешне все по-братски, благопристойно и радушно.

Но изнутри-то бурлило. Чем больше длилась оккупация, тем стремительнее убывало у финнов доверие к «соплеменникам». Это можно заключить по пространным секретным донесениям районной комендатуры, которые она ежемесячно и ежеквартально направляла в Военное управление. Следить приходилось чуть ли не за каждым — кто что сказал, как реагировал, как вел себя в дни традиционных советских праздников 7 Ноября или 1 Мая.

Много больших и малых событий произошло в Паданах за три года оккупации. В окрестных деревушках погибли несколько советских разведывательных и подпольных групп, в том числе расстреляна отважная разведчица-комсомолка Мария Мелентьева, Герой Советского Союза. Наряду с примерами истинного героизма были, конечно, случаи малодушия и прямого предательства. Но возродить «соплеменные чувства» оккупационным властям так и не удалось. Летом 1944 года, когда в результате развернувшегося наступления советских войск финнам пришлось спешно убираться из сегозерских краев, местное население, несмотря на уговоры и запугивание, не двинулось вслед за ними. Более того, весь последний год оккупации возрастало сопротивление мероприятиям финских властей. Возвращения своих ждали в открытую, ведь почти в каждой семье сын, муж или брат служили в Красной Армии. Незадолго до освобождения в Паданах и ближайших деревнях был сформирован партизанский отряд, куда охотно вступили и пожилые мужчины, и подросшие за войну юноши.

Финны сознавали провал своей политики, но у них хватило дальновидности не прибегать к массовым репрессиям, тем более что исход второй мировой войны уже не вызывал сомнений.

Историю с Алексеем Грябиным знали многие жители села. Одни были очевидцами, другие помнили по слухам.

Александра Сергеевна Сидорова вспоминает:

«Мы жили по соседству с Грябиной Анной Яковлевной, матерью Алексея. В конце августа, а может, в начале сентября 1942 года к ним в дом вошли финские солдаты и с ними человек в солдатской русской шинели. Мы, подростки (мне было тогда 16 лет), конечно, поспешили туда, узнать в чем дело. Войдя в дом, увидели человека в шинели, обросшего, грязного, в рваных ботинках. Это был Алексей, сын Анны Яковлевны. Он стоял перед ней и, плача, пытался что-то ей объяснить, но она гневно ругала его всякими словами и, не приняв в дом, не дав ни есть, ни пить, прогнала его вместе с солдатами. Из отрывков слов Алексея мне запомнилось, что воевал он где-то под Тумбой, в партизанах. Их отряд разбили, он более двух недель шел по лесам, питаясь одной брусникой. Обессиленного, его подобрали финские солдаты. Мать прогнала его, очевидно, подумав, что он сдался в плен добровольно, она была по-своему патриоткой и очень переживала, что сын предался финнам. Солдаты увели Алексея и отправили в концлагерь».

А вот и второй эпизод, случившийся в следующем году.

Ф. П. Сонников сам не был очевидцем его, но хорошо помнит, что рассказывалось в селе об этом:

«Летом 1943 года в село пришли трое наших, одетых в форму финских солдат. На одном была форма финского егерского офицера. В начале села они встретились с финским сержантом, который заподозрил что-то неладное, потому что офицер неправильно ответил на приветствие. Сержант сообщил об этом коменданту села, и им вдогонку (дорога шла от Падан к мосту) выслали финских солдат на велосипедах. Между Паданами и Терманами (так называется деревня у моста) между нашими и финнами был бой, все трое погибли. В одном из них, который был в форме офицера, признали Алексея Ивановича Грябина, и мать его, Анна Яковлевна, была выслана в концлагерь. Хоронить погибших финны не разрешили, так они и лежали в болоте больше года, до прихода наших войск и освобождения села. Паданы освободили 30 июня 1944 года, а осенью тела погибших были захоронены в братскую могилу на кладбище, а затем в 1957 году были перезахоронены в ныне существующую Братскую могилу».

Записи обоих воспоминаний сделал в феврале 1984 года Тайсто Кайнулайнен.

Когда я впервые прочел их, то пережил состояние восторга и смущения. Нет, это не просто два свидетельства о прошлом. Это же два эпизода из единой, складывающейся на наших глазах народной героической легенды о матери и сыне в суровую годину войны! Это же традиционный фольклорный сюжет о матери, отринувшей неверного присяге сына, который потом, искупая вину, гибнет в неравной схватке с врагом чуть ли не на пороге родного дома. Значит, живы еще славные героические и эпические традиции в карельском народе, коль в наш далеко не фольклорный век рождает он события и сюжеты такой драматической силы! Самое подходящее место ему — в поэтической руне новой «Калевалы», или в былине, или в исторической песне. Даже в современной поэме автору пришлось бы многое додумывать, во всяком случае, объяснять читателю, как сыну удалось бежать из плена, где взял он вражескую форму и оружие, зачем на безрассудный шаг и на гибель потянул за собой двух товарищей.

А мне нужны были только реальные факты.

К счастью, такие факты хотя и не сразу, но нашлись.

Не было сомнений в основном. В том, что Алексея Грябина могли приводить и, конечно же, приводили к матери на опознание, коль в плен попал он за далекой Тумбой, а по пути в лагерь военнопленных в Медвежьегорске Паданы никак не минуешь. И в том, что погиб он через год в своем родном селе: многие помнят трагический эпизод, как матери пришлось вторично опознавать теперь уже мертвого сына, как с криком «Сынок мой!» упала она без сознания на холодный труп, а затем была выслана финнами в концлагерь Колвасъярви. Кстати, в том лагере отбывала наказание за помощь подпольщику, оказавшемуся финским провокатором, жена карельского писателя Антти Тимонена — Элина Степановна, и она очень хорошо помнила волевую, суровую паданскую карелку Анну Яковлевну Грябину.

Да, грустно было сознавать, что «единственный оставшийся в живых карельский паданский парень» уже не сможет рассказать, как и при каких обстоятельствах погиб отряд «Мстители».

Сам он пал последним. Пусть произошло это не 8 августа 1942 г. на героической безымянной высоте, а через год, на черном болоте возле паданской дороги, но погиб он по-партизански, с оружием в руках.

Нет, не бежал он ни в Швецию, ни в США, как легко вообразил себе Аксели Оллила, не затаился в плену, пережидая лихое время...

Он уже не может быть свидетелем. Но судьба его становилась как бы олицетворением чести всего отряда. Ведь отряд погибает не тогда, когда погибает командир, а тогда, когда падает сраженным последний боец.

Алексей Грябин был последним...

От того, как он оказался в плену, как вел себя в лагере, как совершил побег, где достал финскую форму и оружие, чем было продиктовано отчаянно рискованное появление троих беглецов в селе, занятом противником, зависело очень многое для понимания души этого парня, судьба которого невольно падала светом или тенью на весь отряд.

Значит, нужно было заниматься побегом.

Требовались не только пересказы и воспоминания, которые из-за давности лет уже обильно сдобрены чертами легендной красивости или субъективными аберрациями памяти, а какие-то документальные свидетельства из того времени.

3

После долгих поисков наконец-то удалось с помощью работников карельского облпартархива найти свидетельство и самой Анны Яковлевны.

В одном из фондов хранится запись воспоминаний А. Я. Грябиной «Жизнь в неволе». К сожалению, не оригинал, а машинописная копия — без подписи, без указания, кто и когда записывал. Вероятнее всего,

запись сделана сразу после войны, когда карельские историки в течение ряда лет предпринимали экспедиции по сбору материалов о партизанах и подпольщиках, о жизни советских людей в оккупации. Предполагалось издать сборник, но он так и не вышел в свет.

К еще большему сожалению, машинописная копия оказалась уже отредактированным и литературно обработанным вариантом. Но и он дает представление, как воспринимала Анна Яковлевна все случившееся с ее младшим сыном.

«Был у меня сын Алексей, на меня похожий. До войны он окончил в Паданах 7 классов и уехал учиться в ФЗУ в г. Беломорск. Сказывали, что оттуда сын ушел в партизанский отряд. Позже выяснилось, что мой Алешенька в бригаде Ивана Антоновича Григорьева воюет с финнами. Летом 1942 года бригада ходила в поход, в тыл к финнам в Сегозерский район. Когда партизаны пришли в тыл, финны метались, как звери в клетке. И мы знали, что в районе есть партизаны. Чуяло мое сердце, что мой сын вместе с партизанами ведет неравный бой. Вдруг узнаю, что он попал в плен.

В августе 1942 года его привели в Паданы. На него было страшно смотреть: худой, как тень, черный, оборванный. Потом рассказал, что 20 дней дрались без продуктов.

На допросе финны при мне говорили моему сыну, что в России плохо жить, что там нет даже хлеба и русские проиграли войну. Леша по молодости своей ничего не боялся. Грубо ответил следователю, что Россия богата всем, и хлеба хватит на 10 лет войны, а также и вооружения.

Я как услышала эти слова, от страха сердце так и упало, сейчас убьют его и меня. Я тогда сыну по-русски говорю, чтоб замолчал, иначе оба погибнем. А он отвечает со злостью, что ему обидно то, что он в плену, и противно слышать, как финны презрительно кличут всех «рюсся»... К счастью, финны по-русски не понимали.

Сына моего куда-то увели. Но мне надо было как-то кормиться. Пришлось стирать белье «лоттам» (члены женской военизированной организации «Лотта Свярд» — Прим. авт.). От «лотт» позднее узнала, что сыну предлагали вступить в финскую армию. Он отвечал им, что против своих воевать не пойдет, пусть лучше убьют. «Лотты» говорили мне, что Лешу не убивают только потому, что он еще молод.

Через некоторое время сына отправили в Медвежьегорск. Я дала ему кое-что с собой. Его сразу же бросили в подвал, одежду отобрали, лишь хлеб оставили. Из Медвежьегорска пленных приводили работать в Паданы, здесь они работали месяц. Однажды из окна увидела, как вели на работу сына. Я побежала к нему, успела дать чего-то покушать.

Из Медвежьегорска Леша с товарищами убежал. Это было в мае 1943 года. Всюду их искали, говорили, что убежали из лагеря 12 человек. Но я знала, что к нам в район пришли только трое.

Вскоре ко мне пришли финны, сказали, что я арестована, и увезли в деревню Топорная гора, Сегозерского района. Здесь поселили временно. Как-то ночью за мной приехала легковая машина, пришли двое финнов, приказали одеться. В машине меня стали бить, ругать. Кричат: «Ты — мать разбойника, тебя надо, как муху, убить». Я сижу в машине ни жива, ни мертва. Машина остановилась. Офицеры вышли и меня вывели. Смотрю и глазам не верю: лежит мой сыночек Леша, совсем, как живой, лицо белое, волосы и брови черные.

У меня сердце обмерло.

Спрашивают меня, мой ли это сын. Как не признаться...

Но финны даже не пустили меня приклониться к дорогому, отлить душу еще раз, по лицу погладить. Офицеры стали на меня кричать:

— Старая ведьма, вырастила разбойника!

Тут же на дороге лежали осколки гранаты, стреляные гильзы, то тут, то там — кровь. Офицер сказал, что это дело рук моего сына.

Потом «лотты» рассказывали мне, что он был в форме финского майора. Но ведь у финнов же все майоры пожилые, а Леша этого не смекнул, вот его и узнали.

Меня финны привезли в штаб. Всю ночь здесь держали, всю ночь допрашивали, били... Хотя я вся была в синяках, но выдержала, ничего им не

сказала. После этого финны увезли меня в лагерь, в Колвасъярви, Ребольского района, где я находилась до 1945 года».

Позже, когда станут доступными некоторые финские архивные документы, в «Списке задержанных русских подданных во время войны», составленном контрольным отделом Генштаба финской армии, можно будет прочесть:

«Грябина Анна, рабочая лесобиржи, 1892 г. рожд. Задержана 26.06.43 г. по подозрению в оказании помощи бежавшим военнопленным и за подстрекательство против властей. Отправлена 28.06.43 в Колвасъярвский концлагерь».

Для меня это первый официальный документ военного времени, подтверждающий, что побег из лагеря военнопленных действительно был и что в нем участвовал Алексей Грябин, коль его мать подозревалась в оказании помощи бежавшим.

Судя по всему, оккупационные власти давно чувствовали недоверие к этой семье.

В материалах, присланных мне из Финляндии, есть протокол допроса Анны Яковлевны Грябиной, проведенного 28 сентября 1942 года, т. е. примерно через месяц-полтора после того, как попавшего в плен сына Алексея приводили в Паданы к матери для опознания. Поводом для следствия послужило то, что у А. Я. Грябиной «отсутствует справка на проживание, хотя таковая ей была ранее выдана».

В подробном, на нескольких страницах машинописи, протоколе существу дела, т. е. утрате справки, отведено несколько строк, но зато следователь прапорщик Эркки Иоэнпелто в присутствии свидетеля Хилки Кийски особенно тщательно интересовался и записывал сведения о всех родственниках Анны Яковлевны — о ее отце, матери, сестре, муже сестры, о довоенной жизни и об их отношениях с Советской властью, о дочери Александре и сыновьях Николае и Алексее.

«Справка на право проживания» была тут же немедленно выдана, а протокол допроса в трех копиях направлен в соответствующие вышестоящие органы, о чем засвидетельствовано в самом протоколе.

Был ли этот допрос только соблюдением формальности? Навряд ли. Зачем в таком случае потребовался такой обширный протокол, такие подробные сведения не только о детях, но и о каждом родственнике А. Я. Грябиной, которую в Паданах знал каждый — стар и млад?

Конечно же, это если не прямо, то косвенно связано с судьбой Алексея. И дело скорее всего не в подозрении, что мать могла передать кому-то свою справку на право проживания на оккупированной территории, а в намерении еще раз, спокойно и ненавязчиво, пользуясь удобным случаем, выявить настроения и атмосферу в семье. Ведь каждый военнопленный-карел неизбежно проходил долгую и не всегда ему заметную процедуру обработки на «пробуждение соплеменных чувств», если даже решительно отказывался от службы в финской армии.

VI. ВОЕННОПЛЕННЫЙ № RE-1119

1

Помощь пришла с неожиданной стороны.

Есть в Финляндии в восточной части губернии Оулу небольшой городок Кухмо, расположенный неподалеку от советско-финской границы. Он совсем небольшой — всего четырнадцать тысяч жителей, но это не поселок, а именно городок, с современными благоустроенными зданиями, с торговым и культурным центром, со своей ежедневной газетой и с острыми социально-политическими страстями, которые вот уже долгое время кипят вокруг главной проблемы — как справиться с безработицей, где найти занятие для двадцати процентов свободных рабочих рук?

Целое десятилетие, до 1985 года, острота этой проблемы была снята тем, что по другую сторону границы, в ста километрах от Кухмо, строился советский горняцкий город Костомукша. Перед началом трудовой недели несколько сот финских строителей из Кухмо на автобусах и ав-

томашинах стремительно мчались по прекрасному, специально проложенному шоссе, пересекали государственную границу, пять дней споровисто и качественно работали, жили в самими возведенных общежитиях, которые справедливее называть гостиницами, вечерами посещали интернациональный клуб, а в субботу вереницы машин неслись обратно.

Мэр города Вейкко Тикканен считает, что для Кухмо это была самая благодатная пора, принесшая пользу как финской, так и советской стороне. Он мечтает о новом совместном проекте, а в знак прежнего, уже осуществленного, Кухмо и Костомукша в 1987 году объявили себя городами-побратимами.

Конечно, в строительстве Костомукши участвовали рабочие из многих других финских городов, прилегающих к границе, но у Кухмо на побратимские связи есть особые права и преимущества.

Именно здесь в 1983 году возникло первое и пока единственное в Финляндии своеобразное заведение — «Горница культуры Советской Карелии».

Что это — музей? Можно считать его и музеем, ибо все здесь, как в настоящем музее: стенды, экспонаты, оригиналы картин и рукописей, фотокопии архивных документов и снимков по истории Карелии, выставка книг карельских писателей...

А может быть, это клуб?

Годится, наверное, и такое определение, ибо здесь часто собираются активисты местного отделения общества «Финляндия — Советский Союз». «Горница» постоянно проводит встречи с советскими людьми, приезжающими в Финляндию, организует вечера и лекции по культуре Карелии в школах и даже университетах.

Очень оригинальное и своеобразное это заведение, которое финны для простоты и краткости именуют «Карельская горница»!

Инициаторами ее создания стали супруги Маркку и Сирпа Ниеминены.

Многое можно сделать, если очень захотеть. Даже в условиях, когда твоя инициатива встречает не только одобрение (о материальной поддержке и речи пока не шло), но и скрытое противодействие.

Кому это нужно? Зачем тащить в Кухмо советскую культуру, которая насквозь пропитана коммунистической идеологией? Одно дело — экономическое сотрудничество и другое — идеология. Если уж и устраивать «Карельскую горницу», то не лучше ли ограничить ее тематику старинными временами?

Такие вопросы в деликатной форме могли задаваться и задаются до сих пор вслух, а что при этом думают их авторы, догадаться нетрудно.

Ниеминены подошли к своей задумке по-деловому.

С 1979 года они несколько раз посетили Карелию, близко познакомились с писателями, художниками, композиторами, театральными деятелями, нашли у них поддержку, сделали сотни снимков и фотографий, составили примерный план экспозиции и около двух лет ждали, пока уйдет в отставку прежний мэр города, который из-за своих политических убеждений наверняка похоронил бы планы молодых супругов-коммунистов.

Пришедший ему на смену Вейкко Тикканен тоже не коммунист. Он представитель партии центра, но он живой, благожелательный человек с широкими взглядами реалистического руководителя. Не менее двух часов он внимательно рассматривал фотодокументы, думал, прикидывал, и судьба «Карельской горницы» была решена. Из фондов городского управления ей выделили и отремонтировали помещение, и вот уже четыре года этот необычный музей привлекает все больший интерес жителей не только Кухмо, но и других городов Финляндии.

У мэра уже созрел план создать возле «Горницы» туристический комплекс, построить гостиницу, новое помещение для экспозиции, тем самым привлечь в Кухмо поток автопутешественников и дать постоянную работу какой-то части горожан. Все это он намерен осуществить в полтора-два года.

Многое может человек, если сильно захочет.

В преддверии 150-летнего юбилея первого издания «Калевалы» Маркку Ниеминен задумал снять полнометражный документальный фильм «Память поколений» — о продолжателях традиций народных карельских рунопевцев. Нет, сам Маркку не кинематографист, не режиссер и не оператор. Он публицист. Да и фильм, задуманный им, должен был обойтись без заранее написанного литературного сценария. Живые натурные съемки того, что связано с фольклорными традициями в современной Карелии, и комментарий карельского поэта Яакко Ругоева. Никаких заранее отрепетированных, поставленных кадров и сюжетов, все должно быть естественно и просто, как в жизни. Комар на лице человека, показываемого крупным планом, отмахивание или прокашливание не должны считаться браком при съемках, а, наоборот, будут придавать фильму предельную жизненную достоверность.

Своим замыслом Маркку Ниеминен заинтересовал кинофирму «Илокува».

При слове «кинофирма» в нашем воображении возникает представление об огромном, солидном предприятии с сотнями штатных сотрудников, с многомиллионными затратами, с несколькими творческими объединениями, возглавляемыми именитыми режиссерами.

Ничего подобного в Финляндии нет, хотя существуют и работают несколько кинофирм.

«Илокува» — это два человека: сам хозяин фирмы кинодокументалист Ласси Науккаринен и его жена Эйла. Все остальное появляется по мере надобности. У фирмы нет даже собственной аппаратуры, она арендуется на период съемок у прокатной организации. Ласси и Эйла владеют несколькими смежными профессиями, как сказали бы мы. Они и сценаристы, и режиссеры, и звуковики, и монтажеры, лишь при необходимости берут на время платных помощников, а все основное проходит через их руки. Их документальные ленты участвовали во многих кинофестивалях и в западных странах, и в Советском Союзе, получали международные призы.

Ласси не заинтересован в укрупнении или расширении фирмы. Он считает, что условия скромного существования дают ему и Эйле бóльшую свободу творческого выбора, чем это возможно на огромной кинофабрике. Они снимают то, что им нравится. Даже при неудачах им не приходится думать, где завтра взять денег на зарплату штатным сотрудникам. Зато когда выбор сделан, интересная тема найдена, обдуман сценарий и абонирована необходимая аппаратура, тут нет времени на раскачку, работа идет быстро и целеустремленно.

Я был свидетелем, как на приречной поляне возле Петрозаводска снимались летом 1984 года некоторые эпизоды фильма «Память поколений». Ни суеты, ни мегафонного ора на всю округу, хотя снимались массовые действа — выступление студенческого фольклорного ансамбля Петрозаводского университета. Все делалось так, что и сами студенты навряд ли знали, снимают ли их в это время и где находится камера.

Материал для двухчасового фильма «Память поколений», впоследствии поделенного для удобства телевидения на три самостоятельные серии — «Ветер с Куйтто», «Люди со школьного портрета» и «Деревня и город», — был снят в Карелии за какие-то три недели, включая дни переездов из Петрозаводска в Калевалу, Вокнаволок, Костомукшу.

Фильм демонстрировался по первому каналу финского телевидения, отдельные серии показывались в Англии, Франции, ГДР, третья серия участвовала в Московском кинофестивале 1987 года и будет дублирована для проката в Советском Союзе.

В каждый свой приезд в Карелию Маркку Ниеминен рвался посетить село Паданы, но всякий раз из-за наших бюрократических неувязок, а может, и намеренных предосторожностей, поездка туда срывалась. Как видно, кое-кого смущало и настораживало то обстоятельство, что в годы оккупации отец Маркку — офицер финской армии Саул Ниеминен — служил в Паданах редактором местной газеты «Паданские вести» и был военным пастором. Но именно это-то обстоятельство и тянуло туда сына-коммуниста, много лет работающего над романом о разных судьбах двух поколений финской семьи.

Они — младший и старший Ниеминены — давно уже исповедуют разные взгляды, даже живут в разных городах, хотя, конечно же, остаются отцом и сыном. Прошлое отца вольно или невольно продолжает жить в душе сына. Каким-то он был тогда, его родной отец, пришедший на чужую землю не только с оружием, но и со словом увещевания, печатным

и божьим? Каким он запомнился жителям Падан, к которым обращался в те дальние годы со статьями в газете и с церковными проповедями?

Много лет Маркку Ниеминен тщательно собирает материалы о жизни карельского села в годы оккупации, о политике финских военных властей, об их далеко не простых отношениях с соплеменниками. Сам он родился после войны, в иные времена советско-финских отношений, и, конечно же, ему нужны немалые усилия, чтоб естественно, зримо и достоверно представить себе обстановку сорокалетней давности.

Нам было о чем поговорить — наши интересы сошлись не только на одном времени, но и на одной географической точке.

В январе 1984 года я рассказал ему все, что удалось мне узнать в Паданах об Алексее Грябине, и попросил посмотреть, не найдется ли в финских архивах военного времени каких-либо документов о побеге советских военнопленных из Медвежьегорского лагеря летом 1943 года.

Через полгода, когда Маркку вместе с Ласси Науккариненом приехал в Карелию на съемки фильма «Память поколений», он вручил мне ксерокопии трех документов, связанных с семьей Грябиных.

Два из них я уже цитировал в предыдущей главе, а третий оказался самым важным. Это была своеобразная типографски отпечатанная анкета, заполненная на пишущей машинке.

Приведу ее полностью:

«Лагерь военнопленных № 31

Приметы, номер и группа военнопленного: RE-1119

Единица беглеца — № 9

УБЕЖАВШИЙ ВОЕННОПЛЕННЫЙ

1. Ф. И. О. — **Миронов Иван Иванович**

2. МЕСТО И ГОД РОЖДЕНИЯ: **20.8.24, Паданы**

3. МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: **Паданы**

4. ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ:

Гражданская специальность: **ученик**

5. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: **карел**

6. ЛАГЕРЬ ВОЕННОПЛЕННЫХ, ОТКУДА УБЕЖАЛ: (не заполнено)

7. ВРЕМЯ БЕГСТВА: 13.6.1943. **Между 2.15 — 6 часами**

8. ПРИМЕТЫ:

ВЫСОТА: **около 175 см**

КОРПУС: **крепкого телосложения**

9. ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: **Умер 26.6.1943 в Паданах**
(поздняя пометка от руки)

10. ОДЕЖДА: **Предположительно одет был в летнюю финскую гимнастерку, т. к. лагерная одежда была спрятана**

11. ОДНОВРЕМЕННО УБЕЖАВШИЕ:

RE — **1259 Каммонен Тойво Федорович**
RE — **728 Орлов Николай Васильевич**
RE — **479 Комлев Николай Иванович**
RE — **841 Семенов Михаил Васильевич**
RE — **245 Афанасьев Павел Васильевич**
RE — **359 Яковлев Иван Владимирович**
RE — **554 Иванов Иван Андреевич**
RE — **244 Шаманина Надежда Евгеньевна**

12. В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ УБЕЖАЛИ: **Вероятно в направлении Шарвары и Паданы**

13. КАКИЕ ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ЗАДЕРЖАНИЮ БЕГЛЕЦОВ: **Тревоги по линии фронта. Организовано преследование.**

14. ЗАДЕРЖАН: **мертвым**

ВРЕМЯ И МЕСТО: **26.6.43. Паданы** (поздняя отметка от руки)

15. ПРИМЕЧАНИЯ: . . . .

16.6.1943
Начальник лагеря
капитан **РИСТО САМПОЛА**
Копия заверена:
капитан **Р. ФРАНК»**

Сложные раздумья вызвал у меня этот документ.

Судя по тому, что бланк анкеты отпечатан типографским способом, с уверенностью можно заключить, что побеги советских военнопленных из финских лагерей были явлением далеко не редким. Это не могло не вызвать чувства гордости за людей, попавших в беду и не смирившихся с положением невольников. В условиях плена побег — это высшая и самая активная форма сопротивления. Для противника это «тревога по линии фронта», это отвлечение сил на поиски и преследование, которые в данном случае длились почти две недели. Как потом выяснится, в действие были приведены все сторожевые посты финской линии охранения от Сегозера до Елмозера, а в лесные дебри направлялись группы и мелкие подразделения для наблюдений за местностью и перехвата.

Никто до сих пор не сосчитал, сколько подобных побегов было совершено за годы Великой Отечественной войны. Да и можно ли их сосчитать, коль многие, если не большинство, завершились этой равнодушной пометкой в анкете беглеца: «Задержан мертвым»? Не пора ли нам понять, что героизм побега из плена ничем не отличается по самоотверженности и патриотизму от фронтового героизма. Это та же форма партизанской войны...

Горько видеть, что даже у ревниво ратующих за честность финнов не хватило мужества написать: «Убит при задержании».

Но где же Алексей Грябин?

Все вроде бы сходится — и время побега, и место гибели, и приметы внешности, и биографические данные — разве что год рождения убавлен на единичку. Но почему же тогда — Миронов Иван Иванович?

На мои недоумения добродушный, улыбчивый богатырь Маркку Ниеминен развел руками:

— Наверное, псевдоним.

Я и сам предполагал это. Но какой же может быть псевдоним у человека, если его приводили на опознание к матери в родное село и соседи были свидетелями этого? Да и зачем Грябину псевдоним?

А вдруг тот, кто погиб на окраине Падан и кого все принимали за Алексея, вовсе и не Алексей Грябин? Ведь финны и близко не подпустили односельчан к месту происшествия, хотя многие отмечают, что лица погибших были изуродованы взрывом гранаты. Но мать, она-то видела мертвого сына и опознала его? Тут ошибка исключается...

При чем же тогда Миронов Иван Иванович?

На всякий случай я вновь сверился с картотекой партизанского архива и, к великому изумлению, обнаружил, что Миронов Иван Иванович, родившийся в 1925 году в деревне Сельга неподалеку от Падан, числится среди участников партизанского движения. Он вступил в отряд, организованный секретарем подпольного райкома партии И. Калининым в Сегозерье летом 1944 года, а до этого жил в оккупации. Тот, настоящий И. И. Миронов, и сейчас живет в родных краях, ничего не знает, что его имя и фамилия значились в финских документах среди военнопленных медвежьегорского лагеря.

Было от чего прийти в недоумение.

К счастью, вскоре многое прояснилось.

2

В который уже раз я убеждался на своем опыте, что в поисковой работе при каждой новой, даже маленькой находке, нужно заново пройтись по своим следам. Когда о событии знаешь лишь разрозненные факты, которые к тому же в чем-то согласуются друг с другом, а в чем-то вступают в противоречие, то каждая свежевыявленная деталь рождает как бы новую ситуацию. Позади наверняка обнаружится что-либо такое, что прежде не бросалось в глаза, казалось ничего не значащим, а теперь, в ином контексте, вдруг обретает важный смысл и дает толчок к новому продвижению.

В архангельской группе «Поиск» вокруг имени Грябина бушевали страсти. После первого похода на высоту 195,1 летом 1983 года поисковики установили переписку с Павлом Оберемко, забросали его вопросами, в ответах обнаружили кое-какие расхождения с тем, что рассказывал он

осенью 1942 года Ивану Соболеву, и возникла атмосфера если не подозрения, то сомнений. Больше всего их настораживало то, что Оберемко рассказал о Грябине лишь теперь. И не просто теперь вспомнил, а написал поисковикам подробности:

«...как вы уже, наверное, знаете, в живых оставался один только человек. Это Грябин, сам он с Падан. С ним я потом встретился в лагере в Медвежьегорске. Он рассказал, что отряд попал в засаду, завязался бой, радиста убило, Попов был еще жив, и он приказал Грябину и еще одному человеку, чтоб они связались с бригадой и пришли им на выручку. Напарника убило, а он сам попал в плен. Он парень на редкость неразговорчивый, и из него буквально каждое слово приходилось вытягивать. Еще он рассказал, что Бузулуцков, это наш комвзвода, будучи раненным, застрелился. Вот и все, что я мог добиться от него. Из плена Грябин не вернулся...»

Основываясь на этом, комиссар архангельской группы «Поиск» инженер Сергей Яковлев с молодой прямотой и запальчивостью в письме от 11 марта 1984 года допытывался у меня:

«Спрашивается, какой ценой Грябин (а Алексею было всего 19 годков) остался жив и был, заметьте, даже не ранен. Какой ценой?

...Спрашивается, зачем ему надо было погибать летом 1943 года? Может, для того, чтобы остаться живым?..»

В те дни ни я, ни тем более Сергей Яковлев еще не располагали теми документами о побеге военнопленных, которые через три месяца привез из Финляндии Маркку Ниеминен. Да и сам побег с оружием и переодеванием в финскую форму тогда еще представлялся не столько реальностью, сколько легендой. Мне и самому не раз приходила в голову мысль: не слишком ли похожа паданская история на какую-то заранее спланированную инсценировку? Возникали даже заманчивые сюжеты с двойными и тройными неожиданными зигзагами.

Основа-то вот она: трагедия отряда, плен, мать и сын, обработка финнами юного «соплеменника», инсценировка побега из лагеря с целью засылки шпионов на советскую сторону, мистификация боя возле Падан и т. д. и т. п. Имеющиеся документы и свидетельства дают прекрасную возможность для такой версии. Недостающее можно слегка подвыдумать, выдержав в стиле и духе времени. Убавится документальности, зато прибавится занимательности. Кто разберется, кто осудит? Ведь у автора есть извечное право на домысел, на свою версию в трактовке даже более значительных, чем паданское, исторических событий...

Нет, я нисколько не осуждал крайностей в предположениях своих молодых архангельских коллег. Я понимал, что их максимализм проистекает не только от чрезвычайного распространения у нас приключенческих книг и телесериалов, где предательство, двойная игра и взаимная слежка являются обязательным атрибутом сюжета, но и от стремления как можно скорее найти наконец какое-то объяснение трагедии партизанского отряда «Мстители».

В ответных письмах я предостерегал их от поспешности и категоричности в выводах, просил в переписке и в беседах с ветеранами войны, особенно с побывавшими в плену, быть предельно тактичными, не брать на себя прокурорских функций, не ловить их на противоречиях, ибо, как показало время, человеческая память через столько лет способна на странные искажения. Например, я был убежден, что утверждение П. Оберемко о невозвращении Грябина из плена родилось под воздействием предположений финского ветерана Аксели Оллила, дошедших до Оберемко через пересказ самих следопытов.

Так оно и оказалось впоследствии.

Летом 1984 года Карелия широко отмечала сорокалетие освобождения от оккупации. В ряду других торжеств во многих районах проводились отрядные слеты бывших партизан.

Волнующее, трогательное и всегда щемяще-печальное это событие — встречи ветеранов! И через двадцать, и через тридцать, а особенно через сорок лет после войны... Ведь такая встреча — это возвращение в партизанскую юность. И каждый из нас стремится быть похожим на себя, каким был сорок лет назад — молодым, крепким, отчаянно-разворотливым и бахвально-задиристым. Но, увы, это уже невозможно. И все три дня мы немного играем самих себя, какими были когда-то. Трудно нам — седым, дряхлеющим, потрепанным судьбой и хворями — быть похожими на себя в юности, но мы стараемся изо всех сил и счастливы, когда что-то получается...

Бесспорно получается одно — наши партизанские песни. Нет уже среди нас былых запевал — начштаба отряда «Боевые друзья» Павла Федоровича Смирнова, комвзвода Михаила Алексеевича Николаева, — но под аккомпанемент профессионального молодого баяниста в автобусах во время разъездов по местам боев или за праздничным столом мы поем так же искренне, задушевно и самозабвенно, как пели когда-то в партизанской землянке. И в такие минуты мы действительно молодели.

На этот раз по десять — пятнадцать человек собрались из каждого отряда, которые некогда насчитывали по сотне бойцов.

Впервые на партизанские слеты были приглашены Иван Соболев и Павел Оберемко...

Для меня это был прекрасный и долгожданный случай не только наконец-то лично познакомиться и побеседовать с каждым из них, но и развеять сомнения, попытаться отделить реальное в их воспоминаниях от позднейших наслоений.

Тем более, что передо мной уже лежала финская анкета «убежавший военнопленный» с фамилиями всех девяти участников побега, о которой еще никто не знал.

Они оба весьма непохожие, Павел Георгиевич и Иван Филиппович. Оберемко — невысокого роста, но плотный, кряжистый, живой по характеру и словоохотливый. В его быстром взгляде и свободном поведении чувствуются воля и уверенность, даже что-то руководящее, хотя руководящих должностей он никогда не занимал. Он как бы всегда обращен к людям, готов в любую минуту поддержать шутку. Наверное, он хорошо смотрится за дружеской пирушкой и непременно бывает в центре компании.

Соболев — другой. Он шахтер, тридцать лет проработал под землей, но нет в нем ни могучести телосложения, ни привычной шахтерской самоуверенности и шумливости. Он тих, незаметен, на людях старается держаться в тени и обликом напоминает сельского интеллигента, скорее всего школьного учителя, погруженного в свой предмет. Возможно, это впечатление создают очки, которые он теперь постоянно носит.

Они и вспоминают по-разному.

Прошлое для Павла Георгиевича как бы давно уже кончилось, улеглось, укрупнилось и стало уделом лишь ума и памяти. Он вспоминает охотно, быстро, оживленно, с доверием относясь к чужому уточнению. Ему важны факты, и он с одинаковой степенью подробности рассказывает и о том, что видел и пережил сам, и о том, что слышал от других. Павлу Георгиевичу после освобождения из плена не пришлось испытать никакого унижения, он сразу же был зачислен в армейские кадры и три года благополучно нес службу во внутренних войсках.

Ивану Филипповичу повезло меньше. После освобождения его не взяли в армию, он был направлен на восстановление Донбасса, жил опять в зоне, на работу водили строем, так длилось почти четыре месяца, а потом на восемь лет приписка к угольной промышленности без права увольнения с предприятия. Так и остался с тех пор в Новошахтинске, сделавшемся за сорок лет второй родиной.

Прошлое живет у него не только в памяти, но и в душе. Оттого и вспоминается оно не столько фактами, сколько чувствами и настроением, осевшими на душе от пережитого.

Потому-то Оберемко как источник информации более интересен в живом диалоге, а Соболев — в своих письменных воспоминаниях, когда он один на один остается с чистой тетрадью, как это было в 1970 году.

Беседовали мы и порознь, и втроем.

О побеге и о Грябине Иван не сообщил ничего нового. Весной 1943 года его перевели в соседний лагерь, работал он в лесу, «рвали мох, ломали березовые сучья для метел», и до него впоследствии доходили лишь слухи, что из распределительного лагеря убежало то ли 8, то ли 10 человек, но подробностей он не знал и чем закончился побег тоже не помнит.

Числился он тогда «фитилем Парижа» — так называли в лагере ослабевших «доходяг», и два года представляются ему сплошным кошмаром, с непрерывным ощущением отупляющего голода, с постоянными обидами и издевательствами... Правда, были и светлые пятна в том кошмаре. Два или три за все время. Одно из них — встреча в санчасти лагеря с медсестрой Надей, партизанкой из соседнего отряда, раненной в зимнем походе. Она четыре дня держала Ивана в санчасти в тепле и с подкормкой, пока перед проверкой врач не выгнал. Фамилии Нади он не помнил да и не знал, наверное...

Тут я молча возликовал. Партизанка Надя! Это же, конечно, та самая, о которой несколько лет назад упоминал Павел Оберемко и которую разыскивала и, кажется, нашла Полина Михайловна Кузьмина... А вдруг это Надежда Евгеньевна Шаманина, которая числится в финском списке убежавших пленных под № RE-244? Я уже почти не сомневался в этом. Но совпадение становилось таким неожиданно счастливым, что в удачу уже было боязно поверить... А вдруг Соболев вспомнил Надю со слов Оберемко? Ведь они в эти дни, конечно же, говорили о прошлом...

...Помню, с какой лихорадочностью отыскивал и перебирал дома слежавшиеся за восемь лет документальные материалы к роману «За чертой милосердия». Вот наконец и они — зеленые школьные тетради с воспоминаниями Ивана Соболева. Есть ли в них хоть что-либо о партизанке Наде? Должно же быть, если услышанное сегодня не домысел, не позднейшее напластование, ведь воспоминания писались в 1970 году, когда о судьбе Оберемко Иван ничего не знал...

Как мне хотелось, чтоб было! Ведь от этого зависело не только доверие к факту — едва ли не вера в самого человека...

Словно бы гора вновь упала с плеч.

Есть! И почти слово в слово — даже упоминается еще одно имя — Лида, судя по всему, тоже партизанка, у которой после ранения кисть руки в лагере ампутировали...

Спасибо, Иван Филиппович! Подкрепил ты мою веру в тебя! Прости за сомнения, но дело такое, что и себя, свою память, проверять приходится...

Вчитался в последние строки воспоминаний, а там снова про партизанку Надю:

«За Надю говорят — погибла она, с группой ребят с Медгоры с пересыльного лагеря бежали и при переправе через передовую погибли... Они машиной ехали, переводчик один организовал, в финской форме, все с оружием...»

Хотя и перемешана здесь правда с неизбежным домыслом, но как важен этот голос из 1970 года, когда никто еще не занимался поиском, не знал ни Нади, ни Грябина, ни Оберемко...

Оказывается, надо почаще ходить по старым следам...

Павел Оберемко рассказывал обо всем увереннее и четче. Оказалось, что Алексея Грябина он видел лишь один вечер, когда они встретились впервые и втроем допоздна проговорили, лежа на третьем этаже нар в бараке. Назавтра Павла перевели в другой лагерь, на рубку леса, где он скоро превратился в дистрофика. Когда снова попал в распределительный на поправку, то Грябина уже не встречал.

Когда я спросил, откуда у него сведения, что Алексей Грябин не вернулся из плена, Павел ответил вопросом на вопрос:

— А разве финны сами не писали вам об этом?

Мне оставалось лишь припомнить, кого я знакомил со статьей Аксели Оллила за эти годы, и оказалось, что очень многих. И в Петрозаводске, и в Суккозере, и в Паданах, и в Архангельске...

Бумеранг прилетел обратно.

Побегов из Медвежьегорского лагеря было несколько. По крайней мере Павел слышал о трех.

Самым удачным был побег группы Николая Орлова (услышав фамилию, я опять возликовал и молча ждал продолжения). Было их тоже 10 человек. Они ночью перерезали двойные проволочные заграждения за лагерным туалетом и вышли на волю. Говорили, что Орлов — офицер-танкист, он работал на вещевом складе, и были разговоры, что бежавшие ушли в финской форме. Лагерное начальство объявило, что группу Орлова тоже перестреляли, в лагерь привезли даже груду одежды, якобы снятой с убитых.

Дерзким побегом группы Орлова восхищались все, и никто не верил в ее гибель, коль на этот раз трупы бежавших привезены в лагерь не были. Некоторое время нежирный и без того лагерный паек был убавлен, так как, по словам лагерного начальства, продукты забрал Орлов.

Из участников побега называли пятерых: Орлова, Сашу-татарина, работавшего на лагерной кухне, медсестру Надю Шаманину, денщика начальника лагеря и повара из зоны, где содержались «финские солдаты, отказавшиеся от фронта».

Мне в пору было ликовать в третий раз. Шаманина значилась в финской анкете, но я опасался нового бумеранга и осторожничал:

— Вы фамилию Шаманиной знали и тогда, в лагере?

— Нет, пожалуй... Тогда все ее звали «партизанка Надя». Там вообще старались обходиться без фамилий.

— А Грябин был там под своей фамилией? Другой фамилией он вам не назывался?

— Так Грябина ж мы с Иваном знали по отряду... Кому другому он и мог назваться, а нам как же?

— А когда вы узнали точно фамилию Нади-партизанки?

— Так Надя ж жива. Полина Михайловна Кузьмина разыскала ее, они переписываются... Она живет в Приморском крае.

Бумеранг возвратился во второй раз, но теперь обогащенный чрезвычайно важными новостями... Я уже нисколько не сомневался, что Грябин и Миронов — это, конечно же, одно и то же лицо, что финский документ свидетельствует о том самом, нужном мне побеге.

Жива Надежда Шаманина! Нужно как можно скорей обращаться к ней.

VII. «ПАРТИЗАНКА НАДЯ»

1

«24 декабря 1984 года

Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Яковлевич!

Пишет вам письмо Шаманина (Пашкова) Надежда Евгеньевна. Ваше письмо нашло меня, хотя я теперь не Шаманина (это моя девичья фамилия), а Пашкова. Большое вам спасибо за письмо.

Вы просите меня вспомнить о нашем побеге и написать вам. Так вот, к моему стыду, я почти все забыла, ведь прошло больше 40 лет. Что помню, напишу.

Сразу нас допрашивали в Беломорске, в тюрьме. Там мы были три недели, а затем направили под Москву, а потом еще в Сибирь, в г. Киселевск.

Теперь пишу о себе, что помню.

27 апреля 1942 года наш отряд «Полярник» через Онежское озеро перешел на территорию, занимаемую финнами. Утром финны нас обнаружили, и началась перестрелка. К вечеру мы отступили к Онежскому озеру. Я остановилась перевязать одного парня, и в это время меня ранили. Очнулась в финской палатке, меня перевязывали бумажными бинтами. Оказалось сквозное пулевое ранение правого легкого. Потом меня и еще двух парней повезли в финский госпиталь — место не знаю, как назвать. Месяц пробыла в финском госпитале, а потом опять нас троих повезли в лагерь военнопленных в Медвежьегорск. А фамилии их я так и не вспомнила. Меня поместили в комнатку в госпитале-бараке. Там врач — наш, военнопленный — мне посоветовал тут работать медсестрой, и я согласилась.

В июле или августе привезли еще одну девушку, раненую из нашей бригады, Пахневу Лидию Федоровну. Она была ранена в левую руку, и еще был перелом плечевой кости. У нее начался некроз тканей, и мы с доктором ей ампутировали руку ниже локтя. Пришлось пилить кость слесарной пилой, хорошо, что доктор достал эфира, так делали под наркозом.

Доктора фамилия Раковский, он житель Петрозаводска, по-моему, Василий Никитич. Он знал о предстоящем побеге и помогал, чем мог, т. е. ложил в госпиталь здоровых, которые должны бежать.

Теперь о самом побеге.

Я сейчас не помню, кто из ребят попросил меня достать карту района. И я обратилась к Орлову, он еще сказал, как я смело обратилась к нему, не зная его. Тогда я ответила: «Ну, что ж, иди выдавай меня!»

В общем, я их познакомила, и они уже обходились без меня.

Организатором побега был Орлов Николай, но его настоящая фамилия не Орлов, а, кажется, Черненко Александр (это мы уже узнали во время побега), и он вроде из Днепропетровска. Кажется, был танкистом. Он и еще двое парней жили за зоной, и мне кажется, что дневального у начальника лагеря звали Алексеем, и еще за зоной жил Комлев, кажется, возил воду. Так вот, всю инициативу побега взяли в свои руки Орлов и Алексей. Они подготовили заранее продукты и оружие.

На праздник Троицын день финны праздновали, и все перепились. Ребята воспользовались этим (заранее спланировали), и Алексей (если это он?) надел форму начальника лагеря — лейтенанта и взял его оружие. Форма у всех была заранее подготовлена.

Кто-то из ребят перерезал проволоку, и мы проползли под ней, а там сразу в лес. Пошли не к фронту, а наоборот — в тыл и на север. Через 9 дней у нас кончились продукты, и ребята трое — Орлов, Алексей и еще один — пошли в разведку. Сказали, чтоб мы ждали сутки, если не придут, то уходите. Через сутки они не вернулись, и мы пошли — 6 человек.

Из остальных помню только Семенова — он по национальности еврей, но внешностью не был похож. К моему стыду, даже Афанасьева (из партизан) вспомнить не могу. А вот Алексея, что дневалил у начальника лагеря, помню — это высокий парень, знаю, что он карел по национальности и говорил очень хорошо по-фински.

Мы пошли в сторону передовой и не заметили, как ее перешли, а только увидели обрывки наших газет и банки из-под тушенки американской.

Радости нашей не было границ: мы на родине! Знали, что будет проверка, но этого не боялись: раз ни в чем не виноваты, разберутся! Самое главное, что мы уже дома!

Да, забыла, мы попали на подвесную мину финскую, и меня ранило в левую голень и в икру, а Комлева — в руку. Пока могла идти, мы шли, а потом чувствую — полный сапог крови. Остановились, перевязали мне ногу и остались там на ночевку. Дальше ребята помогали мне идти, благо кость не задета.

Дошли мы до дороги и пошли по ней, пока не встретились с нашими солдатами. Все мы были в финской форме, и нас приняли за шпионов.

Вот и все, дальше уже пошла наша проверка, и нас разделили.

А потом, когда переводили в лагерь, нас уже было трое: я, Семенов и Комлев. А остальные трое не знаю, где — они все говорили по-фински. Мне следователь сказал, что мы трое были взяты для прикрытия, а они — шпионы. Но я ни раньше, ни уже сейчас не сомневалась, что они честные советские ребята, и всю жизнь верила в это!

Вот, Дмитрий Яковлевич, я, кажется, написала все, извините, что так все нескладно. Мне сейчас пришлось пережить все заново.

Еще вам большое спасибо за письмо. Извините, что плохо пишу. Хотела все переписать, да все равно лучше не напишу. Что не поймете, то догадаетесь.

До свидания, Дмитрий Яковлевич.

С уважением Пашкова Н. Е.»

2

Я получил это письмо на второй день Нового года, 1985-го, и пережил сложные чувства.

Наконец-то отыскался живой человек, который был не свидетелем, а активным участником побега. Не беда, что письмо лишь в самых общих чертах рассказывает о событиях, пусть нет в нем даже упоминания фамилии Грябина, а назван лишь Алексей, «служивший дневальным у начальника финского лагеря», — за сорок лет могло забыться и не такое, — зато от каждой строки веет такой теплотой, совестливостью, искренностью, которые свидетельствуют, что этот человек не скажет того, чего не помнит или не знает.

Именно такой и представлялась мне партизанская медсестра Надя.

Подтвердилось очень важное. Не только сам факт побега и число участников — девять, а также некоторые фамилии — Орлов, Комлев, Семенов, Афанасьев. Подтвердилось отделение от общей группы той тройки, которая погибла в Паданах, и даже прояснился мотив — они ушли за продуктами. Надежда Евгеньевна пишет, что трое участников побега («они все говорили по-фински») были заподозрены как шпионы. Кто эти трое? Определить нетрудно: Орлов, Грябин и Афанасьев погибли в Паданах, Шаманина, Семенов и Комлев были переведены под Москву... Значит, трое подозреваемых — это Каммонен, Иванов и Яковлев. Если подозрения подтвердились, то не видать мне ни документов, ни помощи со стороны в распутывании всей этой истории. Сам побег из героического эпизода войны превратится в разведывательную мистификацию со стороны финнов, даже если шестеро участников ничего не знали и трое из них честно погибли, столкнувшись лицом к лицу с врагом. Подобные мистификации уже изрядно набили оскомину в многочисленных детективных фильмах о войне.

Непростая и без того судьба моего Алексея Грябина осложнится и запутается еще больше. Сдача в плен, странная встреча с матерью, появление в родном селе в финской форме, этот нелепый псевдоним в финских документах... Хватает загадок. А тут еще трое участников побега подозреваются в шпионаже...

Может, хватит, пора остановиться и не идти дальше за этой скользкой ниточкой? Она может завести в такое болото, что судьба Грябина уже не по его вине ляжет пятном на всю трагическую историю отряда «Мстители». Мало чести партизану быть пусть даже невольным участником операции, в которую затесались шпионы — и не один, а целых три...

Алексей погиб. Погиб достойно, с оружием в руках, как последний сражающийся боец своего отряда. На этом можно поставить точку, рассказывая об отряде, который почти сорок лет числился без вести пропавшим. Останки партизан перенесены и захоронены в братской могиле в Паданах, их имена высечены на белых мраморных плитах; могила и наша память о них перестали быть безымянными...

Но по-прежнему горит, трепещет, мечется и тревожит нашу совесть огонь над могилой Неизвестного солдата!

И вправе ли мы отрывать судьбу девятерых участников побега от истории партизанского отряда «Мстители», коль сама война так тесно сомкнула их?

Не только потому, что трое из бежавших были партизанами из бригады И. А. Григорьева. Их судьбы как раз известны — Грябин и Афанасьев погибли в Паданах, Шаманина живет в Приморье.

Но шестеро других?! Они оставались как бы безымянными, ведь в финских списках они тоже могли числиться под псевдонимами. В отношении Орлова и Семенова Шаманина прямо указывает на это.

Троих, попавших под подозрение, она даже не помнит по фамилиям, хотя и пишет о них: «Но я ни раньше, ни уже сейчас не сомневалась, что они честные советские ребята, и всю жизнь верила в это!»

Я слишком мало знал о побеге, но мне тоже почему-то не верилось, что среди бежавших могли быть агенты финской разведки. Да еще не один, а целых трое... Шаманина пишет: «Они все говорили по-фински» — и это стало едва ли не основным поводом для подозрения... К сожалению, в годы войны такое случалось. Что говорить, обстановка требовала предельной бдительности и настороженности. Но, к несчастью, под подозрение иногда попадали не только военнопленные, удачно совершившие побег, но наши собственные подпольщики и разведчики, успешно выполнившие задание и благополучно вернувшиеся на свою сторону. Впервые я столкнулся с этим в 1955 году, когда в архивах Карельского филиала АН СССР натknулся на рукопись, рассказывающую о подвиге партизана Василия Кириллова. Он перешел линию фронта и в течение восьми месяцев хитро-

умно скрывался в оккупированном селе Вокнаволок, вел наблюдения за коммуникациями противника и систематически передавал по рации важные сведения. Работа его была столь успешной, что когда он благополучно вернулся, то возникло подозрение о его связях с противником, и он погиб с пятном предателя. Лишь позже благодаря стараниям писателя Ортьё Степанова пришла его полная реабилитация, и Яакко Ругоев, учившийся до войны с Кирилловым в одной школе, написал документальный роман о подвиге и трагедии своего друга.

В группе Орлова было четверо карел, трое русских, один финн и один еврей. Пятеро свободно говорили по-фински, что во многом, как мы увидим впоследствии, и определило успех их побега.

Но это же и могло породить подозрения.

Нужно было идти дальше.

Не очень-то верилось, что удастся разыскать документы показаний, которые давали участники побега в июле 1943 года после выхода за линию фронта. Сохранились ли они? Коль и сохранились, то лежат, наверное, так глубоко под ворохом иных, более важных дел, что на розыски понадобятся годы. Да и дадут ли их мне?

С таким вопросом я и обратился в Комитет госбезопасности Карельской АССР.

Все оказалось быстрее и проще, чем я предполагал.

Через три месяца в апреле 1985 года мне вручили свежеотпечатанную, прочно сшитую, довольно толстую рукопись.

Я открыл первую страницу:

СПРАВКА

13 июня 1943 года из Медвежьегорского лагеря военнопленных с целью перейти на сторону советских войск совершила побег группа 9 бывших военнослужащих Советской Армии, в том числе женщина — Шаманина Н. Е., бывшая медсестра партизанского отряда.

Примерно 26 июня 1943 года 3 человека из группы около села Паданы бывшего Сегозерского района КАССР, направившиеся в Паданы с целью приобретения продуктов, столкнулись с финнами и погибли:

1. КИСЛИЧЕНКО Александр Юрьевич, он же ОРЛОВ Николай.
2. ГРЯБИН Алексей Иванович, он же МИРОНОВ Алексей, 1923 г. р., ур. с. Паданы Сегозерского района КАССР, бывший партизан.
3. АФАНАСЬЕВ Павел Васильевич, уроженец Петровского района КАССР, бывший партизан.

3 июля 1943 года 6 человек из этой группы на одном из участков Карельского фронта вышли в расположение советских войск:

1. НИЩЕВ Рувим Самуилович, он же СЕМЕНОВ Михаил Васильевич, 1916 г. р., ур. с. Пичера Рассказовского района Тамбовской области. В 1955 г. проживал: г. Тамбов, Ленинградская, д. 25, кв. 2.
2. КОМЛЕВ Николай Иванович, 1921 г. р., ур. села Криуши Сенгилеевского района Куйбышевской области. В 1955 г. проживал в селе Криуши.
3. ЯКОВЛЕВ Иван Владимирович, 1910 г. р., ур. дер. Шарвары Медвежьегорского района Карельской АССР. В 1955 г. в пос. Еджит Кырта Кожвинского района Коми АССР работал на шахте № 3.
4. ЧЕРНОВ Георгий Андреевич, он же ИВАНОВ Иван Андреевич, 1915 г. р., ур. дер. Большие Горки Рамешковского района Калининской области.
5. КАММОНЕН Тойво Федорович, 1920 г. р., ур. дер. Нясино Парголовского района Ленинградской области. Умер в 1949 г., 19 июля.
6. ШАМАНИНА Надежда Евгеньевна, 1922 г. р., ур. дер. Степановская Вельского района Архангельской области, бывшая партизанка.

И далее семьдесят семь плотных машинописных страниц, рассказывающих не только о побеге, но и об обстоятельствах пленения каждого участника, об условиях жизни в финском лагере.

— Скажите, а те трое — Каммонен, Яковлев и Чернов — подозревались, значит, напрасно? — спросил я, еще не веря в неожиданно свалившееся мне богатство.

— Да, им тогда не поверили...

— Но они реабилитированы?

— В 1955 году.

VIII. ОМРАЧЕННЫЕ РАДОСТИ

1

3 июля 1943 года на тыловой дороге в полосе нашей стрелковой дивизии, державшей оборону между Ондозером и Сегозером, произошла встреча, которая могла бы удивить и озадачить даже бывалых фронтовиков, не говоря уже о полковых обозниках, давно отвыкших от всяких неожиданностей в этих глухих и безлюдных местах.

На этом участке сплошной линии обороны не было ни у нас, ни у финнов. Наиболее проходимые и опасные места прикрывались редкими опорными узлами и лесными гарнизонами, а линию охранения — с минными полями и патрульными тропами — держали далеко на западе пограничные части. Через широкую нейтральную полосу ходили в тыл к финнам партизаны и разведывательные армейские группы. Иногда и финские диверсионные отряды проникали в наш тыл, как это случилось, например, в январе 1942 года, когда они жестоко и бесчеловечно уничтожили в селе Петровский Ям наш армейский госпиталь. Но такое происходило крайне редко, и вот уже полтора года здесь царило затишье, которое, несмотря на все старания командиров и политработников поддерживать постоянную боевую готовность, неотвратимо превращало фронтовую службу в привычный расслабляющий быт.

Обоз из четырех пароконных повозок неторопливо двигался по узкой лесной дороге, которая два года назад была петлявшим по взгорьям зимником, но полковые саперы кое-где спрямили ее, подсыпали, загатили и довели до такого состояния, что при великой нужде по ней могла бы, пожалуй, пробраться и грузовая автомашина. Но пока такой нужды не было, и со всеми перевозками между гарнизонами прекрасно справлялась конная тяга.

Путь был привычный, хотя и не близкий — двадцать с гаком немереных верст. Ездовые знали, где можно оставить повозку, подсесть к соседу, покурить из одного кисета, а где надо хвататься за вагу и быть настороже, если не хочешь застрять в разбухшей, засасывающей гати. Знали это не только люди, но и лошади — перед каждым волоком они останавливались и выжидательно оглядывались: готов ли хозяин?

Из таких тихих перекуров на взгорьях и надсадных форсирований болотных низин и состоял весь путь.

На перекур стягивались обычно к старшине — молодому, крикливому, но не вредному парню, ехавшему сзади на единственной в обозе одноконной телеге, груженной самым легким и строгим по отчетности товаром: папиросами, сливочным маслом, печеньем, которые полагались комсоставу в качестве доппайков и выдавались один раз в десять дней. Каждый из ездовых годился бы старшине в отцы, и то, что он мог пошумливать на них, поучать и подсмеиваться, а они терпеливо выслушивать, не возражать, но делать все по-своему, — как надо и как лучше, — давно уже устраивало и командира, и подчиненных.

Так уж повелось, что где-то на середине пути, как только обоз, преодолев самую тяжелую гать, выбирался на широкое плоскогорье, тянувшееся версту или две, взмокшие от старания ездовые уже не возвращались к своим лошадям, а шагали рядом со старшинской телегой, ожидая, когда появится красивый кожаный портсигар, плотно набитый душистым табаком. Старшина по молодости курил трубку, он любил помедлить, поблаженствовать, подолгу очищая ее от воображаемого нагара, продувая и отплевываясь. «Отцы» предпочитали солдатскую махру, командирский, слишком легкий табак был им без большой надобности, благо чем-чем, а махоркой армейский паек никого не обижал, но старшинский портсигар давно стал вроде трубки мира у индейцев, и они ждали, когда он пойдет по рукам.

На сей раз трубка мира едва не кончилась войной.

Старшина, сидевший боком на высокой поклаже, уже потянулся в карман за портсигаром, уже успел вынуть его из кармана, но, глянув вперед, словно бы оцепенел и весь сменился с лица.

Обоз как раз вытянулся на лесную поляну, и там, в самом ее конце, в ста метрах от передней лошади, стояли на дороге шесть человек в фин-

ской военной форме и с оружием. В их позах не было ничего угрожающего, они просто стояли и ждали, когда обоз приблизится к ним, даже винтовки держали кто у ноги, кто за спиной, но командир уже не сомневался, что случилось самое страшное, и по краям поляны, конечно же, расположена засада.

Он глянул на свою команду и пришел в ужас: ни у одного из «отцов» не было с собой оружия — винтовки покоились на повозках.

— Мать вашу! В ружье! Занять оборону! — истошно закричал он, хватая автомат и скатываясь с повозки.

«Отцы» растерянно засуетились, не все еще поняли, что произошло, но привыкшие делать то, что делает более понятливый и находчивый, они, пригибаясь и подныривая под головами лошадей на безопасную сторону, засеменили каждый к своей повозке и вскоре залязгали затворами винтовок. Умные обозные кони тоже почувствовали что-то неладное и остановились.

— Не стреляйте! — донеслось спереди. — Мы свои!

— Кто такие? — крикнул старшина, успевший с автоматом наготове выдвинуться к середине обоза.

— Свои! Свои! — отозвалось сразу несколько обрадованных голосов. — Мы из плена!

Старшина уже понял, что беда миновала, но все еще остерегался поверить в это до конца.

— Оружие на землю! Самим отойти на десять шагов назад! Старший ко мне, остальные на месте! — все громче и четче командовал он, радуясь, что каждое его приказание мгновенно исполняется.

Через полчаса задержанные были тщательно обысканы, их оружие упрятано под брезент на повозке старшины, все основное и необходимое выяснено, и пора было трогаться отсюда, но старшина медлил, все еще не решив, как держаться дальше. Пленные вперемешку с ездовыми сидели на обочине, хрустели ржаными сухарями, курили крепкую махорку и были счастливы безмерно. Старшина вглядывался в их заросшие, черные от загара, копоти и усталости лица, то верил, то не верил всему, только что услышанному, пытался настроить себя на самые добрые чувства, но мешала чужая, неприятная сизо-зеленая форма, в которую были одеты беглецы. Смешно и даже обидно получается — за два года войны он впервые так близко видит эту форму на живом человеке, а человек-то оказывается своим, советским... А так ли это? Вдруг тут какая-то провокация?

Трое по-русски говорят с явным чухонским акцентом. Двое других — тоже какие-то темные. Один, по всему видать, из образованных, за словом в карман не лезет, все замечает, все понимает. Второй — мрачный молчун, так и зыркает вокруг перепуганным взглядом, того и гляди сиганет куда-нибудь в сторону... Татарин, что ли? И лишь эта раненная в ногу девушка вызывает полное доверие: тут уж не ошибешься, истинная деревенская русачка, простодушная и открытая, у нее на ясноглазом круглом лице все написано — сплошная радость и счастье, что спаслись из плена...

Старшина понимал, что задержанных надо бы не тащить на запад, в гарнизон, а сразу препроводить в дивизию, тем более что обоз находился где-то на полпути, но людей для сопровождения у него не было. Двоих извозчиков он мог бы, пожалуй, отрядить, но какая из этих «отцов» охрана — потом беды не оберешься, если случится что-либо.

Самому мотаться туда-сюда, бросать обоз тоже не годится. Нет уж, он доставит пленных в гарнизон, а там начальство пусть само разбирается.

Конечно, было бы куда лучше, если бы эти шестеро были не бежавшими из плена, а настоящими финнами, захваченными в плен. В таком случае задержавшему их могли и награду дать. Конечно, если начальство захочет... А тут что возьмешь? Сколь ни возись, сколь ни старайся — нет повода. Вот окажись они подосланными вражескими лазутчиками — тут иное дело. Тут и на орден могло бы потянуть. «Отцы» подтвердят, как смело и решительно было проведено задержание. Этот шанс не надо сбрасывать со счетов, еще неизвестно, как повернется дело при расследовании. Уж больно складным выглядит этот их побег. Все как по нотам разыграно: и форма, и оружие, даже три гранаты при них... Из плена в наше время так не бегают. Тут особистам будет в чем разбираться...

— Слушай мою команду! — Поднялся старшина и поправил висевший на груди автомат. — Объявляю порядок движения! Двигаемся в прежнем порядке. Задержанные идут перед моей повозкой. Строем. В колонне по два. В сторону не сходить.

— Мы не задержанные! Мы сами дожидались, чтоб встретиться с вами! — возразил старший из группы, назвавшийся бывшим сержантом.

— Разговорчики! — повысил голос старшина. — А вы, отцы святые, что рассиропились? А ну, подтянись! И смотрите мне!

Он видел, как мгновенно потухло оживление на лицах не только пленных, но и обозников.

— Раненую хотя бы посадите в повозку, — мрачно попросил старший из пленных.

— Раненой найдем место на повозке... Трогай!

2

Из письма Р. С. Нищева от 14 июля 1987 г.

«Через два-три часа пути обоз прибыл в расположение своей части. После официальной, несколько недоверчивой встречи нас покормили, дали немного отдохнуть, затем, кажется, усадили на повозку и в сопровождении конного офицера направили в штаб дивизии или армии (нам это не объясняли, конечно) по той же дороге в юго-восточном направлении.

Примерно через два-три часа движения нас нагнал всадник-офицер, по званию старше сопровождавшего нас офицера. Офицер (как оказалось, пограничник) потребовал от нашего офицера передать ему задержанных. Сопровождавший нас офицер ответил пограничнику, что он ему не подчиняется и людей ему не передаст. Пограничник вернулся обратно.

Еще примерно через два-три часа движения мы достигли намеченной точки, где нас встретил офицер контрразведки.

После короткого разговора с Черновым (как со старшим группы) офицер контрразведки позвал к себе меня с дневником, который я вел на всем пути побега. Я дал необходимые объяснения по дневнику, ответил на заданные вопросы. Офицер дневник у меня забрал.

После этой процедуры нас всех развели по разным землянкам. В этих полевых условиях и проходили первые допросы. Сколько они продолжались (два-три дня), точно не помню. Запомнились только последние минуты моего допроса.

Офицер, допрашивавший меня, сказал, что я напрасно не признаюсь, что нас послала финская разведка, мои товарищи все признались, что их нынче увезут, а меня еще будут допрашивать. Тут же поступил приказ офицеру вести меня к машине, в которой уже сидели все члены нашей группы.

Как развивались события дальше, вы уже знаете...

В последний раз с Черновым, Яковлевым и Каммоненом мы всей группой ехали в одной машине после первых допросов в дивизионной контрразведке.

В Беломорск нас привезли только троих — Шаманину, Комлева и меня. Это было в начале июля 1943 г.

В конце августа поездом из Беломорска нас доставили в Череповец. Из-за карантина Череповец нас не принял. Тогда нас направили в Сталиногорск (ныне Новомосковск).

Здесь нас распределили по разным местам. Меня направили в город Донской Тульской области, где я работал в шахте, познал все виды шахтных работ, начиная с откатчика вагонеток. Позже меня перевезли на шахту в Сталиногорск, где я пробыл до сентября 1945 года. За время пребывания в лагере мы проходили проверку. Срок проверки, как нам говорили, не должен превышать шести месяцев. На наш вопрос: «Когда же закончится проверка?» — нам отвечали: «Проверка закончена, но здесь кому-то нужно работать».

В сентябре 1945 года мне выдали документы, освободили из лагеря, но без права выезда за пределы административного района. Только в конце марта 1946 года я получил разрешение на выезд в свой родной город Тамбов.

Возвращение в родные места еще не означало, что все пройденное осталось позади. О прошлом мне напоминали во многих организациях и учреждениях довольно долго, вплоть до семидесятых годов. Но я не ожесточился. «Погода» стала улучшаться после первых выступлений Сергея Сергеевича Смирнова в печати, по радио и телевидению по теме «Никто не забыт, ничто не забыто»...

В 1958 году, работая водителем троллейбуса в Тамбове, я поступил на заочное обучение в Саратовский экономический институт.

В 1963 году я закончил этот институт и через месяц перешел на работу в электромонтажное управление на должность старшего инженера-экономиста. Через два года стал начальником планового отдела этого управления и работал там до ухода на пенсию в мае 1976 года.

Теперь о Грябине.

В Медвежьегорский лагерь меня привезли весной 1942 года из лесного лагеря дистрофиком. Долгое время я находился на излечении в санчасти этого лагеря. Летом 1942 года в этот лагерь привезли Миронова Ивана. Его поместили в отдельный бокс отдельного барака. Позже мы узнали, что он — Алексей Грябин и попал в плен из партизанского отряда, кажется, раненным. Грябин никакими привилегиями в лагере не пользовался — финны партизан не баловали.

Вы просите написать мне суждение — на чем были основаны подозрения против Каммонена, Чернова и Яковлева.

Каммонен Тойво Федорович по национальности финн, Чернов Георгий Андреевич и Яковлев Иван Владимирович — карелы. Все они, правда, в разной степени, владели финским языком. На мой взгляд, это был первый повод для подозрения.

Чернов иногда использовался как переводчик в зоне лагеря, Каммонен — как переводчик при штабе охраны лагеря. Это второй и, пожалуй, главный повод. Других поводов для недоверия к ним я не нахожу. Их отношения с товарищами по лагерю были всегда именно товарищескими.

Из вашего письма я узнал о гибели наших ребят в Паданах, о смерти Каммонена. Это тяжелая правда жизни.

Одновременно с вашим я получил второе письмо от Комлева Николая Ивановича, а на следующий день — от Надежды Евгеньевны. Как видите, у меня уже установилась переписка с моими товарищами, о которых я ничего не знал почти сорок четыре года.

Я благодарю вас за то, что вы помогли установить эту переписку, узнать судьбу других моих товарищей после 1943 года. Где то Чернов, Яковлев? Как сложилась их судьба?»

3

21 августа 1987 года газета «Известия» напечатала большую публицистическую статью Э. Максимовой «Живым и мертвым», которая посвящена двумя горьким несправедливостям, оставшимся со времен войны, — нашему обидному равнодушию к судьбам «пропавших без вести» и предвзятому, оскорбительно недоверчивому отношению к людям, побывавшим во вражеском плену.

Статья вызвала многочисленные отклики. И ветераны, и представители молодого поколения проникновенно благодарили автора и газету: наконец-то в открытую и решительно сказано то, что на протяжении десятилетий жило в их душах немым укором совести.

Среди опубликованных откликов на статью встречались и такие, которые как бы возвращали нас к печальному, принесшему так много бед жестокому догматизму времен культа личности. Почтенный генерал, председатель Ленинградского совета ветеранов войны и труда Д. Медведев свое несогласие со статьей обосновывает тем, что есть якобы разница между мужеством человека, проявленным в бою, и мужеством в условиях плена.

«Даже если он мужественно перенес плен — это уже другое мужество, вынужденное», — утверждает генерал, подразумевая, что там оно, дескать, связано со спасением собственной жизни.

Какое алогичное и коварное заблуждение!

Разве не ясно, что тем, кто думал только о спасении жизни, никакого мужества в благородном понимании этого слова в плену не требовалось. Достаточно было отречься от Родины, заявить о своем согласии служить врагу, как, кстати, и поступали отщепенцы и предатели. Мужество требовалось не для спасения жизни, а для сохранения чести и достоинства советского человека. В условиях фашистского плена — это уже почти героизм, ибо выбор приходилось делать между жизнью и смертью, как и на фронте, где героизм тоже вынужденный, так как без крайней нужды, ради бахвальства и лихости, никому не придет в голову бросаться со связками гранат под гусеницы вражеского танка или закрывать грудью амбразуру дзота.

Миллионы советских бойцов и командиров, оказавшихся в плену, — это горькая и неоспоримая реальность минувшей войны. Не пора ли нам признать, что плен был тоже неизбежной частью войны, что она, эта действительно вынужденная реальность, представляющая собой своеобразный рекорд в истории всех войн, не принесла Советской Родине ни позора, ни бесчестия в глазах других народов. Более того, она, благодаря мужеству сотен и тысяч борцов, бежавших из плена и сражавшихся в рядах сил Сопротивления и партизан, возвысила достоинство советского человека среди населения Италии и Норвегии, Франции и Югославии, Польши и Бельгии.

В будущем, когда появится обобщающее исследование по проблемам плена и военнопленных в годы Великой Отечественной войны, историки, я уверен, неизбежно отметят тот факт, что мыслью о побеге жил почти каждый советский воин, оказавшийся в плену, что мысль эта не давала покоя сильному и слабому, смелому и робкому. Ведь оказаться в плену и сдаться в плен — это не одно и то же. Наша официальная военная историография слишком долго делала вид, что проблем плена вообще не существовало. У нас нет даже приблизительной статистики, охватывающей все побеги советских бойцов и командиров из фашистских лагерей, да она теперь едва ли осуществима — прошло так много лет. Документальное подтверждение можно найти лишь о тех побегах, которые имели благополучное завершение, и можно предполагать, что их было во много раз меньше, чем неудавшихся, которые по глубине трагизма, истинности непоказного мужества ни в чем не уступают фронтовому героизму.

И все же лед тронулся. В 1987 году издательство «Мысль» массовым тиражом выпустило исследование Е. А. Бродского «Они не пропали без вести», посвященное героической истории подпольной организации «Братское сотрудничество военнопленных», которая действовала в фашистских лагерях на территории Германии. В книге приведены фамилии пяти тысяч членов этой организации, расстрелянных в лагерях Дахау, Залине и Маутхаузене с июля 1944 г. до конца войны. Автор широко использует западные печатные источники. В частности, он приводит свидетельство западногерманского исследователя Х. Пфальмана, что за первые четырнадцать месяцев войны (до 1 сентября 1942 г.) из фашистского плена бежали 41 300 советских солдат и офицеров. Цифра едва ли полная, но она впечатляет!

Сравнительно с общим числом военнопленных, измеряемым миллионными цифрами, совершили побеги немногие — десятки тысяч, но думал о такой возможности для себя, наверное, каждый.

Свобода — вот она, рядом... Казалось, стоит вырваться за колючую проволоку — и ты спасен! Мир такой огромный, он укроет тебя лесами и оврагами, воля даст силу и крылья...

Бежали не только от голода, холода, непосильной работы и издевательств, не только от страха медленного умирания. Бежали от отупляющей униженности и позора.

Все знали: плен — это позор. Так были воспитаны. Со школьной скамьи помнили слова князя Игоря: «Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти» — и Долорес Ибаррури: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях...»

Осознание этого с особой укоряющей силой и остротой приходило к человеку, когда он оказывался за колючей проволокой. К одним сразу, к другим позже.

Самые отчаянные и нетерпеливые срывались в побег с первого пешего этапа, выпрыгивали на ходу из вагонов, бежали с мест работы, лишь

чуточку отвернется конвоир. И чаще всего гибли от посланной вдогонку очереди, или через день—два—неделю, истерзанные до бесчувствия, вновь оказывались в лагере, чтобы стать, по замыслу охраны, суровым назиданием для других.

Но урок-то получался двоякий: слабых он действительно подавлял, смирял с безотрадной судьбой, сильных учил опыту, предусмотрительности и хитрости.

Бывший связист 126-го отдельного батальона связи Р. С. Нищев свой первый побег совершил на десятом дню плена, когда находился во временном распределительном пункте в поселке Кумса-2.

Бежали вчетвером. Ночью 17 декабря 1941 года сделали в снегу подкопы под колючей проволокой и без оружия, без продуктов ринулись на восток, благо до фронта, по их подсчетам, было меньше ста километров.

Через сутки их, изнуренных и обморозившихся, снова доставили в распределительный пункт. Им повезло. Захватившие их финны из строевой части не знали, что имеют дело с беглецами, а на допросах в лагере удалось отговориться тем, что ходили якобы в соседнюю деревню доставать продукты.

Дело ограничилось 25 розгами каждому за самовольную отлучку.

Подобных спонтанных попыток было множество, они продолжались всю войну, но редкие из них приносили удачу.

Известный карельский писатель Николай Яккола в своей мемуарной повести «Верность» рассказывает, как из трудового лагеря в глубине Финляндии в 1943 году бежала группа русских военнопленных. Работая на лесозаготовках, они оглушили охранника, забрали его автомат, бросились в побег и через два дня были поодиночке перебиты преследователями.

Горький опыт учил, что без четко продуманного плана, без тщательной подготовки рассчитывать на успех не приходится.

Таким—дерзко задуманным, тщательно подготовленным и успешно осуществленным — был побег «девятки» из Медвежьегорского лагеря в 1943 году.

Потому-то он и вызвал не только недоверие, но и обидные подозрения, а для троих участников—самые тяжелые последствия.

IX. СХОЖДЕНИЕ К ОДНОЙ ТОЧКЕ

1

**Из материалов опроса Н. Е. Шаманиной
6 июля 1943 года**

«В сентябре 1942 года из нашего лагеря «RE» сбежало трое военнопленных: Гринь, Ткаченко и Показантьев. В пути они наскочили на мины. Гринь и Показантьев были ранены, в результате чего все они были задержаны и возвращены в лагерь. Ткаченко был заключен в изолятор, а Гринь и Показантьев помещены в лазарет для лечения, где я за ними ухаживала. Они-то и рассказали мне о своем неудачном побеге. Гринь, когда дело пошло на поправку, говорил мне, что он опять убежит, и просил, чтоб я помогла достать им три пары лыж. Я ответила, что такой возможности не имею. Все же, желая им помочь, я решила поговорить с Орловым, который работал поваром за пределами зоны. Я знала его как хорошего и энергичного человека. Знала, что Орлов имеет незаконченное высшее образование, что в армии служил танкистом. Встретившись с ним, я сказала, что думаю бежать из лагеря, и попросила его помочь. Орлов засмеялся и спросил: «Знаешь ли ты, с кем разговариваешь?»—я сказала: «Если ты способен, то иди, выдавай!» Далее Орлов мне объяснил, что никому он заявлять не будет, что он тоже давно имеет желание бежать, и предупредил, чтоб я вела себя поосторожнее, что в лагере есть разные люди... Кому я думала оказать содействие, я Орлову не сказала.

Я несколько раз беседовала с Орловым о побеге. Договорились бежать вдвоем, Орлов говорил, что без оружия он не пойдет, что этот вопрос надо основательно разработать, чтобы не попасть обратно в лагерь. Я предлагала бежать через озеро. Орлов был против этого и говорил, что если убежим, то сначала надо направиться в тыл, на запад, а потом к советской стороне. По этому вопросу я и Орлов много говорили, но конкретно срока и плана не намечали.

Работая в санчасти, я хорошо знала Маркелова Петра Матвеевича, служившего дневальным у доктора Раковского. Я знала, что он был членом ВКП(б), в Саратове имеет свой дом и семью: жену и двоих детей. Поэтому я и решила поговорить с Маркеловым о побеге.

Разговор шел в комнате доктора. Я спросила, думает ли он о побеге, и откровенно сказала, что имею намерение бежать из лагеря. Маркелов ответил, что о побеге он думает давно и уже кое с кем поговаривает. Далее он сказал, что из лагеря думают бежать Нищев (Семенов) и Яковлев. Они уже в комнате для допросов, где Маркелов производил постоянную уборку, рассматривали висевшую на стене карту. Маркелов спросил, кто еще вместе со мной думает бежать, сначала я от ответа уклонилась, потом сказала об Орлове.

Маркелов отнесся к Орлову недоверчиво, сказал, что Орлов очень скрытный. Я убедила Маркелова, что Орлов серьезный человек и что он действительно готовится к побегу. На следующий день Маркелов имел разговор с Орловым, после чего тот упрекнул меня в неосторожности и предупредил, чтобы я больше никому и никогда о побеге не говорила.

Узнав о том, что к побегу готовятся Маркелов, Яковлев и Нищев, что у Нищева есть хороший приятель Чернов (они оба вместе попали в плен), Орлов предупредил меня и Маркелова, а через него и остальных, чтобы между собой они как можно меньше общались и в присутствии финнов вели себя лояльно к финским властям, чтобы не навести на себя ни малейшего подозрения.

Так мы себя и вели. Я, кроме Маркелова, почти ни с кем не встречалась, за исключением Нищева (Семенова), который работал дезинфектором в прачечной и изредка заходил в санчасть по делам. Он сообщил мне, что к побегу готовятся и что Чернов (Иванов) тоже пойдет. Последнего я не знала и просила Нищева о том, чтобы они не оставили меня.

Ни я, ни другие не предполагали тогда, что подготовка побега неожиданно осложнится, что нам с доктором Раковским придется взять на себя нелегкий риск.

В начале мая Маркелов мне сообщил, что уже имеется группа из 10 человек, которая согласна бежать, и что теперь остановка за продуктами и оружием.

Но кто именно входит в эту группу, я тогда всех не знала.

В эти дни наш пересыльный лагерь подвергся переформированию, большую часть военнопленных отправили в лагерь № 31, расположенный в Медвежегорске в 1800 метрах от нас. В числе переведенных туда оказались четверо из нашей группы: Чернов, Нищев, Грябин и Яковлев. Это усложнило побег, так как Яковлев считался проводником.

Орлов и Маркелов стали думать, как этих четверых вернуть обратно.

Маркелов предложил поговорить в открытую с доктором Раковским и попросить его, чтобы он этих людей под видом больных поместил в наш лагерный лазарет, который обслуживал больных из всех ближайших лагерей.

Орлов, хотя и опасался Раковского, но это предложение одобрил, так как иного выхода не было, и предложил Маркелову поговорить с доктором.

Маркелов беседовал с Раковским, и тот дал согласие помочь. После этого с доктором беседовал и Орлов.

Раковский спрашивал у Маркелова, знаю ли обо всем этом я. Получив утвердительный ответ, доктор стал действовать смелее и обещал Маркелову, что он все сделает.

После этого Раковский спрашивал меня, что я знаю о побеге. Я ответила, что знаю все и сама убегу. Доктор не хотел, чтобы я бежала, пытался убеждать, что я женщина и мне будет очень трудно, но, получив ответ, что я все равно уйду, возражать не стал и даже сам заявил, что если бы он был здоровее, то ушел бы вместе с нами».

2

Из материалов опроса Р. С. Нищева
6 июля 1943 года

«...Первый неудачный побег, который я совершил 17 декабря из распредпункта Кумса-2 вместе с Сафоновым, Кузьминых и Зорниковым, был для меня уроком, что побег надо хорошо подготовить, продумать план, обеспечить себя продуктами и иметь оружие. Кроме того, нужно было найти хороших и надежных товарищей.

До июня 1942 года я находился в лагере № 75 и работал на лесозаготовках, весной заболел дистрофией и был направлен в полицейский распределительный лагерь в городе Медвежьегорске, где имелся госпиталь для военнопленных.

Во время лечения привлекался к работе, не связанной с тяжелым физическим трудом: убирал палаты, помогал лежачим больным, а с 7 сентября был переведен в дегазационную камеру, где топил печи, пропаривал белье военнопленных.

Осмотревшись, я установил, что из этого лагеря есть возможность бежать, так как зона вокруг не охранялась часовыми. Часовой был только у проходной.

Первый разговор о побеге у меня был с медсестрой Шаманиной. Однажды осенью, когда я зашел по делам в госпиталь, мы разговорились о жизни в лагере, и она задала мне вопрос, как я смотрю на дальнейшее пребывание здесь и не думаю ли бежать. Я ответил, что готов бежать в любое время.

По всей вероятности, Шаманина передала наш разговор Маркелову, так как примерно через месяц при встрече он спросил меня, не желаю ли я бежать из лагеря. Я опять ответил, что бежать думаю.

Эти разговоры с Шаманиной и Маркеловым я передал Чернову, Георгию Андреевичу, которого знал по совместной службе в 126 ОБС и с которым вместе мы попали в плен. Чернов мне сказал, что он тоже согласен бежать из плена.

Через некоторое время я снова имел разговор с Маркеловым. Он сообщил мне, что о моих намерениях знает Орлов (Кисличенко) и что он желает встретиться со мной.

Такая встреча состоялась в феврале в комнате, где жил доктор Раковский и где Маркелов производил ежедневную уборку. Маркелов первым начал разговор о побеге, а Орлов сказал: «Бежать надо, но надо бежать так, чтобы снова не попасть в штрафные лагеря».

Вторая встреча с Орловым, состоявшаяся там же и снова в присутствии Маркелова, имела несколько иной характер, и я совершенно уверился, что Орлов серьезно думает о побеге и готовится к нему.

Он изложил план побега. Он считал, что хорошо бежать по льду Онежского озера, а для этого можно использовать лагерные автомашины. Он строил предположения, что можно усыпить командование и личный состав роты охраны. Он утверждал, что это можно сделать в какой-либо праздник, напоив всех брагой, в которую необходимо влить снотворное. А после останется лишь снять часового у будки, сесть в машины и уехать. Для этого, говорил Орлов, необходимо как можно больше взять людей.

Я и Маркелов с предложенным планом согласились, и на этом наша беседа закончилась. О дне побега не договаривались.

Вскоре после этого стало известно, что из лагеря № 74 сбежали через озеро два военнопленных, которых финны не сумели задержать.

На Онежском озере финны усилили наблюдение и охрану. Наш план побега сам по себе отпадал.

При новой встрече мы начали искать другой путь для побега. Я высказал мысль, что надо найти такой план, чтобы незаметно и без шума уйти из зоны лагеря и скрытно перейти линию фронта. Пусть наш путь будет дальше, но верным. Орлов-Кисличенко, выслушав меня, предложил новый план. Усыпление начальства и охраны сохранить из старого плана, а выйдя из зоны, мы должны идти не к линии фронта, а на запад, на деревню Паданы, затем свернуть строго на север, идти на деревню Сондалы, не удаляясь от дороги Паданы — Сондалы. Между Сондалами и Сяргозеро пересечь финскую линию обороны и по нейтральной зоне, двигаясь на восток, выйти к частям Красной Армии.

С этим планом я и Маркелов согласились.

Следующий, не менее важный для осуществления плана вопрос — нам нужно было иметь проводников.

Орлов-Кисличенко предложил найти их среди военнопленных, жителей тех районов, через которые мы намечаем пути.

Вскоре после этого я познакомился с военнопленным Яковлевым, уроженцем Медвежьегорского района. При встрече с Орловым я рекомендовал Яковлева в качестве проводника.

Кисличенко согласился и велел поговорить с ним. После нескольких разговоров с Яковлевым я предложил ему бежать из лагеря. Яковлев был согласен. Тогда я рассказал ему план побега и наш маршрут и спросил, согласен ли он быть в качестве товарища и проводника. Яковлев и в этом был согласен, но вести нас он взялся лишь до Падан, так как дальше он местность не знает. О результатах переговоров я сообщил Орлову-Кисличенко, и он дал еще одну кандидатуру — Грябина. Орлов сказал, что Грябина надо согласить на побег, он уроженец Падан и сможет быть проводником от Падан до финской линии обороны. Я переговорил с Грябиным. Он был согласен бежать из плена и быть проводником.

Впоследствии Грябин предложил взять в нашу группу военнопленного партизана Афанасьева Павла, а Орлов вовлек военнопленного Каммонена Тойво Федоровича, работавшего денщиком у начальника лагеря, и Комлева Николая, работавшего возчиком в лагерной конюшне.

Таким образом, подбор людей был закончен.

После этого у меня с Орловым зашел разговор о продуктах на дорогу. Путь предстоял немалый — больше двухсот верст, потребуется не меньше десяти дней. Орлов тут же добавил, что, кроме продуктов, необходимо где-то взять оружие. Потом, подумав, сказал, что ответственность за обеспечение группы продуктами и оружием он берет на себя.

Числа 10 или 11 мая с. г. наш полицейский лагерь расформировывается, и я вместе с Черновым, Яковлевым и Грябиным оказываюсь в лагере № 31. Бежать оттуда было невозможно ввиду усиленной охраны вокруг зоны».

3

Из материалов опроса Н. И. Комлева
от 6 июля 1943 г.

«...В эту группу я был вовлечен Кисличенко-Орловым. Разговоры наши начались с того, что он спросил меня, как я живу и что думаю делать в дальнейшем. На это я ответил, что живу я ничего, благодаря тому, что он подкармливает меня, но тем не менее хочется на родину, к своим родным.

Орлов спросил меня, как я думаю это сделать. Я ответил, что имею только желание, но никаких возможностей для осуществления моего желания у меня нет. После этого он спросил, согласен ли я буду идти с ним при наличии для этого возможностей. Я ответил утвердительно. Недели за две до побега он опять спросил меня, не передумал ли я. На это я ответил, что свое решение о побеге я не изменил и желаю бежать с ним.

В знак верности друг другу мы пожали руки, и он сказал, что скоро бежим. Когда, каким путем и с кем побежим, он мне не ответил, хотя я интересовался у него. Он сказал, что обо всем сообщит мне потом, а сейчас, говорит, надо подготовиться к побегу.

Однажды Кисличенко-Орлов сказал мне, что сегодня будем запасать

продукты. С этой целью я пришел после обеда к нему на кухню, и мы занялись уборкой его склада. В момент переноса из его склада пустых ящиков в другой склад, расположенный недалеко от конюшни, мы взяли два ящика галет (примерно 34 килограмма), 2 ящика концентрата (кг 20) и сыру около 10 килограмм. Все это я отнес на конюшню и спрятал в солому. Вечером мы пошли с Орловым в лес и вырыли яму, а на следующий день рано утром я погрузил эти продукты на двуколку, заложил сверху навозом, отвез в лес и зарыл в приготовленную накануне яму.

Дня через два аналогичным путем мы спрятали туда же еще 1 ящик галет и сала 2 кг.

После того туда же Кисличенко-Орлов и Каммонен спрятали гранаты и патроны, которые они достали из финского трофейного склада.

Дня за 4 до побега, по указанию Орлова, я достал из вещевого склада 5 финских гимнастерок и 5 финских шапок. Сделал я это следующим путем: склад был расположен в зоне лагеря, ключ от склада находился у старшины нашего лагеря, фамилию которого я забыл (он был назначен вместо Вострецова). Чернов-Иванов был когда-то кладовщиком этого склада, и он достал мне откуда-то этот ключ. Ночью, пройдя открыто к складу, я ключом открыл дверь, взял эти вещи и спрятал их в дрова на территории лагеря в обусловленном месте.

Тогда же Кисличенко-Орлов назвал мне всех участников нашей группы».

4

Из материалов опроса И. В. Яковлева от 4 и 5 июля 1943 г.

«...В зоне 31-го лагеря я встретился с Черновым, который сказал, что Орлов нервничает из-за задержки побега, что у него уже запасен хлеб и находится за городом и закопан в землю. Чернов мне сказал, что мне надо симулировать болезнь и попасть в санчасть распределительного лагеря 1343, откуда будет совершен побег. Он сообщил, что о нашем побеге знает врач Раковский, который также является военнопленным, и он меня в санчасть положит. В беседе с Черновым я сказал, что сейчас уходить еще рано, т. к. в лесу много воды, и рекомендовал уходить в конце мая или даже в июне месяце.

Вскоре после этой встречи с Черновым я увиделся с Грябиным, который являлся моим ближайшим другом. В разговоре мы сомневались в том, что Орлов действительно намерен совершить побег. Мы рассуждали, что он работает поваром в роте охраны и находится в хороших условиях. Сомневались мы и в том, что Орлову удастся собрать запас продуктов на всю группу и вынести за город, да и сомневались в том, что вряд ли удастся совершить побег незамеченными, так как наступили светлые ночи. Мы боялись, что Орлов является провокатором и может нас выдать. Но разошлись на том, что соберемся в санчасти и там будет виднее.

В ночь с 15 на 16 мая я притворился больным и заявил, что у меня болит ухо, которое заболело в действительности. Утром при построении для отправки на работу я доложил старшине лагеря, что заболел. Он доложил финскому сержанту, тот разрешил мне обратиться к санинструктору. Санинструктором был военнопленный Николай (фамилию не помню), он меня принял, но сказал, что в санчасть сегодня отправить не может, так как нет конвоиров. До вечера я находился в помещении санинструктора, ночевать ушел в свой барак, наутро снова явился к санинструктору и под конвоем финского солдата был направлен в санчасть распределительного лагеря. Вместе со мной в санчасть шли еще два больных военнопленных в сопровождении санинструктора Николая.

Нас принял врач Раковский. Тут же присутствовал финский старшина лагеря Чуканов (по национальности русский) и медсестра из военнопленных Шаманина Надежда.

После осмотра врач Раковский сказал санинструктору 31-го лагеря, что меня оставляет для лечения в стационаре... Санинструктор возразил,

мотивируя тем, что карточка на меня находится в 31-м лагере, но Раковский заявил, что карточку можно затребовать. Раковского поддержал финский старшина Чуканов, и меня оставили в санчасти.

В санчасти я встречался с Матвеем Маркеловым, который работал дневальным у врача. Еще раньше я знал от Нищева, что Маркелов согласен на побег, и потому заговорил с ним об этом. Он мне рассказал следующий план предполагаемого побега. Комната врача Раковского выходит окном к проволочному заграждению, которым опоясан лагерь. Раковский якобы дал согласие совершить побег через его комнату: вылезти в окно и пересечь первый ряд проволочного заграждения. Против комнаты под заграждением будет сделано углубление в земле, чтобы проползти под проволокой.

21 и 22 мая в санчасть приходил Кисличенко-Орлов. Мы с ним встретились на улице. Он упражнялся на брусьях, я сидел недалеко от него, и мы разговаривали шепотом. Он меня спросил, готов ли я и не струсил ли бежать.

Я ответил, что готов и все, что зависит от меня, сделаю. Он дал мне задание достать рыболовных крючков и лесок, раздобыть себе нож, головной убор финской армии с кокардой. Я поинтересовался, как он сумеет заготовить продукты и достать оружие. Он мне ответил, что это его дело, и добавил: «За что взялся, то сделаю».

Мне хотелось лично поговорить с врачом Раковским о возможности побега через его комнату. Я встретил его на улице, и он сам сказал, что хочет поговорить со мной, и предложил зайти к нему на квартиру после обеда.

Я так и сделал. Он ждал меня и спросил, думаем ли мы уходить и когда. Он сказал, что в санчасти я нахожусь уже две недели, а держать долго он меня не может, так как его при первой же проверке могут изобличить в покровительстве симуляции. Я ответил, что в санчасть должны прийти Нищев, Грябин и Чернов, но почему они задерживаются, я сейчас не знаю, что, возможно, они придут в следующее воскресенье.

Затем я заговорил с Раковским о выходе из лагеря через его комнату, сказал, что нас 10 человек. Раковский ответил, что пройти через его комнату всем десяти он не может разрешить, но Маркелову и Шаманиной, я, говорит, разрешу, так как они у меня часто бывают, и, если кто и заметит, как они будут входить в мою комнату, то это не вызовет подозрений.

Вскоре после этого в воскресенье (числа не помню — начало июня) в стационар пришли Грябин и Нищев. Пришли они с жалобами на болезнь внутренних органов. Медсестра Шаманина им ставила термометры, у которых заранее была поднята температура.

Спустя несколько дней в санчасть привели Чернова, который симулировал воспаление легких и кровохарканье. При приеме Шаманина поставила ему градусник с температурой, поднятой до 39 градусов... Тут же присутствовал финский офицер, и он разрешил госпитализацию.

Вслед за Черновым явился Афанасьев, имевший ранение правой голени, Афанасьев был зачислен в стационар врачом Раковским как инвалид, назначенный к отправке в глубь Финляндии в инвалидный лагерь.

Таким образом, к 5 июня 1943 года в стационаре санчасти лагеря № 1343 собралось под разными предлогами 5 человек нашей группы. С этого момента мы стали ежедневно обсуждать план побега во всех подробностях.

Самым трудным мы считали выход из зоны. Мы решили выходить из зоны около уборной: перерезать проволоку первого ряда, пройти между двумя рядами колючей проволоки метров 60, затем проползти под второй ряд в углублении, сделанном заранее Кисличенко, выйти из зоны, спуститься под гору, выйти на дорогу, построиться и идти на сборный пункт. Побег предполагалось совершить в дождливую или туманную ночь. Нам было известно от Маркелова, что этот план выработан Кисличенко, и мы его только обсуждали. С ним были согласны все, находившиеся в санчасти».

5

Из материалов опроса Каммонеиа Т. Ф.
5 июля 1943 г.

«В декабре 1942 года я был вызван к начальнику полицейского участка капитану Ээро Саарасти, который предложил мне работать у него в качестве домашней прислуги. На это я согласился.

Работа моя заключалась в том, что я носил с финской кухни капитану и трем лейтенантам, проживавшим вместе с капитаном, завтрак, обед и ужин, делал уборку помещения и выполнял другие хозяйственные поручения.

Примерно через три недели я познакомнлся с другим русским военнопленным, по национальности украинцем, Орловым Николаем, который работал на финской кухне.

Я ежедневно ходил к нему на кухню за обедами для капитана и лейтенантов, и у меня с ним установились самые близкие взаимоотношения. Орлов почти ежедневно ходил ко мне и весьма часто ночевал у меня. Почти ежедневно мы бывали в лагере военнопленных, который находился рядом с домом, где я жил у капитана. В лагерь мы ходили свободно, часовые нас не задерживали, так как мы имели разрешение капитана.

Впервые у меня разговор о побеге из финского плена был с Орловым в начале этого года, когда мы с ним вдвоем мылись в бане. Орлов начал разговор со мной с обсуждения условий нашей жизни в плену. Он говорил, что живем мы хорошо, всем обеспечены, кушаем то же, что и финские офицеры, никто за нами не следит, имеем много свободного времени, но, несмотря на это, его тянет на родину. Далее он сказал, что хочет бежать из плена, и спросил меня, не желаю ли я бежать вместе с ним.

Вначале я Орлову не поверил, но потом, убедившись в искренности его намерений, заявил ему о своем согласии бежать на сторону русских. До этого разговора я не думал о побеге, собирался до конца войны оставаться там, где находился, ибо условия жизни для меня были созданы капитаном хорошие. Но теперь, узнав о планах Орлова, я решил не отставать от него, бежать к себе на родину, где у меня проживает семья.

Как я понял потом, Орлов еще до разговора со мной о побеге, готовился к нему и имел такие разговоры с другими военнопленными. Такой вывод я сделал из того, что когда между нами зашел разговор о проводнике, то Орлов мне заявил, что такой человек у него есть и не один. Когда я поинтересовался этими лицами, он предупредил, что я о них узнаю позже, и предложил мне самому поговорить со знакомыми военнопленными и, если кто даст согласие на побег, я должен сообщить об этом Орлову.

Близких знакомых в лагере у меня было немного. Моя национальная принадлежность, знание финского языка и положение прислуги у капитана вызывали недоверие ко мне.

Единственный, кого я хорошо знал из всего лагеря, был партизан Грябин.

Познакомился я с Грябиным в первый день, как был переведен в этот лагерь из саперной роты, где работал до этого на кухне. Около двух часов мы лежали на нарах и разговаривали о жизни в лагере, об обстоятельствах его пленения, потом меня перевели в другой барак, а потом к капитану.

Уже находясь на службе у капитана и бывая в лагере, я заходил к Грябину, с которым вел разговоры на финском языке, так как он по национальности карел и мог говорить по-фински. Это меня с Грябиным и сблизило. Я знал, что Грябин в лагере жить не хочет, и поэтому, выполняя поручение Орлова, предложил ему бежать из плена, на что он сразу же дал согласие. Об этом я сообщил Орлову. Больше ни с кем из военнопленных я о побеге не разговаривал. Все разговоры вел Орлов.

Поскольку Орлов работал на кухне, то все необходимые продукты мы решили взять там.

Подготовив продукты, мы стали вести наблюдение за складом с оружием, когда и как в него можно проникнуть, чтоб потом там взять гранаты и винтовки, которые будут необходимы, мы считали, для оказания сопротивления в случае задержания.

Очень много пришлось повозиться Орлову, чтобы всех собрать в одно место, в санчасть, так как четверо оказались переведенными в лагерь № 31...

Когда все люди были в сборе, Орлов и Комлев перевезли и спрятали в лесу продукты, и мы с Орловым стали заготовлять к побегу гранаты.

В 10 метрах от кухни охраны лагеря находился небольшой деревянный сарай, в котором был склад с трофейными винтовками, гранатами и саперным имуществом.

Выбрав момент, когда часовой от него отошел к гарнизонной гауптвахте, Орлов с противоположной от двери стены оторвал одну доску и залез в склад, а я в это время сел рядом со складом на камень и вел наблюдение за часовым. Чтобы предупредить о появлении часового, я бросал камушки в ведро, стоявшее около кухни, и после каждого брошенного камушка говорил: «попал», что означало — часовой идет к складу, или «не попал» — никакой опасности нет.

В тот раз Орлов вынес из склада 8 гранат русского образца «РГ-33», и мы их спрятали в лесу. На следующий день таким же путем мы взяли 4 гранаты «Ф-1».

Определенного дня побега нами не было назначено, ибо мы выжидали удобный момент. Но каждый знал, что сигнал о выходе будет дан Орловым из окна моей комнаты при помощи электролампочки или фонарика.

13 июня с. г. капитан днем отбыл в отпуск. За несколько дней до этого лейтенант Катошто уехал в командировку по участку. Дома остались только два лейтенанта — Суйкконен и Ньюгарт, которые в тот вечер справляли праздник и были пьяные.

Воспользовавшись этим, мы с Орловым и решили этой же ночью осуществить задуманный план побега».

X. ПОБЕГ

1

Когда подготовка скрытного и опасного дела тянется долгими месяцами, то вместе с постоянным напряжением неизбежно возникают и мнительность, и взаимное недоверие. Подозрения начинают вызывать не только срывы и помехи, но и слишком легкие удачи. Дело, в котором все катится, как по маслу, начинает казаться коварной, заранее подставленной ловушкой.

Не избежали этого и пятеро мнимобольных, отлеживавшихся в санчасти кто неделю, кто две, а кто и месяц.

Орлов, придумавший и организовавший все это с помощью доктора и Нади, вначале представлялся им истинным чудотворцем. Ну, мужик — все может! Слона сквозь игольное ушко протянет! Но дни шли, побег затягивался, напряжение нарастало, Маркелов успокаивал — все в порядке, все готово, надо ждать сигнала, и невольно приходило сомнение: нет ли тут подвоха? Ночи стали уже совсем короткие, на час-другой чуть смеркнется, посереет, и снова на северо-востоке набухает заря. Близился самый разгар белых ночей, как же бежать в такую пору?

Особенно нервничал Чернов. Сам по натуре человек активный, решительный, привыкший за время службы в Красной Армии к сержантской власти, ясности и точности, он тяжело переживал нынешнее состояние бессилия, неизвестности и зависимости от обстоятельств. Затяжку с сигналом он воспринимал как личное недоверие ему со стороны Орлова, который требует слепого подчинения, держит всех в капкане и даже не считает нужным объяснить, чего они ждут. Яковлев и Грябин тоже начали вторить ему, высказывая недовольство. Афанасьев помалкивал. Нищев успокаивал, как мог, но они часто переходили на карельский язык, и тут он был бессилен.

Напряжение достигло высшей точки 12 июня.

Накануне к вечеру начался дождь. Небо затянуло тучами, ветер гнал их сначала в сторону озера, потом через недолгое затишье потащил обратно, в полночь было по-осеннему темно, но сигнала для побега опять не последовало.

Назавтра к вечеру в санчасть пришли Орлов и Каммонен. Орлов был особенно оживлен, даже весел. Усевшись на койку Яковлева, он принялся подтрунивать то над одним, то над другим, но вскоре почуял, что его шутки сегодня принимаются плохо. Внимательным взглядом он как бы стянул всех пятерых к себе поближе и вполголоса сообщил: в полночь будем уходить.

— Почему же сегодня?—мрачно усмехнулся Чернов.—Почему не завтра? Или не через неделю?

— Потому что сегодня идет дождь,—медленно и тихо произнес Орлов, улыбаясь и не разжимая стиснутых зубов.

— Дождь был вчера. Сегодня уже остаточки. К полночи небо будет чистым.

Вероятно, Орлову ничего не стоило прекратить назревающий раздор—надо было лишь объяснить, что выжидал он не столько погоды, сколько отъезда капитана, командира роты охраны. Возможно, он рано или поздно сам сказал бы о причинах задержки, но от своих товарищей он ждал совсем иного к себе отношения, и намеки Чернова взбесили его.

— Вы тоже так считаете?—спросил он Яковлева и Грябина.

Те недоуменно переглянулись, словно не понимая, о чем разговор.

— Та-ак!—протянул Орлов.—Я рискую своей жизнью, припасаю продукты и оружие, а вы тут лежите, ничего не делаете, да еще труса празднуете. Чего доброго, еще кто-нибудь захочет искупить свою вину перед лагерным начальством, покаяться.Только зря надеетесь! Сегодня это не удастся, а завтра будет поздно. Мы в полночь уходим. Трусы и паникеры могут оставаться. Только пусть помнят Кольку Орлова, граната для них у него найдется!

Кивнув Каммонену, он поднялся, от дверей с улыбкой прощально помахал рукой всем находившимся в стационаре и исчез, оставив в смущении и растерянности своих товарищей.

Несколько минут спустя в стационаре появилась Надя Шаманина и попросила Чернова и Яковлева зайти к ней в комнату, где их ждал Орлов.

— Если он сейчас с нами так разговаривает,—тихо возмущался Чернов,—то что же будет в лесу? Или когда мы выйдем к своим? Он же нас всех трусами и паникерами считает...

— Поймите ж его,— уговаривала Шаманина.— Ему ведь достается больше других, он нервничает. А так он очень хороший и добрый человек.

Через час конфликт был улажен, примирение состоялось, и эпизод этот странным образом не только не расколол, а скорее сблизил всех участников побега, как бы выплеснул наружу образовавшуюся накипь и освободил место доверию, которое лишь крепло в последующие дни. В группе утвердилось единовластие, а Чернов стал как бы негласным заместителем.

Бежали в ночь с субботы на воскресенье.

Нужны были ножницы, чтобы перерезать колючую проволоку. Когда-то Чернов заведовал лагерным вещевым складом и отлично знал, где что следует искать. Он отправился в столярную мастерскую, где имелись ножницы для жести, нашел их и спрятал в дровах у забора. Потом пошел к доктору Раковскому и порекомендовал во избежание лишних неприятностей всех участников побега выписать из лазарета, перевести их в жилой барак и все оформить документами. Доктор охотно согласился, тут же оформил бумаги на Чернова, Нищева и Грябина. Яковлев выписке в другой лагерь не подлежал, так как его, по указанию начальства, оставляли вновь работать в сапожной мастерской. Афанасьев тоже не мог быть выписан, ибо числился ждущим этапа в инвалидный лагерь.

Казалось, все готово.

После отбоя, не раздеваясь, лежали на нарах, потом, ближе к полуночи, один за другим неслышно двинулись к уборной и затаились в тени высоких штабелей дров.

Ждали Маркелова, который из комнаты доктора должен был увидеть сигнал на выход из зоны. После часу ночи Маркелов прибежал, впопыхах сообщил, что световой сигнал был, но выходить никак нельзя—часовой ведет наблюдение за восточной стороной ограждения. Чернов выглянул—часовой действительно находился на этой стороне. Опять явилось подозрение, уж не пронюхали ли финны о готовящемся побеге. Находиться в дровах было опасно. Чернов приказал вернуться в барак и ждать, в дровах остался для наблюдения один Комлев.

Минут через двадцать в барак прибежал Комлев и разгоряченным шепотом начал ругать Чернова, что он срывает дело, что уходить давно пора, что часового никакого нет, а Каммонен уже здесь. Каммонен не должен был приходить в лагерь. Но, не дождавшись после сигнала никаких ответных действий, Орлов прислал его узнать, в чем дело, почему никто не выходит. В суете не сразу обратили внимание, что Каммонен одет строго по финской форме, и лишь много позже разобрались, что полчаса назад именно его и приняли издали за часового, наблюдавшего за восточной стороной.

Дальше все пошло быстро, как в лихорадке, но удачливо и по плану.

Комлев вытащил из штабелей спрятанную финскую одежду. Пока нервно переодевались, прятали свою, Каммонен осторожно перерезал проволочное заграждение первого ряда. Долго никто не замечал, что собрались не все, нет Маркелова, а потом, когда хватились, то времени бегать за ним уже не оставалось. Надя сказала, что перед выходом она заглядывала к нему, Петр Матвеевич был готов и одет, сказал, что как только начнут собираться, он выпрыгнет через окно и будет ждать возле уборной.

Возникло опасение, что Маркелову что-то помешало, а это значило, что надо спешить, пока возможность побега не сорвалась для остальных.

Г. А. Чернов на допросе 5 июля 1943 года рассказал:

«В образовавшийся проход первым проскочил Каммонен, за ним—я, Афанасьев и Комлев. В это время часовой на дальней вышке повернулся в нашу сторону, и остальным пришлось залечь у прохода, а мы успели добежать до угла лагеря, прикрытого зданием столовой, где Орловым и Каммоненом было заранее сделано углубление во втором ряду проволоки. Позже к нам прибежали Шаманина, Яковлев, Грябин и Нищев.

Все мы выбрались с территории лагеря, пересекли шоссейную дорогу Пиндуши—Медвежьегорск и по кустам направились в то место, где были спрятаны продукты и боеприпасы. Пробежали метров 400—500 и встретили Орлова, который указал, где спрятаны хлеб, сахар, масло, концентраты, гранаты и патроны. Мы начали укладывать это в вещевые мешки, а Орлов, Каммонен и Комлев ушли за винтовками. Одна винтовка итальянской системы была уже здесь: ее Комлев заранее взял в гараже».

Н. Е. Шаманина свидетельствует, что на сборном пункте в лесу Орлов как руководитель побега спросил остальных:

— Как быть с оружием? Времени уже много. Идти добывать оружие или не надо?

Яковлев тут же ответил, что рисковать не стоит, есть одна винтовка, есть гранаты — и хватит. Каммонен заявил, что без оружия отправляться в такой далекий путь нельзя, и Орлов, помедлив, приказал:

— Каммонен пойдет со мной. Остальным укладываться, все тщательно замаскировать и ждать нас. Я обещал оружие, и оно будет!

Через 30—40 минут они вернулись с оружием.

Как они добыли его, рассказал на допросе 5 июля 1943 года Т. Ф. Каммонен:

«Мы с Орловым пошли сразу к трофейному складу, чтобы взять там винтовки, но когда мы шли туда, нас увидел часовой, и мы повернули к моему дому, где зашли в сарай. Часовой не обратил на нас особого внимания, так как он знал нас и знал, что нам с Орловым разрешено ходить и ночью.

Когда часовой от склада ушел, мы осторожно вынули из окна склада стекла, Орлов не без труда залез вовнутрь, а я оставался снаружи. Орлов через окно передал мне 10 винтовок, после чего вылез оттуда, и, взяв каждый по 5 винтовок, мы пошли к моему дому, где поставили их около сарая, а сами зашли в дом.

Два лейтенанта были сильно пьяны, у них в комнате находились две финских женщины, к ним в комнату мы не заходили, поэтому наше появление дома они не заметили. Мы зашли в кухню, где взяли полевую сумку, три лейтенантских френча и три шапки, вернее, две пилотки и одну шапку. Кроме того, я взял еще 150 штук винтовочных патронов, которые один из лейтенантов держал на кухне.

После этого мы вышли из помещения, у сарая взяли все винтовки и пошли в лес, где нас ждали ребята. Там мы каждому раздали по винтовке, а оставшуюся лишней сломали и бросили. Яковлев, Грябин и еще кто-то надели френчи, которые мы взяли у лейтенантов, у них не было финской формы, а все остальные ее имели. Когда все у нас было готово, мы лесом пошли по направлению Паданы...»

2

Вот так вот: решили, вернулись, залезли в склад, взяли винтовки, прихватили френчи и полевую сумку с картой и бумагами... Как в сказке!

Наверное, сотни раз вчитывался я в показания участников побега, вглядывался в каждое слово, сопоставлял и сравнивал, узнавал и расспрашивал — и все равно удачливая до неправдоподобия история с добычей оружия повергала то в жар, то в холод.

Казалось бы, чего еще надо? Колючая проволока позади, беглецы уже в лесу, продукты на руках, даже одна винтовка и гранаты есть — срывайся и беги как можно дальше, благо осталось еще четыре часа до лагерной побудки, когда уже наверняка все откроется.

Так нет! Понадобились еще винтовки, нужен смертельный риск, потребовалось нахально залезть в склад, который хотя и плохо, но все же был под присмотром. И уже совсем по-киношному выглядит эпизод с кражей офицерских френчей, с гуляками-лейтенантами, с подвыпившими женщинами. Такие эпизоды охотно снимались в годы войны в Алма-Ате для киносборников «Победа будет за нами!».

Однако ни Орлов, ни Каммонен этих киносюжетов не видели и не знали. Они действовали.

Нужны, до крайности нужны были винтовки, а также и полевая офицерская сумка.

Винтовка в руки каждому нужна была не только для обороны, но и для ясного осознания, что вступил он в дело серьезное и отступа назад уже не может быть. По финским установлениям того времени предусматривались принципиально разные наказания за побеги из плена без оружия и с оружием. Побег без оружия рассматривался в административном порядке, как правило, он влек за собой карцер и отправку в штрафной лагерь. Иное дело — побег с оружием! Он подлежал военному суду, с последующими самыми крайними мерами наказания. Не случайно в первых же разговорах о побеге Орлов всех предупреждал — бежать надо только с оружием, чтобы вновь не оказаться в лагере.

Конечно же, все понимали, что винтовка сыграет свою роль и в том случае, если им удастся благополучно выбраться на свою сторону... Одно дело — просто бежали из плена, воспользовавшись благоприятным случаем! Другое, когда бежали и перешли линию фронта с оружием в руках. Тем более что и винтовки у них — свои, родимые, собранные финнами на местах декабрьских боев 1941 года после нашего отступления за Беломорканал. Восемь трехлинеек системы Мосина, образца 1891/30 гг. и две самозарядки Симонова, которые, к сожалению, оказались без магазинов...

Была своя логика у Орлова, и цель стоила риска.

А как же финны? Они-то почему оказались такими простаками и ротозеями, что проворонили сложную и длительную подготовку побега, небрежно несли охрану лагеря да еще вблизи держали склад с трофейным оружием? Неужели режим в их лагерях был столь милосерден, что раненых лечили, в лазаретах выдавали чистое белье, а каждый занедуживший освобождался от работы и направлялся в санчасть?

Нам, привыкшим к страшным картинам изуверства и жестокости, царившим в немецких лагерях для военнопленных, это кажется невероятным.

Но не будем идеализировать условия финского плена. Бесчеловечность немецкого фашизма не может служить эталоном для сравнения, хотя в ту пору немцы и финны тянули общую упряжку. В первый год войны многие тысячи советских бойцов и командиров погибли в финских лагерях, сотни раненых и обессилевших были пристрелены на полях боев и во время этапирования рьяными шюцкоровцами.

Еще в 1943 году в Стокгольме была издана книга датского писателя и военного корреспондента Херсхольта Гансена «По следам войны», в которой рассказывается о поездке автора по оккупированным районам Карелии. Несмотря на дружелюбие к финнам, Х. Гансен не в силах скрыть страшной правды о положении военнопленных в посещенных им лагерях. Он пишет, что условия их содержания «несравнимы даже с теми, какие существуют для преступников в цивилизованной стране».

В 1987 году в издательстве «Гуммерус» вышла книга финского писателя Эйно Пиэтола «Военнопленные в Финляндии в 1941—1944 годах», в которой автор приводит такие сведения:

За три года войны в финском плену побывало 64 182 советских военнослужащих. Из них — восемнадцать тысяч семьсот человек умерло от голода, холода, болезней и жестокого обращения. Лишь за первый год войны в лагерях погибло семнадцать тысяч... В течение двух лет лагеря советских военнопленных находились в ведении шюцкора. Основываясь на документах, Э. Пиэтола пишет:

«Не зафиксировано ни одного случая, чтобы кто-нибудь из охранников был наказан за жестокое обращение с пленными, зато имеется много фактов, когда наказывали за «слишком мягкое», человеческое отношение к ним».

Лишь в 1943 году приказом Маннергейма лагеря военнопленных были переданы от шюцкора под начало армейских частей, а при Генштабе учрежден специальный отдел.

Как видим, ход войны внес свои коррективы, а поражение немцев под Сталинградом и на Курской дуге заставило призадуматься над будущим самые горячие и воинственные головы в Финляндии.

На основании мемуаров и печатных сведений можно сделать вывод, что к этому времени в Финляндии сложилась целая система лагерей для военнопленных — пересыльно-распределительные, трудовые, инвалидные, штрафные, женские, лагеря для соплеменников. Условия содержания и внутренний режим в них имели определенные различия, начиная с самых льготных, где содержались «соплеменники», не пожелавшие служить в финской армии, и заканчивая самыми тяжкими — штрафными, которые сами военнопленные неспроста называли каторжными.

В районе Медвежьегорска находилось несколько трудовых лагерей, тяжкому, изнурительному режиму которых никто не позавидует.

Лагерь, из которого совершила побег группа Орлова, был из разряда льготных. Здесь в основном содержались пленники финно-угорского происхождения и имелся госпиталь, обслуживавший все другие лагеря в округе. «Соплеменникам» ежедневно выдавалось даже курево — по три сигареты в день. Этой жалкой подачке предназначалась и коварная роль — подчеркивать различие и возбуждать зависть и неприязнь у русских. Здесь к полуголодному пайку ежедневно полагалось сливочное масло — крохотный кусочек, размером с пятикопеечную монету. Отсюда не водили на тяжкие работы — в лес или на дорожное строительство. Для 150—160 человек здесь хватало вспомогательных работ внутри лагеря — в госпитале и в прачечной, в дезокамере и на вещевом складе, в скотобойне и в столовой, в столярной и сапожной мастерских, в гараже и на конном дворе, которые обслуживали и соседние лагеря.

Здесь дозволялись среди пленных художественная самодеятельность и ремесла, изредка устраивались даже концерты.

Лагерь выполнял роль показательного. Сюда привозили представи-

телей Международного Красного Креста, охотно допускали журналистов — своих и зарубежных.

Судя по всему, лагерное начальство полагало, что каждый военнопленный, попавший сюда, должен считать себя облагодетельствованным, и он, конечно, не станет думать о побеге.

Бегают из других лагерей — из 31-го, 74-го, 75-го. А тут зачем от добра искать добра? Отсюда не бегают, наоборот — сюда стремятся попасть дистрофики, «фитили» и «доходяги».

Вероятно, так или примерно так рассуждало командование ротой военной полиции, когда постепенно убавляло постовых на сторожевых вышках, пока не довело их до одного-единственного, да и тот предпочитал коротать ночь в будке у проходной...

Когда в январе 1986 года я рассказал обстоятельства побега финскому военному историку Хельге Сеппяля и спросил, чем, на его взгляд, можно объяснить беспечность охраны медвежьегорского пересыльного лагеря, он согласился с моей версией, а потом, подумав, с улыбкой добавил:

— А может, это и не беспечность... Просто ваши парни перехитрили наших стариков. Ведь в охране у нас служили, как правило, пожилые...

Еще подумал и еще добавил:

— Война за два года всем осточертела. Все ждали конца, тянули свою лямку...

Как бы там ни было, но удачный побег группы Орлова наделал переполоха.

Вот что рассказывал об этом в 1954 году доктор Василий Никитич Раковский, работавший тогда в Петрозаводске рентгенологом туберкулезного диспансера:

«После обнаружения побега среди администрации лагеря была большая суматоха. Были вызваны розыскные собаки, с которыми финны ходили искать беглецов. Однако задержать никого не удалось. Режим охраны резко изменился. Были выставлены часовые на каждом углу лагеря. Сделали дополнительные ряды колючей проволоки. В самом лагере начались поголовные допросы и избиения. Финны все время искали соучастников и пособников побега, но результатов не добились. Лично меня тоже допрашивали об этом, но я притворился незнающим...

Осенью 1943 года в наш лагерь был доставлен захваченный финнами один советский разведчик, который был ранен в обе ноги. Фамилию этого разведчика я не знаю. Он находился в тяжелом состоянии и через день был куда-то увезен. Этот разведчик, когда ему делалась перевязка, говорил, что группа военнопленных, бежавших из нашего лагеря, перешла на сторону советских войск. Двое из них, якобы, подорвались на мине и получили ранения.

Из числа бежавших вместе с Орловым обратно в лагерь никто не возвратился. Во всяком случае, лично я никого из них, в том числе и Орлова, больше не видел и от других лиц о них ничего не слышал».

О тревоге по линии фронта в связи с побегом свидетельствует и «Дневник боевых действий» 5-го пограничного егерского батальона, державшего линию охранения от Падан до Ондозера.

Засады, усиленное наблюдение и патрулирование продолжались в течение почти месяца, охватывая все новые и новые районы. В них постепенно втягивались все подразделения 5-го пограничного батальона. Тревога не ослабла, а скорее, усилилась после того, как на окраине села Паданы произошел эпизод, о котором в «Дневнике боевых действий» записано следующее:

«26.05.21 — 05. Вянрикки Салмио доложил по радио: наш патруль встретил в точке Х — 1920 — У — 1920 трех убежавших военнопленных. Пленные оказали сопротивление, и все были убиты. У одного пленного были знаки различия финского лейтенанта. У пленных много патронов и ручных гранат. Среди убитых пленных Орлов, паданский Миронов и предположительно Афанасьев».

Майор Кивикко тут же приказал выслать дополнительные патрули вдоль дорог Паданы — Юккогуба и Сяргозеро — Лазарево — Гонгинаволок, чтобы закрыть остальным беглецам путь на север и на восток.

3

Ничего этого не знали и не могли знать сами беглецы.

Торопливо, почти впробежку, они углубились в лес, взяли направление на северо-запад; и мир замкнулся для них пределами видимого. Скорей, скорей! Главное — оторваться, уйти подальше, выбраться на необжитые просторы, а уж там можно будет думать о том, как запутать следы на случай погони!

Неожиданности начались чуть ли не с первого часа.

В нескольких километрах севернее Медвежьегорска путь преградила широкая, свежеотсыпанная, прямая и ровная дорога, тянувшаяся с запада на восток. Шедший впереди Яковлев растерянно остановился — еще два года назад никакой дороги тут не было, да и на финской карте Орлова она не значилась. Присели на корточки, посовещались, сообразили, что это и есть та самая дорога в обход города к линии фронта, на строительство которой гоняют пленных из соседних лагерей, и решили курса не менять, только дорогу не форсировать перебежками, а переходить спокойно, походной цепочкой, чтоб не вызвать подозрений, если кто-либо и увидит их издали. И вообще, пора перестать бегать, надо переходить на обычный, походный шаг.

Так и сделали, но не прошли и километра, как уткнулись в небольшую речку. Ее Яковлев знал и помнил, он даже стремился к ней, чтоб, придерживаясь берега, хотя бы в отдалении от него, выйти в район своей родной деревни Шарвары, потом пересечь Чебинскую дорогу и взять курс на село Паданы, до которого по прямой останется верст шестьдесят.

Только двинулись вдоль реки, как впереди справа увидели на берегу финские палатки. Лагерь еще спал, но часовые-то, конечно, где-то стоят, смотрят, охраняют... Это было похоже на ловушку. Яковлев совсем растерянно и виновато смотрел на товарищей.

Орлов круто выматерился и приказал:

— Поворачивай обратно! Веди, куда хочешь, но только подальше в лес!

Снова пересекли строящуюся дорогу, полтора-два километра шли на запад, потом резко повернули опять на север, опять миновали дорогу и вскоре с облегчением поняли, что наконец-то выбрались в безлюдье.

Двигались без отдыха, час за часом, и никто не чувствовал ни голода, ни усталости. Открытых мест избегали, болота или обходили, или выискивали самое узкое место и форсировали развернутым строем, чтобы не оставлять следов. После полудня, западнее их курса, в сторону Медвежьегорска, а потом обратно низко над лесом пролетел самолет. Он ушел строго на север, не сделав ни одного круга, но и это стало лишним предостережением.

Лишь вечером остановились на долгий привал. Выбрали укромную расселину с едва заметным родничком, с густой тенью от ольховых зарослей и с тучею комаров, которые, казалось, слетелись сюда со всего карельского леса, выставили на возвышении скрытого наблюдателя, определили очередность смен, а сами упали на мягкий прохладный мох и долго лежали не двигаясь. Не было сил развязать мешок и достать галеты. Потом, не разводя костра, поужинали, макая галеты в растаявшее прогорклое масло и запивая водой.

Короткая светлая ночь промелькнула, как одно мгновение, сон был тревожным и прерывистым, с побудкой на пост, он не дал необходимого отдыха, но все с радостью восприняли тихую команду «подъем», снова пожевали галет с маслом и охотно двинулись дальше.

Теперь шли медленнее и осторожнее. Впереди, метрах в двадцати, Яковлев, сзади группы на таком же расстоянии, Каммонен. Были выделены наблюдающие и справа, и слева. Все, как положено в марше по лесу.

Во вторую ночь Грябин по общему согласию разжег костер. Теперь все чувствовали себя спокойней и уверенней. Сварили кашу из концентрата, попили чаю и хорошо отдохнули, спасаясь от комаров вблизи костра. Погода стояла солнечная и жаркая, в лесу все хрустело и трещало

под ногами от сухости, словно бы ожидая неосторожной искры, чтоб схватиться низовым пожаром; поэтому с огнем обращались не просто осторожно, а скорей опасливо. И все же не убереглись.

От места привала отошли уже порядочно, с километр, а то и больше, уже поднимались на каменистый кряж, когда, оглянувшись назад, увидели, что в той низинке, где ночевали, не просто стоит сизая дымка от недавнего костра, а плавает настоящий дым, и он с каждой минутой набухает, темнеет и начинает переваливаться клубами. Это означало, что снизу взялся открытый огонь. Теперь-то пожалели, что костерок, уходя, гасили не водой, а разгребали и затаптывали ногами. Еще можно было, наверное, успеть вернуться и приглушить разгоревшийся пожар, но вдруг финны тоже заметили дым? Нет-нет, надо как можно скорее уходить отсюда... Куда? На северо-восток, подальше от селений и дорог. Скорей, скорей...

К вечеру того же дня стало ясно, что они заблудились. Даже Яковлев не знал, где они теперь находятся. Он поднимался на самые высокие места, оглядывал горизонт и ничего вокруг не признавал.

Карта-то у них была, но финская, с чужими названиями и непривычными знаками, и никто — ни танкист Орлов, ни радист Чернов, ни школьный учитель Нищев не могли привязать ее к местности. Схожие по очертаниям озера, высоты и болота обнаруживались на карте чуть ли не в каждом квадрате.

Плутали три дня. Вначале отнеслись к этому спокойно, даже с полушуткой — «коль сами не знаем, куда зашли, так финнам и подавно не найти нас...». Решили дать себе суточный отдых, подкрепиться, полечить потертости на ногах. Жгли осторожный костерок, варили концентрат, вместо чая пили отвар из брусничных листьев, пробовали в озерке удить рыбу, но клевало так плохо, что никакого подспорья убывающему на глазах запасу продовольствия не получалось.

Не знал ни покоя, ни отдыха один Яковлев. За сутки он сделал три выхода на разведку местности в разных направлениях, с каждым разом пропадал на все более долгий срок, вызывая у товарищей беспокойство, которое вот-вот готово было вылиться в самые недобрые предположения. Но Яковлев возвращался, и на радостях, что он не заблудился, не пропал, не ушел в родную деревню, которая, хоть и неизвестно где, но где-то здесь, в этих краях, никто пока не корил его.

Назавтра, в четвертую разведку, отправились вдвоем с Орловым. Проходили часа четыре, вернулись усталые, злые, недовольные друг другом. Яковлев был растерян и подавлен, а Орлов, не привыкший к неудачам, в открытую возмущался:

— Он, видите ли, десять лет в этих местах не бывал... Что, за эти десять лет озера пропадут, сопки сдвинутся или ручьи обратно потекут?

— Зацепились за что-нибудь? — спросил Чернов.

— Ни черта не зацепились... Километрах в пяти есть просека. Старая, давно не чищенная. Пойдем по ней, пока не определимся... Теперь уж веры в этого горе-проводника нет, надо по карте сверяться.

— Лучше идти прямо на запад, пока не выйдем на Чебинскую дорогу, — посоветовал Чернов. — Миновать ее мы не можем никак, она тянется почти строго на север.

— А ты уверен, что мы уже не перешли ее? С таким проводником я ни в чем не уверен, — все еще не мог успокоиться Орлов, кидая в сторону притихшего Яковлева гневный взгляд.

— Не ищи теперь виноватог '— Голос Чернова обретал все большую твердость. — Сами мотались то вперед, то назад, то на запад, то на восток... Да и кто тебе мешал сверяться по карте? Вот то-то. Идти надо строго на запад...

— Чебинскую дорогу мы не переходили, — неожиданно вмешался всегда молчавший Грябин.

— А ты почему так уверен? — с удивлением повернулся Орлов.

— Эту дорогу я хорошо знаю. За год три раза финны по ней прокатили... На работы в Паданы возили... Да и до войны приходилось ездить...

— Что же раньше не сказал, что знаешь дорогу? — усмехнулся Орлов. — Мы бы не стали попусту тревожить нашего Дерсу Узалу. — Он не глядя кивнул в сторону Яковлева. — Пусть бы ковырялся себе в лагере с шилом и дратвой...

— Орлов, перестань напрасно обижать человека! Что у тебя за манера такая. — Чернов уже едва сдерживался. — Ведь у нас был разговор на этот счет...

— Ладно! — свернул Орлов ненужную карту. — Обижать и обижаться у нас действительно нет времени. Пойдем на запад. Но вдоль просеки. И очень осторожно...

На шестой день побега вышли к дороге, долго наблюдали за ней, опасаясь патрулей. Яковлев уже давно начал снова узнавать местность, сказал, что до его родной деревни Шарвары отсюда не больше двух верст, но известие это не обрадовало, а огорчило, ибо получалось, что после всех блужданий они находятся всего в тридцати верстах от Медвежьегорска, а впереди путь в пять раз больший.

Лишь на тринадцатый день побега группа вышла в район Падан.

В ночь на 26 июня, ведомая теперь уже Грябиным, она пересекла Селецкую дорогу, переправилась через реку и утром остановилась на привал в четырех километрах от села.

Предстояло решить важный вопрос, по которому в группе не было единодушия.

Продукты кончились. Третьи сутки шли, съедая в день по паре галет, но и тех уже не оставалось, а силы заметно убывали. Позавчера, когда обходили с запада деревню Топорная Гора, то впервые не удержались от попытки раздобыть хоть что-то из съестного. Отправились трое — Орлов, Яковлев и Каммонен. Потратили чуть ли не весь день, а вернулись ни с чем. В деревушке оказался финский патруль, человек семь-восемь. Час за часом ждали, наблюдая с опушки леса, что патруль уйдет, и лишь к вечеру поняли, что финны никуда уходить не собираются, а наоборот — устраиваются на постой, колют дрова, затопили баню. Мелькнул соблазн — подтянуть группу, дождаться, пока финны отправятся в баню, и внезапно напасть, чтоб поживиться за счет их припасов. Ведь силы-то равные. Но тогда-то, даже в случае удачи, наверняка пришлось бы проститься с мыслью выбраться к своим...

Орлов не решился, упустил случай и теперь мучился в сомнениях — правильно ли он поступил и не заподозрят ли его товарищи в трусости.

Поэтому, когда на дневном привале возле Падан Грябин попросил разрешить ему сходить в село, чтобы добыть продуктов, а большинство товарищей дружно запротестовали, доказывая, что рисковать из-за жратвы бессмысленно, что надо скорей, пока еще окончательно не иссякли силы, двигаться к своим, Орлов слушал эту перепалку с чувством облегчения и до поры молчал...

...Я вчитываюсь в тогдашние, идущие из военных лет показания участников побега, в их теперешние письма с воспоминаниями о том самом эпизоде в паданском лесу, пытаюсь представить этот спор и с горечью думаю — скажи Орлов в тот момент одно-единственное слово «нет», и все было бы по-другому. Лучше или хуже — но обязательно по-другому. И для самого Орлова, и для Грябина с Афанасьевым, и для всех участников побега.

Казалось бы, здравый смысл диктовал — «нет». Идти в село, являвшееся центром района, где у финнов и гарнизон, и полиция, и штаб — это, конечно, риск на грани безумия. А воровать ящики с продуктами из столовой полицейской роты, красть оружие из склада почти на глазах у часового — это разве не риск на грани безумия? Не он ли принес успех? Если бы, вырвавшись на свободу, не стали осторожничать, действовали бы на грани риска, то, может, не сидели бы до сих пор возле Падан, а давно были бы у своих. И не понадобилось бы теперь искать жалкие крохи продовольствия. Что может Грябин добыть у матери? Ломоть хлеба, несколько фунтов муки да ведро картошки... А и без этого теперь не обойтись — до нейтральной полосы не менее шестидесяти верст, да там еще неизвестно сколько придется идти... Прав Грябин — без продуктов, а значит, без риска не выбраться. Позавчера поосторожничал, не рискнул — сегодня этого не повторится...

Вероятно, так или примерно так рассуждал Орлов, слушая спор и чуть заметно усмехаясь.

Грябин разошелся вовсю. Он уже уверял, что без продуктов группу не оставит, в крайнем случае приведет материну корову, да и две тетки живут в Паданах, они тоже не откажут ему в помощи. По душе был Орлову этот молчаливый, но упрямый и рисковый парень — партизан.

И Орлов сказал «да».

Решили идти втроем — Орлов, Грябин, Афанасьев. Кто и как пойдет в село, будет видно на месте. Группа до шести часов утра должна ждать их здесь, потом перейти к берегу озера в нескольких километрах отсюда и ждать там до полудня. Если они не вернутся к этому сроку, то значит, с ними что-то случилось, и группа должна выбираться самостоятельно... Грябин растолковал Чернову и Нищеву маршрут...

Старшим в группе оставался Чернов.

В шестнадцать часов Орлов, Грябин и Афанасьев отправились в Паданы.

В девять вечера оттуда донеслась недолгая перестрелка, взрыв гранаты, и все стихло.

К назначенному сроку никто не вернулся.

4

Из письма Г. А. Чернова от 3 октября 1987 г.

«Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Яковлевич!

Я очень тронут вашим письмом, в котором сообщили мне такую новость о товарищах по плену и побегу. Для меня это большая радость. Как получу от вас адреса, буду немедленно писать им. Надя Шаманина для меня осталась навсегда Надей. Мне очень хочется знать, как прошло у них следствие и пострадали ли они.

Почему я так думаю? Потому, что обвинение по 206-й статье мы подписывали только втроем: Яковлев, Каммонен и я.

Ну это в прошлом, которого не вернешь, и синяки прошли-изгладились, хотя очень обидно...

Да, пока не забыл. Яковлев И. В. действительно работал со мной на 1-й шахте в Коми АССР. Получил пенсию и уехал на родину в Карелию, в гор. Медвежьегорск, и умер, кажется, в 1974 году. Об этом писала мне жена его. Он много раз приглашал в гости порыбачить на озерах, но так и не пришлось.

А теперь о побеге из вражеского лагеря.

Данный побег мы начали готовить с Орловым-Кисличенко и врачом Василием Никитичем Раковским... Мы находились в распред. лагере в гор. Медвежьегорске. К нам привозили с лесных лагерей истощенных и больных товарищей по плену, а по выздоровлении отправляли назад.

Лично я многим помогал по силе возможности. В одно прекрасное утро я услышал знакомый голос. Оглянулся, никого из знакомых не обнаружил. Мне показалось, что я ослышался. Но когда из склада возвращался, я опять услышал тот же голос. Подошел и спросил: «Чего вы хотите?» Тогда он сказал мне: «Разве вы забыли своего товарища?» Я пристально стал смотреть и узнал своего радиста из нашего взвода. Это был Нищев. Он был настолько изменившись — куда его кудри черные делись, ни волос, ни бровей, а ноги опухли, как чурки, и гноились. Я узнал его, даже прослезился. Сразу побежал к врачу и говорю: «Никитич, помоги! Выйди на улицу и посмотри на моего близкого товарища».

Он обещал сделать все возможное и обещание выполнил, а я, в свою очередь, начальство упросил оставить по излечении здесь, и устроили его в бане при вошебойке. Он стал 3-м по числу беглецом... Остальных строго выбирали, и не все знали, кто и сколько собирается в побег. Узнали незадолго до побега... Ну да это вы, наверное, уже знаете...

Вы интересуетесь насчет Падан.

Насчет Падан я слышал, что для охраны паданского моста выставлена в деревне полицейская рота и мост охраняется двумя часовыми постоянно. Поэтому я посоветовал ребятам ни в коем случае не ходить на мост, а переплыть реку на большом расстоянии. Но, видимо, им не хотелось плавать, и решили пройти по мосту. Тем более, они со знаками различия — Грябин как майор, Афанасьев — сержант, а Орлов — вроде капитан. Мне говорили потом, что навстречу им финский майор вел роту, он придрался — почему не по форме одеты, почему не приветствуете строй и т. д.

А Лешка Грябин, не долго думая, вытащил пистолет и убил майора... Тут и поднялась тревога.

Так и получилось, что они не пришли ни к полуночи, ни к утру, ни к полудню.

Ждали до 12 часов, и пришлось следовать без них.

Места пошли то чаще непролазные, то открытые болота, то большие озера. Мы голодные, усталые, еле двигались. Мало того, попали на минное поле. Увидели подвесные мины, висят, как самовары. Я проходил на сержантской учебе, что такие мины бывают, они очень страшные и большого радиуса действия. Подал знак остановки, говорю: «Я буду идти впереди осторожно, остальные гуськом в один след!»

Опасался я насчет Нади — и не напрасно. Она задела проволоку, и одновременно получилось несколько взрывов. Осколки плюхались в воду озера. Где-то залаяла собака. Мы бегом стали пробираться вверх на берег озера, в лес. Пока вгорячах бежали, никто ничего не говорил. Я спрашиваю: «Никого не ранило?» Николай Комлев говорит: «Меня в руку», а Надя заплакала: «Меня в ногу». Остановились в старом дзоте отдыхать, вгорячах Надя еще Комлеву перевязку сделала. «Ну-ка, покажи, где тебя ранило, и не стесняйся», — спросил я ее. Оказалось, в одну ногу двумя осколками. Отдохнули мои раненые, почувствовали очень плохо себя после перевязки. Надежда не может на ногу наступить, хотя осколки, конечно, вытащили. Идти сама не может и говорит: «Из-за меня вы сами пропадете. Оставьте меня здесь. Запомните, где, может, и найдут».

Я говорю: «Нет. Товарища в беде не оставим, как мы клятву давали, будем тащить по очереди». Так мы и двинулись. Сперва было больно, и, видимо, очень, а потом привыкла и шагала с помощью товарищей.

От голода голова кружится, а есть нечего.

Вдруг в большом лесу оказалась полянка, присели отдохнуть и увидели пробежавших лосят. Решили поохотиться. Яковлев был не только рыболовом, но и охотником. Он сказал: «Тут надо чуть замаскироваться и ждать. Обязательно придет сохатый». И правда, через некоторое время появился огромный бык, и мы его пристрелили. Сколько было радостей! Теперь с голоду не пропадем. А вышло наоборот. Освежевали тушу и не смогли удержать себя, стали черпать чем попало свежую кровь и пить, потом жарить мясо, едим без конца, хотя знали, что много есть нельзя. Каждый отговаривает товарищей, а сам отстать от еды не может. Полтуши завернули в шкуру, опустили в вырытую яму, на ней зажгли костер. Гужевались несколько дней и заболели дизентерией. К тому же еще не знали — на своей территории находимся или у врага. Все-таки мясо, которое в яме тушилось, вытащили, поделили по мешкам. Хватило, и еще осталось, только жевалки у нас уже не хотели работать, набили оскомину...

Говорю: «Здесь мы ничего не высидим. Кто со мной в разведку?» Откликнулся Коля Комлев, и мы отправились. Вскоре обнаружили дорогу, на ней коробку из-под советских спичек, пустую пачку из-под махорки. Стали дальше наблюдать — нашли подкову формы наших мастеров. «Коля, веди сюда остальных».

На этой дороге сделали остановку и стали ждать — появится же кто-нибудь. Через некоторое время услышали из-под горы крики и русский мат. Потом увидели, как из-под горы по направлению к нам двигается обоз из нескольких пароконных подвод. Я подумал, что это партизаны, но оказалось — наши солдаты. Чтобы не было неприятностей, я предупредил своих ребят отойти за куст, ведь одеты мы были в финскую форму: «Говорить вначале буду я один».

Когда обоз стал подъезжать ближе, я поднял руку и произнес: «Товарищи красноармейцы, группа военнопленных возвращается к своим!»

А наши не выдержали и стали выходить на дорогу. Возчики испугались, было их немного, и чуть-чуть не открыли огонь... В общем, все обошлось.

А дальше началось такое, что и вспоминать не хочется, так тяжко и обидно.

Скоро пришли в часть. Полковник приказал нас накормить и стал беседовать с нами дружелюбно. Обещал нам: «Вас допросят, затем отправят по домам на поправку, а затем я вас всех к себе служить заберу».

Но появился капитан, задал вопрос: «Кто из вас старший?» Показали на меня. Он повел меня в сторонку, метров на 50 и велел сесть на пенек. Начался первый допрос. После он попросил разрешения полковника нас забрать.

Везли нас очень далеко по плохой лежневке и долго. Мы попали в «смерш». Нас разъединили, и долгое время мы не видели друг друга. Следствие вели ужасно строго и несправедливо. В камере, с кем сидел, мне говорили: «Не стоит молчать, надо говорить то, что им от меня надо». Я был против этого. Они нас обвиняли в шпионаже. Первым не выдержал Яковлев. Он, видимо, и Каммонена уговорил, чтоб тот взял на себя какое-то тайное задание. Ко мне была посажена камерная наседка, которая убеждала: «Ваши признались, и тебе следует поступить так же, а то здесь подохнешь».

После их лжепризнания ко мне стали применять ужасные пытки, но у них все равно не получилось. Один раз посадили в соседнюю камеру с Яковлевым, сделали так, чтобы мы могли через стенку переговариваться. Я услышал от Яковлева: «Гоша, бесполезно молчать и себя мучить. Надо признаться». Я и говорю: «В чем?» «А что им надо, то и говори, чтоб в живых остаться». Я ответил, что не хочу сам из себя делать шпиона, и даже крепко поругал его.

После этого разговора мне уже жизни совсем не стало. Каждый день на следствии с шести часов вечера до шести утра, даже следователи уставали, менялись через 4 часа. Мало этого — днем мне не стали давать спать...

Понял я, что мне больше не удержаться, и решил сказать следователю: дескать, что вам надо от меня, то и пишите, я буду говорить все и подпишу, если будете судить меня здешним военным трибуналом. Мне хотелось на суде все объяснить, что говорил по принуждению. Но они оказались хитрее меня. Они разгадали мое намерение и дело передали в Москву на особое совещание. Оттуда пришла бумага в десяти строках: «Иванов Иван Андреевич, он же Чернов Георгий Андреевич, обвиняется в измене Родине и особым совещанием приговаривается к трудовым лагерям сроком на 15 лет и т. д.» Распишись в прочитанном! Вот и все...

Следователи еще и потому хотели осудить нас троих, что из нас Каммонен — ленинградский финн, Яковлев — местный карел. Я же писался русским и действительно карельского языка почти не знал, в семье больше по-русски разговаривали, и в деревне я мало жил. Но когда сверку сделали по месту рождения, то из района справку дали, что я действительно карел. Опять новое подозрение — зачем скрывал, что за этим кроется?

И вот реабилитацию я получил только в 1956 году.

После объявления мне приговора, я временно, около месяца, находился в лагере Беломорска. Далее отправили в Архангельскую область пилить лес. Затем в 1945 году нас отделили от бытовиков и отправили в лагеря Коми АССР, где были политические со всего света. Кого там только не было! И генералы, и профессура... Здесь я работал на шахте, сперва рядовым, затем горным мастером, до 1969 года, а с 1969 года живу в Калинине, все еще тружусь, только работаю в охране. Семья из 4 человек: мы с женой, сын и дочь. Жить бы ничего было, но попал впросак. Купил дом, который еще в 1970 году должен был попасть под снос. И каждый год обещают сносить, капитальный ремонт запрещен, только поддерживающий... Вот 20 лет и поддерживаю. Короче говоря, на этот ремонт израсходовал столько средств, что мог бы новый построить. Ужасно холодно зимой.

В финскую кампанию я воевал на Карельском перешейке, затем был оставлен в кадровую и до войны служил в Петрозаводске. Я этот город хорошо знаю.

Не осудите меня за мое нескладное сочинение. Старый стал, мне 3 апреля исполнится 73 года, и часто болею.

Вот теперь обо мне вы все знаете.

С уважением Г. А. Чернов».

XI. РАЗДУМЬЕ ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Сколько бы автор-документалист, стремясь к сюжетной завершенности, ни ограничивал себя рамками определенных событий и судеб, однако в повествовании о поиске, идущем по следам войны, едва ли достижима та желанная точка, когда можно облегченно вздохнуть: наконец-то все выяснено, все встало на свои места!

Такая была война, что и теперь, через сорок три года, каждая удача в поиске почти неизбежно рождает новые загадки, выявляет новые безвестные имена, и — снова укоряюще мечется и трепещет перед глазами беспокойное оранжевое пламя Вечного огня...

Конечно, если цель работы замкнуть только на самой повести, то всегда можно найти подходящий завершающий момент. Стоит лишь одно домыслить, другое сдвинуть во времени, третье вообразить.

Поначалу так и думалось. Четыре года назад, когда я впервые взялся за эту рукопись, она так и называлась — повесть «Карельский парень».

Пусть это не покажется парадоксом, но тогда о фактической стороне всей этой истории я знал столь мало, что тех моих малых знаний вполне доставало, чтобы выстроить план довольно складной по композиции и динамичной по сюжету повести о загадочной гибели отряда «Мстители» и о судьбе его последнего бойца — Алексея Грябина. Зияющие документальные прорехи и отсутствие многих свидетельств легко и самонадеянно заполнялись в моем сознании воображаемыми сценами и событиями, благо была возможность опираться и на партизанский, и на писательский опыт.

Повесть вполне бы сошла за документальную. Я знал не много, но другие-то знали еще меньше, и навряд ли кто-либо стал уличать автора в неточностях или вольностях в обращении с историческими фактами. Скорее всего, авторская версия событий так и закрепилась бы за той трагической страницей партизанской войны, как это зачастую происходит на наших глазах даже с теми книгами, где документального вообще лишь имена, даты и географические названия.

Это-то и остановило меня тогда.

Далеко ли мы продвинемся в постижении правды о минувшей войне, если на смену уже бытующим в народе легендам литература под видом документальности станет подставлять новые, пусть и оснащенные штрихами правдоподобия? Не честнее ли в таком случае вообще отказаться от документов, дать волю воображению и писать просто художественную повесть?

Но при чем тогда окажется судьба реальных бойцов и командиров отряда «Мстители», павших на высоте 195,1 и так надолго по нашей вине ушедших в безвестие?

Это была уже не дилемма, а настоящий заколдованный круг. Выход из него оставался один — вновь вернуться к документальным истокам и продолжать поиски.

Я и теперь знаю далеко не все. Более того, до конца так и не удалось выяснить и документально подтвердить то, с чего, собственно, и начинался сам поиск — подробности последнего боя отряда 8 августа 1942 года. С нашей стороны нет ни свидетелей, ни документов. Но они должны быть и, конечно, есть у финской стороны. Ведь живы еще солдаты роты лейтенанта Алакулпи, участвовавшие в том бою. Неужели никто из них так и не решится рассказать — что же произошло там, на высоте 195,1?

Остаются непроясненными до конца детали другого трагического эпизода — гибели Орлова, Грябина и Афанасьева, отправившихся в село Паданы за продуктами. Тут имеются и документы, и свидетельства. Однако документы весьма скупы, а свидетельства хотя и подробны, но косвенны.

Организатор поисковой работы в Паданской средней школе, учительница Надежда Иосифовна Тарасова по моей просьбе опросила многих жителей села и записала их рассказы об Алексее Грябине. Выяснилось немало важного и интересного, но никто из них в тот июньский день Грябина живым не видел, все слышали короткую перестрелку и уже потом, тайком от финнов, пробирались к месту происшествия, чтоб убедиться — нет ли среди убитых кого-либо из родных или близких. Алексея легко опознали, а те двое так и остались безымянными. Лишь к 43-летию Победы в результате долгих и временами казавшихся безнадежными поисков стало возможным среди ста партизан, возвращенных из безвестия, на братской могиле в Паданах написать подлинные фамилии А. Ю. Кисличенко и П. В. Афанасьева.

Если об Афанасьеве мы имеем краткие, но точные документальные сведения — он родился в 1924 году в селе Спасская Губа Карельской АССР, член ВЛКСМ, работал до войны в Поросозере, вступил в партизаны, в составе бригадной разведки участвовал зимой в ряде операций, награжден медалью «За боевые заслуги», раненым попал в плен 27 апреля 1942 года, то о Кисличенко известно совсем немногое, лишь сохранившееся в памяти участников побега. Да и был он тогда не Александром Юрьевичем Кисличенко, а Николаем Васильевичем Орловым. Его настоящую фамилию знали в ту пору немногие.

Когда я думаю о судьбе этого человека, то невольно поражаюсь одному странному совпадению. Создается впечатление, что фамилия «Орлов» для подполья и плена имела какой-то символический смысл.

Известный карельский прозаик Николай Яккола в своей автобиографической повести «Верность» пишет, что в финском лагере возле города Лаппенранта подпольную организацию советских военнопленных возглавлял бывший политработник по фамилии Орлов. Когда я впервые прочел это, то вспомнил, что еще в пятидесятых годах петрозаводский краевед Александр Константинович Грунтов, вспоминая о плене, рассказывал мне, что в другом лагере, уже на берегу Ботнического залива, был свой Орлов, и тоже организатор лагерного подполья.

И в первом и во втором случаях это были псевдонимы.

Но существовал и реальный Алексей Михайлович Орлов, отважный и широко известный в Карелии чекист-подпольщик, успешно возглавлявший в оккупированном Заонежье разведывательную группу. Его работе посвящена документальная книга Ис. Бацера и А. Кликачева «Позывные из ночи».

Совпадение фамилий, конечно же, случайность. Однако когда задумываешься об этом, пытаешься воссоздать конкретные обстоятельства плена, неволи, подполья, то выбор каждым своего псевдонима уже не кажется случайным. Все они представляются как бы птенцами одного гнезда и младшими братьями того «Орленка», которого еще в годы гражданской войны «враги называли Орлом».

И тогда думается, что и Глеб Горбовский, наверное, не случайно использовал эту фамилию в своей романтической повести «Орлов», рассказывающей о совершенно легендарном, никому не ведомом человеке, который в тяжкую пору под именем генерала Орлова взял на себя всю ответственность за эвакуацию и оборону маленького беззащитного городка, усмирил панику, навел порядок и потом, когда подошли советские части, исчез, растворился, ушел в безвестие...

Наш Орлов известен. Это Александр Юрьевич Кисличенко. Могила его уже не безымянна. Но еще предстоят нелегкие, к сожалению, пока безуспешные поиски его родных и близких, чтоб и они узнали, наконец, что он не пропал в безвестии, а погиб в схватке с врагом.

Это лишь одна судьба, одна фамилия из длинного списка. За три года паданская поисковая группа во главе с Тайсто Олавовичем Кайнулайненом разыскала и установила переписку с родственниками тридцати восьми партизан, захороненных в братской могиле. Осталось еще более шестидесяти...

Поиску, наверное, уже никогда не будет конца...

Казалось бы, завершено обследование высоты 195,1. Уже не один раз осторожно приподнят сорокалетний моховый покров и буквально пальцами ощупан каждый квадратный метр довольно большой площади, но находки не иссякают. Совсем недавно на восточном склоне неподалеку от болота с помощью миноискателя было обнаружено зарытое в землю партизанское оружие — двадцать три винтовки и карабина системы «маузер». Судя по всему, упрятали его финские егеря, чтоб не таскать груз по лесу.

Поиск разрастается.

К суккоозерским и паданским следопытам в минувшем году присоединились две новые группы — большой и опытный поисковый отряд из Москвы под руководством кандидата педагогических наук Олега Всеволодовича Лишина и группа ребят из петрозаводской спецшколы № 8 во главе с пионервожатым Олегом Федоровым. Их общими силами на открытой высокой точке, неподалеку от места гибели отряда, сооружен основательный и долговечный памятный знак: поднимающаяся вверх, сложенная из камней партизанская извилистая тропа увенчана сверкающей металлической стелой с надписью:

«Памяти павших,
мужеству вернувшихся.
Отряду «Мстители», принявшему
последний бой на высоте 195,1
в августе 1942 г.»

В планах поисковиков — работы на местах других боев всего пятисотверстного рейда партизанской бригады.

Душой всех этих дел остается Сергей Симонян.

Десять лет неустанных поисков — большой срок.

Были в эти годы периоды горечи и даже отчаяния, вызванные равнодушием и черствостью тех, кого само служебное положение обязывало, казалось бы, помогать молодым следопытам из далекого лесного поселка. Было непонимание и даже подозрение — а чего, собственно, добивается этот беспокойный парень, уж не ищет ли он на останках павших славы для себя?

Было многое. Долго и остро недоставало одного — помощи. Но хватило у рядового шофера характера и выдержки, трудолюбия и настойчивости. А главное — хватило душевного огня и неуспокоенной совестливости перед памятью о таких же честных и скромных карельских парнях, которые сорок лет назад беззаветно шагнули в бессмертие, а оказались в безвестии...

Предполагал ли только что вернувшийся из армии молодой шофер, отправляясь в 1977 году с двумя братьями-школьниками на поиски партизанской высоты 264,9, что тот их поход станет началом большого благородного дела, которое захватит уже не десятки, а сотни человеческих судеб?

Навряд ли он думал тогда об этом. Тогда ему хотелось лишь сомкнуть свои чувства и думы о прочитанном с реальностью, своими глазами увидеть места, где сражались и погибали знакомые ему по книге люди.

С первыми находками прозвучал в душе тревожный удар колокола. Колокола памяти о войне, о павших, о долге и ответственности!

Он есть в душе у каждого, этот колокол. Надо лишь, чтоб он зазвучал. И тогда окрепнет надежда, что прошлое уже никогда не повторится.

Как сказал поэт:

Это надо — не мертвым!
Это нужно — живым!

Ноябрь 1987 года

Василий Казанцев

СТИХИ

★

Живешь ты все в том же лесу.
В суровом, холодном лесу.
Сквозь ветер, сквозь гром, сквозь грозу:
— Прицел постоянный. Огонь!

Живешь ты все в том же дыму.
В тяжелом, гнетущем дыму.
Сквозь ветер, сквозь грохот, сквозь тьму:
— Прицел постоянный. Огонь!

А грохот вздымался и креп.
Был грохот, как в поле страда.
Тогда ты оглох? Иль ослеп?
...Иль, может, ты умер тогда?

Не ты же, не ты виноват,
Что холодом травы дымят,
Что порохом воды чадят,
Что пламенем травы горят.

Что в эту туманную тишь,
В ночную, в желанную тишь
Ты дико кричишь, ты хрипишь:
— Прицел постоянный! Огонь!

1984

★

И уверенно, строго
Громовая судьба
Над широкой дорогой
Говорит со столба.

Сам упорно искал я
Среди лиственных толп,
Сам шкурил, сам тесал я,
Сам я вкапывал столб.

1987

★

В любой тоске, в любой беде
С тобою мысль всегда, везде,
Что есть, что есть судьбе опора.

Что есть, что есть душе опора.
Что есть, что есть душа, которой
Намного горше, чем тебе.

★

— Кого взметнули так высоко —
Превыше гулко-дымных гроз?
Превыше звезд, превыше рока?
— Того, кто правду миру нес.

— Кого низринули жестоко —
Туда, где ветер, мрак, мороз?
Туда, где лед, где мох, осока?
— Того, кто правду миру нес!

1987

★

Как бы ища на что ответа,
Беру, листаю, ворошу
Стихи знакомого поэта.
Средь старых — новые ищу.

Года прошли, как волны света,—
И вновь беру стихи поэта.
И вновь листаю, ворошу.
И снова, снова жду ответа.
Средь новых — старые ищу.

1986

★

Навеки честь тому и слава,
Кто за родную землю пал.
А как же с тем, кто под неправый,
Кто под кровавый суд попал?

Его и слава не ласкала.
Он был и честью не любим.
Ему и вечной славы мало!
И честь, и честь должна, пожалуй,
Пасть на колени перед ним!

Трое

— Нас непогода била и погода.
Мы повидали осень и весну.
Тебя я старше на четыре года.
Но жизнь с тобой мы прожили одну.

— Нет, старше ты не на четыре года,
А на Отечественную войну.
— А ты? На сколько? Старше? Ну?
— Прибавь еще четыре года!..

1987

Проселочная дорога

Опускаются руки бессильно,
Потупляется медленно взгляд
Перед этой усталою, пыльной,
Вдаль бредущей — сквозь лес — наугад.

Были светлые сны — и прошли.
Были черные дни — и прошли.
А она все в молчанье, в молчанье.
А она все от света вдали.
А она все в загоне, в тумане.
А она все в пыли, все в пыли.

1983

Константин Симонов

ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ИЗ МАТЕРИАЛОВ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ — «СТАЛИН И ВОЙНА»

БЕСЕДЫ С АДМИРАЛОМ ФЛОТА СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. С. ИСАКОВЫМ

21 мая 1962 года

Человек, рассказывавший мне все это, стремился быть предельно объективным, стремился рассказать о разных чертах Сталина — и привлекавших, и отталкивавших. Воспоминания касались главным образом предвоенных лет, отчасти военных. Буду приводить их так, как запомнил, не соблюдая последовательности.

По-моему, это было вскоре после убийства Кирова. Я в то время состоял в одной из комиссий, связанных с крупным военным строительством. Заседания этой комиссии происходили регулярно каждую неделю — иногда в кабинете у Сталина, иногда в других местах. После таких заседаний бывали иногда ужины в довольно узком кругу или смотрели кино, тоже в довольно узком кругу. Смотрели и одновременно выпивали и закусывали.

В тот раз, о котором я хочу рассказать, ужин происходил в одной из нижних комнат: довольно узкий зал, сравнительно небольшой, заставленный со всех сторон книжными шкафами. А к этому залу от кабинета, где мы заседали, вели довольно длинные переходы с несколькими поворотами. На всех этих переходах, на каждом повороте стояли часовые — не часовые, а дежурные офицеры НКВД. Помню, после заседания пришли мы в этот зал, и, еще не садясь за стол, Сталин вдруг сказал: «Заметили, сколько их там стоит? Идешь каждый раз по коридору и думаешь: кто из них? Если вот этот, то будет стрелять в спину, а если завернешь за угол, то следующий будет стрелять в лицо. Вот так идешь мимо них по коридору и думаешь...» Я, как и все, слушал это в молчании. Тогда этот случай меня потряс. Сейчас, спустя много лет, он мне кое-что, пожалуй, объясняет в жизни и поведении Сталина, не все, конечно, но кое-что.

Второй случай.

Я вернулся из поездки на Север. Там строили один военный объект, крупное предприятие. А дорога к этому объекту никуда не годилась. Сначала там через болото провели шоссе, которое было, как подушка, и все шевелилось, когда проезжали машины, а потом, чтобы ускорить дело, не закончив строительство железной дороги, просто положили на это шоссе сверху железнодорожное полотно. Часть пути приходилось ехать на машинах, часть на дрезинах или на железнодорожном составе, который состоял всего из двух грузовых вагонов. В общем, ерунда, так дело не делается.

Я был в составе комиссии, в которую входили представители разных ведомств. Руководитель комиссии не имел касательства к Наркомату путей сообщения, поэтому не был заинтересован в дороге. Несмотря на мои возражения, докладывая Сталину, он сказал, что все хорошо, все в порядке, и формально был прав, потому что по линии объекта, находившегося непосредственно в его подчинении, все действительно было в порядке,

---

Окончание. Начало см. «Знамя» №№ 3, 4 за 1988 г.

а о дороге он даже не заикнулся. Тогда я попросил слова и, горячась, сказал об этой железнодорожной ветке, о том, что это не лезет ни в какие ворота, что так мы предприятия не построим и что вообще эта накладка железнодорожных путей на шоссе, причем единственное,— не что иное, как вредительство. Тогда «вредительство» относилось к терминологии, можно сказать, модной, бывшей в ходу, и я употребил именно это выражение.

Сталин дослушал до конца, потом сказал спокойно: «Вы довольно убедительно, товарищ (он назвал мою фамилию), проанализировали состояние дела. Действительно, объективно говоря, эта дорога в таком виде, в каком она сейчас есть, не что иное, как вредительство. Но прежде всего тут надо выяснить, кто вредитель? Я — вредитель. Я дал указание построить эту дорогу. Доложили мне, что другого выхода нет, что это ускорит темпы, подробностей не доложили, доложили в общих чертах. Я согласился для ускорения темпов. Так что вредитель в данном случае я. Восстановим истину. А теперь давайте принимать решение, как быть в дальнейшем».

Это был один из многих случаев, когда он демонстрировал и чувство юмора, в высшей степени ему свойственное, очень своеобразного юмора, и в общем-то способность сказать о своей ошибке или заблуждении, сказать самому.

Третий случай.

Стоял вопрос о строительстве крупных кораблей. Был спроектирован линкор, по всем основным данным первоклассный в то время. Предполагалось, что это будут наиболее мощные линкоры в мире. В то же время на этом линкоре было запроектировано всего шесть крупнокалиберных зенитных орудий. Происходило заседание в Совете труда и обороны под председательством Сталина. Докладывала комиссия. Ну, доложили. Я был не согласен и долго до этого боролся на разных этапах, но сломить упорство моих коллег по комиссии не мог. Пришлось говорить здесь. Я сказал, что на английских линкорах менее мощного типа ставится не менее двенадцати зенитных орудий, а если мы, не учитывая развитие авиации, ее перспективы, поставим на наши новые линкоры такое малое количество крупнокалиберных орудий, то этим самым мы обречем их на то, что их потопит авиация, и миллиарды пустим на ветер. Лучше затратить большие деньги, но переделать проект. Я понимал, что переделка будет основательная, потому что это непросто — поставить орудия, увеличение количества орудий связано с целым рядом конструктивных изменений, с установкой целых новых отсеков, с изменением сочетаний всех основных показателей корабля. В общем, это большая неприятность для проектировщиков. Но тем не менее я не видел другого выхода. Со мной стали спорить, я тоже спорил и, горячась, спорил. Последний гвоздь в мой гроб забил Ворошилов, сказавший: «Что он хочет? На ростовском мосту, на котором сидит весь Кавказ и все Закавказье, все коммуникации,— на нем у нас стоят восемь зенитных орудий. А на один линкор ему мало шести!»

Это всем показалось очень убедительным, хотя на самом деле ничего убедительного в этом не было. На мосту стояло мало зенитной артиллерии, на мосту, к которому подвешены целые фронты, должно было стоять гораздо больше артиллерии. Да и вообще это не имело никакого отношения к линкорам. Но внешне это было убедительно, и дело уже шло к тому, чтобы утвердить проект.

Я был подавлен, отошел в сторону, сел на стул. Сел и сижу, мысли мои ушли куда-то, как это иногда бывает, совершенно далеко. Я понял, что здесь я не проломлю стенки, и под общий гул голосов заканчивавшегося заседания думал о чем-то другом, не помню сейчас о чем... И вдруг, как иногда человека выводит из состояния задумчивости шум, так меня вывела внезапно установившаяся тишина. Я поднял глаза и увидел, что перед мной стоит Сталин.

— Зачем товарищ Исаков такой грустный? А?

Тишина установилась двойная. Во-первых, оттого, что он подошел ко мне, во-вторых, оттого, что он заговорил.

— Интересно,— повторил он,— почему товарищ Исаков такой грустный?

Я встал и сказал:

— Товарищ Сталин, я высказал свою точку зрения, ее не приняли, а я ее по-прежнему считаю правильной.

— Так,— сказал он и отошел к столу.— Значит, утверждаем в основном проект?

Все хором сказали, что утверждаем.

Тогда он сказал:

— И внесем туда одно дополнение: «с учетом установки дополнительно еще четырех зенитных орудий того же калибра». Это вас будет устраивать, товарищ Исаков?

Меня это не вполне устраивало, но я уже понял, что это максимум того, на что можно рассчитывать, что все равно ничего большего никогда и нигде мне не удастся добиться, и сказал:

— Да, конечно, спасибо, товарищ Сталин.

— Значит, так и запишем,— заключил он заседание.

Еще одно воспоминание... Или нет, сначала вообще о том, как он вел заседания.

Надо сказать, что он вел заседания по принципу классических военных советов. Очень внимательно, неторопливо, не прерывая, не сбивая, выслушивал всех. Причем старался дать слово примерно в порядке старшинства, так, чтобы высказанное предыдущим не сдерживало последующего. И только в конце, выловив все существенное из того, что говорилось, отметя крайности, взяв полезное из разных точек зрения, делал резюме, подводил итоги. Так было в тех случаях, когда он не становился на совершенно определенную точку зрения с самого начала. Ну, речь идет в данном случае, разумеется, о вопросах военных, технических и военных, а не общеполитических. На них я, к сожалению, не присутствовал.

Когда же у него было ощущение предварительное, что вопрос в генеральном направлении нужно решить таким, а не иным образом,— это называлось «подготовить вопрос», так, кстати, и до сих пор называется,— он вызывал двух-трех человек и рекомендовал им выступить в определенном направлении. И людям, которые уже не по первому разу присутствовали на таких заседаниях, было по выступлениям этих людей ясно, куда клонится дело. Но и при таких обсуждениях, тем не менее, он не торопился, не обрывал и не мешал высказать иные точки зрения, которые иногда какими-то своими частностями, сторонами попадали в орбиту его зрения и входили в последующие его резюме и выработанные на их основе резолюции, то есть учитывались тоже, несмотря на предрешенность,— в какой-то мере, конечно.

И еще одна история.

Это было тоже в середине тридцатых годов. Не помню, кажется, это было после парада 1-го мая, когда принимались участники парада. Ну, это так называется «участники парада», это были не командиры дивизий и полков, прошедших на параде, а верхушка командования. Не помню уже точно, в каком году это было, но помню, что в этот раз зашла речь о скорейшем развертывании строительства Тихоокеанского флота, а я по своей специальности был в какой-то мере причастен к этим проблемам. Был ужин. За ужином во главе стола сидел Сталин и рядом с ним сидел Жданов. Жданов вел стол, а Сталин ему довольно явственно подсказывал, за кого и когда пить и о ком (в известной мере даже что) говорить.

Уже довольно много выпили. А я, хотя вообще умею хорошо пить и никогда пьян не бываю, на этот раз вдруг почему-то очень крепко выпил. И понимая, что очень крепко выпил, всю энергию употреблял на то, чтобы держаться, чтобы со стороны не было заметно.

Однако когда Сталин, вернее, Жданов по подсказке Сталина и притом в обход моего прямого начальства, сидевшего рядом со мной, за которого еще не пили, поднял тост за меня, я в ответ встал и тоже выпил. Все уже стали вставать из-за столов, все смешалось, и я подошел к Сталину. Меня просто потянуло к нему, я подошел к нему и сказал:

— Товарищ Сталин! Наш Тихоокеанский флот в мышеловке. Это все не годится. Он в мышеловке. Надо решать вопрос по-другому.

И взял его под руку и повел к громадной карте, которая висела как раз напротив того места, где я сидел за столом. Видимо, эта карта Дальневосточного театра и навела меня на эту пьяную мысль: именно сейчас

доказать Сталину необходимость решения некоторых проблем, связанных со строительством Тихоокеанского флота. Я подвел его к карте и стал ему показывать, в какую мышеловку попадает наш флот из-за того, что мы не вернем Сахалин. Я ему сказал:

— Без Южного Сахалина там, на Дальнем Востоке, большой флот строить невозможно и бессмысленно. Пока мы не возвратим этот Южный Сахалин, до тех пор у нас все равно не будет выхода в океан.

Он выслушал меня довольно спокойно, а потом сказал:

— Подождите, будет вам Южный Сахалин!

Но я это воспринял, как шутку, и снова стал убеждать его с пьяным упорством, что флот наш будет в ловушке на Дальнем Востоке, что нам нужно обязательно, чтобы у нас был Южный Сахалин, что без этого нет смысла строить там большой флот.

— Да я же говорю вам: будет у нас Южный Сахалин! — повторил он уже немного сердито, но в то же время усмехаясь.

Я стал говорить что-то еще, тогда он подозвал людей, да, собственно, их и звать не надо было, все столпились вокруг нас, и сказал:

— Вот, понимаете, требует от меня Исаков, чтобы мы обладали Южным Сахалином. Я ему отвечаю, что будем обладать, а он не верит мне...

Этот разговор вспомнился мне потом, в сорок пятом году. Тогда он мне вспомнился, не мог не вспомниться.

Еще одно воспоминание.

Сталин в гневе был страшен, вернее, опасен, трудно было на него смотреть в это время и трудно было присутствовать при таких сценах. Я присутствовал при нескольких таких сильных вспышках гнева, но все происходило не так, как можно себе представить, не зная этого.

Вот одна из таких вспышек гнева, как это выглядело.

Но прежде чем говорить о том, как это выглядело в этом конкретном случае, хочу сказать вообще о том, с чем у меня связываются воспоминания об этих вспышках гнева. В прусском уставе еще бог весть с каких времен, чуть ли не с Фридриха, в уставе, действующем и сейчас в германской армии, в обоих — восточной и западной, между прочим, есть такое правило: назначать меры дисциплинарного взыскания нельзя в тот день, когда совершен проступок. А надо сделать это не ранее, чем на следующий день. То есть можно сказать, что вы за это будете отправлены на гауптвахту, но на сколько суток — на пять, на десять, на двадцать, — этого сказать сразу нельзя, не положено. Это можно определить на следующий день. Для чего это делается? Для повышения авторитета командира, для того, чтобы он имел время обдумать свое решение, чтобы не принял его сгоряча, чтобы не вышло так, что он назначит слишком слабое или слишком сильное наказание, не выяснив всего и не обдумав на холодную голову. В результате всем будет ясно, что это неверное приказание, а отменить он уже не сможет, потому что оно, это взыскание, будет уже наложено. Вот это первое, что вспоминается мне, когда я думаю о гневе Сталина. У него было — во всяком случае в те времена, о которых я вспоминаю, — такое обыкновение — задержать немного решение, которое он собирался принять в гневе.

Второе, вторая ассоциация. Видели ли вы, как в зоологическом парке тигры играют с тигрятами? Это очень интересное зрелище. Он лежит ленивый, большой, величественный, а тигренок к нему лезет, лезет, лезет. Тормошит его, кусает, надоедает... Потом вдруг тигр заносит лапу и ударяет его, но в самую последнюю секунду задерживает удар, девять десятых удара придерживает и ударяет только одной десятой всей своей силы. Удерживает, помня всю мощь этой лапы и понимая, что если ударить всей силой, то он сломает хребет, убьет...

Эта ассоциация тоже у меня возникла в связи с теми моими воспоминаниями, о которых я говорю.

Вот одно из них. Это происходило на Военном совете, незадолго до войны, совсем незадолго, перед самой войной. Речь шла об аварийности в авиации, аварийность была большая. Сталин по своей привычке, как обычно на таких заседаниях, курил трубку и ходил вдоль стола, приглядываясь к присутствующим, иногда глядя в глаза, иногда в спины.

Давались то те, то другие объяснения аварийности, пока не дошла очередь до командовавшего тогда Военно-воздушными силами Рычагова. Он был, кажется, генерал-лейтенантом, вообще был молод, а уж выглядел совершенным мальчишкой по внешности. И вот когда до него дошла очередь, он вдруг говорит:

— Аварийность и будет большая, потому что вы заставляете нас летать на гробах.

Это было совершенно неожиданно, он покраснел, сорвался, наступила абсолютная гробовая тишина. Стоял только Рычагов, еще не отошедший после своего выкрика, багровый и взволнованный, и в нескольких шагах от него стоял Сталин. Вообще-то он ходил, но когда Рычагов сказал это, Сталин остановился.

Скажу свое мнение. Говорить это в такой форме на Военном совете не следовало. Сталин много усилий отдавал авиации, много ею занимался и разбирался в связанных с нею вопросах довольно основательно, во всяком случае, куда более основательно, чем большинство людей, возглавлявших в то время Наркомат обороны. Он гораздо лучше знал авиацию. Несомненно, эта реплика Рычагова в такой форме прозвучала для него личным оскорблением, и это все понимали.

Сталин остановился и молчал. Все ждали, что будет.

Он постоял, потом пошел мимо стола, в том же направлении, в каком и шел. Дошел до конца, повернулся, прошел всю комнату назад в полной тишине, снова повернулся и, вынув трубку изо рта, сказал медленно и тихо, не повышая голоса:

— Вы не должны были так сказать!

И пошел опять. Опять дошел до конца, повернулся снова, прошел всю комнату, опять повернулся и остановился почти на том же самом месте, что и в первый раз, снова сказал тем же низким спокойным голосом:

— Вы не должны были так сказать, — и, сделав крошечную паузу, добавил: — Заседание закрывается.

И первым вышел из комнаты.

Все стали собирать свои папки, портфели, ушли, ожидая, что будет дальше.

Ни завтра, ни послезавтра, ни через два дня, ни через три ничего не было. А через неделю Рычагов был арестован и исчез навсегда.

Вот так это происходило. Вот так выглядела вспышка гнева у Сталина.

Когда я сказал, что видел Сталина во гневе только несколько раз, надо учесть, что он умел прятать свои чувства, и умел это очень хорошо. Для этого у него были давно выработанные навыки. Он ходил, отворачивался, смотрел в пол, курил трубку, возился с ней... Все это были средства для того, чтобы сдержать себя, не проявить своих чувств, не выдать их. И это надо было знать для того, чтобы учитывать, что значит в те или иные минуты это его мнимое спокойствие.

20 сентября 1962 года

Бывший командующий фронтом Рокоссовский рассказал мне, как он случайно оказался свидетелем последнего разговора Сталина с Козловым, уже смещенным с должности командующего Крымским фронтом после Керченской катастрофы.

Рокоссовский получил новое назначение, кажется, шел с армии на фронт. Это было в конце мая или в июне 1942 года. В самом конце разговора у Сталина на эту тему, когда Рокоссовский уже собирался попрощаться, вошел Поскребышев и сказал, что прибыл и ждет приема Козлов. Сталин сначала было простился с Рокоссовским, а потом вдруг задержал его и сказал:

— Подождите немного, тут у меня будет один разговор, интересный, может быть, для вас. Побудьте.

И, обращаясь к Поскребышеву, сказал, чтобы вызвали Козлова.

Козлов вошел, и хотя это было очень скоро после Керченской катастрофы, все это было еще очень свежо в памяти. Сталин встретил его совершенно спокойно, ничем не показал ни гнева, ни неприязни. Поздоровался за руку и сказал:

— Слушаю вас. Вы просили, чтобы я вас принял. Какие у вас ко мне вопросы?

Козлов, который сам попросился на прием к Сталину после того, как был издан приказ о смещении его с должности командующего Крымским фронтом и о снижении в звании, стал говорить о том, что он считает, что это несправедливо по отношению к нему, что он делал все, что мог, чтобы овладеть положением, приложил все силы. Говорил он все это в очень взвинченном, истерическом тоне.

Сталин спокойно выслушал его, не перебивая. Слушал долго. Потом спросил:

— У вас все?

— Да.

— Вот видите, вы хотели сделать все, что могли, но не смогли сделать того, что были должны сделать.

В ответ на эти слова, сказанные очень спокойно, Козлов стал говорить о Мехлисе, что Мехлис не давал ему делать то, что он считал нужным, вмешивался, давил на него, и он не имел возможности командовать из-за Мехлиса так, как считал необходимым.

Сталин спокойно остановил его и спросил:

— Подождите, товарищ Козлов! Скажите, кто был у вас командующим фронтом, вы или Мехлис?

— Я.

— Значит, вы командовали фронтом?

— Да.

— Ваши приказания обязаны были выполнять все на фронте?

— Да, но...

— Вы как командующий отвечали за ход операции?

— Да, но...

— Подождите. Мехлис не был командующим фронтом?

— Не был...

— Значит, вы командующий фронтом, а Мехлис не командующий фронтом? Значит, вы должны были командовать, а не Мехлис, да?

— Да, но...

— Подождите. Вы командующий фронтом?

— Я, но он мне не давал командовать.

— Почему же вы не позвонили и не сообщили?

— Я хотел позвонить, но не имел возможности.

— Почему?

— Со мною все время находился Мехлис, и я не мог позвонить без него. Мне пришлось бы звонить в его присутствии.

— Хорошо. Почему же вы не могли позвонить в его присутствии? Молчит.

— Почему, если вы считали, что правы вы, а не он, почему же не могли позвонить в его присутствии? Очевидно, вы, товарищ Козлов, боялись Мехлиса больше, чем немцев?

— Вы не знаете Мехлиса, товарищ Сталин,— воскликнул Козлов.

— Ну, это, положим, неверно, товарищ Козлов. Я-то знаю товарища Мехлиса. А теперь хочу вас спросить: почему вы жалуетесь? Вы командовали фронтом, вы отвечали за действия фронта, с вас за это спрашивается, вы за это смещены. Я считаю, что все правильно сделано с вами, товарищ Козлов.

Потом, когда Козлов ушел, он повернулся к Рокоссовскому и, прощаясь с ним, сказал:

— Вот какой интересный разговор, товарищ Рокоссовский.

После этого Исаков рассказал мне о том, как он был дважды поздней осенью, вернее, зимой сорок первого года у Сталина в его подземном кабинете в Кремле — и оба раза мой собеседник был там во время воздушных тревог, в часы, когда Сталин спускался туда.

Любопытная подробность, что из себя представлял этот кабинет: ход туда был обыкновенный, забетонированный, со всеми полагающимися в таких случаях устройствами, но когда вы из тамбура входили в самый кабинет, то вы как бы оказывались не внизу, а наверху. Это был точно такой же кабинет, как кабинет Сталина в ЦК. Такие же высокие дубовые панели, такой же стол, стулья, такой же письменный стол, те же портреты Ленина и Маркса на стене, и даже гардины висели такие же самые, закрывая несуществующие окна. Только (это даже не сразу бросалось в глаза) площадь кабинета была раза в два меньше того, верхнего.

Одна из встреч в этом кабинете была очень короткой. Это было через несколько дней после начала войны между Японией и Америкой. Сталин поздоровался с Исаковым, пожал ему руку и сказал:

— Поезжайте на Дальний Восток. Посмотрите, как там обстоят дела, чтобы японцы не устроили нам тоже Пирл-Харбор. Ясна вам задача?

— Ясна.

— Поезжайте.

Вот и весь разговор. Задача была действительно ясна.

На этом свидании присутствовал и Апанасенко, в то время командующий Дальневосточным фронтом. Он просил танков, указывая, что у японцев в составе Квантунской армии большие танковые силы, а у нас на Дальнем Востоке совершенно нет новых Т-34. Апанасенко говорил об этом в нервном тоне и просил дать ему много танков, чуть ли не корпус.

Сталин сказал:

— Нет, мы не можем дать вам танки. Он еще не воюет, а хочет танков! Танки нам здесь нужны, где мы воюем: нам их и здесь не хватает.

Потом обратился, как помнится Исакову, к Шапошникову и сказал:

— Нам танки надо будет дать все-таки товарищу Апанасенко, чтобы они знали, что такое «тридцатьчетверки», чтобы обучались ими владеть, чтобы можно было пропустить часть людей через эти танки.

С тем Апанасенко и уехал.

Второй раз мой собеседник был в этом подземном кабинете уже в конце зимы сорок первого — сорок второго года, после возвращения с Дальнего Востока. Сначала докладывал, а потом присутствовал при докладе Щаденко, ведавшего тогда вопросами формирования.

Щаденко докладывал о сложности пополнения частей обученными кадрами. Сложности эти, уже обнаружившиеся к тому времени, были связаны с тем, что во многих национальных республиках почти не было обученных национальных кадров, прошедших действительную военную службу. В связи с этим Сталин сказал буквально следующее:

— Вы говорите, что некоторые национальные кадры плохо воюют. А что вы хотите?! Те народы, которые десятилетиями откупались от воинской повинности и у которых никогда не было своей военной интеллигенции, все равно не будут хорошо воевать, не могут хорошо воевать при том положении, которое исторически сложилось.

Рассказывая об этом, мой собеседник перешел к тому впечатлению, которое произвел на него Сталин в эти два посещения.

За две недели до войны я докладывал Сталину по разным текущим вопросам. Это были действительно текущие вопросы и некоторые из них даже не были срочные. Я помню это свидание и абсолютно уверен, что Сталин был тогда совершенно убежден в том, что войны не будет, что немцы на нас не нападут. Он был абсолютно в этом убежден. Когда несколькими днями позднее я докладывал своему прямому начальнику о тех сведениях, которые свидетельствовали о совершенно очевидных симптомах подготовки немцев к войне и близком ее начале, и просил его доложить об этом Сталину, то мой прямой начальник сказал:

— Да говорили ему уже, говорили... Все это он знает. Все знает, думаешь, не знает? Знает. Все знает!

Я несу тоже свою долю ответственности за то, что не перешагнул через это и не предпринял попытки лично доложить Сталину то, что я докладывал своему прямому начальнику. Но, чувствуя на себе бремя этой вины и не снимая ее с себя, должен сказать, что слова эти, что Сталин «все знает», были для меня в сочетании с тем авторитетом, которым пользовался тогда в моих глазах Сталин, убедительными.

Я много раз на протяжении ряда лет своей службы убеждался, что Сталин действительно имел великолепную информацию по разным каналам: по линии партийных и советских органов, по линии НКВД и по линии разведки. Бывало часто так, что мы еще только собирались о чем-то

информировать, а он уже знал о случившемся. Например, в случаях крупных авиационных аварий, морских аварий, различных происшествий на крупных объектах в армии. Соответствующее начальство, понимая, что как ни неприятно, но надо об очередной аварии или происшествии доносить, составляло донесения в предварительной форме. Скажем: «Произошла воздушная катастрофа в таком-то районе, причины выясняются и будут доложены». Или: «Произошло столкновение кораблей, создана комиссия. Размеры аварии и количество жертв выясняются».

Писали так, оттягивая время, хотя уже знали, что один из кораблей пошел на дно, другой находится в доке. Погибло при этом 62 человека. Те, кто за это отвечал, склонны были доносить таким образом, чтобы оттягивать дальнейшее созданием различных комиссий и т. п. Но те, кто не отвечал за это, наоборот, спешили донести Сталину и даже соревновались, кто скорее донесет о случившемся. И он почти всегда имел информацию с какой-то другой стороны, а не с той, которая обязана была донести о случившемся и лежавшей на ней ответственности.

Помню один звонок Сталина, когда мы с моим непосредственным начальником обсуждали, как донести о случившейся аварии, в которой погибло несколько десятков человек, когда Сталин позвонил и спросил:

— Что у вас там произошло?

Мой непосредственный начальник стал говорить, что выясняется, уточняется...

В ответ на это Сталин сказал:

— Вы выясняете — это хорошо. Только не забудьте уточнить: 62 человека погибло или 63?

Таким образом, у меня было чувство, что он действительно знает все, что ему будут докладывать, что я не скажу новости. Я не оправдываюсь этим, так и было, ему, конечно, докладывали, и по многим каналам. Но он имел предвзятое мнение, которое вообще в военном деле самое страшное из всех возможных вещей, — когда у командующего, у человека, стоящего во главе, твердое предвзятое мнение относительно того, как будет действовать противник и как развернутся события. Это одна из самых частых причин самых больших катастроф.

Насколько я помню, Сталин был очень потрясен случившимся — таким началом войны. Он категорически не допускал этой возможности. Размеры потрясения были связаны и с масштабом ответственности, а также и с тем, что Сталину, привыкшему к полному повиновению, к абсолютной власти, к отсутствию сопротивления своей воле, вдруг пришлось в первые же дни войны столкнуться с силой, которая в тот момент оказалась сильнее его. Ему была противопоставлена сила, с которой он в тот момент не мог совладать. Это было потрясение огромное, насколько я знаю, он несколько дней находился в состоянии, близком к прострации. Думаю, что с этим связано и то, что не он, а Молотов выступил по радио и говорил о начале войны, хотя естественно было бы ждать такого выступления именно Сталина. И только третьего июля Сталин заговорил и заговорил так, как он никогда не говорил до тех пор, заговорил словами: «Братья и сестры...» В этой речи я лично чувствовал присутствие глубокого человеческого потрясения у человека, произносившего ее.

Так вот, когда я увидел Сталина в начале декабря сорок первого года, а я его до этого во время войны не видел, — Сталин уже был точно таким, каким он был раньше. Это был прежний, все тот же Сталин. Та же медлительность, то же хождение мягкими шагами, чаще всего сзади стульев, на которых сидят присутствующие, та же ленивая размеренность шагов. Та же тщательно выработанная медлительная манера речи, с короткими абзацами и длинными паузами, тот же низкий, спокойный голос.

Трудно сказать, был ли он сдержан вообще, очевидно, нет. Но личину эту он давно надел на себя, как шкуру, к которой привык до такой степени, что она стала его второй натурой. Это была не просто сдержанность, это была манера, повадка, настолько тщательно разработанная, что она уже не воспринималась как манера. Ни одного лишнего жеста, ни одного лишнего слова. Манера, выработанная настолько, что она воспринималась как естественная. Но на самом деле в ней был расчет на то, чтобы не показать никому, что он думает, не дать угадать своих мыслей, не дать никому составить заранее представление о том, что он может сказать

и как он может решить. Это с одной стороны. С другой, медлительность, паузы были связаны с желанием не сказать ничего такого, что придется брать обратно, не сказать ничего сгоряча, успеть взвесить каждое свое слово.

Надо, забегая вперед, сказать, что он сохранил эту сдержаниость и потом, среди побед и ликований, когда люди вокруг него были возбуждены этими победами. Он был просто несколько веселее, чаще шутил, улыбался, но к этому и сводились, пожалуй, все перемены в его поведении, скажем, в сорок четвертом году по сравнению с сорок первым.

Когда он говорил, он умел превосходно прятать себя и свое мнение. Я уже вам говорил об этом, но хочу повторить: мимика его была чрезвычайно бедной, скупой; он не делал подчеркнуто-непроницаемого выражения лица, но лицо его было спокойно. А кроме того, он любил ходить так, чтобы присутствующие не видели его лица, и так как он сам выбирал эти моменты, то это тоже помогало ему скрывать свои чувства и мысли. По его лицу невозможно или почти невозможно было угадать направление его мыслей. И в этом был смысл, потому что охотников угадывать его мысли было много, он знал это, знал и меру своего авторитета, а также и меру того подхалимажа, на который способны люди, старающиеся ему поддакнуть. Поэтому он был осторожен, особенно тогда, когда речь шла о вопросе, который был ему относительно мало знаком, и он хотел узнать в подробностях чужие мнения. Он даже провоцировал столкновения мнений, спрашивал «А что скажет такой-то?.. А что скажет такой-то?..» Выслушивая людей и выслушивая разные мнения, он, видимо, проверял себя и корректировал. В иных случаях искал опору для своего предвзятого мнения, искал мнения, подтверждающие его правоту, и если находил достаточную опору, то в конце высказывал свое мнение с известными коррективами, родившимися в ходе обсуждения. Иногда, думаю, когда он сталкивался с суждениями, которые опровергали его собственное первоначальное мнение и заставляли изменить его, он сворачивал разговор, откладывал его, давая себе возможность обдумать сложившуюся ситуацию.

Когда он бывал в хорошем настроении или что-либо его смешило, он улыбался. Но улыбался сдержанно, одними уголками рта, и даже и эту скупую улыбку прикрывал рукой и трубкой.

У меня лично вызывает удивление то, что он объявил себя генералиссимусом и стал носить маршальскую форму. Тем более это было странно, что к его полувоенному облику давно привык весь мир, и этот облик, известный всем, вполне вязался с войной. В звании и форме было что-то мелочное, шедшее откуда-то из молодости, с тех времен, когда он был маленьким по общественному положению человеком — наблюдателем тифлисской метеостанции. Как-то странно сочетать положение вождя партии, мира со званием генералиссимуса, с желанием носить маршальскую форму, с брюками, на которых красный лампас — одна из самых одиозных примет царского времени. Мне невольно вспоминается снимок тех ранних лет — знаете, тот, с шеей, замотанной кашне, и по контрасту с этим снимком торчащая из-под стола нога в шевровом, хорошо начищенном ботинке, и брючина с красным лампасом и штрипкой.

Между прочим, он вообще придавал, на мой взгляд, излишнее значение форме, и люди, которые страшно были увлечены по своей службе изобретением новых мундиров или восстановлением старых русских мундиров, находили какой-то отзвук в нем, одобрение. Помню, как всерьез обсуждался вопрос о введении адъютантских аксельбантов и эполет; помню, как в закрытых машинах везли в Кремль шесть человек, обмундированных в армейские мундиры с эполетами, и шесть человек, одетых во флотские кители с эполетами... И это было не в конце войны, а в разгар ее.

Но был разговор со Сталиным, который запомнился, потому что очень поднимал его в моих глазах. Это было в 1933 году после проводки первого маленького каравана военных судов через Беломорско-Балтийский канал, из Балтийского моря в Белое. В Полярном, в кают-компании миноносца, глядя в иллюминатор и словно разговаривая с самим собой, Сталин вдруг сказал:

— Что такое Черное море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка, а пробка не у нас. Вот здесь море, здесь окно! Здесь должен

быть Большой флот, здесь. Отсюда мы сможем взять за живое, если понадобится, Англию и Америку. Больше неоткуда!

Это было сказано в те времена, когда идея создания Большого флота на Севере еще не созрела даже у самых передовых морских деятелей. А после того, как он это все сказал, продолжая глядеть в иллюминатор на серый невеселый горизонт, он добавил:

— Надо попробовать в этом году еще караван военных судов перебросить с Балтики. Как, можно это сделать?

И второе, связанное с этим же годом воспоминание. В Сороках, когда прошли Беломорско-Балтийский канал, был небольшой митинг, на котором выступили то ли начальник, то ли заместитель начальника Беломорстроя Рапопорт, начальник ГПУ Ленинграда Медведь и еще кто-то. Стали просить выступить Сталина. Сталин отнекивался, не хотел выступать, потом начал как-то нехотя, себе под нос.

А перед этим, надо сказать, все речи были очень и даже чересчур пламенны, говорили, что мы теперь здесь встали по воле Сталина и отсюда никуда не уйдем, что море наше, что мы завоюем Север, что мы разобьем здесь любого врага, и т. д. И вот после всех этих речей Сталин, как бы нехотя, взял слово и сказал:

— Что тут говорили: возьмем, победим, завоюем... Война, война... Это еще неизвестно, когда будет война. Когда будет — тогда будет! Это север!.. — и еще раз повторил: — Это север, его надо знать, надо изучить, освоить, привыкнуть к нему, овладеть им, а потом говорить все остальное.

Мне тоже понравилось это тогда, понравилось серьезное, глубокое отношение к сложному вопросу, с которым мы только еще начинали иметь дело.

Потом в разговоре мой собеседник — это уже не относилось прямо к Сталину — вернулся к Керченской катастрофе и в связи с этим вспомнил Мехлиса.

Я видел Мехлиса, когда нам было приказано эвакуировать то, что еще можно было эвакуировать с Керченского полуострова. Кстати сказать, мы эвакуировали все-таки 121 000 человек, и, несмотря на позор нашего поражения и размеры его, об этом тоже нельзя забывать. Нельзя представлять себе дело так, что все там погибли и никто или почти никто не выжил. Так вот, в эти последние дни, когда мне было приказано участвовать в эвакуации, я видел там, под Керчью, Мехлиса. Он делал вид, что ищет смерти. У него был не то разбит, не то легко ранен лоб, но повязки не было, там была кровавая царапина с кровоподтеками; он был небрит несколько дней. Руки и ноги были в грязи, он, видимо, помогал шоферу вытаскивать машину и после этого не счел нужным привести себя в порядок. Вид был отчаянный. Машина у него тоже была какая-то имевшая совершенно отчаянный вид, и ездил он вдвоем с шофером, без всякой охраны. Несмотря на трагичность положения, было что-то в этом показное, — человек показывает, что он ищет смерти.

В ответ на эти слова Исакова я сказал, что Мехлис, может быть, не только показывал, что ищет смерти, но и действительно искал ее тогда.

— Возможно, — сказал он. — Может быть, и искал. Но при этом показывал, что ищет смерти, подчеркивал это, и мне было противно от этого, и до сих пор остается противным.

Я сказал, что, по моим наблюдениям, Мехлис храбрый человек.

— Да, если хотите. Он там, под Керчью, лез все время вперед, вперед. Знаю также, что на финском фронте он бывал в боях, ходил в рядах батальона в атаку. Но, во-первых, это ни в чем не оправдывает его — ни в бездарных действиях в финскую войну, ни в Керченской катастрофе, за которую на нем лежит главная ответственность. На мой взгляд, он не храбрый, он нервозный, взвинченный, фанатичный. Между прочим, я присутствовал у Сталина на обсуждении итогов финской войны, и там был Мехлис, был Тимошенко, был Ворошилов. Мехлис несколько раз вылезал то с комментариями, то с репликой, после чего вдруг Сталин сказал:

— А Мехлис вообще фанатик, его нельзя подпускать к армии.

Я помню, меня тогда удивило, что, несмотря на эти слова, Мехлис продолжал на этом заседании держаться как ни в чем не бывало и еще не раз вылезал со своими репликами.

БЕСЕДЫ С МАРШАЛОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. М. ВАСИЛЕВСКИМ

1967 год

Со Сталиным я впервые встретился во время финской войны — 30 декабря 1939 года.

К Сталину был вызван Борис Михайлович Шапошников, и я как исполняющий в то время обязанности заместителя начальника оперативного управления явился вместе с ним. И с этого времени я бывал и на последующих заседаниях Высшего военного совета.

30 декабря 1939 года Шапошников был вызван к Сталину, вызван из отпуска, и у этого вызова была своя предыстория.

Как началась финская война? Когда переговоры с Финляндией относительно передвижки границ и уступки нам — за соответствующую компенсацию — территории на Карельском перешейке, необходимой для безопасности Ленинграда, окончательно не увенчались успехом, Сталин, созвав Военный совет, поставил вопрос о том, что раз так, то нам придется воевать с Финляндией. Шапошников как начальник Генерального штаба был вызван для обсуждения плана войны. Оперативный план войны с Финляндией, разумеется, существовал, и Шапошников доложил его. Этот план исходил из реальной оценки финской армии и реальной оценки построенных финнами укрепленных районов. И в соответствии с этим он предполагал сосредоточение больших сил и средств, необходимых для решительного успеха этой операции.

Когда Шапошников назвал все эти запланированные Генеральным штабом силы и средства, которые до начала этой операции надо было сосредоточить, то Сталин поднял его на смех. Было сказано что-то вроде того, что, дескать, вы для того, чтобы управиться с этой самой... Финляндией, требуете таких огромных сил и средств. В таких масштабах в них нет никакой необходимости.

После этого Сталин обратился к Мерецкову, командовавшему тогда Ленинградским военным округом, и спросил его: «Что, вам в самом деле нужна такая огромная помощь для того, чтобы справиться с Финляндией? В таких размерах вам все это нужно?»

Мерецков ответил: товарищ Сталин, надо подсчитать, подумать. Помощь нужна, но, возможно, что и не в таких размерах, какие были названы.

После этого Сталин принял решение: «Поручить всю операцию против Финляндии целиком Ленинградскому фронту. Генеральному штабу этим не заниматься, заниматься другими делами».

Он таким образом заранее отключил Генеральный штаб от руководства предстоящей операцией. Более того, сказал Шапошникову тут же, что ему надо отдохнуть, предложил ему дачу в Сочи и отправил его на отдых. Сотрудники Шапошникова были тоже разогнаны кто куда, в разные инспекционные поездки. Меня, например, загнал для чего-то на демаркацию границ с Литвой.

Что произошло дальше — известно. Ленинградский фронт начал войну, не подготовившись к ней, с недостаточными силами и средствами и топтался на Карельском перешейке целый месяц, понес тяжелые потери и, по существу, преодолел только предполье. Лишь через месяц подошел к самой линии Маннергейма, но подошел выдохшийся, брать ее было уже нечем.

Вот тут-то Сталин и вызвал из отпуска Шапошникова, и на Военном совете обсуждался вопрос о дальнейшем ведении войны. Шапошников доложил, по существу, тот же самый план, который он докладывал месяц назад. Этот план был принят. Встал вопрос о том, кто будет командовать войсками на Карельском перешейке. Сталин сказал, что Мерецкову мы это не поручим, он с этим не справится. Спросил:

— Так кто готов взять на себя командование войсками на Карельском перешейке?

Наступило молчание, довольно долгое. Наконец поднялся Тимошенко и сказал:

— Если вы мне дадите все то, о чем здесь было сказано, то я готов взять командование войсками на себя и надеюсь, что не подведу вас.

Так был назначен Тимошенко.

На фронте наступила месячная пауза. По существу, военные действия заново начались только в феврале. Этот месяц ушел на детальную разработку плана операции, на подтягивание войск и техники, на обучение войск. Этим занимался там, на Карельском перешейке, Тимошенко и занимался, надо отдать ему должное, очень энергично — тренировал, обучал войска, готовил их. Были подброшены авиация, танки, тяжелая, сверхмощная артиллерия. В итоге, когда заново начали операцию с этими силами и средствами, которые были для этого необходимы, она увенчалась успехом, — линия Маннергейма была довольно быстро прорвана.

Говоря о первом периоде финской войны, надо добавить, что при огромных потерях, которые мы там несли, пополнялись они самым безобразным образом. Надо только удивляться тому, как можно было за такой короткий период буквально ограбить всю армию. Щаденко, по распоряжению Сталина, в тот период брал из разных округов, в том числе из особых пограничных округов, по одной роте из каждого полка в качестве пополнения для воевавших на Карельском перешейке частей.

Финская война была для нас большим срамом и создала о нашей армии глубоко неблагоприятные впечатления за рубежом, да и внутри страны. Все это надо было как-то объяснить. Вот тогда и было созвано у Сталина совещание, был снят с поста наркома Ворошилов и назначен Тимошенко. Тогда же Шапошников, на которого Сталин тоже посчитал необходимым косвенно возложить ответственность, был под благовидным предлогом снят с поста начальника Генерального штаба и назначен заместителем наркома с задачей наблюдать за укреплением новых границ. Эта новая для него работа была мотивирована как крайне необходимая, государственно важная и требующая для своего осуществления именно такого специалиста, как он.

После этого встал вопрос о том, кому же быть начальником Генерального штаба. Сталин прямо тут же, на Совете, не разговаривая ни с кем предварительно, обратился к новому наркому Тимошенко и спросил:

— Кого вы рекомендуете в начальники Генерального штаба?

Тот замялся.

— Ну, с кем из старших штабов вы работали?

Обстоятельства сложились так, что как раз на финской войне Тимошенко из старших штабов работал с Мерецковым. Он сказал об этом.

— Так как, подходит вам Мерецков начальником Генерального штаба? Как он у вас работал?

Тимошенко сказал, что работал неплохо и что подходит.

Так состоялось назначение нового начальника Генерального штаба.

Мерецков пробыл, правда, в этой должности недолго. В феврале 1941 года, когда состоялась большая штабная игра и ему пришлось как начальнику Генерального штаба делать доклад, он провалился с этим докладом совершенно ясно для всех, а Жуков, командовавший к этому времени Киевским особым военным округом, как раз на этих играх показал себя с наилучшей стороны и был тогда же назначен начальником Генерального штаба. На этой должности он пробыл до 28 июля 1941 года, когда сам попросил освободить его от этих обязанностей и направить на один из фронтов. Сталин удовлетворил тогда его просьбу и назначил вместо него Шапошникова, а Шапошников вошел с соответствующим представлением, и я был тогда же назначен его заместителем и начальником оперативного управления.

В должность начальника Генерального штаба я фактически вступил 15 октября 1941 года. Шапошников в то время приболел и выехал в Арзамас вместе почти со всем Генеральным штабом. Сталин вызвал меня к себе и приказал мне возглавить группу Генерального штаба в Москве при нем, оставив для этой работы восемь офицеров Генерального штаба. Я стал возражать, что такое количество офицеров — восемь человек — не может обеспечить необходимый масштаб работы, что с таким количеством людей работать нельзя, что нужно гораздо больше людей. Но Сталин стоял на своем и, несмотря на мои повторные возражения, повторил, чтобы я оставил себе восемь офицеров Генерального штаба и я сам — девятый.

Только уже позднее я понял его упорство в тот день. Оказывается, на аэродроме уже стояли в полной готовности самолеты на случай эвакуации Ставки и правительства из Москвы, и на этих самолетах были расписаны все места, по этому расписанию на всю группу Генерального штаба было оставлено девять мест — для меня и моих восьми офицеров. Об этом мне потом рассказал Поскребышев. Вообще говоря, то, что самолеты стояли в готовности, было абсолютно правильным мероприятием в той обстановке, когда прорвавшимся немецким танкам нужно было всего несколько часов ходу для того, чтобы быть в центре Москвы.

Надо сказать, что в начале войны Генеральный штаб был растащен и, собственно говоря, его работу нельзя было назвать нормальной. Первый заместитель начальника Генерального штаба Ватутин был отправлен на фронт, Шарохин тоже, начальник оперативного управления Маландин тоже. Все те, кто составлял головку Генерального штаба, были отправлены на разные фронты и в армии, что, конечно, не способствовало нормальной работе Генерального штаба. Сталин в начале войны разогнал Генеральный штаб. Ватутин, Соколовский, Шарохин, Маландин — все были отправлены на фронт.

Что сказать о последствиях для армии тридцать седьмого — тридцать восьмого года? Вы говорите, что без тридцать седьмого года не было бы поражений сорок первого, а я скажу больше. Без тридцать седьмого года, возможно, и не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел. Да что говорить, когда в тридцать девятом году мне пришлось быть в комиссии во время передачи Ленинградского военного округа от Хозина Мерецкову, был ряд дивизий, которыми командовали капитаны, потому что все, кто был выше, были поголовно арестованы.

В сорок первом году Сталин хорошо знал, что армия не готова к войне, и всеми правдами и неправдами стремился оттянуть войну. Он пытался это делать и до финской войны, которая в еще большей степени открыла ему глаза на нашу неподготовленность к войне. Сначала он пытался договориться с западными державами. К тому времени, когда уже стало ясно, что они всерьез договариваться с нами не желают, стали прощупывать почву немцы. В результате чего и был заключен тот пакт с Гитлером, при помощи которого Гитлер обвел нас вокруг пальца.

Когда в тридцать девятом году Риббентроп летел в Москву на своем самолете, то по дороге, в районе Великих Лук (не убежден, точно ли называю пункт. — **К. С.**), он был обстрелян нашей зенитной батареей. Командир зенитной батареи приказал открыть стрельбу по этому самолету — таково, видимо, было его настроение в отношении немцев. Мало того, что была открыта стрельба, на самолете, как впоследствии выяснилось, уже после посадки в Москве, были пробоины от попадания осколков.

Я знаю всю эту историю, потому что был направлен с комиссией для расследования этого дела на месте. Но самое интересное, что хотя мы ждали заявления от немцев, их протеста, ни заявления, ни протеста с их стороны не последовало. Ни Риббентроп, ни сопровождающие его лица, ни сотрудники германского посольства в Москве никому не сообщили ни одного слова об этом факте. (Мои собственные соображения, что реакция немцев очень показательна. Видимо, они решили добиться заключения договора во что бы то ни стало, невзирая ни на что, именно поэтому не заявили протеста, который мог хотя бы в какой-то мере помешать намеченному. — **К. С.**)

Что немцы готовились к войне и что она будет, несмотря на пакт, были убеждены все, кто ездил в ноябре сорокового года вместе с Молотовым в Берлин. Я тоже ездил в составе этой делегации, как один из представителей Генерального штаба. После этой поездки, после приемов, разговоров там ни у кого из нас не было ни малейших сомнений в том, что Гитлер держит камень за пазухой. Об этом говорили и самому Молотову. Насколько я понял, он тоже придерживался этой точки зрения.

Больше того, германский посол в Москве Шуленбург, который сопровождал нас туда и обратно, нашел возможным, несмотря на всю рискованность этого его положения, на обратном пути говорить о пакте, в то же время настойчиво намекая на то, что взаимоотношения между нашими

странами оставляют желать много лучшего. Короче говоря, он старался нам дать понять, что считает возможным возникновение войны.

Во время пребывания в Берлине на приеме я сидел рядом с Браухичем. Хотя я был в штатском и официально не фигурировал как представитель Генерального штаба, но он знал, кто я, и через переводчика спросил меня, помню ли я о том, что мы знакомы, что это не первая наша встреча. Я, разумеется, помнил это. А первая наша встреча была еще в тридцать втором году на больших маневрах в районе Овруча (не убежден в точности названного пункта. — **К. С.**). В тот период отношения наши с Германией были весьма тесными. В ряде пунктов на нашей территории находились немецкие центры, в которых происходила подготовка офицеров, так как немцы, согласно условиям Версальского мира, не имели права делать это в Германии. Были танковые и авиационные центры. На маневрах тридцать второго года, где мы впервые показали достоинства крупных (по тому времени) механизированных соединений — танковых бригад, были военные атташе целого ряда армий, в том числе германский представитель. Но если представителям других армий показали лишь часть происходящего, то немцам показали все. Их возили по другим маршрутам, в другие места, на других машинах скрытно от представителей других армий. Я участвовал в этих маневрах, и у меня на командном пункте вместе с Ворошиловым и Смородиновым был Браухич. Он наблюдал за ходом боевых действий в течение довольно длительного времени, потом он отошел, потом Смородинов вернулся ко мне и сказал, что Браухич сделал вам комплимент, заявив, что все, что он наблюдал здесь, делается в лучших традициях немецкой военной школы. Такой была наша первая встреча с ним. Но, конечно, в сороковом году, во время встречи в Берлине, это был уже не тот, другой, совсем другой Браухич.

Помимо событий тридцать седьмого — тридцать восьмого годов, большой вред в подготовке армии к войне принесли известные выводы, сделанные после испанской войны. Под влиянием таких, возвысившихся после испанской войны деятелей, как Кулик, были пересмотрены взгляды на использование танковых войск, ликвидированы уже имевшиеся крупные механизированные соединения, — пошла в ход теория, что они не нужны, что танки нужны только непосредственно для поддержки пехоты. Заново крупные механизированные соединения стали создавать уже только перед войной, после того как немцы показали на деле, что такие соединения могут делать для разгрома противника. Была потеряна масса времени.

После прихода Гитлера к власти отношения с Германией резко изменились. Немецкие военные учебные центры на нашей территории были ликвидированы, отношения становились все более враждебными. В связи с этим стали пересматриваться и оперативные планы. Раньше, по прежнему оперативному плану, как основной наш противник на западе рассматривалась Польша; теперь, по новому оперативному плану, как основной противник рассматривалась гитлеровская Германия.

Когда имевшие отношение к военному делу люди задают вопросы, имелись ли у нас перед войной оперативные планы войны, то это звучит по меньшей мере нелепо. Разумеется, оперативные планы имелись, и весьма подробно разработанные, точно так же, как и мобилизационные планы. Мобилизационные планы были доведены до каждой части буквально, включая самые второстепенные тыловые части, вроде каких-нибудь тыловых складов и хозяйственных команд. Планы были доведены, проверены. Мало того, была произведена специальная мобилизационная проверка.

Что касается оперативных планов, то я как человек, по долгу своей службы сидевший в Генеральном штабе на разработке оперативных планов по Северному флоту, Балтийскому флоту, Ленинградскому округу, Северо-Западному округу и Западному особому округу, хорошо знаю, насколько подробно были разработаны все эти планы. Я сидел на этих планах и на внесении в них всех необходимых коррективов с сорокового года. Так как эти планы были связаны с действием двух флотов, то я также не вылезал в то время из кабинетов Кузнецова и его начальника штаба Галлера.

Беда не в отсутствии у нас оперативных планов, а в невозможности их выполнить в той обстановке, которая сложилась. А сложилась она так потому, что Сталин, как я уже сказал, любыми средствами, всеми правдами и неправдами старался оттянуть войну. И хотя мы располагали обширными сведениями о сосредоточении крупных контингентов германских войск в непосредственной близости от наших границ уже начиная с февраля сорок первого года, он отвечал категорическим отказом на все предложения о приведении наших войск где-то, в каких-то пограничных районах в боевую готовность. На всё у него был один и тот же ответ: «Не занимайтесь провокациями» или «Не поддавайтесь на провокацию». Он считал, что немцы могут воспользоваться любыми сведениями о приведении наших войск в боевую готовность для того, чтобы начать войну. А в то, что они могут начать войну без всяких поводов с нашей стороны, при наличии пакта, до самого конца не верил. Больше того, он гневно одергивал людей, вносивших предложения об обеспечении боевой готовности в приграничных районах, видимо, считая, что и наши военные способны своими действиями спровоцировать войну с немцами.

Тимошенко бесконечное количество раз докладывал Сталину сведения о сосредоточении немецких войск и о необходимости принять меры к усилению боевой готовности, но неизменно получал в ответ категорическое запрещение. Больше того, пользуясь своим правом наркома, он старался сделать все, что мог, в обход этих запрещений, в том числе проводил местные учебные мобилизации и некоторые другие меры.

Но при всем том, что я сказал о Сталине как о военном руководителе в годы войны, необходимо написать правду. Он не был военным человеком, но он обладал гениальным умом. Он умел глубоко проникать в сущность дела и подсказывать военное решение.

В связи с вашей книгой скажу кое-что о Сталинградской операции, которой мне пришлось заниматься.

В последний период, перед началом нашего ноябрьского наступления, я был на Сталинградском фронте. Облазил там буквально все, готовя наступление. Наступление было назначено на девятнадцатое — по Юго-Западному и Донскому фронтам, на двадцатое — по Сталинградскому.

Вдруг семнадцатого вечером, когда я вернулся из частей, на командном пункте раздается звонок из Ставки. Звонит Сталин.

— Здравствуйте. Есть к вам срочное дело. Вам надо прибыть в Москву.

— Как прибыть в Москву, товарищ Сталин? Послезавтра начинается наступление, я не могу ехать!

— Дело такого рода, что вам необходимо прибыть в Москву. Успеете вернуться. Надо обсудить с вами...

Я пробовал еще объяснить невозможность своего отъезда с фронта, но Сталин еще раз повторил, что дело такого рода, что мне необходимо быть завтра в Москве у него. Ни в какие объяснения он при этом не вдавался.

Утром я вылетел. Прилетел в Москву около одиннадцати утра. Позвонил Поскребышеву. Он сказал, что Сталин на «ближней даче», но, очевидно, еще спит. Я позвонил туда, Сталин действительно еще спал, и мне оставалось только ждать. Я попросил передать, что прибыл и жду его распоряжений.

Через два или три часа позвонил Поскребышев и сказал, чтобы я прибыл к шести часам вечера «на уголок». Так называлась квартира Сталина в Кремле. Если на дачу в Кунцеве — говорили «ближняя дача», если в Кремль — «на уголок».

Когда я в шесть часов приехал, совершенно не представляя, что случилось и зачем я вызван, в кабинете у Сталина шло совещание Государственного комитета обороны. Были Маленков, Берия, Микоян, Вознесенский, Молотов.

Сталин поздоровался со мной, предложил присесть. Потом подошел к своему письменному столу, взял какой-то конверт и, сев за стол, бросил его по столу мне.

— Вот, почитайте, пока мы здесь кончим свою гражданскую войну...

Он с членами Государственного комитета обороны продолжал обсуждать какие-то начатые еще до моего прихода вопросы, а я вынул из конверта лежавшие там листы и стал их читать с величайшим изумлением.

Сталину писал командир танкового корпуса генерал Вольский. Этот танковый корпус, сводный, полнокомплектный, хорошо подготовленный, должен был стать главной ударной силой нашего прорыва на Сталинград-

ском фронте. Именно ему предстояло отрезать немцев с юга, прорваться к Калачу навстречу танковым частям Юго-Западного фронта. Именно на этот корпус на Сталинградском фронте делалась ставка как на ударную силу. Именно в этом корпусе я особенно часто бывал в последнее время, дневал и ночевал там, проверял его подготовку, многократно разговаривал с производившим на меня отличное впечатление его командиром генералом Вольским. Именно с этим Вольским я расстался только вчера днем, из его корпуса поехал на командный пункт фронта, где меня застал звонок Сталина.

Вольский писал Сталину примерно следующее. Дорогой товарищ Сталин. Считаю своим долгом сообщить вам, что я не верю в успех предстоящего наступления. У нас недостаточно сил и средств для него. Я убежден, что мы не сумеем прорвать немецкую оборону и выполнить поставленную перед нами задачу. Что вся эта операция может закончиться катастрофой, что такая катастрофа вызовет неисчислимые последствия, принесет нам потери, вредно отразится на всем положении страны, и немцы после этого смогут оказаться не только на Волге, но и за Волгой...

Дальше следовала поразившая меня подпись: Вольский.

Я прочел эту бумагу с величайшим изумлением и недоумением. Ничто, абсолютно ничто в поведении Вольского, в его настроении, в состоянии его войск не давало возможности поверить, что именно этот человек мог написать эту бумагу.

Я прочел письмо, положил в конверт и несколько минут ждал.

Сталин закончил обсуждение вопроса, которым они занимались, поднял на меня глаза и спросил:

— Ну, что вы скажете об этом письме, товарищ Василевский?

Я сказал, что поражен этим письмом.

— А что вы думаете насчет предстоящих действий после того, как прочли это письмо?

Я ответил, что по поводу предстоящих действий продолжаю и после этого письма думать то же, что и думал: наступление надо начинать в установленные сроки, по моему глубокому убеждению, оно увенчается успехом.

Сталин выслушал меня, потом спросил:

— А как вы объясняете это письмо?

Я сказал, что не могу объяснить это письмо.

— Как вы оцениваете автора этого письма?

Я ответил, что считаю Вольского отличным командиром корпуса, способным выполнить возложенное на него задание.

— А теперь, после этого письма? — спросил Сталин. — Можно ли его оставить на корпусе, по вашему мнению?

Я несколько секунд думал над этим, потом сказал, что я лично считаю невозможным снимать командира корпуса накануне наступления и считаю правильным оставить Вольского на его должности, но, конечно, с ним необходимо говорить.

— А вы можете меня соединить с Вольским, — спросил Сталин, — чтобы я с ним поговорил?

Я сказал, что сейчас постараюсь это сделать. Вызвал по ВЧ командный пункт фронта, приказал найти Вольского и соединиться с ним через ВЧ и полевой телефон.

Через некоторое время Вольского нашли.

Сталин взял трубку. Этот разговор мне запомнился, и был он примерно такого содержания:

— Здравствуйте, Вольский. Я прочел ваше письмо. Я никому его не показывал, о нем никто не знает. Я думаю, что вы неправильно оцениваете наши и свои возможности. Я уверен, что вы справитесь с возложенными на вас задачами и сделаете все, чтобы ваш корпус выполнил все и добился успеха. Готовы ли вы сделать все от вас зависящее, чтобы выполнить поставленную перед вами задачу?

Очевидно, последовал ответ, что готов.

Тогда Сталин сказал:

— Я верю в то, что вы выполните вашу задачу, товарищ Вольский. Желаю вам успеха. Повторяю, о вашем письме не знает никто, кроме меня и Василевского, которому я показал его. Желаю успеха. До свидания.

Он говорил все это абсолютно спокойно, с полной выдержкой, я бы сказал даже, что говорил он с Вольским мягко.

Надо сказать, что я видел Сталина в разных видах и, не преувеличивая, могу сказать, что знаю его вдоль и поперек. И если говорить о людях, которые натерпелись от него, то я натерпелся от него как никто. Бывал он и со мной, и с другими груб, непозволительно, нестерпимо груб и несправедлив. Но надо сказать правду, что бывал и таким, каким был в этом случае.

После того, как он кончил разговор, он сказал, что я могу отправиться на фронт.

В предыдущий период мы готовили предстоящие удары вместе с Жуковым: он — на севере, я — на юге. К этому времени Жуков уже уехал для выполнения других, новых заданий, и я остался в качестве представителя Ставки на всей этой операции. И летел я из Москвы утром уже не на Сталинградский фронт, а на Юго-Западный, на котором наносился главный удар.

Прибыл я туда уже днем, через несколько часов после начала наступления, которое началось в соответствии с планом, но без меня.

Прилетев, выехал к танкистам на направление главного удара. Был там. Потом, когда задержалось дело в армии Чистякова и у танкистов Кравченко, выехал к Чистякову с намерением навалиться на них, дать им духу за нерешительные действия, хотя это вообще не в моем характере, но необходимо было крупно поговорить. К счастью для Чистякова и Кравченко, положение, пока я туда добрался, исправилось, Кравченко прорвался, наконец, и предстоящий нам крупный разговор не состоялся, к счастью для них, да и к счастью для меня, конечно.

На юге Сталинградского фронта дело тоже шло хорошо: румын, конечно, прорвали, Вольский действовал решительно и удачно, полностью выполнил свою задачу. Когда оба фронта соединились в районе Калача, через день или два после соединения я впервые после всего происшедшего вновь увидел Вольского.

Я был еще на Юго-Западном фронте и докладывал Сталину о соединении фронтов и об организации внутреннего и внешнего фронта окружения. При этом докладе он спросил меня, как действовал Вольский и его корпус. Я сказал так, как оно и было, что корпус Вольского и его командир действовали отлично.

— Вот что, товарищ Василевский, — сказал Сталин. — Раз так, то я прошу вас найти там, на фронте, хоть что-нибудь пока, чтобы немедленно от моего имени наградить Вольского. Передайте ему мою благодарность, наградите его от моего имени и дайте понять, что другие награды ему и другим — впереди.

После этого звонка я подумал: чем же наградить Вольского? У меня был трофейный немецкий «вальтер», и я приказал там же, на месте, прикрепить к нему дощечку с соответствующей надписью, и, когда мы встретились с Вольским, я поздравил его с успехом, поблагодарил за хорошие действия, передал ему слова Сталина и от его имени этот пистолет. Мы стояли с Вольским, смотрели друг на друга, и с ним было такое потрясение, что этот человек в моем присутствии зарыдал, как ребенок.

Так выглядит эта история с Вольским, который и до этого и в дальнейшем был в моих глазах превосходным танкистским начальником и отличным человеком.

Вы спрашиваете: чем было вызвано его письмо? Думаю, что с ним произошел перед наступлением шок, потрясение. Он действительно испугался. Ему показалось, что ничего не выйдет. Напряжение, потрясение — это случалось с людьми на войне, и бывало не только тогда, когда мы только еще начинали побеждать, а и потом, много позже, — нервы не выдерживали. А в данном случае чувство страшной ответственности и страх, что все поставлено на карту и вдруг мы не сделаем того, чего ждет от нас страна, — все это было особенно острым. Особенно остро испытывали это чувство люди, которым еще не приходилось побывать ни в одном удачном наступлении. Ко времени Сталинградской операции те начальники, командующие, которые участвовали в Московской битве, которым уже пришлось наступать, гнать немцев, ощущали бо́льшую уверенность. А те, которым этого не приходилось еще до сих пор делать, — а таких было большинст-

во, — находились в страшном напряжении ожидания: выйдет ли то, что мы задумали? Так было и под Сталинградом. Но было и потом. Бывали моменты, когда люди от перенапряжения вдруг переставали верить в успех.

Помню, например, как на реке Миус, когда уже было подготовлено наступление, я приехал в армию Герасименко. Герасименко не играл главной роли в предстоящем наступлении, она была отведена Цветаеву и другим, но его армия тоже выполняла наступательные задачи. И вот мы приехали утром накануне наступления на КП вместе с Толбухиным. Разговаривали с Герасименко. Все было нормально. Я и до этого у него бывал. Он готовился к наступлению, и к нему не было никаких особых замечаний ни у меня, ни у Толбухина. В разговоре я его спросил:

— Ну, как у вас войска, как они себя чувствуют?

И вдруг он, срываясь на крик, сказал:

— Войска... Войска... — и, махнув рукой, добавил: — Ничего у нас не выйдет!

— Как не выйдет?

— Ничего у нас не выйдет...

Мы вызвали в его присутствии начальника штаба армии, спросили его мнение о готовности частей армии к операции. Он сказал, что все в порядке, все подготовлено, есть уверенность в успехе. Тогда я вынужден был сказать в присутствии Толбухина, что раз командующий армией не верит в успех и заявляет об этом перед началом наступления, то нам придется поставить вопрос перед Ставкой о его отстранении, потому что с таким настроением идти в наступление невозможно.

И вдруг Герасименко как-то весь обмяк и произнес почти, можно сказать, со слезой в голосе, и вид у него был совершенно измученный:

— Извините, не знаю, что со мной случилось, как все это у меня вырвалось. Измаялся. Всю ночь не спал, думал, как выйдет, как получится... Изнервничался, издергался... Устал. Надо поспать.

В Ставку мы не доложили, от армии его не отстранили. Он выспался, пришел в себя и в дальнейшем выполнил причитавшуюся на его долю задачу.

Возвращаясь к Сталинградской операции, не могу не удивляться тем неточностям, которые я обнаружил в мемуарах Н. Н. Воронова. Мы с ним вместе работали как представители Ставки в период Сталинградской операции. Он много сделал во время этой операции. У нас были хорошие взаимоотношения. Но одно место в его мемуарах меня удивляет, а именно то, где он описывает, как мы с ним накануне наступления будто бы были вызваны Сталиным и вылетели вместе с Юго-Западного фронта, а прилетев в Москву, прослонялись там день, так и не попав на прием к Сталину, то есть были вызваны неизвестно зачем. Затем нам было сказано, что мы можем вернуться обратно, и мы вместе вернулись на Юго-Западный фронт.

Здесь все неверно. Что касается моего прилета в Москву, то он был связан с письмом Вольского, о чем я рассказывал. Летели мы в Москву не вместе и лететь вместе не могли, потому что Воронов был на Юго-Западном фронте, а я на Сталинградском. И летели мы, если он тоже летел в Москву, из совершенно разных мест. И возвращался я, насколько помню, тоже один, а не вместе с Вороновым, и сразу поехал к танкистам, и увидел его только через три дня в армии Чистякова. Непонятно, как все это могло оказаться в его воспоминаниях.

(Хочу дать свою собственную догадку. Быть может, Н. Н. Воронов забыл подробности. Может быть, он летел отдельно от А. М. Василевского и запамятовал это. Но мне трудно предположить, что Н. Н. Воронов вообще не летал в Москву и что его до такой степени подвела память. Не правильно ли было бы предположить, что, получив письмо Вольского, которое, по существу, ставило под сомнение не только действия Сталинградского фронта, но и всю операцию в целом, то есть действия всех трех фронтов, Сталин из-за этого письма вызвал не только А. М. Василевского со Сталинградского фронта, но одновременно, тоже без объяснения причин, вызвал и Н. Н. Воронова с Юго-Западного фронта? А когда Н. Н. Воронов уже прилетел в Москву, Сталин решил не ставить его в известность об этом письме и вызвал к себе только А. М. Василевского и говорил об этом только с ним. У Н. Н. Воронова, так ничего и не узнавшего обо всем этом, создалось впечатление, и вполне естественное, что его накануне ответственнейшей операции вызвали в Москву неизвестно зачем и, продержав там и ничего не сказав, отправили обратно.

Мне думается, что это очень логичное объяснение. А уж то обстоятельство, что Н. Н. Воронов забыл, вместе или порознь они летали в Москву с А. М. Василевским, носит второстепенный характер, тут можно было и запамятовать. — **К. С.**)

У вас в романе проскальзывает мысль, что переадресовка Второй гвардейской армии Малиновского с севера на юг, в распоряжение Сталинградского фронта для контрудара по Манштейну и Готу была ошибкой. (Я в ответ сказал, что я не считал себя вправе становиться сторонником такой концепции, но, зная, что вокруг этого шли споры, я хотел дать в романе представление о существовании разных точек зрения на этот вопрос. — **К. С.**) За то, что Вторая гвардейская армия была передана Сталинградскому фронту и направлена против Манштейна, отвечаю я. Я этого добивался, я на этом настаивал. И я считал и считаю, что это было необходимо.

В период наступления Манштейна на Сталинградский фронт, я был в частях отступавшего кавалерийского корпуса Шапкина и в других отступавших частях. Положение складывалось грозное. До соединения наступавших частей Манштейна и армии Паулюса оставались считанные дни. Я считал, что пройдут еще сутки, максимум двое, и уже поздно будет этому помешать. Они соединятся, и Паулюс уйдет из Сталинграда, и это приведет не только к тому, что рухнет кольцо окружения, рухнет надежда на уничтожение группировки Паулюса в кольце, созданном с таким трудом, но и вообще это будет иметь неисчислимые последствия для всего хода военных действий.

Мы сначала просчитались, недооценили количества окруженных войск. На самом деле в окружении было 300 000 человек, и все они могли прорваться и после соединения с Манштейном уйти, и последствия, повторяю, были бы неисчислимыми.

Считаю, что Сталинградский фронт наличными силами уже не в состоянии был сдержать наступление Манштейна. Наблюдая это своими глазами, я, поехав на командный пункт Юго-Западного фронта, позвонил оттуда Сталину и настойчиво попросил, чтобы для контрудара по Манштейну Сталинградскому фронту была придана Вторая гвардейская армия, которая по первоначальному плану действительно была предназначена для наращивания удара на Ростов с тем, чтобы в результате этого удара отрезать не только войска, окруженные под Сталинградом, но и кавказскую группировку немцев. Я это знал, разумеется, но тем не менее в сложившемся критическом положении настаивал на переадресовании армии.

Сталин эту армию отдавать категорически не хотел, не хотел менять для нее первоначально поставленную задачу. После моих решительных настояний он сказал, что обдумает этот вопрос и даст ответ. В ожидании этого ответа я на свой страх и риск приказал Малиновскому начать движение частей армии в новый район, из которого она должна была действовать против Манштейна, приказал ему также садиться на командный пункт к Толбухину, забрать у него линии связи для того, чтобы сразу наладить управление вновь прибывающими войсками. Это приказание было дано поздно вечером, а ответа от Сталина еще не было.

Как я впоследствии узнал, Сталин в эту ночь обсуждал в Ставке мое требование, и там были высказаны различные мнения. В частности, Жуков считал, что армию переадресовывать не надо, что пусть в крайнем случае Паулюс прорывается из Сталинграда навстречу Манштейну и движется дальше на запад. Все равно ничего изменять не надо, и надо в соответствии с прежним планом наносить удар Второй гвардейской армией и другими частями на Ростов. Об этом шли в ту ночь споры в Ставке.

А я ходил из угла в угол и ожидал, что мне ответят, потому что фактически я уже двинул армию. Наконец, в 5 часов утра Сталин позвонил мне и сказал злобно, раздраженно всего четыре слова:

— Черт с вами, берите!

И бросил трубку.

Так был решен этот вопрос.

А то, как было с Вольским и Герасименко, это бывает на войне. Вро-

де все ничего, а в последний момент перед наступлением вдруг затряслась портянка!

Видел Сталина в гневе, в раздражении, даже в исступлении. Ругаться он умел, беспощадным быть тоже. Помню историю в районе, кажется, Холма (не уверен в пункте. — **К. С.**) в сорок втором году зимой, когда дивизия Масленникова попала в окружение и осталась на голодном пайке. Мне как начальнику Генерального штаба было поручено организовать ее снабжение по воздуху. Непосредственно как авиатор занимался этим делом Жигарев. И вот случись же так, что целый отряд транспортных самолетов, который сбрасывал провиант, промахнулся, и весь груз сбросил на глазах у дивизии Масленникова немцам. Масленников, видя это, дает отчаянную радиограмму: «Мы подыхаем с голоду, а вы кормите немцев!» Радиограмма попала к Сталину. Сталин вызвал меня и Жигарева и был во время этого разговора настолько вне себя, что я один момент боялся, что он своими руками расстреляет Жигарева тут же, у себя в кабинете.

К зиме сорок третьего — сорок четвертого года, когда мы вышли 4-м и 3-м Украинскими фронтами на нижнее течение Днепра и отрезали Крым, но не ворвались в него, у немцев оставался против нас на восточном берегу Днепра так называемый Никопольский плацдарм. Я так же, как и командующие фронтами, не считал, что плацдарм представляет для нас непосредственную опасность, и считал необходимым решать дальнейший исход дела на западном берегу Днепра — нанося удары вглубь, через Днепр, значительно севернее плацдарма. Мы считали, что тем самым заставим немцев самих уйти с этого плацдарма.

Именно так мы докладывали Сталину и докладывали не один раз. Но он в этом случае уперся. Его крайне беспокоил этот плацдарм; он боялся, что немцы сосредоточат на нем силы и ударом с плацдарма на юго-восток, к морю отрежут 4-й Украинский фронт. Никакие наши убеждения на него не действовали, и он требовал от нас во что бы то ни стало отнять у немцев этот плацдарм. И сколько мы положили людей в безуспешных атаках на этот плацдарм, один бог знает! Несколько раз настаивали на отмене приказа, мотивируя невыгодностью для нас лобовых ударов по этому плацдарму, — ничего не помогло.

Через два или три месяца, уже в разгаре зимы, Сталин запросил наши соображения о предстоящем наступлении 4-го и 3-го Украинских фронтов. Я как представитель Ставки, координировавший действия обоих фронтов, представил вместе с командующими наши соображения. У нас, особенно после потерь на Никопольском плацдарме, с силами было не так густо, и мы запросили значительное количество сил и средств, необходимое, по нашему мнению, для решительного наступления обоих фронтов.

Через день после того, как наши соображения были направлены в Ставку, раздался звонок Сталина.

— Говорит Сталин. Василевский?

— Да. Слушаю вас, товарищ Сталин.

— Скажите, Василевский, кто у нас начальник Генерального штаба?

Что ответить на такой вопрос? Я ответил, что официально начальником штаба по сей день являюсь я. Во всяком случае, я так считаю.

Сталин на это отвечает:

— И я так до сих пор считаю. Но если вы начальник Генерального штаба, почему же вы пишете в Ставку такую ерунду, которую вы написали в своем проекте директивы? Начальник Генерального штаба не имеет права писать такую ерунду. Вы требуете у Ставки того-то и того-то, того-то и того-то, но вы как начальник Генерального штаба должны знать, что у нас этого нет и что нам сейчас неоткуда взять то, что вы требуете.

Я ответил, что мы указали то, что нам необходимо для наступления, и я считаю, что, во всяком случае, часть этого можно взять с других фронтов.

— Другим фронтам тоже надо наступать, — отвечает Сталин, — и вы это знаете как начальник Генерального штаба. А пишете такую ерунду.

Несколько секунд я молчу, и он молчит. Потом он говорит:

— Выходите из положения своими средствами. Ограбьте Толбухина. У него есть авиационный корпус, есть механизированный корпус, в тылу, во втором эшелоне, у него есть армия. Заберите все это у него, ограбьте его, поставьте в оборону весь 4-й Украинский фронт, а все это отдайте Малиновскому. Вы же сами не так давно предлагали решать дело на западном берегу Днепра, вот и решайте дело не сразу обоими фронтами, а последовательно. Ограбьте Толбухина, поставьте его в оборону, отдайте все, чем он располагает, Малиновскому, наносите удар войсками Малиновского, и не откладывая до весны, а сейчас же, зимой, чем раньше — тем лучше. А когда добьетесь успеха и Малиновский продвинется, поставьте его в оборону, ограбьте его, отдайте все Толбухину и всеми силами идите по Крыму.

Форма разговора устроить не могла, но с существом нельзя было не согласиться. Во многих случаях — и чем дальше, тем чаще — Сталин умел правильно и глубоко решать стратегические оперативные вопросы и подсказывал наиболее верные решения. И говоря о нем, этого тоже не следует упускать из виду.

Я поехал к Малиновскому, поговорил с ним, и мы в соответствии с предложением Сталина спланировали операцию, которая впоследствии оправдала себя на деле.

Я говорил о некоторых существенных недочетах в нашей мемуарной литературе. В частности, такие недочеты есть в воспоминаниях Рокоссовского о Белорусской операции, там, где он рассказывает о ее планировании. Он рассказывает там о том, как он был вызван в Ставку, как он предложил наносить на своем фронте не один, а два одновременных удара и как Сталин отверг это предложение. Как он снова предложил это, как Сталин снова отверг и сказал ему, чтобы он пошел и подумал. И когда он, вернувшись, снова предложил этот же план двойного удара на одном фронте, как Сталин в конце концов махнул рукой и согласился.

Я координировал в этой операции действия 3-го Белорусского фронта Черняховского и 1-го Прибалтийского фронта Баграмяна, присутствовал на этом обсуждении плана операции и, во-первых, не помню такого спора, а во-вторых, в воспоминаниях Рокоссовского сам этот момент — предложение о двойных ударах, наносимых на одном фронте, — трактуется как некое оперативное новшество. И это уже вовсе странно. Двойные удары силами одного фронта не были для нас новшеством в сорок четвертом году. Такие удары наносились и раньше. Достаточно привести пример Московской операции, где контрудары по немцам наносились и на южном и на северном флангах Западного фронта, и Сталинградской операции, где Сталинградским фронтом наносились удары на двух направлениях, да и ряд других операций, предшествовавших Белорусской.

В воспоминаниях надо быть точным, не прибавляя и не убавляя, не преувеличивая своих заслуг и не снимая с себя ответственности за те ошибки, за которые ее несешь именно ты. Я, скажем, знаю и понимаю, что именно я как начальник Генерального штаба нес ответственность за запоздалую организацию Воронежского фронта. Именно я по своим обязанностям должен был поставить вовремя вопрос о его организации. А я этого не сделал, и это моя, а не чья-либо еще ошибка, и я не перевaливаю эту ответственность ни на кого другого.

Удивительное дело, как мы мало пользуемся документами. Прошло двадцать лет со времени окончания войны, люди вспоминают, спорят, но спорят часто без документов, без проверки, которую легко можно провести. Совсем недавно, разыскивая некоторые документы, я обнаружил в одном из отделов Генерального штаба огромное количество документов. Донесения, переговоры по важнейшим операциям войны, которые с абсолютной точностью свидетельствуют о том, как в действительности происходило дело. Но с самой войны и по сегодняшний день, как эти документы были положены, так они и лежат. В них никто не заглядывал.

Работа Генерального штаба, в которой были достижения и ошибки, требует внимания и серьезного анализа. Генштаб есть генштаб. Это мозг армии. Я читал книгу Степана Злобина «Пропавшие без вести». Это хорошая книга. Многие страницы я не мог читать без волнения, но ее восьмую главу, связанную с работой Генерального штаба, я не мог читать без возмущения. Это поверхностное описание, без знания дела, без знания обстановки. Описание работников генштаба как каких-то белоручек. А если хотите знать, то генштаб с начала войны работал в самых тяжелых, отвратительных условиях. Несмотря на все наши настояния до войны, нам не было разрешено даже организовать подземный командный

пункт, подземное рабочее помещение. Только в первый день войны, примерно в то же время, когда началась мобилизация, а мобилизация — как ни странно это звучит — была объявлена в четырнадцать часов двадцать второго июня, то есть через двенадцать часов после начала войны, в это время во дворе 1-го Дома Наркомата обороны начали ковырять землю, рыть убежище. До августа месяца Генеральный штаб работал в подвалах Наркомата обороны. Смешно сказать, но оперативный отдел Генерального штаба работал в вещевом складе. И только к августу месяцу было оборудовано помещение на станции метро «Кировская» и в примыкающем к нему здании, там, где потом, в ходе войны, размещался Генштаб. Вот как обстояло дело в действительности.

Читаешь многотомную Историю Великой Отечественной войны, — сейчас в однотомнике кое-что исправлено, но еще далеко не все, что следует исправить, — и иногда удивляешься. В период подготовки Сталинградской операции и в период самой операции, в том числе в период самых ожесточенных боев с Котельнической группировкой немцев, я ездил из одной армии в другую, из одних частей в другие буквально все время в одной машине с Хрущевым. Он не вылезал из моей машины, всегда, где был я, был и он. Но вот читаешь эту историю, и в ней написано: «Товарищ Хрущев приехал туда-то», «товарищ Хрущев прибыл на командный пункт в такой-то корпус», «товарищ Хрущев говорил там-то и с тем-то» и так далее, и так далее. А где начальник Генерального штаба, так и остается неизвестным.

Еще более странно описано в этой Истории планирование операции на Курской дуге. Из этого описания может создаться ощущение, что эта операция была в основном спланирована на Воронежском фронте, тогда как на самом деле для планирования этой операции съехались и участвовали в ней Жуков, Рокоссовский, я, Ватутин, подъехал туда во время этой работы и Хрущев. Это действительно так, но не сверх того.

Что касается начала войны, то надо сказать, что о том, что немцы к ней готовятся и как готовятся, знали многие, а ждали войны все.

ИЗ БОЛЬНИЧНЫХ БЕСЕД

Апрель — 2 мая 1976 года

В течение этих двух недель несколько раз виделся и разговаривал с Александром Михайловичем Василевским.

Ощущение, что в этом человеке сочетается большая мягкость с большой твердостью воли, сейчас, последние годы, проявляемой не только в том, что он пишет, в отстаивании собственного взгляда, как мне думается, наиболее самокритического среди всех военных мемуаристов, во всяком случае, среди всего того, что появилось в печати. Воля проявляется и в отношении к себе, своему здоровью, своему распорядку жизни, своей приверженности к работе.

Человек, давно и тяжело больной, он выработал в себе привычку к этой болезни, к этой постоянно обременяющей его тяжести, и эта выработанная привычка к болезни связалась воедино с еще более давно выработанной привычкой к регулярной и неукоснительной работе.

Сознавая свое нездоровье и планомерно противоборствуя ему, этот человек в то же время не стал рабом своих болезней, не окунулся в них, не сделал их предметом своих главных разговоров или главных размышлений.

Есть люди, которые любят говорить о том, что болезнь мешает им работать. Он принадлежит к другой категории людей, постоянно сознающих, что болезнь и мешает их работе, и может прервать эту работу, но при этом думающих о своих болезнях именно с этих позиций, а не вообще. Размышления о том, лучше или хуже себя я чувствую, — это размышления, связанные прежде всего с тем, меньше или больше, лучше или хуже мне удается работать при такой, меняющей свои параметры, но постоянной данности как болезнь.

Поистине стоит поучиться такому отношению к болезни, к работе и в общем-то к жизни.

Говорили на разные темы. Сначала зашел разговор о Еременко. Я услышал довольно жесткую характеристику Еременко как человека искательного, ловкого и способного в одних случаях на подхалимство, а в других случаях и на обман, на введение в заблуждение.

По словам моего собеседника, Еременко, в частности, в тяжелые для Сталинграда дни, когда у Чуйкова все висело на волоске и когда Сталин потребовал через Василевского, чтобы Еременко выехал туда, на правый берег Волги, к Чуйкову и помог ему, — именно такое выражение употребил Василевский и, очевидно, это было выражение Сталина, — Еременко два дня откручивался от этого и поехал только на третий день, при этом выполнив приказ Сталина довольно своеобразно.

Александр Михайлович Василевский с большим чувством, очень добрым, вспоминал фотокорреспондента «Правды» Михаила Калашникова, рассказывал о том, какой это был сдержанный, скромный, не похожий по своему характеру и повадкам на большинство других фотокорреспондентов человек. У меня сохранился снимок, сказал Александр Михайлович, этот снимок сделан уже после того, как мы ворвались в Крым. На этом снимке я, Ворошилов и Михаил Калашников. А делал этот снимок мой тогдашний водитель, который неплохо фотографировал вообще и был, так сказать, моим штатным фотокорреспондентом. Снялись, и Калашников уехал вперед, в один из наших корпусов, а через три часа мне позвонили, что он убит. Снимок этот у меня есть, добавил Александр Михайлович, если хотите, я вам могу его дать.

Вернувшись к прерванному разговору о Еременко, он сказал, что дело тогда в Сталинграде обстояло так: немцы очень сильно нажимали на Чуйкова, и это беспокоило Сталина. К этому времени, сказал о себе Василевский, я находился на левом берегу Волги, там же, где и Еременко, который перебрался туда из Сталинграда еще в первой половине сентября. Еременко как командующий фронтом занимался Сталинградом, а мне было поручено готовить нашу будущую наступательную операцию. Меня вызвал в один из тяжелых для Сталинграда дней к телефону Сталин. Сказав о том, что его тревожит положение в Сталинграде у Чуйкова, велел передать его приказание Еременко: переправиться через Волгу самому в Сталинград и помочь, как он выразился, там Чуйкову. Звонок был уже вечерний. Я связался с Еременко и передал ему приказание Сталина. Он ответил, что все будет сделано, что он ночью выедет в Сталинград. Утром я, к своему удивлению, узнал, что в Сталинград он не выехал, находился по-прежнему здесь, на командном пункте. В разговоре со мной Еременко сказал, что он посылал людей на переправу, но обстановка там была такая, при которой переправляться оказалось в эту ночь невозможным. Он переправится следующей ночью.

В разговоре со Сталиным, который звонил и вызывал меня каждый день, я ответил на его вопрос, что через Волгу, как доложил Еременко, оказалось невозможным переправиться предыдущей ночью и он переправится к Чуйкову в следующую.

Вечером я узнал, что Еременко отправился на переправу через Волгу, но утром выяснилось, что он и на этот раз не переправился туда, потому что ему якобы не позволила это сделать обстановка. Маркиан Михайлович Попов, который был его заместителем и выезжал с ним вместе на переправу, говорил мне потом, что обстановка на переправе была в ту ночь нормальная, такая же, как и в другие ночи; риск, конечно, существовал, но люди в продолжение ночи переправлялись и туда, и обратно.

Пришлось при очередном разговоре со Сталиным в ответ на его вопрос доложить, что Еременко пока еще не удалось переправиться в Сталинград.

— Выгоните его туда, — сердито приказал Сталин, — чтоб он был сегодня ночью там, у Чуйкова.

Пришлось передать Еременко это приказание. Ночью он снова поехал на переправу, связавшись предварительно с Чуйковым и договорившись, где и как тот его будет встречать. Но переправился он через Волгу не там, где договорились, а в другом месте. Чуйков ждал его несколько часов на этой переправе, а Еременко все не было и не было. А он тем временем, переправившись в другом месте, приехал в дивизию, помнится,

к Людникову, связался от Людникова еще с одним командиром дивизии, поговорил с тем и с другим и, вернувшись на переправу, к утру был обратно на левом берегу Волги, так и не повидавшись с напрасно прождавшим его командармом.

Он умел выкручиваться и вместе с тем имел большие способности к подхалимажу. Вылезать наружу из блиндажа или подземелья, по моим наблюдениям, он не любил. (Очень не любил,— сказал Александр Михайлович.— **К. С.**). В период и начала наступления южнее Сталинграда, и событий под Котельниково мне довелось много ездить, но с Еременко я не помню чтобы приходилось ездить. Со мной обычно ездил не он, а Хрущев. Тот много действительно ездил, всюду бывал.

Я спросил, чем, по его мнению, объясняется, что Сталин, изменивший свое мнение к концу войны о целом ряде людей, у которых были заслуги в прошлом, но которые, как выяснилось, не принадлежали к числу наиболее способных и перспективных людей в эту войну, не переменил свое мнение о Еременко и много раз назначал его на разные фронты, хотя количество фронтов, которыми в разное время Еременко командовал, в то же время говорит само за себя, что он был, очевидно, далеко не всегда на высоте.

— Видите ли,— сказал Александр Михайлович,— сыграло роль то, что я вам уже говорил,— его умение выкручиваться, втирать очки и умение заниматься подхалимажем, но у Сталина, надо сказать, были известные основания и к положительной оценке деятельности Еременко в такой тяжелый момент, как начало сталинградских событий. На подступах к Сталинграду в августе месяце Еременко действовал упорно и умело, он, надо отдать ему должное, многое сделал для того, чтобы сдержать наступление немцев. И Сталин это высоко оценил. Впоследствии он говорил о Еременко, что это генерал обороны. Когда наступление Сталинградского, переименованного уже к этому времени в Южный, фронта продолжало развиваться дальше и дальше, Сталин счел целесообразным заменить командующего фронтом. Он меня спросил, кого я считаю возможным выдвинуть на роль командующего фронтом. Я сказал ему, что на эту роль подходит Малиновский, который успешно командовал армией под Котельниковом и впоследствии имел и опыт командования фронтом. Сталин при этом вспомнил Малиновскому его неудачу в роли командующего фронтом во время летнего прорыва немцев, взятие ими Ростова и Новочеркасска, но тем не менее, после того как я повторил свою положительную характеристику Малиновского, согласился и принял решение назначить его командующим фронтом, а Еременко перевести на Северо-Западный фронт.

Генералом обороны называл Сталин и Ивана Ефимовича Петрова. О Петрове у него сложилось мнение по его действиям в Одессе, в Севастополе и на Кавказе, что он способен к упорной обороне, но не проявляет достаточной энергии, напора в наступлении. По отношению к Петрову, как мне кажется, мнение это было несправедливым. Петров обладал всеми данными, необходимыми командующему фронтом для действий в любой обстановке — и в обороне, и в наступлении.

Я вернулся к упоминанию о Хрущеве. Спросил, какого мнения Александр Михайлович об этом человеке. Василевский сказал, что в тот период, когда Хрущев был членом Военного совета фронта, когда ему с ним много в такой роли приходилось встречаться, он оценивал его положительно. Хрущев был человеком энергичным, смелым, постоянно был в войсках, никогда не засиживался в штабах и на командных пунктах, стремился видеться и разговаривать с людьми, и, надо сказать, люди его любили.

Однажды мы прилетели вместе с Хрущевым в Заволжье из Москвы, вспомнил Василевский, и, пересев на машины, поехали по голой заволжской степи в направлении к командному пункту фронта. Мы проехали некоторое время, увидели какой-то навес, строение неподалеку от него, решили остановиться, чтобы перекусить. В Москве сделать это оказалось недосуг — ни мне, ни Хрущеву. Пока те, кто нас сопровождал, устраивали на скорую руку перекус, Хрущев увидел в отдалении около какого-то небольшого строения женщину и мужчину и вместе со мной пошел к ним: «Давай пойдем, поговорим». Люди это были пожилые, мужчина был хмурый, бородатый, на приветствие Хрущева и на вопрос: «Ну, как вы тут, как идет жизнь?» — сначала ничего не ответил, хмуро молчал, а потом так же хмуро сказал:

— Ну какая тут жизнь, что это за жизнь?

— А вы здешний?

— Какой я здешний. Я не здешний, я николаевский.

— А кем вы там были?

— Председателем колхоза был. Вот там была жизнь, на Николаевщине. Там была жизнь, колхоз был хороший. Был я на съезде колхозников, выступал, рассказывал о колхозе своем. С Микитой встречался, беседовал, хвалил он наш колхоз за нашу работу.

Надо сказать, что Хрущев был в такой бекеше, в шапке не генеральской, знаков различия не было видно, и я обратился к этому бывшему председателю колхоза и спросил:

— А вот этого человека вы не знаете?

— Не знаю.

— Может, знаете. Ну-ка, приглядитесь.

Он пригляделся, как вскрикнул:

— Так то же Микита. Ты тоже здесь?

Страшно обрадовался Хрущеву и стал его обнимать, а тот с неменьшей охотой стал обнимать его. И потом, конечно, позвал позавтракать вместе с нами. Вот такая произошла встреча там, в заволжской степи, неожиданная для нас обоих.

По словам Василевского, Хрущев при своем положении члена Военного совета фронта и члена Политбюро тем не менее, на его памяти, сам не звонил Сталину, и были случаи, когда он просил позвонить Василевского. Сталин вызывал Василевского в Москву, об этом узнавал Хрущев и говорил ему:

— Мне тоже надо поехать в Москву, зайти в Политуправление, поговорить со Щербаковым, хорошо бы мне слетать вместе с вами; позвоните Сталину, чтобы он меня вызвал в Москву.

Василевский отвечал:

— Позвоните сами.

Но Хрущев отнекивался и настаивал на своей просьбе:

— Вам удобнее, он вас уже вызвал, вы объясните ему, что мне нужно встретиться со Щербаковым.

В общем итоге я звонил, сказал Василевский. Сталин спрашивал:

— А что, чего он хочет в Москву, что там ему нужно?

Я объяснял, что ему нужно быть в Политуправлении, встретиться со Щербаковым.

— Ну, возьмите его с собой, пусть прилетает,— говорил Сталин.

И мы летели вместе и вместе возвращались. Там, в Москве, насколько мне известно, со Сталиным в эти прилеты свои Хрущев не виделся и видеться не пытался.

Судя по тому, как рассказывал об этом Василевский, это происходило не однажды, а по крайней мере хотя бы два раза, во всяком случае, он рассказывал это так, как будто было несколько таких случаев на его памяти.

В одном из дальнейших разговоров Александр Михайлович коротко охарактеризовал Штеменко. Сказал, что это человек в военном отношении образованный, очень работоспособный, и не только работоспособный, но и способный, энергичный, с волевыми качествами. В свое время, когда Сталин послал на Кавказ Берию с поручением спасти там положение после поражения Южного фронта, Берия просил рекомендовать, кого из работников Генерального штаба ему взять с собой, и мы ему порекомендовали, сказал Александр Михайлович. Штеменко как молодого и способного штабного работника, он взял его с собой, и несколько месяцев Штеменко был с ним. Это, к сожалению, многое потом определило и в его судьбе, и в его поведении.

Начальником Генерального штаба он был назначен совершенно неожиданно для Василевского. В послевоенное время, когда Булганин был министром, а Василевский в течение довольно продолжительного времени был и первым заместителем министра, и начальником Генерального штаба, он обратился к Булганину с предложением освободить его от одной из этих

обязанностей, потому что ему просто невмоготу справляться с ними с обеими.

— А кого же назначить? — спросил Булганин.

— Антонова, — сказал Василевский.

И охарактеризовал Антонова самым отменным образом, указав при этом, что он уже имеет опыт работы начальником Генерального штаба, уже побывал в этой роли. К тому времени, когда возник этот разговор, Антонов был первым заместителем Василевского по Генеральному штабу. Булганин согласился, с этим они и пришли на Политбюро. Но там, на Политбюро, произошло нечто совершенно неожиданное для Василевского. Когда они доложили о предложении, Сталин сказал, что на пост начальника Генерального штаба следует выдвинуть Штеменко. Попытки настоять на назначении Антонова ни к чему не привели. Вопрос был предрешен еще до заседания. С тем они ушли. Штеменко был назначен начальником Генерального штаба прямо из начальников Оперативного управления.

А Антонов с должности заместителя начальника Генерального штаба поехал на должность заместителя командующего Кавказским военным округом. Когда я сказал ему об этой, совершенно неожиданной для него новости, он чуть не заплакал, рассказывал Василевский.

Снятие Штеменко с должности начальника Генерального штаба произошло тоже при Сталине и столь же неожиданно, как и его назначение.

Однажды — к тому времени Василевский был уже министром обороны — его вызвали на Политбюро, был доклад об очередных делах, вместе с ним был Соколовский — первый заместитель министра и Штеменко как начальник Генерального штаба.

Сталин выслушал доклады и сказал:

— А теперь еще один вопрос надо решить. Надо назначить нового начальника Генерального штаба вместо товарища Штеменко. Какие у вас будут предложения? — обратился он к Василевскому.

Василевский сказал, что он предложение внести не готов, что ему надо подумать.

— Вот всегда так, надо отложить, подумать, — сказал Сталин. — Почему у вас нет предложений?

Я, рассказывал Василевский, был совершенно не готов к такому серьезному делу, как замена одного начальника Генерального штаба другим. Вносить предложение по такому вопросу непросто.

В это время сидевший рядом со мной Соколовский толкнул меня в бок и тихо говорит:

— Саша, я готов пойти на это, на Генеральный штаб.

— А как же ты как мой заместитель, кто же вместо тебя?

— Там посмотрим, — так же тихо сказал Соколовский, — я пока буду и то, и другое. Не подведу.

Соколовского я знал как очень сильного штабного работника и после того, как он предложил мне себя на этот пост, я тут же сказал Сталину, что, вот, считаю, что можно на этот пост назначить Соколовского.

Сталин задал тот же вопрос, что задал Соколовскому я:

— А как же будет с исполнением обязанностей заместителя министра?

Я ответил словами Соколовского, сказал, что надеюсь, что он справится с тем и с другим. Тут же было принято и записано соответствующее решение.

После этого мы ушли. Первый ушел Штеменко. Потом мы с Соколовским. Штеменко так и не сказал за все заседание ни слова. Когда я, уходя последним, уже был в дверях, Сталин позвал меня обратно. Я зашел, поняв, что он хочет говорить со мной, с одним из нас троих.

— Чтоб вы знали, товарищ Василевский, почему мы освободили Штеменко. Потому что он все время пишет и пишет и пишет на вас, надоело. Поэтому решили освободить.

Так Сталин объяснил мне тогда причины снятия Штеменко.

Впоследствии я мог убедиться в правильности его слов, держа в руках документы.

Назначение Штеменко начальником Генерального штаба, очевидно, было подготовлено Берией, который, с одной стороны, оценил его как сильного работника, когда был с ним вместе на Кавказе, а, с другой стороны, имел на него, очевидно, свои виды. (А этого Василевский не говорил, это уж мое собственное соображение или, точнее, домысел. Думается мне, что именно это, то, что Берия имел на Штеменко свои виды, и послужило причиной его снятия Сталиным. Слишком большого и непосредственного влияния Берии на военные дела Сталин не хотел. Очевидно, усмотрев через какое-то время, что Берия осуществляет такое влияние и имеет соответствующую информацию от Штеменко, решил вопрос о его снятии с поста начальника Генерального штаба. — **К. С.**).

Штеменко поехал заместителем командующего Приволжского военного округа. Может быть, я запамятовал, какого именно округа, но должность — после должности начальника Генерального штаба — у него стала именно такого масштаба.

Василевский рассказывал о том, что Берия был очень груб и очень активен. В частности он привел такой эпизод.

Когда в период боев за освобождение Крыма машина, на которой я ехал, наскочила на мину, это вывело меня на время из строя. Но как впоследствии выяснилось (это было дело рук Берии), Сталину не сообщили о том, что машина наскочила на мину, не сообщили о том, что я был легко контужен и ранен, и Сталин пребывал в убеждении, что я заболел, что у меня грипп. Только когда я прилетел в Москву и явился на прием к Сталину, то, увидев меня с перевязкой на голове и спросив, что со мной, Сталин узнал о том, что произошло.

У меня была с собой фотография. Мы, в общем, чудом остались целы, и мне хотелось показать Сталину фотографию того, во что превратилась наша машина. Я вынул эту фотографию и хотел показать Сталину, но Берия буквально вырвал ее у меня и порвал на кусочки, говоря:

— Зачем показывать, зачем беспокоить.

Так он и не дал мне показать эту фотографию Сталину.

Случай этот Александр Михайлович в разговоре со мной не комментировал, я даже не очень понял, когда произошло это — перед приемом у Сталина, когда Сталина не было, а Берия был, или когда Сталин отвернулся или отошел, — переспрашивать было неудобно, но случай этот был, видимо, навсегда запомнившимся.

(Мой же собственный домысел состоит в том, что и история с мнимым гриппом Василевского, и история с разорванной фотографией — все это связано с очень простой вещью: по своей должности Берия имел касательство к охране командующих фронтами и армиями и тем более членов Ставки и ее представителей. Таким образом, косвенно ответственность за то, что Василевский чуть не взлетел на мине, только чудом остался цел, лежала на его ведомстве и, в конечном итоге, на нем. Вот поэтому-то он и не хотел, чтобы Сталин вообще об этом знал, а уж раз Сталин об этом узнал, не хотел никаких дополнительных подробностей, не хотел, чтоб к этому было привлечено внимание Сталина. Убежден, что именно так. — **К. С.**)

Рассказывал Василевский и о том, как он был вынужден уйти в отставку. Он был к тому времени — это было уже при Хрущеве — первым заместителем Жукова, они однажды ехали с Жуковым в машине, и Жуков говорит ему:

— Как, Саша, не думаешь ли ты, что тебе нужно заняться историей войны?

Этот вопрос был для меня неожиданным, сказал Василевский, но я сразу понял, что за этим стоит, и прямо спросил Жукова:

— Что, Георгий, как это понять? Понять так, что надо уходить в отставку? Пора уходить?

И Жуков так же прямо ответил:

— Да. Было обсуждение этого вопроса, и Хрущев настаивает на твоем уходе в отставку.

Я подал после этого в отставку. Мне сохранили все, чем я располагал, полный оклад, все соответствующие блага — адъютанта, машину и так далее. Я вскоре заболел, был первый инсульт. А когда поправился, Жуков был уже снят с должности министра. И вдруг мне приходит бумага от Голикова, к тому времени назначенного начальником Политуправления, о том, чтоб я снимался с партийного учета в Генеральном штабе и переходил на учет в другое место. Я позвонил Голикову, спросил, куда же мне

переходить на учет, я на партийном учете нахожусь в армии, привык к этому.

— Переходите по месту жительства, на улице Грановского, — был ответ.

Я спросил: нельзя ли как-то по-другому поступить? Голиков сказал, что он выполняет распоряжение, есть такое решение, не ему его отменять, что это общее решение. Тогда я позвонил Малиновскому, рассказал ему, о том, что произошло. Он меня успокоил, сказал:

— Порви к черту эту бумажку, переделаем это, сделаем по-другому.

И сделал. А вскоре была создана группа генеральных инспекторов, и я вернулся из отставки в состав этой группы.

Вспоминая Жукова, Василевский рассказывал, как они оба пришли в Управление боевой подготовки, — это было в самом начале тридцатых годов. Жукова на организационном собрании — Управление было новым, и там создали новую парторганизацию — избрали секретарем партийной организации.

— И надо сказать, Георгий круто взялся за дело, — рассказывал Василевский. — У него должности роли не играли, у него, пока он был секретарем парторганизации, все большие начальники, оказавшиеся в составе парторганизации, вольностей себе не позволяли, ходили по струнке: Виталий Маркович Примаков и сам начальник Управления Александр Игнатьевич Седякин — все без исключения. Он был строг на этой должности так же, как и на всех других своих должностях.

Затем Василевский вспомнил, как он сам переходил в это Управление.

К тому времени командирам полка — а я был командиром полка в Твери — были созданы хорошие условия, было решение, по которому все мы имели машины — фордики тогдашнего выпуска, каждый командир полка имел, получали квартиры — в одних случаях отдельные квартиры, в других даже особняки, имели верховую лошадь, имели, кроме машины, выезд. И вот после всего этого меня назначили в Управление, дали вместо трех шпал командира полка один ромб по должности, званий тогда еще не было, и сообщили адрес, где я буду жить. Поехал я в Сокольники, нашел этот дом — новые дома с тесными квартирами, нашел свой номер квартиры — квартира из нескольких комнат, мне отведена одна, а нас четверо я, жена, теща, сын. Вот так мне предстояло жить после тех условий, в которых находился как командир полка. Такое же положение было и у Жукова, когда он был тоже назначен туда, в это Управление, а до этого он был заместителем командира дивизии.

Помню, однажды выхожу я из наркомата и вижу на стоянке трамвая стоит Георгий с большой этажеркой для книг. Я говорю:

— Что ты тут стоишь?

— Да вот квартира-то пустая, в комнате ничего не стоит, хоть взял здесь, в АХО, выписал себе этажерку для книг, чтоб было, куда книги положить. Да уже стою полчаса — три трамвая или четыре пропустил, никак не могу ни в один из этих трамваев сесть, народу битком, видишь, висят.

— Ну, ладно, я подожду, с тобой вместе поедем.

Ждали, ждали, еще пять или шесть трамваев переждали, ни в один не можем сесть. Тогда Жуков говорит:

— Ну, ты езжай, а я пойду пешком.

— Куда, в Сокольники?

— Ну да, в Сокольники, а что же делать с этой, с этажеркой, не обратно же ее нести.

Я тогда сказал ему, что уж раз такая судьба, давай пойдем пешком вместе, я тебе помогу ее тащить. Так мы и шли с Жуковым через весь город, до Сокольников, несли эту этажерку к месту его нового жительства.

Подготовка текста Л. Лазарева.

Владимир Лифшиц

ПРОЩАНИЕ

(Сопроводительная заметка К. Ваншенкина)

В декабре 1971 года умер Твардовский. И хотя очень многие знали, что он тяжело болен, известие это без преувеличения потрясло страну. Да и что значит: многие знали? Вероятно, как раз немногие, если представить себе протяженность России, бесчисленность его постоянных читателей. Не все до конца поняли, кого мы потеряли. Но великое множество сердец сжалось от истинного горя.

Я был знаком с Твардовским двадцать лет. Общался с ним — то чаще, то реже. Не раз писал о его стихах, а после его ухода и о нем самом.

Мне не довелось проводить Твардовского, — в те дни я был болен, лежал с высокой температурой. Друзья звонили мне, рассказывали о похоронах. Потом, когда я стал поправляться, мне порою казалось, что все это было во сне, привиделось в бреду. Во всяком случае, хотелось так думать.

Через какое-то время (через месяц, через два?) поэт Владимир Лифшиц прислал мне стихотворение «Прощание».

Владимир Александрович Лифшиц (1913—1978) был человеком очень добрым, отзывчивым, интеллигентным. Долгие годы он прожил в Ленинграде, в сорок первом ушел в народное ополчение, затем в армию, воевал, защищая свой великий город, был ранен. Впоследствии он перебрался на жительство в Москву.

Вл. Лифшиц был истинным поэтом. Его «Баллада о черством куске» — участница всех послевоенных поэтических антологий, вообще одно из лучших стихотворений о войне. Превосходны его стихи «Аист», «Снег», «Датская легенда» и многие другие. Он автор целого ряда книг. После смерти поэта почти, а может быть, и совсем не издавали. Причина? Причины нет, кроме отсутствия настойчивости у тех, кому следовало бы этим заниматься. Данной заметкой я также хочу привлечь к этому внимание наших издателей. Нельзя же быть такими беспечно-расточительными. Впрочем, у нас любят забывать, а потом — правда, далеко не всегда — открывать заново.

Чем же привлекает стихотворение «Прощание»?

В нем естественность, наивность, простодушие. Откровенная стилизация (а это тоже нужно уметь), сознательная интонационная зависимость от Твардовского как бы подчеркивают, что это неспроста. И когда появляется человек «из глубинки», мы начинаем догадываться — кто он. Хотя фамилия его так и не произносится — только имя. Здесь тоже такт и мера.

Звонившие мне в тот день приводили детали и подробности происходящего в н у т р и — в Доме литераторов, потом на Новодевичьем. Поэт изобразил событие с н а р у ж и, с московской улицы. Это по сути народный взгляд.

Но пора уже перейти и к самим стихам.

Итак, Владимир Лифшиц. «Прощание».

Вдоль Садового кольца
Шел народ московский...

Автор «Книги про бойца»
Александр Твардовский
Неподвижен, прям и тих,
В ложе втиснув плечи,
Ждал читателей своих
Для последней встречи.

Ждал, подставив люстрам грудь,
И, узнав про это,

Шел читатель, чтобы в путь
Проводить поэта.

Но дошел не до конца,
Хоть дойти и жаждал:
От Садового кольца
Не пускают граждан.

Одному за пятьдесят.
Старое пальтишко.
Он не то, чтоб лысоват,
Но и нет излишка.

Он ушанку мнет в руке,
Говорит несмело:
— Вот приехал налегке,
Раз такое дело.

На попутных через Русь
Прибыл из глубинки...
Я ведь, братцы, не прошусь
После на поминки.

Но милиции наряд
Хоть и не стращает,
Всем велит идти назад,
Дальше не пущает.

В толк никак я не возьму:
Раз поэт народный,
То народу ход к нему
Должен быть свободный... —

Вразумляет офицер:
— Гражданин, не будем.
Нехороший вы пример
Подаете людям.

Нам приказано народ
Не пускать к поэту,
И других на этот счет
Указаний нету.

Кто какой имеет чин,
Так того и ложат...
Не просите, гражданин,
Это не поможет. —

И прохожий от толпы
Отошел в сторонку.
У протоптанной тропы
Натянул шапчонку.

Чтоб не выдала слеза,
Быстро по панели
Зашагал, куда глаза
У него глядели...

Всю-то ночь снежок валил,
А к утру подтаял.
И покойного хвалил
Тот, кто прежде хаял.

И по краешку земли,
Круглой, словно глобус,
Красный гроб уже внесли
В голубой автобус.

И поэт лежал в гробу
Тяжко и угрюмо,
И морщиною во лбу
Затаилась дума.

Не тревога, не печаль,
А другое нечто.
Он в свою, в иную даль
Отбывал навечно...

Где ж приезжий гражданин?
У приезжих путь один:
Он в кафе-стакане,
С емкостью в кармане.

Вот где можно помянуть
Русского поэта,
Что свободно мог вернуть
Даже с того света!..

Два подсели алкаша,
Не смутясь нимало.
Вкруговую, не спеша
Емкость загуляла.

Загуляла под столом,
По стеклу стуча стеклом.

Два небритых алкаша —
Язвенник и тучный —
Существует ли душа? —
Спор ведут научный.

И про душу по душам
Третий молвит алкашам:

— Есть душа. Она не пар.
Потому и жалко,
Что к поэту не попал,
Видно, стал уж больно стар.
Подвела смекалка...

— Ну, а как вас, батя, звать? —
Алкаши спросили.
— Если вам охота знать,
Звать меня Василий.

1972

В этих стихах настоящая, загнанная в глубину боль. Герой сидит за столиком со случайными людьми, грустно разговаривает с ними, думая о своем. О войне? Об идущих от Садового кольца людях или объяснении с офицером милиции?

Очень сильны врезанные в середину повествования четыре строфы, начинающиеся строчкой «Всю-то ночь снежок валил...»

А вообще это все отчасти сказочное, словно нереальное, словно приснилось. И в то же время все очень точно, по сути документально. Легко угадать находившуюся поблизости «стекляшку»... Сейчас этого павильона, разумеется, нет. И описанная погода именно та, что была. Я не поленился, проверил по тогдашним сообщениям Гидрометцентра. Проверил только затем, чтобы написать об этом, а так сомнений не было.

Или вот Вл. Лифшиц пишет: «одному за пятьдесят». В давней моей большой статье «Перечитывая Твардовского» (1958) есть место: «Анкетные данные о Теркине». Там я, опираясь на текст, показываю, что год рождения Теркина — семнадцатый. Если бы я ошибся, то Александр Трифонович, читавший эту статью, наверняка бы меня поправил. Таким образом, в 1971 году Теркину должно было быть пятьдесят четыре. «Одному за пятьдесят». Все сходится. Хотя он отчасти уже другой — «говорит несмело». Вы только подумайте! Но что поделаешь, ведь в жизни и так бывает.

...Летит время, и для вдумчивого читателя все более важны сохраненные искусством подробности того трагического декабрьского дня.

К. ВАНШЕНКИН

В архиве Владимира Александровича Лифшица сохранилось несколько неопубликованных стихотворений, которые редакция «Знамени» рекомендует читателям.

Должник

Я по несделанным долгам —
Такое не приснится—
Плачу друзьям, плачу врагам,
Не в силах расплатиться.

Чтоб заплатить по всем счетам,
Не хватит целой жизни.
Да и за гробом, даже там
Не спишут долг отчизне.

Ну что же, это не беда:
Отчизна не держава.
Держава — та меня всегда
За пасынка держала.

И вот уж до преклонных лет
Я, как ни странно, дожил,
Но с ней не расплатился, нет.
Я должен, должен, должен.

Я верить вечно должен тем,
Кто врет напропалую.
Я должен быть, как рыба, нем
Иль петь им аллилуйю.

Был ясен воинский мне долг,
Раздумия недолги,
И я ушел в стрелковый полк.
Чтоб кровь пролить на Волге.

Блуждал средь дантовых кругов,
Играл со смертью часто.
Но никаких других долгов
За мною нету. Баста.

Пусть арифметика своя
У маклерской конторы,
Мне наплевать. Банкрот не я.
Банкроты — кредиторы.

1976

К вопросу о долголетии

На вопросы — как дожить
Лет до девяноста,
Отвечают, что дожить
Очень даже просто.

Но спешат предупредить,
Что не в том основа,
Чтоб не пить, и не курить,
И не есть мясного, —

А она совсем в другом,
В более глубоком:
Чтоб глядеть на все кругом
Равнодушным оком.

Скажем, бьет хулиганье
Во дворе девчонку, —
Это дело не твое,
Отойди в сторонку.

Карьерист по службе прет
Через три ступеньки,
Подхалимничает, врет,
А тебе до феньки.

Избегай любовных мук,
Не томись, не майся,
Отвернулся лучший друг —
Тоже не терзайся.

Чтобы лет своих не красть,
Делай все без страсти,
Потому что людям страсть
Сердце рвет на части.

Заставляет страсть, как плеть,
Мчаться полным ходом,
Ты же — тлеть, а не гореть
Должен год за годом.

Если все это поймешь,
То легко и просто
Ты, пожалуй, доживешь
Лет до девяноста...

Только нравятся не всем
Наставленья эти,
Ибо вот вопрос: зачем
Жить тогда на свете?

Да к тому же говорят,
Что довольно часто
Тем, которые горят,
Лет бывает за сто!

Со

Сослуживец, сотрапезник,
Собутыльник, собеседник —
Сколько этих СО!
Друг без друга невесомы,
Грозным временем несомы,
Попадаем в эти СО мы
Белкой в колесо.

Вот идет, одетый в ватник,
Твой солагерник, соратник,
Соучастник бородатый
(Впрочем, он же — соглядатай
И сожитель завстоловой —
Бабы толстой и соловой).

Вот идет сотрудник банка,
Сопричастный составленью
Авизовки, чека, бланка,
Не подверженный сомненью.

Вот собрат, а вот соперник,
Сочинитель и создатель,
Со-Бетховен, со-Коперник,
Со-по-улице-шагатель,
Соискатель, сомолчатель...

Ну, а если ты — рыбешка
Не стандартного засола
И желаешь хоть немножко
Порезвиться в жизни соло,
Вне союзов и собраний,
Вне сообщества соседей, —
Будешь согнут в рог бараний,
Будешь сослан в край медведей,
К сокрушителям суставов,
К соблюстителям уставов...

Станут соучениками
Эти маленькие дети
И согражданами станут
Сосуществовать на свете,

И сочленами, доколе
Клубов тьма и академий,

И сотрупами — по воле
Войн и прочих эпидемий.

Сосчитал бы, да не буду,
Сколько этих Со повсюду...

Средь густых событий быта,
Коим тоже отдал дань я,
Лишь сочувствие забыто
И забыто состраданье.

Публикация И. Н. Кичановой.

Евгений Замятин

МЫ

РОМАН

Однажды в детстве, помню, нас повели на аккумуляторную башню. На самом верхнем пролете я перегнулся через стеклянный парапет, внизу — точки-люди, и сладко тикнуло сердце: «А что если?» Тогда я только еще крепче ухватился за поручни; теперь — я прыгнул вниз.

— Так вы хотите? Совершенно сознавая, что...

Закрытые — как будто прямо в лицо солнцу — глаза. Мокрая, сияющая улыбка.

— Да, да! Хочу!

Я выхватил из-под рукописи розовый талон — т о й — и побежал вниз, к дежурному. О схватила меня за руку, что-то крикнула, но что — я понял только потом, когда вернулся.

Она сидела на краю постели, руки крепко зажаты в коленях.

— Это... это ее талон?

— Не все ли равно. Ну — ее, да.

Что-то хрустнуло. Скорее всего — О просто шевельнулась. Сидела, руки в коленях, молчала.

— Ну? Скорее... — Я грубо стиснул ей руку, и красные пятна (завтра — синяки) у ней на запястье, там — где пухлая детская складочка.

Это — последнее. Затем — повернут выключатель, мысли гаснут, тьма, искры — и я через парапет вниз...

Запись 20-я.
Конспект:
РАЗРЯД. МАТЕРИАЛ ИДЕЙ. НУЛЕВОЙ УТЕС.

Разряд — самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно как электрический разряд. Пульс моих последних дней становится все суше, все чаще, все напряженней — полюсы все ближе — сухое потрескивание — еще миллиметр: взрыв, потом — тишина.

Во мне теперь очень тихо и пусто — как в доме, когда все ушли и лежишь один, больной, и так ясно слышишь отчетливое металлическое постукивание мыслей.

Быть может, этот «разряд» излечил меня, наконец, от моей мучительной «души» — и я снова стал, как все мы. По крайней мере, сейчас я без всякой боли мысленно вижу О на ступенях Куба, вижу ее в Газовом Колоколе. И если там, в Операционном, она назовет мое имя — пусть: в последний момент — я набожно и благодарно лобызну карающую руку Благодетеля. У меня по отношению к Единому

О к о н ч а н и е. Начало см. «Знамя» № 4 за 1988 год.

Государству есть это право — понести кару, и этого права я не уступлю. Никто из нас, нумеров, не должен, не смеет отказаться от этого единственного своего — тем ценнейшего — права.

...Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли; неведомый аэро уносит меня в синюю высь моих любимых абстракций. И я вижу, как здесь — в чистейшем, разреженном воздухе — с легким треском, как пневматическая шина,— лопается мое рассуждение «о действенном праве». И я вижу ясно, что это только отрыжка нелепого предрассудка древних — их идеи о «праве».

Есть идеи глиняные — и есть идеи, навеки изваянные из золота или драгоценного нашего стекла. И чтобы определить материал идеи, нужно только капнуть на него сильнодействующей кислотой. Одну из таких кислот знали и древние: reductio ad finem. Кажется, это называлось у них так; но они боялись этого яда, они предпочитали видеть хоть какое-нибудь, хоть глиняное, хоть игрушечное небо, чем синее ничто. Мы же — слава Благодетелю — взрослые, и игрушки нам не нужны.

Так вот — если капнуть на идею «права». Даже у древних — наиболее взрослые знали: источник права — сила, право — функция от силы. И вот — две чашки весов! на одной — грамм, на другой — тонна, на одной — «я», на другой — «Мы», Единое Государство. Не ясно ли: допускать, что у «я» могут быть какие-то «права» по отношению к Государству, и допускать, что грамм может уравновесить тонну,— это совершенно одно и то же. Отсюда — распределение: тонне — права, грамму — обязанности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты — грамм и почувствовать себя миллионной долей тонны...

Вы, пышнотелые, румяные венеряне, вы, закопченные, как кузнецы, ураниты — я слышу в своей синей тишине ваш ропот. Но поймите же вы: все великое — просто; поймите же: незыблемы и вечны только четыре правила арифметики. И великой, незыблемой, вечной— пребудет только мораль, построенная на четырех правилах. Это — последняя мудрость, это — вершина той пирамиды, на которую люди — красные от пота, брыкаясь и хрипя, карабкались веками. И с этой вершины — там, на дне, где ничтожными червями еще копошится нечто, уцелевшее в нас от дикости предков — с этой вершины одинаковы: и противозаконная мать — О, и убийца, и тот безумец, дерзнувший бросить стихом в Единое Государство; и одинаков для них суд: довременная смерть. Это — то самое божественное правосудие, о каком мечтали каменнодомовые люди, освещенные розовыми наивными лучами утра истории: их «Бог» — хулу на Святую Церковь — карал так же, как убийство.

Вы, ураниты,— суровые и черные, как древние испанцы, мудро умевшие сжигать на кострах,— вы молчите, мне кажется, вы — со мною. Но я слышу: розовые венеряне — что-то там о пытках, казнях, о возврате к варварским временам. Дорогие мои: мне жаль вас — вы не способны философски-математически мыслить.

Человеческая история идет вверх кругами — как аэро. Круги разные — золотые, кровавые, но все они одинаково разделены на 360 градусов. И вот от нуля — вперед: 10, 20, 200, 360 градусов — опять нуль. Да, мы вернулись к нулю — да. Но для моего математически мыслящего ума ясно: нуль — совсем другой, новый. Мы пошли от нуля вправо — мы вернулись к нулю слева и потому: вместо плюса нуль— у нас минус нуль. Понимаете?

Этот Нуль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож, утесом. В свирепой, косматой темноте, затаив дыхание, мы отчалили от черной ночной стороны Нулевого Утеса. Века —

мы, Колумбы, плыли, плыли, мы обогнули всю землю кругом, и, наконец, ура! Салют — и все на мачты: перед нами — другой, дотоле неведомый бок Нулевого Утеса, озаренный полярным сиянием Единого Государства, голубая глыба, искры радуги, солнца — сотни солнц, миллиарды радуг...

Что из того, что лишь толщиною ножа отделены мы от другой стороны Нулевого Утеса. Нож — самое прочное, самое бессмертное, самое гениальное из всего, созданного человеком. Нож — был гильотиной, нож универсальный способ разрешить все узлы, и по острию ножа идет путь парадоксов — единственно достойный бесстрашного ума путь...

Запись 21-я.
Конспект:

АВТОРСКИЙ ДОЛГ. ЛЕД НАБУХАЕТ. САМАЯ ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ.

Вчера был ее день, а она — опять не пришла, и опять от нее — невнятная, ничего не разъясняющая записка. Но я спокоен, совершенно спокоен. Если я все же поступаю так, как это продиктовано в записке, если я все же отношу к дежурному ее талон и затем, опустив шторы, сижу у себя в комнате один — так это, разумеется, не потому, чтобы я был не в силах идти против ее желания. Смешно! Конечно, нет. Просто — отделенный шторами от всех пластыре-целительных улыбок, я могу спокойно писать вот эти самые страницы, это первое. И второе: в ней, в I, я боюсь потерять, быть может, единственный ключ к раскрытию всех неизвестных (история со шкафом, моя временная смерть и так далее). А раскрыть их — я теперь чувствую себя обязанным, просто даже как автор этих записей, не говоря уже о том, что вообще неизвестное органически враждебно человеку, и homo sapiens — только тогда человек в полном смысле этого слова, когда в его грамматике совершенно нет вопросительных знаков, но лишь одни восклицательные, запятые и точки.

И вот, руководимый, как мне кажется, именно авторским долгом, сегодня в 16 я взял аэро и снова отправился в Древний Дом. Был сильный встречный ветер. Аэро с трудом продирался сквозь воздушную чащу, прозрачные ветви свистели и хлестали. Город внизу — весь будто из голубых глыб льда. Вдруг — облако, быстрая косая тень, лед свинцовеет, набухает, как весной, когда стоишь на берегу и ждешь: вот сейчас все треснет, хлынет, закрутится, понесет; но минута за минутой, а лед все стоит, и сам набухаешь, сердце бьется все беспокойней, все чаще (впрочем, зачем пишу я об этом и откуда эти странные ощущения? Потому что ведь нет такого ледокола, какой мог бы взломать прозрачнейший и прочнейший хрусталь нашей жизни...).

У входа в Древний Дом — никого. Я обошел кругом и увидел старуху привратницу возле Зеленой Стены: приставила козырьком руку, глядит вверх. Там над Стеной — острые, черные треугольники каких-то птиц: с карканием бросаются на приступ — грудью о прочную ограду из электрических волн — и назад, и снова над Стеною.

Я вижу: по темному, заросшему морщинами лицу — косые, быстрые тени, быстрый взгляд на меня.

— Никого, никого, никого нету! Да! И ходить незачем. Да...

То есть как это незачем? И что это за странная манера — считать меня только чьей-то тенью. А может быть, сами вы все — мои тени. Разве я не населил вами эти страницы — еще недавно четырехугольные белые пустыни. Без меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тропинкам строк?

Всего этого я, разумеется, не сказал ей; по собственному опыту я знаю: самое мучительное — это заронить в человека сомнение в том, что он — реальность, трехмерная — а не какая-либо иная — реальность. Я только сухо заметил ей, что ее дело открывать дверь, и она впустила меня во двор.

Пусто. Тихо. Ветер — там, за стенами, далекий, как тот день, когда мы плечом к плечу, двое-одно, вышли снизу, из коридоров — если только это действительно было. Я шел под какими-то каменными арками, где шаги, ударившись о сырые своды, падали позади меня — будто все время другой шагал за мной по пятам. Желтые — с красными кирпичными прыщами — стены следили за мной сквозь темные квадратные очки окон, следили, как я открывал певучие двери сараев, как я заглядывал в углы, тупики, закоулки. Калитка в заборе и пустырь — памятник Великой Двухсотлетней Войны: из земли — голые каменные ребра, желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь с вертикалью трубы — навеки окаменевший корабль среди каменных желтых и красных кирпичных всплесков.

Показалось: именно эти желтые зубы я уже видел однажды — неясно, как на дне, сквозь толщу воды — и я стал искать. Проваливался в ямы, спотыкался о камни, ржавые лапы хватали меня за юнифу, по лбу ползли вниз, в глаза, остросоленые капли пота...

Нигде! Тогдашнего выхода снизу из коридоров я нигде не мог найти — его не было. А впрочем — так, может быть, и лучше: больше вероятия, что все это — был один из моих нелепых «снов».

Усталый, весь в какой-то паутине, в пыли,— я уже открыл калитку—вернуться на главный двор. Вдруг сзади—шорох, хлюпающие шаги, и передо мною—розовые крылья-уши, двоякоизогнутая улыбка S.

Он, прищурившись, ввинтил в меня свои буравчики и спросил:

— Прогуливаетесь?

Я молчал. Руки мешали.

— Ну, что же, теперь лучше себя чувствуете?

— Да, благодарю вас. Кажется, прихожу в норму.

Он отпустил меня — поднял глаза вверх. Голова запрокинута — и я в первый раз заметил его кадык.

Вверху невысоко — метрах в 50 — жужжали аэро. По их медленному низкому лету, по спущенным вниз черным хоботам наблюдательных труб — я узнал аппараты Хранителей. Но их было не два и не три, как обычно, а от десяти до двенадцати (к сожалению, должен ограничиться приблизительной цифрой).

— Отчего их так сегодня много? — взял я на себя смелость спросить.

— Отчего? Гм... Настоящий врач начинает лечить еще здорового человека, такого, какой заболеет еще только завтра, послезавтра, через неделю. Профилактика, да!

Он кивнул, заплюхал по каменным плитам двора. Потом обернулся — и через плечо мне:

— Будьте осторожны!

Я один. Тихо. Пусто. Далеко над Зеленой Стеной мечутся птицы, ветер. Что он этим хотел сказать?

Аэро быстро скользит по течению. Легкие, тяжелые тени от облаков, внизу — голубые купола, кубы из стеклянного льда — свинцовеют, набухают...

ВЕЧЕРОМ:

Я раскрыл свою рукопись, чтобы занести на эти страницы несколько, как мне кажется, полезных (для вас, читатели) мыслей о великом Дне Единогласия — этот день уже близок. И увидел: не могу

сейчас писать. Все время вслушиваюсь, как ветер хлопает темными крыльями о стекло стен, все время оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю. И когда в комнате у меня появились знакомые коричневато-розовые жабры — я был очень рад, говорю чистосердечно. Она села, целомудренно оправила запавшую между колен складку юнифы, быстро обклеила всего меня улыбками — по кусочку на каждую из моих трещин — и я почувствовал себя приятно, крепко связанным.

— Понимаете, прихожу сегодня в класс (— она работает на Детско-воспитательном Заводе) — и на стене карикатура. Да, да, уверяю вас! Они изобразили меня в каком-то рыбьем виде. Быть может, я и на самом деле...

— Нет, нет, что вы,— поторопился я сказать (вблизи в самом деле ясно, что ничего похожего на жабры нет, и у меня о жабрах — это было совершенно неуместно).

— Да в конце концов — это и не важно. Но, понимаете: самый поступок. Я, конечно, вызвала Хранителей. Я очень люблю детей, и я считаю, что самая трудная и высокая любовь — это жестокость — вы понимаете?

Еще бы! Это так пересекалось с моими мыслями. Я не утерпел и прочитал ей отрывок из своей 20-й записи, начиная отсюда: «Тихонько, металлически-отчетливо постукивают мысли...»

Не глядя я видел, как вздрагивают коричнево-розовые щеки, и они двигаются ко мне все ближе, и вот в моих руках — сухие, твердые, даже слегка покалывающие пальцы.

— Дайте, дайте это мне! Я сфонографирую это и заставлю детей выучить наизусть. Это нужно не столько вашим венерянам, сколько нам, нам — сейчас, завтра, послезавтра.

Она оглянулась — и совсем тихо:

— Вы слышали: говорят, что в День Единогласия...

Я вскочил:

— Что — что говорят? Что — в День Единогласия?

Уютных стен уже не было. Я мгновенно почувствовал себя выброшенным туда, наружу, где над крышами метался огромный ветер, и косые сумеречные облака — все ниже...

Ю обхватила меня за плечи решительно, твердо (хотя я заметил: резонируя мое волнение — косточки ее пальцев дрожали).

— Сядьте, дорогой, не волнуйтесь. Мало ли что говорят... И потом, если только вам это нужно — в этот день я буду около вас, я оставлю своих детей из школы на кого-нибудь другого — и буду с вами, потому что ведь вы, дорогой, вы — тоже дитя, и вам нужно...

— Нет, нет,— замахал я,— ни за что! Тогда вы в самом деле будете думать, что я какой-то ребенок — что я один не могу... Ни за что! (— сознаюсь: у меня были другие планы относительно этого дня).

Она улыбнулась; неписаный текст улыбки, очевидно, был: «Ах, какой упрямый мальчик!» Потом села. Глаза опущены. Руки стыдливо оправляют снова запавшую между колен складку юнифы — и теперь о другом:

— Я думаю, что я должна решиться... ради вас... Нет, умоляю вас: не торопите меня, я еще должна подумать...

Я не торопил. Хотя и понимал, что должен быть счастлив и что нет большей чести, чем увенчать собою чьи-нибудь вечерние годы.

...Всю ночь — какие-то крылья, и я хожу и закрываю голову руками от крыльев. А потом — стул. Но стул — не наш, теперешний, а древнего образца, из дерева. Я перебираю ногами, как лошадь (правая передняя — и левая задняя, левая передняя — и правая задняя),

стул подбегает к моей кровати, влезает на нее — и я люблю деревянный стул: неудобно, больно.

Удивительно: неужели нельзя придумать никакого средства, чтобы излечить эту сноболезнь или сделать ее разумной — может быть, даже полезной.

Запись 22-я.
Конспект:

ОЦЕПЕНЕВШИЕ ВОЛНЫ. ВСЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ. Я — МИКРОБ.

Вы представьте себе, что стоите на берегу: волны — мерно вверх; и поднявшись — вдруг так и остались, застыли, оцепенели. Вот так же жутко и неестественно было и это — когда внезапно спуталась, смешалась, остановилась наша, предписанная Скрижалью, прогулка. Последний раз нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло 119 лет назад, когда в самую чащу прогулки, со свистом и дымом, свалился с неба метеорит.

Мы шли так, как всегда, то есть так, как изображены воины на ассирийских памятниках: тысяча голов — две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки. В конце проспекта — там, где грозно гудела аккумулирующая башня — навстречу нам четырехугольник: по бокам, впереди, сзади — стража; в середине трое, на юнифах этих людей — уже нет золотых нумеров — и все до жути ясно.

Огромный циферблат на вершине башни — это было лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов и 6 минут — в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было совсем близко от меня, мне видны были мельчайшие детали, и очень ясно запомнилась тонкая, длинная шея и на виске — путаный переплет голубых жилок, как реки на географической карте маленького неведомого мира, и этот неведомый мир — видимо, юноша. Вероятно, он заметил кого-то в наших рядах: поднялся на цыпочки, вытянул шею, остановился. Один из стражи щелкнул по нему синеватой искрой электрического кнута; он тонко, по-щенячьи, взвизгнул. И затем — четкий щелк, приблизительно каждые 2 секунды — и взвизг, щелк — взвизг.

Мы по-прежнему мерно, ассирийски, шли — и я, глядя на изящные зигзаги искр, думал: «Все в человеческом обществе безгранично совершенствуется — и должно совершенствоваться. Каким безобразным орудием был древний кнут — и сколько красоты...»

Но здесь, как соскочившая на полном ходу гайка, от наших рядов оторвалась тонкая, упруго-гибкая женская фигура и с криком: «Довольно! Не сметь!» — бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было — как метеор — 119 лет назад: вся прогулка застыла, и наши ряды — серые гребни скованных внезапным морозом волн.

Секунду я смотрел на нее посторонне, как и все: она уже не была нумером — она была только человеком, она существовала только как метафизическая субстанция оскорбления, нанесенного Единому Государству. Но одно какое-то ее движение — заворачивая, она согнула бедра налево — и мне вдруг ясно: я знаю, я знаю это гибкое, как хлыст, тело — мои глаза, мои губы, мои руки знают его,— в тот момент я был в этом совершенно уверен.

Двое из стражи — наперерез ей. Сейчас — в пока еще ясной, зеркальной точке мостовой — их траектории пересекутся,— сейчас ее схватят... Сердце у меня глотнуло, остановилось — и не рассуждая: можно, нельзя, нелепо, разумно,— я кинулся в эту точку...

Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно-веселой силы тому дикому, волосаторукому, что вырвался из меня, и он бежал все быстрее. Вот уже два шага, она обернулась — —

Передо мною дрожащее, забрызганное веснушками лицо, рыжие брови... Не она! не I.

Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть что-то вроде: «Так ее!» «Держи ее!» — но слышу только свой шепот. А на плече у меня — уже тяжелая рука, меня держат, ведут, я пытаюсь объяснить им...

— Послушайте, но ведь вы же должны понять, что я думал, что это...

Но как объяснить всего себя, всю свою болезнь, записанную на этих страницах. И я потухаю, покорно иду... Лист, сорванный с дерева неожиданным ударом ветра, покорно падает вниз, но по пути кружится, цепляется за каждую знакомую ветку, развилку, сучок: так я цеплялся за каждую из безмолвных шаров-голов, за прозрачный лед стен, за воткнутую в облако голубую иглу аккумуляторной башни.

В этот момент, когда глухой занавес окончательно готов был отделить от меня весь этот прекрасный мир, я увидел: невдалеке, размахивая розовыми руками-крыльями, над зеркалом мостовой скользила знакомая, громадная голова. И знакомый, сплющенный голос:

— Я считаю долгом засвидетельствовать, что нумер Д-503 — болен и не в состоянии регулировать своих чувств. И я уверен, что он увлечен был естественным негодованием...

— Да, да,— ухватился я.— Я даже крикнул: держи ее!

Сзади, за плечами:

— Вы ничего не кричали.

— Да, но я хотел — клянусь Благодетелем, я хотел.

Я на секунду провинчен серыми, холодными буравчиками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне, что это (почти) правда, или у него была какая-то тайная цель опять на время пощадить меня, но только он написал записочку, отдал ее одному из державших меня — и я снова свободен, то есть, вернее, снова заключен в стройные, бесконечные, ассирийские ряды.

Четырехугольник, и в нем веснущатое лицо и висок с географической картой голубых жилок — скрылись за углом, навеки. Мы идем — одно миллионноголовое тело, и в каждом из нас — та смиренная радость, какою, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире — это понимали христиане, единственные наши (хотя и очень несовершенные) предшественники: смирение — добродетель, а гордыня — порок, и что «МЫ» — от Бога, а «Я» — от диавола.

Вот я — сейчас в ногу со всеми — и все-таки отдельно от всех. Я еще весь дрожу от пережитых волнений, как мост, по которому только что прогрохотал древний железный поезд. Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность — только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб — их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — это только болезнь.

Я, быть может, уже не фагоцит, деловито и спокойно пожирающий микробов (с голубым виском и веснущатых): я, быть может, микроб, и, может быть, их уже тысяча среди нас, еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами...

Что если сегодняшнее, в сущности, маловажное происшествие — что если все это только начало, только первый метеорит из целого ряда грохочущих горящих камней, высыпанных бесконечностью на наш стеклянный рай?

Запись 23-я.
Конспект:

ЦВЕТЫ. РАСТВОРЕНИЕ КРИСТАЛЛА. ЕСЛИ ТОЛЬКО.

Говорят, есть цветы, которые распускаются только раз в сто лет. Отчего же не быть и таким, какие цветут раз в тысячу — в десять тысяч лет. Может быть, об этом до сих пор мы не знали только потому, что именно сегодня пришло это раз-в-тысячу-лет.

И вот, блаженно и пьяно, я иду по лестнице вниз, к дежурному, и быстро у меня на глазах, всюду кругом неслышно лопаются тысячелетние почки и расцветают кресла, башмаки, золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-то темные лохматые глаза, граненые колонки перил, оброненный на ступенях платок, столик дежурного, над столиком — нежно-коричневые, с крапинками, щеки Ю. Все — необычайное, новое, нежное, розовое, влажное.

Ю берет у меня розовый талон, а над головой у ней — сквозь стекло стены — свешивается с невиданной ветки луна, голубая, пахучая. Я с торжеством показываю пальцем и говорю:

— Луна,— понимаете?

Ю взглядывает на меня, потом на нумер талона — и я вижу это ее знакомое, такое очаровательно целомудренное движение: поправляет складки юнифы между углами колен.

— У вас, дорогой, ненормальный, болезненный вид — потому что ненормальность и болезнь одно и то же. Вы себя губите, и вам этого никто не скажет — никто.

Это «никто» — конечно, равняется нумеру на талоне: I—330. Милая, чудесная Ю! Вы, конечно, правы: я — неблагоразумен, я — болен, у меня — душа, я — микроб. Но разве цветение — не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид — страшнейший из микробов?

Я — наверху, у себя в комнате. В широко раскрытой чашечке кресла I. Я на полу, обнял ее ноги, моя голова у ней на коленях, мы молчим. Тишина, пульс... и так: я — кристалл, и я растворяюсь в ней, в I. Я совершенно ясно чувствую, как тают, тают ограничивающие меня в пространстве шлифованные грани — я исчезаю, растворяюсь в ее коленях, в ней, я становлюсь все меньше — и одновременно все шире, все больше, все необъятней. Потому что она — это не она, а Вселенная. А вот на секунду я и это пронизанное радостью кресло возле кровати — мы одно: и великолепно улыбающаяся старуха у дверей Древнего Дома, и дикие дебри за Зеленой Стеной, и какие-то серебряные на черном развалины, дремлющие, как старуха, и где-то, невероятно далеко, сейчас хлопнувшая дверь — это все во мне, вместе со мною, слушает удары пульса и несется сквозь блаженную секунду...

В нелепых, спутанных, затопленных словах я пытаюсь рассказать ей, что я — кристалл, и потому во мне — дверь, и потому я чувствую, как счастливо кресло. Но выходит такая бессмыслица, что я останавливаюсь, мне просто стыдно: я — и вдруг...

— Милая I, прости меня! Я совершенно не понимаю: я говорю такие глупости...

— Отчего же ты думаешь, что глупость — это нехорошо? Если бы человеческую глупость холили и воспитывали веками так же, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное.

— Да... (Мне кажется, она права — как она может сейчас быть неправа?)

— И за одну твою глупость — за то, что ты сделал вчера на прогулке, — я люблю тебя еще больше — еще больше.

— Но зачем же ты меня мучила, зачем же не приходила, зачем присылала свои талоны, зачем заставляла меня...

— А может быть, мне нужно было испытать тебя? Может быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, что я захочу — что ты уж совсем мой?

— Да, совсем!

Она взяла мое лицо — всего меня — в свои ладони, подняла мою голову:

— Ну, а как же ваши «обязанности всякого честного нумера»? А?

Сладкие, острые, белые зубы; улыбка. Она в раскрытой чашечке кресла — как пчела: в ней жало и мед.

Да, обязанности... Я мысленно перелистываю свои последние записи: в самом деле, нигде даже и мысли о том, что в сущности я бы должен...

Я молчу. Я восторженно (и вероятно глупо) улыбаюсь, смотрю в ее зрачки, перебегаю с одного на другой, и в каждом из них вижу себя: я — крошечный, миллиметровый — заключен в этих крошечных, радужных темницах. И затем опять — пчелы — губы, сладкая боль цветения...

В каждом из нас, нумеров, есть какой-то невидимый, тихо тикающий метроном, и мы, не глядя на часы, с точностью до 5 минут знаем время. Но тогда — метроном во мне остановился, я не знал, сколько прошло, в испуге схватил из-под подушки бляху с часами...

Слава Благодетелю: еще двадцать минут! Но минуты — такие до смешного коротенькие, куцые, бегут, а мне нужно столько рассказать ей — все, всего себя: о письме О, и об ужасном вечере, когда я дал ей ребенка; и почему-то о своих детских годах — о математике Пляпе, о $\sqrt{-1}$ и как я в первый раз был на празднике Единогласия и горько плакал, потому что у меня на юнифе — в такой день — оказалось чернильное пятно.

I подняла голову, оперлась на локоть. По углам губ — две длинные, резкие линии — и темный угол поднятых бровей: крест.

— Может быть, в этот день...— остановилась, и брови еще темнее. Взяла мою руку, крепко сжала ее.— Скажи, ты меня не забудешь, ты всегда будешь обо мне помнить?

— Почему ты так? О чем ты? I, милая?

I молчала, и ее глаза уже — мимо меня, сквозь меня, далекие. Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями (разумеется, это было и все время, но услышал я только сейчас), и почему-то вспомнились пронзительные птицы над вершиной Зеленой Стены.

I встряхнула головой, сбросила с себя что-то. Еще раз, секунду, коснулась меня вся — так аэро секундно, пружинно касается земли перед тем, как сесть.

— Ну, давай мои чулки! Скорее!

Чулки — брошены у меня на столе, на раскрытой (193-й) странице моих записей. Второпях я задел за рукопись, страницы рассыпались и никак не сложить по порядку, а главное — если и сложить, все равно, не будет настоящего порядка, все равно — останутся какие-то пороги, ямы, иксы.

— Я не могу так,— сказал я.— Ты — вот — здесь, рядом, и будто все-таки за древней непрозрачной стеной: я слышу сквозь стены шорохи, голоса — и не могу разобрать слов, не знаю, что там. Я не могу так. Ты все время что-то недоговариваешь, ты ни разу не сказала

мне, куда я тогда попал в Древнем Доме, и какие коридоры, и почему доктор — или, может быть, ничего этого не было?

I положила мне руки на плечи, медленно, глубоко вошла в глаза.

— Ты хочешь узнать все?

— Да, хочу. Должен.

— И ты не побоишься пойти за мной всюду, до конца — куда бы я тебя ни повела?

— Да, всюду!

— Хорошо. Обещаю тебе: когда кончится праздник, если только... Ах да: а как ваш «И н т е г р а л» — все забываю спросить — скоро?

— Нет: что «если только»? Опять? Что «если только»?

Она (уже у двери):

— Сам увидишь...

Я — один. Все, что от нее осталось,— это чуть слышный запах, похожий на сладкую, сухую, желтую пыль каких-то цветов из-за Стены. И еще: прочно засевшие во мне крючочки-вопросы — вроде тех, которыми пользовались древние для охоты на рыбу (Доисторический Музей).

...Почему она вдруг об «И н т е г р а л е»?

Запись 24-я.

Конспект:

ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ. ПАСХА. ВСЕ ЗАЧЕРКНУТЬ.

Я — как машина, пущенная на слишком большое число оборотов; подшипники накалились, еще минута — закапает расплавленный металл, и все — в ничто. Скорее — холодной воды, логики. Я лью ведрами, но логика шипит на горячих подшипниках и расплывается в воздухе неуловимым белым паром.

Ну да, ясно: чтобы установить истинное значение функции — надо взять ее предел. И ясно, что вчерашнее нелепое «растворение во вселенной», взятое в пределе, есть смерть. Потому что смерть — именно полнейшее растворение меня во вселенной. Отсюда если через «Л» обозначим любовь, а через «С» смерть, то $Л = f(C)$, то есть любовь и смерть...

Да, именно, именно. Потому-то я и боюсь I, я борюсь с ней, я не хочу. Но почему же во мне рядом и «я не хочу» и «мне хочется»? В том-то и ужас, что мне хочется опять этой вчерашней блаженной смерти. В том-то и ужас, что даже теперь, когда логическая функция проинтегрирована, когда очевидно, что она неявно включает в себя смерть, я все-таки хочу ее губами, руками, грудью, каждым миллиметром...

Завтра — День Единогласия. Там, конечно, будет и она, увижу ее, но только издали. Издали — это будет больно, потому что мне надо, меня неудержимо тянет, чтобы — рядом с ней, чтобы — ее руки, ее плечо, ее волосы... Но я хочу даже этой боли — пусть.

Благодетель великий! Какой абсурд — хотеть боли. Кому же непонятно, что болевые — отрицательные, слагаемые уменьшают ту сумму, которую мы называем счастьем. И следовательно...

И вот — никаких «следовательно». Чисто. Голо.

ВЕЧЕРОМ:

Сквозь стеклянные стены дома — ветреный, лихорадочно-розовый, тревожный закат. Я поворачиваю кресло так, чтобы передо мною не торчало это розовое, перелистываю записи — и вижу: опять я забыл, что пишу не для себя, а для вас, неведомые, кого я люблю и жалею,— для вас, еще плетущихся где-то в далеких веках, внизу.

Вот — о Дне Единогласия, об этом великом дне. Я всегда любил его — с детских лет. Мне кажется, для нас — это нечто вроде того, что для древних была их «Пасха». Помню, накануне, бывало, составишь себе такой часовой календарик — с торжеством вычеркиваешь по одному часу: одним часом ближе, на один час меньше ждать... Будь я уверен, что никто не увидит,— честное слово, я бы и нынче всюду носил с собой такой календарик и следил по нему, сколько еще осталось до завтра, когда я увижу — хоть издали...

(Помешали: принесли новую, только что из мастерской, юнифу. По обычаю нам всем выдают новые юнифы к завтрашнему дню. В коридоре — шаги, радостные возгласы, шум.)

Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище: могучую Чашу Согласия, благоговейно поднятые руки. Завтра — день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда — смешно сказать — даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую — что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем,— ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионноклеточный организм, что мы — говоря словами «Евангелия» древних — единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.

Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически-мрачное зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов...). Зачем нужна была вся эта таинственность — до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я — и может ли быть иначе, раз «все» и «я» — это единое «Мы». Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская «тайна» у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство — от них самих. И наконец, еще одно...

Сквозь стену слева: перед зеркальной дверью шкафа — женщина торопливо расстегивает юнифу. И на секунду, смутно: глаза, губы, две острых розовых завязи. Затем падает штора, во мне мгновенно все вчерашнее, и я не знаю, что «наконец еще одно», и не хочу об этом, не хочу! Я хочу одного: I. Я хочу, чтобы она каждую минуту, всякую минуту, всегда была со мной — только со мной. И то, что я писал вот сейчас о Единогласии, это все не нужно, не то, мне хочется все вычеркнуть, разорвать, выбросить. Потому что я знаю (пусть это кощунство, но это так): праздник только с нею, только тогда, если она будет рядом, плечом к плечу. А без нее завтрашнее солнце будет только кружочком из жести, и небо—выкрашенная синим жесть, и сам я.

Я хватаюсь за телефонную трубку:

— I, это вы?

— Да, я. Как вы поздно!

— Может быть, еще не поздно. Я хочу вас попросить... Я хочу, чтоб вы завтра были со мной. Милая...

«Милая» — я говорю совсем тихо. И почему-то мелькает то, что было сегодня утром на эллинге: в шутку положили под стотонный молот часы — размах, ветром в лицо — и стотонно-нежное, тихое прикосновение к хрупким часам.

Пауза. Мне чудится, я слышу там — в комнате I — чей-то шепот. Потом ее голос:

— Нет, не могу. Ведь вы понимаете: я бы сама... Нет, не могу. Отчего? Завтра увидите.

НОЧЬ.

Запись 25-я.

Конспект:

СОШЕСТВИЕ С НЕБЕС. ВЕЛИЧАЙШАЯ В ИСТОРИИ КАТАСТРОФА. ИЗВЕСТНОЕ КОНЧИЛОСЬ.

Когда перед началом все встали и торжественным медленным пологом заколыхался над головами гимн — сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов,— я на секунду забыл все: забыл что-то тревожное, что говорила о сегодняшнем празднике I, забыл, кажется, даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, какой некогда в этот день плакал от крошечного, ему одному заметного пятнышка на юнифе. Пусть никто кругом не видит, в каких я черных несмываемых пятнах, но ведь я-то знаю, что мне, преступнику, не место среди этих настежь раскрытых лиц. Ах, встать бы вот сейчас и, захлебываясь, выкричать все о себе. Пусть потом конец — пусть! — но одну секунду почувствовать себя чистым, бессмысленным, как это детски-синее небо.

Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной, еще не высохшей от ночных слез синеве — едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил к нам Он — новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе — и все выше навстречу ему миллионы сердец,— и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун — как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (— сияние блях); и в центре ее — сейчас сядет белый, мудрый Паук — в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья.

Но вот закончилось это величественное Его сошествие с небес, медь гимна замолкла, все сели — и я тотчас же понял: действительно все — тончайшая паутина, она натянута, и дрожит, и вот-вот порвется, и произойдет что-то невероятное...

Слегка привстав, я оглянулся кругом — и встретился взглядом с любяще-тревожными, перебегающими от лица к лицу глазами. Вот один поднял руку и, еле заметно шевеля пальцами, сигнализирует другому. И вот ответный сигнал пальцем. И еще... Я понял: они, Хранители. Я понял: они чем-то встревожены, паутина натянута, дрожит.

И во мне — как в настроенном на ту же длину волн приемнике радио— ответная дрожь.

На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова: только мерные качания гекзаметрического маятника, и с каждым его размахом все ближе какой-то назначенный час. И я еще лихорадочно перелистываю в рядах одно лицо за другим — как страницы — и все еще не вижу того единственного, какое я ищу, и его надо скорее найти, потому что сейчас маятник тикнет, а потом — —

Он — он, конечно. Внизу, мимо эстрады, скользя над сверкающим стеклом, пронеслись розовые крылья-уши, темной, двоякоизогнутой петлей буквы S отразилось бегущее тело — он стремился куда-то в запутанные проходы между трибун.

S, I — какая-то нить (между ними — для меня все время какая-то нить; я еще не знаю какая — но когда-нибудь я ее распутаю). Я уцепился за него глазами, он клубочком все дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот...

Как молнийный, высоковольтный разряд: меня пронзило, скрутило в узел. В нашем ряду, всего в 40 градусах от меня, S остановился, нагнулся. Я увидел I, а рядом с ней отвратительно негрогубый, ухмыляющийся R-13.

Первая мысль — кинуться туда и крикнуть ей: «Почему ты сегодня с ним? Почему не хотела, чтобы я?» Но невидимая, благодетельная паутина крепко спутала руки и ноги; стиснув зубы, я железно сидел, не спуская глаз. Как сейчас: это острая, физическая боль в сердце; я, помню, подумал: «Если от нефизических причин может быть физическая боль, то ясно, что — —»

Вывода я, к сожалению, не достроил: вспоминается только — мелькнуло что-то о «душе», пронеслась бессмысленная древняя поговорка — «душа в пятки». И я замер: гекзаметр смолк. Сейчас начинается... Что?

Установленный обычаем пятиминутный предвыборный перерыв. Установленное обычаем предвыборное молчание. Но сейчас оно не было тем действительно молитвенным, благоговейным, как всегда: сейчас было как у древних, когда еще не знали наших аккумуляторных башен, когда неприрученное небо еще бушевало время от времени «грозами». Сейчас было, как у древних перед грозой.

Воздух — из прозрачного чугуна. Хочется дышать, широко разинувши рот. До боли напряженный слух записывает: где-то сзади мышино-грызущий, тревожный шепот. Неподнятыми глазами вижу все время тех двух — I и R — рядом, плечом к плечу, и у меня на коленях дрожат чужие — ненавистные мои — лохматые руки.

В руках у всех — бляхи с часами. Одна. Две. Три... Пять минут... с эстрады — чугунный, медленный голос:

— Кто «за» — прошу поднять руки.

Если бы я мог взглянуть Ему в глаза, как раньше,— прямо и преданно: «Вот я весь. Весь. Возьми меня!» Но теперь я не смел. Я с усилием — будто заржавели все суставы — поднял руку.

Шелест миллионов рук. Чей-то подавленный «ах»! И я чувствую, что-то уже началось, стремглав падало, но я не понимал — что, и не было силы — я не смел посмотреть...

— Кто — «против»?

Это всегда был самый величественный момент праздника: все продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя главы благодетельному игу Нумера из Нумеров. Но тут я с ужасом снова услышал шелест: легчайший, как вздох, он был слышнее, чем раньше медные трубы гимна. Так последний раз в жизни вздохнет человек еле слышно — а кругом у всех бледнеют лица, у всех — холодные капли на лбу.

Я поднял глаза — и...

Это —сотая доля секунды, волосок. Я увидел: тысячи рук взмахнули вверх — «против» — упали. Я увидел бледное, перечеркнутое крестом лицо I, ее поднятую руку. В глазах потемнело.

Еще волосок; пауза; тихо; пульс. Затем — как по знаку какого-то сумасшедшего дирижера — на всех трибунах сразу треск, крики, вихрь взвеянных бегом юниф, растерянно мечущиеся фигуры Хранителей, чьи-то каблуки в воздухе перед самыми моими глазами — возле каблуков чей-то широко раскрытый, надрывающийся от неслышного крика рот. Это почему-то врезалось острее всего: тысячи беззвучно орущих ртов — как на чудовищном экране.

И как на экране — где-то далеко внизу на секунду передо мной — побелевшие губы О; прижатая к стене в проходе, она стояла, загораживая свой живот сложенными накрест руками. И уже нет ее — смыта, или я забыл о ней, потому что...

Это уже не на экране — это во мне самом, в стиснутом сердце, в застучавших часто висках. Над моей головой слева, на скамье, вдруг выскочил R-13 — брызжущий, красный, бешеный. На руках у него — I, бледная, юнифа от плеча до груди разорвана, на белом — кровь. Она крепко держала его за шею, и он огромными скачками — со скамьи на скамью — отвратительный и ловкий, как горилла, — уносил ее вверх.

Будто пожар у древних — все стало багровым,— и только одно: прыгнуть, достать их. Не могу сейчас объяснить себе, откуда взялась у меня такая сила, но я, как таран, пропорол толпу — на чьи-то плечи — на скамьи,— и вот уже близко, вот схватил за шиворот R:

— Не сметь! Не сметь, говорю. Сейчас же (к счастью, моего голоса не было слышно — все кричали свое, все бежали).

— Кто? Что такое? Что? — обернулся, губы, брызгая, тряслись — он, вероятно, думал, что его схватил один из Хранителей.

— Что? А вот не хочу, не позволю! Долой ее с рук — сейчас же!

Но он только сердито шлепнул губами, мотнул головой и побежал дальше. И тут я — мне невероятно стыдно записывать это, но мне кажется: я все же должен, должен записать, чтобы вы, неведомые мои читатели, могли до конца изучить историю моей болезни — тут я с маху ударил его по голове. Вы понимаете — ударил! Это я отчетливо помню. И еще помню: чувство какого-то освобождения, легкости во всем теле от этого удара.

I быстро соскользнула у него с рук.

— Уходите,— крикнула она R,— вы же видите: он... Уходите, R, уходите!

R, оскалив белые, негрские зубы, брызнул мне в лицо какое-то слово, нырнул вниз, пропал. А я поднял на руки I, крепко прижал ее к себе и понес.

Сердце во мне билось — огромное, и с каждым ударом выхлестывало такую буйную, горячую, такую радостную волну. И пусть там что-то разлетелось вдребезги — все равно! Только бы так вот нести ее, нести, нести...

ВЕЧЕРОМ, 22 часа.

Я с трудом держу перо в руках: такая неизмеримая усталость после всех головокружительных событий сегодняшнего утра. Неужели обвалились спасительные вековые стены Единого Государства? Неужели мы опять без крова, в диком состоянии свободы — как наши далекие предки? Неужели нет Благодетеля? Против... в День

Единогласия — против? Мне за них стыдно, больно, страшно. А, впрочем, кто «они»? И кто я сам: «они» или «мы» — разве я — знаю?

Вот: она сидит на горячей от солнца стеклянной скамье — на самой верхней трибуне, куда я ее принес. Правое плечо и ниже — начало чудесной невычислимой кривизны — открыты; тончайшая красная змейка крови. Она будто не замечает, что кровь, что открыта грудь... нет, больше: она видит все это — но это именно то, что ей сейчас нужно, и если бы юнифа была застегнута,— она разорвала бы ее, она...

— А завтра...— она дышит жадно сквозь сжатые, сверкающие острые зубы.— А завтра — неизвестно что. Ты понимаешь: ни я не знаю, никто не знает — неизвестно! Ты понимаешь, что все известное кончилось? Новое, невероятное, невиданное.

Там, внизу, пенятся, мчатся, кричат. Но это далеко, и все дальше, потому что она смотрит на меня, она медленно втягивает меня в себя сквозь узкие золотые окна зрачков. Так — долго, молча. И почему-то вспоминается, как однажды сквозь Зеленую Стену я тоже смотрел в чьи-то непонятные желтые зрачки, а над Стеной вились птицы (или это было в другой раз).

— Слушай: если завтра не случится ничего особенного — я поведу тебя туда — ты понимаешь?

Нет, я не понимаю. Но я молча киваю головой. Я — растворился, я — бесконечно-малое, я — точка...

В конце концов в этом точечном состоянии есть своя логика (сегодняшняя): в точке больше всего неизвестностей; стоит ей двинуться, шевельнуться — и она может обратиться в тысячи разных кривых, сотни тел.

Мне страшно шевельнуться: во что я обращусь? И мне кажется — все так же, как и я, боятся мельчайшего движения. Вот сейчас, когда я пишу это, все сидят, забившись в свои стеклянные клетки, и чего-то ждут. В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания лифта, не слышно смеха, шагов. Иногда вижу: по двое, оглядываясь, проходят на цыпочках по коридору, шепчутся...

Что будет завтра? Во что я обращусь завтра?

Запись 26-я.
Конспект:

МИР СУЩЕСТВУЕТ. СЫПЬ. 41°.

Утро. Сквозь потолок — небо по-всегдашнему крепкое, круглое, краснощекое. Я думаю — меня меньше удивило бы, если бы я увидел над головой какое-нибудь необычайное четырехугольное солнце, людей в разноцветных одеждах из звериной шерсти, каменные, непрозрачные стены. Так что же, стало быть, мир — н а ш м и р — еще существует? Или это только инерция, генератор уже выключен, а шестерни еще громыхают и вертятся — два оборота, три оборота — на четвертом замрут...

Знакомо ли вам это странное состояние? Ночью вы проснулись, раскрыли глаза в черноту и вдруг чувствуете — заблудились, и скорее, скорее начинаете ощупывать кругом, искать что-нибудь знакомое и твердое — стену, лампочку, стул. Именно так я ощупывал, искал в Единой Государственной Газете — скорее, скорее — и вот: «Вчера состоялся давно с нетерпением ожидавшийся всеми День Единогласия. В 48-й раз единогласно избран все тот же, многократно доказавший свою непоколебимую мудрость Благодетель. Торжество омрачено было некоторым замешательством, вызванным врагами счастья, которые тем самым, естественно, лишили себя права стать кирпичами обновленного вчера фундамента Единого Государства. Всякому ясно, что принять в расчет их голоса было бы так же нелепо, как принять за часть великолепной, героической симфонии — кашель случайно присутствующих в концертном зале больных...»

О мудрый! Неужели мы все-таки, несмотря ни на что, спасены? Но что же в самом деле можно возразить на этот кристальнейший силлогизм?

И дальше — еще две строки:

«Сегодня в 12 состоится соединенное заседание Бюро Административного, Бюро Медицинского и Бюро Хранителей. На днях предстоит важный Государственный акт».

Нет, еще стоят стены — вот они — я могу их ощупать. И уж нет этого странного ощущения, что я потерян, что я неизвестно где, что я заблудился, и нисколько неудивительно, что вижу синее небо, круглое солнце; и все — как обычно — отправляются на работу.

Я шел по проспекту особенно твердо и звонко — и мне казалось, так же шли все. Но вот перекресток, поворот за угол, и я вижу: все как-то странно, стороной огибают угол здания — будто там в стене прорвало какую-то трубу, брызжет холодная вода, и по тротуару нельзя пройти.

Еще пять, десять шагов — и меня тоже облило холодной водой, качнуло, сшибло с тротуара... На высоте примерно 2-х метров на стене — четырехугольный листок бумаги, и оттуда — непонятные — ядовито-зеленые буквы:

МЕФИ

А внизу — образно изогнутая спина, прозрачно колыхающиеся от гнева или от волнения крылья-уши. Поднявши вверх правую руку и беспомощно вытянув назад левую — как больное, подбитое крыло, он подпрыгивал вверх — сорвать бумажку — и не мог, не хватало вот столько.

Вероятно, у каждого из проходивших мимо была мысль: «Если подойду я, один из всех,— не подумает ли он: я в чем-нибудь виноват и именно потому хочу...»

Сознаюсь: та же мысль была и у меня. Но я вспомнил, сколько раз он был настоящим моим ангелом-хранителем, сколько раз он спасал меня, и смело подошел, протянул руку, сорвал листок.

S оборотился, быстро-быстро буравчики в меня, на дно, что-то достал оттуда. Потом поднял вверх левую бровь, бровью подмигнул на стену, где висело «Мефи». И мне мелькнул хвостик его улыбки — к моему удивлению, как будто даже веселой. А впрочем, чего же удивляться. Томительной, медленно подымающейся температуре инкубационного периода врач всегда предпочтет сыпь и сорокаградусный жар: тут уж по крайней мере ясно, что за болезнь. «Мефи», высыпавшее сегодня на стенах,— это сыпь. Я понимаю его улыбку [1]...

Спуск в подземку — и под ногами, на непорочном стекле ступеней — опять белый листок: «Мефи». И на стене внизу, на скамейке, на зеркале в вагоне (видимо, наклеено наспех — небрежно, криво) — везде та же самая белая, жуткая сыпь.

В тишине — явственное жужжание колес, как шум воспаленной крови. Кого-то тронули за плечо — он вздрогнул, уронил сверток с бумагами. И слева от меня — другой: читает в газете все одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же строчку, и газета еле заметно дрожит. И я чувствую, как всюду — в колесах, руках, газетах, ресницах — пульс все чаще и, может быть, сегодня, когда я с I попаду

[1] Должен сознаться, что точное решение этой улыбки я нашел только через много дней, доверху набитых событиями самыми странными и неожиданными.

туда,— будет 39, 40, 41 градус — отмеченные на термометре черной чертой...

На эллинге — такая же, жужжащая далеким, невидимым пропеллером тишина. Станки молча, насупившись стоят. И только краны, чуть слышно, будто на цыпочках, скользят, нагибаются, хватают клешнями голубые глыбы замороженного воздуха и грузят их в бортовые цистерны «Интеграла»: мы уже готовим его к пробному полету.

— Ну что: в неделю кончим погрузку?

Это я Второму Строителю. Лицо у него — фаянс, расписанный сладко-голубыми, нежно-розовыми цветочками (глаза, губы), но они сегодня какие-то линялые, смытые. Мы считаем вслух, но я вдруг обрубил на полуслове и стою, разинув рот: высоко под куполом на поднятой краном голубой глыбе — чуть заметный белый квадратик — наклеена бумажка. И меня всего трясет — может быть, от смеха — да, я сам слышу, как я смеюсь (знаете ли вы это, когда вы сами слышите свой смех?).

— Нет, слушайте...— говорю я.— Представьте, что вы на древнем аэроплане, альтиметр 5000 метров, сломалось крыло, вы турманом вниз, и по дороге высчитываете: «Завтра — от 12 до 2-х... от 2-х до 6... в 6 обед...» Ну не смешно ли? А ведь мы сейчас — именно так!

Голубые цветочки шевелятся, таращатся. Что если б я был стеклянный и не видел, что через каких-нибудь 3—4 часа...

Запись 27-я.
Конспект:

НИКАКОГО КОНСПЕКТА — НЕЛЬЗЯ.

Я один в бесконечных коридорах — тех самых. Немое бетонное небо. Где-то капает о камень вода. Знакомая, тяжелая, непрозрачная дверь — и оттуда глухой гул.

Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16. Но вот уже прошло после 16 пять минут, десять, пятнадцать: никого.

На секунду прежний я, которому страшно, если откроется эта дверь. Еще последние пять минут, и если она не выйдет — —

Где-то капает о камень вода. Никого. Я с тоскливой радостью чувствую: спасен. Медленно иду по коридору, назад. Дрожащий пунктир лампочек на потолке все тусклее, тусклее...

Вдруг сзади торопливо брякнула дверь, быстрый топот, мягко отскакивающий от потолка, от стен,— и она, летучая, слегка запыхавшаяся от бега, дышит ртом.

— Я знала: ты будешь здесь, ты придешь! Я знала: ты-ты...

Копья ресниц отодвигаются, пропускают меня внутрь — и... Как рассказать то, что со мною делает этот древний, нелепый, чудесный обряд, когда ее губы касаются моих? Какой формулой выразить этот, все, кроме нее, в душе выметающий вихрь? Да, да, в душе — смейтесь, если хотите.

Она с усилием, медленно подымает веки — и с трудом, медленно слова:

— Нет, довольно... после: сейчас — пойдем.

Дверь открылась. Ступени — стертые, старые. И нестерпимо пестрый гам, свист, свет...

* * *

С тех пор прошли уже почти сутки, все во мне уже несколько отстоялось — и тем не менее мне чрезвычайно трудно дать хотя бы

приближенно-точное описание. В голове как будто взорвали бомбу, а раскрытые рты, крылья, крики, листья, слова, камни — рядом, кучей, одно за другим...

Я помню — первое у меня было: «Скорее, сломя голову, назад». Потому что мне ясно: пока я там, в коридорах, ждал — они как-то взорвали или разрушили Зеленую Стену — и оттуда все ринулось и захлестнуло наш очищенный от низшего мира город.

Должно быть, что-нибудь в этом роде я сказал I. Она засмеялась:

— Да нет же! Просто мы вышли на Зеленую Стену...

Тогда я раскрыл глаза — и лицом к лицу со мной, наяву то самое, чего до сих пор не видел никто из живых иначе, как в тысячу раз уменьшенное, ослабленное, затушеванное мутным стеклом Стены.

Солнце... это не было наше, равномерно распределенное по зеркальной поверхности мостовых солнце: это были какие-то живые осколки, непрестанно прыгающие пятна, от которых слепли глаза, голова шла кругом. И деревья, как свечки,— в самое небо; как на корявых лапах присевшие к земле пауки; как немые зеленые фонтаны... И все это карачится, шевелится, шуршит, из-под ног шарахается какой-то шершавый клубочек, а я прикован, я не могу ни шагу — потому что под ногами не плоскость — понимаете, не плоскость,— а что-то отвратительно-мягкое, податливое, живое, зеленое, упругое.

Я был оглушен всем этим, я захлебнулся — это, может быть, самое подходящее слово. Я стоял, обеими руками вцепившись в какой-то качающийся сук.

— Ничего, ничего! Это только сначала, это пройдет. Смелее!

Рядом с I — на зеленой, головокружительно прыгающей сетке чей-то тончайший, вырезанный из бумаги профиль... нет, не чей-то, а я его знаю. Я помню: доктор — нет, нет, я очень ясно все понимаю. И вот понимаю: они вдвоем схватили меня под руки и со смехом тащат вперед. Ноги у меня заплетаются, скользят. Там карканье, мох, кочки, клекот, сучья, стволы, крылья, листья, свист...

И — деревья разбежались, яркая поляна, на поляне — люди... или уж я не знаю как: может быть, правильней — существа.

Тут самое трудное. Потому что это выходило из всяких пределов вероятия. И мне теперь ясно, отчего I всегда так упорно отмалчивалась: я все равно бы не поверил — даже ей. Возможно, что завтра я и не буду верить и самому себе — вот этой своей записи.

На поляне, вокруг голого, похожего на череп камня шумела толпа в триста — четыреста... человек — пусть — «человек», мне трудно говорить иначе. Как на трибунах из общей суммы лиц вы в первый момент воспринимаете только знакомых, так и здесь я сперва увидел только наши серо-голубые юнифы. А затем секунда — и среди юниф, совершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди — по-видимому, люди. Все они были без одежд и все были покрыты короткой блестящей шерстью — вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле в Доисторическом Музее. Но у самок были лица точно такие — да, да, точно такие же,— как и у наших женщин: нежно-розовые и не заросшие волосами, и у них свободны от волос были также груди — крупные, крепкие, прекрасной геометрической формы. У самцов без шерсти была только часть лица — как у наших предков.

Это было до такой степени невероятно, до такой степени неожиданно, что я спокойно стоял — положительно утверждаю: спокойно стоял и смотрел. Как весы: перегрузите одну чашку — и потом можете класть туда уже сколько угодно — стрелка все равно не двинется...

Вдруг — один: I уже со мной нет — не знаю, как и куда она исчезла. Кругом только эти, атласно лоснящиеся на солнце шерстью. Я хватаюсь за чье-то горячее, крепкое, вороное плечо:

— Послушайте — ради Благодетеля — вы не видали — куда она ушла? Вот только сейчас — вот сию минуту...

На меня — косматые, строгие брови:

— Ш-ш-ш! Тише.— И косматo кивнули туда, на середину, где желтый, как череп, камень.

Там, наверху, над головами, над всеми — я увидел ее. Солнце прямо в глаза, по ту сторону, и от этого вся она — на синем полотне неба — резкая, угольно-черная, угольный силуэт на синем. Чуть выше летят облака, и так, будто не облака, а камень, и она сама на камне, и за нею толпа, и поляна — неслышно скользят, как корабль, и легкая — уплывает земля под ногами...

— Братья...— это она.— Братья! Вы все знаете: Там, за Стеною, в городе — строят «И н т е г р а л». И вы знаете: пришел день, когда мы разрушим эту Стену — все стены — чтобы зеленый ветер из конца в конец — по всей земле. Но «И н т е г р а л» унесет эти стены туда, вверх, в тысячи иных земель, какие сегодня ночью зашелестят вам огнями сквозь черные ночные листья...

Об камень — волны, пена, ветер:

— Долой «И н т е г р а л»! Долой!

— Нет, братья: не долой. Но «И н т е г р а л» должен быть нашим. В тот день, когда он впервые отчалит в небо, на нем будем мы. Потому что с нами Строитель «И н т е г р а л а». Он покинул стены, он пришел со мной сюда, чтобы быть среди вас. Да здравствует Строитель!

Миг — и я где-то наверху, подо мною — головы, головы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие руки. Это было необычайно странное, пьяное: я чувствовал себя над всеми, я был я, отдельное, мир, я перестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей.

И вот я — с измятым, счастливым, скомканным, как после любовных объятий, телом — внизу, около самого камня. Солнце, голоса сверху — улыбка I. Какая-то золотоволосая и вся атласно-золотая, пахнущая травами женщина. В руках у ней чаша, по-видимому, из дерева. Она отпивает красными губами и подает мне, и я жадно, закрывши глаза, пью, чтоб залить огонь,— пью сладкие, колючие, холодные искры.

А затем — кровь во мне и весь мир — в тысячу раз быстрее, легкая земля летит пухом. И все мне легко, просто, ясно.

Вот теперь я вижу на камне знакомые, огромные буквы: «Мефи» — и почему-то это так нужно, это простая, прочная нить, связывающая все. Я вижу грубое изображение — может быть, тоже на этом камне: крылатый юноша, прозрачное тело, и там, где должно быть сердце,— ослепительный, малиново-тлеющий уголь. И опять: я понимаю этот уголь... или не то: чувствую его — так же как не слыша, чувствую каждое слово (она говорит сверху, с камня) — и чувствую, что все дышат вместе — и всем вместе куда-то лететь, как тогда птицы над Стеной...

Сзади, из густо дышащей чащи тел — громкий голос:

— Но это же безумие!

И кажется я — да, думаю, что это был именно я,— вскочил на камень, и оттуда солнце, головы, на синем — зеленая зубчатая пила, и я кричу:

— Да, да, именно! И надо всем сойти с ума, необходимо всем сойти с ума — как можно скорее! Это необходимо — я знаю.

Рядом — I; ее улыбка, две темных черты — от краев рта вверх, углом; и во мне уголь, и это мгновенно, легко, чуть больно, прекрасно...

Потом — только застрявшие, разрозненные осколки.

Медленно, низко — птица. Я вижу: она живая, как я, она, как человек, поворачивает голову вправо, влево, и в меня ввинчиваются черные, круглые глаза...

Еще: спина — с блестящей, цвета старой слоновой кости шерстью. По спине ползет темное, с крошечными, прозрачными крыльями насекомое — спина вздрагивает, чтобы согнать насекомое, еще раз вздрагивает...

Еще: от листьев тень — плетеная, решетчатая. В тени лежат и жуют что-то похожее на легендарную пищу древних: длинный желтый плод и кусок чего-то темного. Женщина сует это мне в руку, и мне смешно: я не знаю, могу ли я это есть.

И снова: толпа, головы, ноги, руки, рты. Выскакивают на секунду лица — и пропадают, лопаются, как пузыри. И на секунду — или, может быть, это только мне кажется — прозрачные, летящие крылья-уши.

Я из всех сил стискиваю руку I. Она оглядывается:

— Что ты?

— Он здесь... Мне показалось...

— Кто он?

— ...Вот только сейчас — в толпе...

Угольно-черные, тонкие брови вздернуты к вискам: острый треугольник, улыбка. Мне неясно: почему она улыбается — как она может улыбаться?

— Ты не понимаешь — I, ты не понимаешь, что значит, если он или кто-нибудь из них — здесь.

— Смешной! Разве кому-нибудь там, за Стеною, придет в голову, что мы здесь. Вспомни: вот ты — разве ты когда-нибудь думал, что это возможно? Они ловят нас там — пусть ловят! Ты бредишь.

Она улыбается легко, весело, и я улыбаюсь, земля — пьяная, веселая, легкая — плывет...

Запись 28-я.
Конспект:

ОБЕ. ЭНТРОПИЯ И ЭНЕРГИЯ. НЕПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА.

Вот: если ваш мир подобен миру наших далеких предков, так представьте себе, что однажды в океане вы наткнулись на шестую, седьмую часть света — какую-нибудь Атлантиду, и там — небывалые города-лабиринты, люди, парящие в воздухе без помощи крыльев, или аэро, камни, подымаемые вверх силою взгляда,— словом, такое, что вам не могло бы прийти в голову, даже когда вы страдаете сноболезнью. Вот так же и я вчера. Потому что — поймите же — никто и никогда из нас со времени Двухсотлетней Войны не был за Стеною — я уже говорил вам об этом.

Я знаю: мой долг перед вами, неведомые друзья, рассказать подробнее об этом странном и неожиданном мире, открывшемся мне вчера. Но пока я не в состоянии вернуться к этому. Все новое и новое, какой-то ливень событий, и меня не хватает, чтобы собрать все: я подставляю полы, пригоршни — и все-таки целые ведра проливаются мимо, а на эти страницы попадают только капли...

Сперва я услышал у себя за дверью громкие голоса — и узнал ее голос, I, упругий, металлический — и другой, почти негнувшийся — как деревянная линейка — голос Ю. Затем дверь разверзлась с тре-

ском и выстрелила их обеих ко мне в комнату. Именно так: выстрелила.

I положила руку на спинку моего кресла и через плечо, вправо — одними зубами улыбалась той. Я не хотел бы стоять под этой улыбкой.

— Послушайте,— сказала мне I, — эта женщина, кажется, поставила себе целью охранять вас от меня как малого ребенка. Это — с вашего разрешения?

И тогда — другая, вздрагивая жабрами:

— Да он и есть ребенок. Да! Только потому он и не видит, что вы с ним все это — только затем, чтобы... что все это комедия. Да! И мой долг...

На миг в зеркале — сломанная, прыгающая прямая моих бровей. Я вскочил и, с трудом удерживая в себе того — с трясущимися волосатыми кулаками, с трудом протискивая сквозь зубы каждое слово, крикнул ей в упор — в самые жабры:

— С-сию же с-секунду — вон! Сию же секунду!

Жабры вздулись кирпично-красно, потом опали, посерели. Она раскрыла рот что-то сказать и, ничего не сказав, захлопнулась, вышла.

Я бросился к I:

— Я не прощу — я никогда себе этого не прощу! Она смела — тебя? Но ты же не можешь думать, что я думаю, что... что она... Это все потому, что она хочет записаться на меня, а я...

— Записаться она, к счастью, не успеет. И хоть тысячу таких, как она: мне все равно. Я знаю — ты поверишь не тысяче, но одной мне. Потому что ведь после вчерашнего — я перед тобой вся, до конца, как ты хотел. Я — в твоих руках, ты можешь — в любой момент...

— Что — в любой момент — и тотчас же понял — что, кровь брызнула в уши, в щеки, я крикнул: — Не надо об этом, никогда не говори мне об этом! Ведь ты же понимаешь, что это тот я, прежний, а теперь...

— Кто тебя знает... Человек — как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать...

I гладит меня по голове. Лица ее мне не видно, но по голосу слышу: смотрит сейчас куда-то очень далеко, зацепилась глазами за облако, плывущее неслышно, медленно, неизвестно куда...

Вдруг отстранила меня рукой — твердо и нежно:

— Слушай: я пришла сказать тебе, что, может быть, мы уже последние дни... Ты знаешь: с сегодняшнего вечера отменены все аудиториумы.

— Отменены?

— Да. И я шла мимо — видела: в зданиях аудиториумов что-то готовят, какие-то столы, медики в белом.

— Но что же это значит?

— Я не знаю. Пока еще никто не знает. И это хуже всего. Я только чувствую: включили ток, искра бежит — и не нынче, так завтра... Но, может быть, они не успеют.

Я уж давно перестал понимать: кто — они, и кто — мы. Я не понимаю, чего я хочу: чтобы успели — или не успели. Мне ясно только одно: I сейчас идет по самому краю — и вот-вот...

— Но это безумие,— говорю я.— Вы — и Единое Государство. Это все равно, как заткнуть рукою дуло — и думать, что можно удержать выстрел. Это — совершенное безумие!

Улыбка:

— «Надо всем сойти с ума — как можно скорее сойти с ума». Это говорил кто-то вчера. Ты помнишь? Там...

Да, это у меня записано. И следовательно, это было на самом деле. Я молча смотрю на ее лицо: на нем сейчас особенно явственно — темный крест.

— I, милая,— пока еще не поздно... Хочешь — я брошу все, забуду все — и уйдем с тобою туда, за Стену — к этим... я не знаю, кто они.

Она покачала головой. Сквозь темные окна глаз — там, внутри у ней, я видел, пылает печь, искры, языки огня вверх, навалены горы сухих, смоляных дров. И мне ясно: поздно уже, мои слова уже ничего не могут...

Встала — сейчас уйдет. Может быть, уже последние дни, может быть, минуты... Я схватил ее за руку.

— Нет! Еще хоть немного — ну, ради... ради...

Она медленно поднимала вверх, к свету, мою руку — мою волосатую руку, которую я так ненавидел. Я хотел выдернуть, но она держала крепко.

— Твоя рука... Ведь ты не знаешь — и немногие это знают, что женщинам отсюда, из города, случалось любить тех. И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной, лесной крови. Может быть, потому я тебя и — —

Пауза — и как странно: от паузы, от пустоты, от ничего — так несется сердце. И я кричу:

— Ага! Ты еще не уйдешь! Ты не уйдешь — пока мне не расскажешь о них — потому что ты любишь... их, а я даже не знаю, кто они, откуда они. Кто они? Половина, какую мы потеряли, H_2 и O — а чтобы получилось H_2O — ручьи, моря, водопады, волны, бури — нужно, чтобы половины соединились...

Я отчетливо помню каждое ее движение. Я помню, как она взяла со стола мой стеклянный треугольник и все время, пока я говорил, прижимала его острым ребром к щеке — на щеке выступал белый рубец, потом наливался розовым, исчезал. И удивительно: я не могу вспомнить ее слов — особенно вначале,— и только какие-то отдельные образы, цвета.

Знаю: сперва это было о Двухсотлетней Войне. И вот — красное на зелени трав, на темных глинах, на синеве снегов — красные, непросыхающие лужи. Потом желтые, сожженные солнцем травы, голые, желтые, всклокоченные люди — и всклокоченные собаки — рядом, возле распухшей падали, собачьей, или, может быть, человечьей... Это, конечно — за стенами: потому что город — уже победил, в городе уже наша теперешняя — нефтяная пища.

И почти с неба донизу — черные, тяжелые складки, и складки колышутся: над лесами, над деревнями медленные столбы, дым. Глухой вой: гонят в город черные бесконечные вереницы, чтобы силою спасти их и научить счастью.

— Ты все это почти знал?

— Да, почти.

— Но ты не знал и только немногие знали, что небольшая часть их все же уцелела и осталась жить там, за Стенами. Голые — они ушли в леса. Они учились там у деревьев, зверей, птиц, цветов, солнца. Они обросли шерстью, но зато под шерстью сберегли горячую, красную кровь. С вами хуже: вы обросли цифрами, по вас цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать все и выгнать голыми в леса. Пусть научатся дрожать от страха, от радости, от бешеного гнева, от холода, пусть молятся огню. И мы, Мефи,— мы хотим...

— Нет, подожди — а «Мефи»? Что такое «Мефи»?

— Мефи? Это — древнее имя, это — тот, который... Ты помнишь: там, на камне — изображен юноша... Или нет: я лучше на твоем язы-

ке, так ты скорее поймешь. Вот: две силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая — к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. Энтропии — наши или, вернее,— ваши предки, христиане, поклонялись как Богу. А мы, антихристиане, мы...

И вот момент — чуть слышный, шепотом, стук в дверь — и в комнату вскочил тот самый сплюснутый, с нахлобученным на глаза лбом, какой не раз приносил мне записки от I.

Он подбежал к нам, остановился, сопел — как воздушный насос — и не мог сказать ни слова: должно быть, бежал во всю мочь.

— Да ну же! Что случилось? — схватила его за руку I.

— Идут — сюда...— пропыхтел, наконец, насос.— Стража... и с ними этот — ну, как это... вроде горбатенького...

— S?

— Ну да! Рядом — в доме. Сейчас будут здесь. Скорее, скорее!

— Пустое! Успеется...— смеялась, в глазах — искры, веселые языки.

Это — или нелепое, безрассудное мужество — или тут было что-то еще непонятное мне.

— I, ради Благодетеля! Пойми же — ведь это...

— Ради Благодетеля,— острый треугольник — улыбка.

— Ну... ну, ради меня... Прошу тебя.

— Ах, а мне еще надо было с тобой об одном деле... Ну, все равно: завтра...

Она весело (да: весело) кивнула мне; кивнул и тот — высунувшись на секунду из-под своего лбяного навеса. И я — один.

Скорее — за стол. Развернул свои записи, взял перо — чтобы о н и нашли меня за этой работой на пользу Единого Государства. И вдруг — каждый волос на голове живой, отдельный и шевелится: «А что если возьмут и прочтут хотя бы одну страницу — из этих, из последних?»

Я сидел за столом, не двигаясь,— и я видел, как дрожали стены, дрожало перо у меня в руке, колыхались, сливаясь, буквы...

Спрятать? Но куда: все — стекло. Сжечь? Но из коридора и из соседних комнат — увидят. И потом я уже не могу, не в силах истребить этот мучительный — и может быть самый дорогой мне — кусок самого себя.

Издали — в коридоре — уже голоса, шаги. Я успел только схватить пачку листов, сунуть их под себя — и вот теперь прикованный к колеблющемуся каждым атомом креслу, и пол под ногами — палуба, вверх и вниз...

Сжавшись в комочек, забившись под навес лба — я как-то исподлобья, крадучись, видел: они шли из комнаты в комнату, начиная с правого конца коридора, и все ближе. Одни сидели застывшие, как я; другие — вскакивали им навстречу и широко распахивали дверь — счастливцы! Если бы я тоже...

— «Благодетель — есть необходимая для человечества усовершенствованнейшая дезинфекция, и вследствие этого в организме Единого Государства никакая перистальтика...» я прыгающим пером выдавливал эту совершенную бессмыслицу и нагибался над столом все ниже, а в голове — сумасшедшая кузница, и спиною я слышал — брякнула ручка двери, опахнуло ветром, кресло подо мною заплясало...

Только тогда я с трудом оторвался от страницы и повернулся к вошедшим (как трудно играть комедию... ах, кто мне сегодня говорил о комедии?). Впереди был S — мрачно, молча, быстро высверливая глазами колодцы во мне, в моем кресле, во вздрагивающих у мене под рукой листках. Потом на секунду — какие-то знакомые, ежедневные лица на пороге, и вот от них отделилось одно — раздувающиеся, розово-коричневые жабры...

Я вспомнил все, что было в этой комнате полчаса назад, и мне было ясно, что она сейчас — — Все мое существо билось и пульсировало в той (к счастью, непрозрачной) части тела, какою я прикрыл рукопись.

Ю подошла сзади к нему, к S, осторожно тронула его за рукав — и негромко сказала:

— Это — Д-503, Строитель «И н т е г р а л а». Вы, наверное, слышали? Он — всегда вот так, за столом... Совершенно не щадит себя!

...А я-то? Какая чудесная, удивительная женщина.

S заскользил ко мне, перегнулся через мое плечо — над столом. Я заслонил локтем написанное, но он строго крикнул:

— Прошу сейчас же показать мне, что у вас там!

Я, весь полыхая от стыда, подал ему листок. Он прочитал, и я видел, как из глаз выскользнула у него улыбка, юркнула вниз по лицу и, чуть пошевеливая хвостиком, присела где-то в правом углу рта...

— Несколько двусмысленно, но все-таки... Что же, продолжайте: мы больше не будем вам мешать.

Он зашлепал — как плицами по воде — к двери, и с каждым его шагом ко мне постепенно возвращались ноги, руки, пальцы — душа снова равномерно распределялась по всему телу, я дышал...

Последнее: Ю задержалась у меня в комнате, подошла, нагнулась к уху — и шепотом:

— Ваше счастье, что я...

Непонятно: что она хотела этим сказать?

Вечером, позже, узнал: они увели с собою троих. Впрочем, вслух об этом, равно как и о всем происходящем, никто не говорит (— воспитательное влияние невидимо присутствующих в нашей среде Хранителей). Разговоры — главным образом о быстром падении барометра и о перемене погоды.

Запись 29-я.

Конспект:

НИТИ НА ЛИЦЕ. РОСТКИ. ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННАЯ КОМПРЕССИЯ.

Странно: барометр идет вниз, а ветра все еще нет, тишина. Там, наверху, уже началась — еще неслышная нам — буря. Во весь дух несутся тучи. Их пока мало — отдельные зубчатые обломки. И так: будто наверху уже низринут какой-то город, и летят вниз куски стен и башен, растут на глазах с ужасающей быстротой — все ближе — но еще дни им лететь сквозь голубую бесконечность, пока не рухнут на дно, к нам, вниз.

Внизу — тишина. В воздухе — тонкие, непонятные, почти невидимые нити. Их каждую осень приносят оттуда, из-за Стены. Медленно плывут — и вдруг вы чувствуете: что-то постороннее, невидимое у вас на лице, вы хотите смахнуть — и нет: не можете, никак не отделаться...

Особенно много этих нитей — если идти около Зеленой Стены, где я шел сегодня утром: I назначила мне увидеться с нею в Древнем Доме — в той, нашей «квартире».

Я уже миновал громаду Древнего Дома, когда сзади услышал чьи-то мелкие, торопливые шаги, частое дыхание. Оглянулся — и увидал: меня догоняла О.

Вся она была как-то по-особенному, законченно, упруго кругла. Руки и чаши грудей, и все ее тело, такое мне знакомое, круглилось и натягивало юнифу: вот сейчас прорвет тонкую материю — и наружу, на солнце, на свет. Мне представляется: там, в зеленых дебрях, весною так же упрямо пробиваются сквозь землю ростки — чтобы скорее выбросить ветки, листья, скорее цвести.

Несколько секунд она молчала, сине сияла мне в лицо.

— Я видела вас — тогда, в День Единогласия.

— Я тоже вас видел...— И сейчас же мне вспомнилось, как она стояла внизу, в узком проходе, прижавшись к стене и закрыв живот руками. Я невольно посмотрел на ее круглый под юнифой живот.

Она, очевидно, заметила — вся стала кругло-розовая, и розовая улыбка.

— Я так счастлива — так счастлива... Я полна — понимаете: вровень с краями. И вот — хожу и ничего не слышу, что кругом, а все слушаю внутри, в себе...

Я молчал. На лице у меня — что-то постороннее, оно мешало — и я никак не мог от этого освободиться. И вдруг неожиданно, еще синее сияя, она схватила мою руку — и у себя на руке я почувствовал ее губы... Это — первый раз в моей жизни. Это была какая-то неведомая мне до сих пор древняя ласка, и от нее — такой стыд и боль, что я (пожалуй, даже грубо) выдернул руку.

— Слушайте — вы с ума сошли! И не столько это — вообще вы... Чему вы радуетесь? Неужели вы можете забыть о том, что вас ждет? Не сейчас — так все равно через месяц, через два месяца...

Она — потухла; все круги — сразу прогнулись, покоробились. А у меня в сердце — неприятная, даже болезненная компрессия, связанная с ощущением жалости (сердце — не что иное, как идеальный насос; компрессия, сжатие — засасывание насосом жидкости — есть технический абсурд; отсюда ясно: на сколько в сущности абсурдны, противоестественны, болезненны все «любви», «жалости» и все прочее, вызывающее такую компрессию).

Тишина. Мутно-зеленое стекло Стены — слева. Темно-красная громада — впереди. И эти два цвета, слагаясь, дали во мне в виде равнодействующей — как мне кажется, блестящую идею.

— Стойте! Я знаю, как спасти вас. Я избавлю вас от этого: увидать своего ребенка — и затем умереть. Вы сможете выкормить его — понимаете — вы будете следить, как он у вас на руках будет расти, круглеть, наливаться, как плод...

Она вся так и затряслась, так и вцепилась в меня.

— Вы помните ту женщину... ну, тогда, давно, на прогулке. Так вот: она сейчас здесь, в Древнем Доме. Идемте к ней, и ручаюсь: я все устрою немедля.

Я уже видел, как мы вдвоем с I ведем ее коридорами — вот она уже там, среди цветов, трав, листьев... Но она отступила от меня назад, рожки розового ее полумесяца дрожали и изгибались вниз.

— Это — та самая,— сказала она.

— То есть...— я почему-то смутился.— Ну да: та самая.

— И вы хотите, чтобы я пошла к ней — чтобы я просила ее — чтобы я... Не смейте больше никогда мне об этом!

Согнувшись, она быстро пошла от меня. Будто еще что-то вспомнила — обернулась и крикнула:

— И умру — да, пусть! И вам никакого дела — не все ли вам равно?

Тишина. Падают сверху, с ужасающей быстротой растут на глазах — куски синих башен и стен, но им еще часы — может быть дни — лететь сквозь бесконечность; медленно плывут невидимые нити, оседают на лицо — и никак их не стряхнуть, никак не отделаться от них.

Я медленно иду к Древнему Дому. В сердце — абсурдная, мучительная компрессия...

Запись 30-я.
Конспект:

ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО. ОШИБКА ГАЛИЛЕЯ. НЕ ЛУЧШЕ ЛИ?

Вот мой разговор с I — там, вчера, в Древнем Доме, среди заглушающего логический ход мыслей пестрого шума — красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранжевые цвета... И все время — под застывшей на мраморе улыбкой курносого древнего поэта.

Я воспроизвожу этот разговор буква в букву — потому что он, как мне кажется, будет иметь огромное, решающее значение для судьбы Единого Государства — и больше: Вселенной. И затем — здесь вы, неведомые мои читатели, быть может, найдете некоторое оправдание мне...

I сразу, без всякой подготовки, обрушила на меня все:

— Я знаю послезавтра у вас — первый, пробный полет «И н т е г р а л а». В этот день — мы захватим его в свои руки.

— Как? Послезавтра?

— Да. Сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен, наудачу взятых вчера Хранителями,— попало 12 Мефи. И упустить два-три дня — они погибнут.

Я молчал.

— Чтобы наблюдать за ходом испытания — к вам должны прислать электротехников, механиков, врачей, метеорологов. И ровно в 12 — запомни — когда прозвонят к обеду и все пройдут в столовую, мы останемся в коридоре, запрем всех в столовой — и «И н т е г р а л» наш... Ты понимаешь: это нужно во что бы то ни стало. «И н т е г р а л» в наших руках — это будет оружие, которое поможет кончить все сразу, быстро, без боли. Их аэро... ха! Это будет просто ничтожная мошкара против коршуна. И потом: если уж это будет неизбежно — можно будет направить вниз дула двигателей и одной только их работой...

Я вскочил:

— Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете — это революция?

— Да, революция! Почему же это нелепо?

— Нелепо — потому что революции не может быть. Потому что наша — это не ты, а я говорю — наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому...

Насмешливый, острый треугольник бровей:

— Милый мой: ты — математик. Даже — больше: ты философ — от математики. Так вот: назови мне последнее число.

— То есть? Я... я не понимаю: какое — последнее?

— Ну — последнее, верхнее, самое большое.

— Но, I,— это же нелепо. Раз число чисел — бесконечно, какое же ты хочешь последнее?

— А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней — нет, революции — бесконечны. Последняя — это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо — чтобы дети спокойно спали по ночам...

— Но какой смысл — какой же смысл во всем этом — ради Благодетеля? Какой смысл, раз все уже счастливы?

— Положим... Ну хорошо: пусть даже так. А что дальше?

— Смешно! Совершенно ребяческий вопрос. Расскажи что-нибудь детям — все до конца, а они все-таки непременно спросят: а дальше, а зачем?

— Дети — единственно смелые философы. И смелые философы — непременно дети. Именно так, как дети, всегда и надо: а что дальше?

— Ничего нет дальше! Точка. Во всей вселенной — равномерно, повсюду — разлито...

— Ага: равномерно, повсюду! Вот тут она самая и есть — энтропия, психологическая энтропия. Тебе, математику,— разве не ясно, что только разности — разности — температур, только тепловые контрасты — только в них жизнь. А если всюду, по всей вселенной, одинаково теплые — или одинаково прохладные тела... Их надо столкнуть — чтобы огонь, взрыв, геенна. И мы — столкнем.

— Но, I,— пойми же, пойми: наши предки — во время Двухсотлетней Войны — именно это и сделали...

— О, и они были правы — тысячу раз правы. У них только одна ошибка: позже они уверовали, что они есть последнее число — какого нет в природе, нет. Их ошибка — ошибка Галилея: он был прав, что земля движется вокруг солнца, но он не знал, что вся солнечная система — движется еще вокруг какого-то центра, он не знал, что настоящая, не относительная, орбита земли — вовсе не наивный круг...

— А вы?

— А мы — пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем. Нет: даже наверное — забудем, когда состаримся — как неминуемо старится все. И тогда мы — тоже неизбежно вниз — как осенью листья с дерева — как послезавтра вы... Нет, нет, милый,— не ты. Ты же — с нами, ты — с нами!

Разгоревшаяся, вихревая, сверкучая — я никогда еще не видел ее такой — она обняла меня собою, вся. Я исчез...

Последнее — глядя прочно, твердо в глаза мне:

— Так помни же: в 12.

И я сказал:

— Да, я помню.

Ушла. Я один — среди буйного, разноголосого гама — синих, красных, зеленых, бронзово-желтых, оранжевых...

Да, в 12...— и вдруг нелепое ощущение чего-то постороннего, осевшего на лицо — чего никак не смахнуть. Вдруг — вчерашнее утро, Ю — и то, что она кричала тогда в лицо I... Почему? Что за абсурд.

Я поторопился выйти наружу — и скорее домой, домой...

Где-то сзади я слышал пронзительный писк птиц над Стеной. А впереди, в закатном солнце — из малинового кристаллизованного огня — шары куполов, огромные пылающие кубы-дома, застывшей молнией в небе — шпиц аккумуляторной башни. И все это — всю эту безукоризненную, геометрическую красоту — я должен буду сам, своими руками... Неужели — никакого выхода, никакого пути?

Мимо какого-то аудиториума (нумер его не помню). Внутри — грудой сложены скамьи; посредине — столы, покрытые простынями из белоснежного стекла; на белом — пятно розовой солнечной крови. И во всем этом скрыто какое-то неведомое — потому жуткое — завтра. Это противоестественно: мыслящему — зрячему существу жить среди незакономерностей, неизвестных, иксов. Вот если бы вам завязали глаза и заставили так ходить, ощупывать, спотыкаться, и вы знаете, что где-то тут вот совсем близко — край, один только шаг — и от вас останется только сплющенный, исковерканный кусок мяса. Разве это не то же самое?

...А что если не дожидаясь — самому вниз головой? Не будет ли это единственным и правильным, сразу распутывающим все?

Запись 31-я.
Конспект:

ВЕЛИКАЯ ОПЕРАЦИЯ. Я ПРОСТИЛ ВСЕ. СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЕЗДОВ.

Спасены! В самый последний момент, когда уже казалось — не за что ухватиться, казалось — уже все кончено...

Так: будто вы по ступеням уже поднялись к грозной Машине Благодетеля, и с тяжким лязгом уже накрыл вас стеклянный колпак, и вы в последний раз в жизни,— скорее — глотаете глазами синее небо...

И вдруг: все это — только «сон». Солнце — розовое и веселое, и стена — такая радость погладить рукой холодную стену — и подушка — без конца упиваться ямкой от вашей головы на белой подушке...

Вот приблизительно то, что пережил я, когда сегодня утром прочитал Государственную Газету. Был страшный сон, и он кончился. А я, малодушный, я, неверующий,— я думал уже о своевольной смерти. Мне стыдно сейчас читать последние, написанные вчера, строки. Но все равно: пусть, пусть они останутся, как память о том невероятном, что могло быть — и чего уже не будет... да, не будет!..

На первой странице Государственной Газеты сияло:

«Радуйтесь,

Ибо отныне вы — совершенны! До сего дня ваши же детища, механизмы — были совершеннее вас.

Чем?

Каждая искра динамо — искра чистейшего разума; каждый ход поршня — непорочный силлогизм. Но разве не тот же безошибочный разум и в вас?

Философия у кранов, прессов и насосов — закончена и ясна, как циркульный круг. Но разве ваша философия менее циркульна?

Красота механизма — в неуклонном и точном, как маятник, ритме. Но разве вы, с детства вскормленные системой Тэйлора,— не стали маятниково-точны?

И только одно:

У механизмов нет фантазии.

Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на физиономии у насосного цилиндра — расплывалась далекая, бессмысленно-мечтательная улыбка? Вы слышали когда-нибудь, чтобы краны по ночам, в часы, назначенные для отдыха, беспокойно ворочались и вздыхали?

Нет!

А у вас — краснейте! — Хранители все чаще видят эти улыбки и вздохи. И — прячьте глаза — историки Единого Государства просят отставки, чтобы не записывать постыдных событий.

Но это не ваша вина — вы больны. Имя этой болезни:

фантазия.

Это — червь, который выгрызает черные морщины на лбу. Это — лихорадка, которая гонит вас бежать все дальше — хотя бы это «дальше» начиналось там, где кончается счастье. Это — последняя баррикада на пути к счастью.

И радуйтесь: она уже взорвана.

Путь свободен.

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии — жалкий мозговой узелок в области Варолиева моста. Трехкратное прижигание этого узелка Х-лучами — и вы излечены от фантазии —

навсегда.

Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к стопроцентному счастью — свободен. Спешите же все — стар и млад — спешите подвергнуться Великой Операции. Спешите в аудиториумы, где производится Великая Операция. Да здравствует Великая Операция. Да здравствует Единое Государство, да здравствует Благодетель!»

...Вы — если бы вы читали все это не в моих записях, похожих на какой-то древний, причудливый роман,— если бы у вас в руках, как у меня, дрожал вот этот еще пахнущий краской газетный лист— если бы вы знали, как я, что все это самая настоящая реальность, не сегодняшняя, так завтрашняя — разве не чувствовали бы вы то же самое, что я? Разве — как у меня сейчас — не кружилась бы у вас голова? Разве — по спине и рукам — не бежали бы у вас эти жуткие, сладкие ледяные иголочки? Разве не казалось бы вам, что вы — гигант, Атлас — и если распрямиться, то непременно стукнетесь головой о стеклянный потолок?

Я схватил телефонную трубку:

— I — 330... Да, да: 330,— и потом, захлебываясь, крикнул: — Вы дома, да? Вы читали — вы читаете? Ведь это же, это же... Это изумительно!

— Да...— долгое, темное молчание. Трубка чуть слышно жужжала, думала что-то...— Мне непременно надо вас увидеть сегодня. Да, у меня после 16. Непременно.

Милая! Какая-какая милая! «Непременно»... Я чувствовал: улыбаюсь — и никак не могу остановиться, и так вот понесу по улице эту улыбку — как фонарь, высоко над головой...

Там, снаружи на меня налетел ветер. Крутил, свистел, сек. Но мне только еще веселее. Вопи, вой — все равно: теперь тебе уже не свалить стен. И над головой рушатся чугунно-летучие тучи — пусть: вам не затемнить солнца — мы навеки приковали его цепью к зениту — мы, Иисусы Навины.

На углу — плотная кучка Иисус-Навинов стояла, влипши лбами в стекло стены. Внутри на ослепительно белом столе уже лежал один. Виднелись из-под белого развернутые желтым углом босые подошвы, белые медики — нагнулись к изголовью, белая рука — протянула руке наполненный чем-то шприц.

— А вы — что ж не идете,— спросил я — никого, или, вернее, всех.

— А вы,— обернулся ко мне чей-то шар.

— Я — потом. Мне надо еще сначала...

Я, несколько смущенный, отошел. Мне действительно сначала надо было увидеть ее, I. Но почему «сначала» — я не мог ответить себе...

Эллинг. Голубовато-ледяной, посверкивал, искрился «И н т е г р а л». В машинном гудела динамо — ласково, одно и то же какое-то слово повторяя без конца — как будто мое знакомое слово. Я нагнулся, погладил длинную холодную трубу двигателя. Милая... какая — какая милая. Завтра ты — оживешь, завтра — первый раз в жизни содрогнешься от огненных жгучих брызг в твоем чреве...

Какими глазами я смотрел бы на это могучее стеклянное чудовище, если бы все оставалось как вчера? Если бы я знал, что завтра в 12 — я предам его... да, предам...

Осторожно — за локоть сзади. Обернулся; тарелочное, плоское лицо Второго Строителя.

— Вы уже знаете,— сказал он.

— Что? Операция? Да, не правда ли? Как — все, все — сразу...

— Да нет, не то: пробный полет отменили, до послезавтра. Все из-за Операции этой... Зря гнали, старались...

«Все из-за Операции»... Смешной, ограниченный человек. Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал, что не будь Операции — завтра в 12 он сидел бы под замком в стеклянной клетке, метался бы там и лез на стену...

У меня в комнате, в 15.30. Я вошел — и увидел Ю. Она сидела за моим столом — костяная, прямая, твердая — утвердив на руке правую щеку. Должно быть, ждала уже давно: потому что когда вскочила навстречу мне — на щеке у ней так и остались пять ямок от пальцев.

Одну секунду во мне — то самое несчастное утро, и вот здесь же, возле стола — она рядом с I, разъяренная... Но только секунду — и сейчас же смыто сегодняшним солнцем. Так бывает, если в яркий день вы, входя в комнату, по рассеянности повернули выключатель — лампочка загорелась, но как будто ее и нет — такая смешная, бедная, ненужная...

Я, не задумываясь, протянул ей руку, я простил все — она схватила мои обе, крепко, колюче стиснула их и, взволнованно вздрагивая свисающими, как древние украшения, щеками,— сказала:

— Я ждала... я только на минуту... я только хотела сказать: как я счастлива, как я рада за вас! Вы понимаете: завтра-послезавтра — вы совершенно здоровы, вы заново — родились...

Я увидел на столе листок — последние две страницы вчерашней моей записи: как оставил их там с вечера — так и лежали. Если бы она видела, что я писал там... Впрочем все равно: теперь это — только история, теперь это — до смешного далекое, как сквозь перевернутый бинокль...

— Да,— сказал я,— и знаете: вот я сейчас шел по проспекту, и впереди меня человек, и от него — тень на мостовой. И понимаете: тень — светится. И мне кажется — ну вот я уверен — завтра совсем не будет теней, ни от одного человека, ни от одной вещи, солнце — сквозь все...

Она — нежно и строго:

— Вы — фантазер! Детям у меня в школе — я бы не позволила говорить так...

И что-то о детях, и как она их всех сразу, гуртом, повела на Операцию, и как их там пришлось связать, и о том, что «любить — нужно беспощадно, да, беспощадно», и что она, кажется, наконец решится...

Оправила между колен серо-голубую ткань, молча, быстро — обклеила всего меня улыбкой, ушла.

И — к счастью, солнце сегодня еще не остановилось, солнце бежало, и вот уже 16, я стучу в дверь — сердце стучит...

— Войдите!

На пол — возле ее кресла, обняв ее ноги, закинув голову вверх, смотреть в глаза — поочередно, в один и в другой — и в каждом видеть себя — в чудесном плену...

А там, за стеною, буря, там — тучи все чугуннее: пусть! В голове — тесно, буйные — через край — слова, и я вслух вместе с солнцем лечу куда-то... нет, т е п е р ь мы уже знаем, куда — и за мною планеты — планеты, брызжущие пламенем и населенные огненными, поющими цветами — и планеты немые, синие, где разумные камни объединены в организованные общества — планеты, достигшие, как наша земля, вершины абсолютного, стопроцентного счастья...

И вдруг — сверху:

— А ты не думаешь, что вершина — это именно объединенные в организованное общество камни?

И все острее, все темнее треугольник:

— А счастье... Что же? Ведь желания — мучительны, не так ли? И ясно: счастье — когда нет уже никаких желаний, нет ни одного... Какая ошибка, какой нелепый предрассудок, что мы до сих пор перед счастьем — ставили знак плюс, перед абсолютным счастьем — конечно, минус — божественный минус.

Я — помню — растерянно пробормотал:

— Абсолютный минус — 273°...

— Минус 273 — именно. Немного прохладно, но разве это-то самое и не доказывает, что мы — на вершине.

Как тогда, давно — она говорила как-то за меня, мною — развертывала до конца мои мысли. Но было в этом что-то такое жуткое — я не мог — и с усилием вытащил из себя «нет».

— Нет,— сказал я.— Ты... ты шутишь...

Она засмеялась, громко — слишком громко. Быстро, в секунду, досмеялась до какого-то края — оступилась — вниз... Пауза.

Встала. Положила мне руки на плечи. Долго, медленно смотрела. Потом притянула к себе — и ничего нет; только ее острые, горячие губы.

— Прощай!

Это — издалека, сверху, и дошло до меня нескоро — может быть, через минуту, через две.

— Как так «прощай»?

— Ты же болен, ты из-за меня совершал преступления,— разве тебе не было мучительно? А теперь Операция — и ты излечишься от меня. И это — прощай.

— Нет,— закричал я.

Беспощадно-острый, черный треугольник на белом:

— Как? Не хочешь счастья?

Голова у меня расскакивалась, два логических поезда столкнулись, лезли друг на друга, крушили, трещали...

— Ну что же, я жду — выбирай: Операция и стопроцентное счастье — или...

— «Не могу без тебя, не надо без тебя»,— сказал я или только подумал — не знаю, но I слышала.

— Да, я знаю,— ответила мне. И потом — все еще держа у меня на плечах свои руки и глазами не отпуская моих глаз:

— Тогда — до завтра. Завтра — в 12: ты помнишь?

— Нет. Отложено на один день... Послезавтра...

— Тем лучше для нас. В 12 — послезавтра...

Я шел один — по сумеречной улице. Ветер крутил меня, нес, гнал — как бумажку, обломки чугунного неба летели, летели — сквозь бесконечность им лететь еще день, два... Меня задевали юнифы встречных — но я шел один. Мне было ясно: все спасены, но мне спасения уже нет, я не хочу спасения...

Запись 32-я.
Конспект:

Я НЕ ВЕРЮ. ТРАКТОРЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЩЕПОЧКА.

Верите ли вы в то, что вы умрете? Да, человек смертен, я — человек: следовательно... Нет, не то: я знаю, что вы это знаете. А я спрашиваю: случалось ли вам поверить в это, поверить окончательно, поверить не умом, а телом, почувствовать, что однажды пальцы, которые держат вот эту самую страницу,— будут желтые, ледяные...

Нет: конечно, не верите — и оттого до сих пор не прыгнули с десятого этажа на мостовую, оттого до сих пор едите, перевертываете страницу, бреетесь, улыбаетесь, пишете...

То же самое — да, именно то же самое — сегодня со мной. Я знаю, что эта маленькая черная стрелка на часах сползет вот сюда, вниз, к полночи, снова медленно подымется вверх, перешагнет какую-то последнюю черту — и настанет невероятное завтра. Я знаю это, но вот все же как-то не верю — или может быть мне кажется, что двадцать четыре часа — это двадцать четыре года. И оттого я могу еще что-то делать, куда-то торопиться, отвечать на вопросы, взбираться по трапу вверх на «Интеграл». Я чувствую еще, как он покачивается на воде, и понимаю — что надо ухватиться за поручень — и под рукою холодное стекло. Я вижу, как прозрачные живые краны, согнув журавлиные шеи, вытянув клювы, заботливо и нежно кормят «Интеграл» страшной взрывной пищей для двигателей. И внизу на реке — я вижу ясно синие, вздувшиеся от ветра водяные жилы, узлы. Но так: все это очень отдельно от меня, посторонне, плоско— как чертеж на листе бумаги. И странно, что плоское, чертежное лицо Второго Строителя — вдруг говорит:

— Так как же: сколько берем топлива для двигателей? Если считать три... ну, три с половиной часа...

Передо мною — в проекции, на чертеже — моя рука со счетчиком, логарифмический циферблат, цифра 15.

— Пятнадцать тонн. Но лучше возьмите... да: возьмите сто...

Это потому, что я все-таки ведь знаю, что завтра ——

И я вижу со стороны — как чуть заметно начинает дрожать моя рука с циферблатом.

— Сто? Да зачем же такую уйму? Ведь это — на неделю. Куда — на неделю: больше!

— Мало ли что... кто знает...

— Я знаю...

Ветер свистит, весь воздух туго набит чем-то невидимым до самого верху. Мне трудно дышать, трудно идти — и трудно, медленно, не останавливаясь ни на секунду,— ползет стрелка на часах аккумуляторной башни, там в конце проспекта. Башенный шпиц — в тучах — тусклый, синий и глухо воет: сосет электричество. Воют трубы Музыкального Завода.

Как всегда — рядами, по четыре. Но ряды — какие-то непрочные, и, может быть, от ветра — колеблются, гнутся. И все больше. Вот обо что-то на углу ударились, отхлынули, и уже сплошной, застывший, тесный, с частым дыханием комок, у всех сразу — длинные, гусиные шеи.

— Глядите! Нет, глядите — вон там, скорей!

— Они! Это они!

— ...А я — ни за что! Ни за что — лучше голову в Машину...

— Тише! Сумасшедший...

На углу, в аудиториуме — широко разинута дверь, и оттуда — медленная, грузная колонна, человек пятьдесят. Впрочем, «человек»— это не то: не ноги — а какие-то тяжелые, скованные, ворочающиеся от невидимого привода колеса; не люди — а какие-то человекообразные тракторы. Над головами у них хлопает по ветру белое знамя с вышитым золотым солнцем — и в лучах надпись: «Мы первые! Мы — уже оперированы! Все за нами!»

Они медленно, неудержимо пропахали сквозь толпу — и ясно, будь вместо нас на пути у них стена, дерево, дом — они все так же,

не останавливаясь, пропахали бы сквозь стену, дерево, дом. Вот — они уже на середине проспекта. Свинтившись под руку — растянулись в цепь, лицом к нам. И мы — напряженный, ощетинившийся головами комок — ждем. Шеи гусино вытянуты. Тучи. Ветер свистит.

Вдруг крылья цепи, справа и слева, быстро загнулись — и на нас — все быстрее — как тяжелая машина под гору — обжали кольцом — и к разинутым дверям, в дверь, внутрь...

Чей-то пронзительный крик:

— Загоняют! Бегите!

И все ринулось. Возле самой стены — еще узенькие живые воротца, все туда, головами вперед — головы мгновенно заострились клиньями, и острые локти, ребра, плечи, бока. Как струя воды, стиснутая пожарной кишкой, разбрызнулись веером, и кругом сыплются топающие ноги, взмахивающие руки, юнифы. Откуда-то на миг в глаза мне — двоякоизогнутое, как буква S, тело, прозрачные крылья-уши — и уж его нет, сквозь землю — и я один — среди секундных рук, ног — бегу...

Передохнуть в какой-то подъезд — спиною крепко к дверям — и тотчас же ко мне, как ветром прибило маленькую человеческую щепочку.

— Я все время... я за вами... Я не хочу — понимаете — не хочу. Я согласна...

Круглые, крошечные руки у меня на рукаве, круглые синие глаза: это она, О. И вот, как-то вся скользит по стене и оседает наземь. Комочком согнулась там, внизу, на холодных ступенях, и я — над ней, глажу ее по голове, по лицу — руки мокрые. Так: будто я очень большой, а она — совсем маленькая — маленькая часть меня же самого. Это совершенно другое, чем I, и мне сейчас представляется: нечто подобное могло быть у древних по отношению к их частным детям.

Внизу — сквозь руки, закрывающие лицо,— еле слышно:

— Я каждую ночь... Я не могу — если меня вылечат... Я каждую ночь — одна, в темноте думаю о нем — какой он будет, как я его буду... Мне же нечем тогда жить — понимаете? И вы должны — вы должны...

Нелепое чувство — но я в самом деле уверен: да, должен. Нелепое — потому что этот мой долг — еще одно преступление. Нелепое — потому что белое не может быть одновременно черным, долг и преступление — не могут совпадать. Или нет в жизни ни черного, ни белого, и цвет зависит только от основной логической посылки. И если посылкой было то, что я противозаконно дал ей ребенка...

— Ну хорошо — только не надо, только не надо...— говорю я.— Вы понимаете: я должен повести вас к I — как я тогда предлагал — чтобы она...

— Да... (— тихо, не отнимая рук от лица).

Я помог встать ей. И молча, каждый о своем — или, может быть, об одном и том же — по темнеющей улице, среди немых свинцовых домов, сквозь тугие, хлещущие ветки ветра...

В какой-то прозрачной, напряженной точке — я сквозь свист ветра услышал сзади знакомые, вышлепывающие, как по лужам, шаги. На повороте оглянулся — среди опрокинуто несущихся, отраженных в тусклом стекле мостовой туч — увидел S. Тотчас же у меня — посторонние, не в такт размахивающие руки, и я громко рассказываю О — что завтра... да, завтра — первый полет «Интеграла», это будет нечто совершенно небывалое, чудесное, жуткое.

О — изумленно, кругло, сине смотрит на меня, на мои громко, бессмысленно размахивающие руки. Но я не даю сказать ей слова — я говорю, говорю. А внутри, отдельно — это слышно только мне — лихорадочно жужжит и постукивает мысль: «Нельзя... надо как-то... Нельзя вести его за собою к I —...»

Вместо того, чтобы свернуть влево — я сворачиваю вправо. Мост подставляет свою покорно, рабски согнутую спину — нам троим: мне, О — и ему, S, сзади. Из освещенных зданий на том берегу сыплются в воду огни, разбиваются в тысячи лихорадочно прыгающих, обрызганных бешеной белой пеной, искр. Ветер гудит — как где-то невысоко натянутая канатно-басовая струна. И сквозь бас — сзади все время — —

Дом, где живу я. У дверей О остановилась, начала было что-то:

— Нет! Вы же обещали...

Но я не дал ей кончить, торопливо втолкнул в дверь — и мы внутри, в вестибюле. Над контрольным столиком — знакомые, взволнованно-вздрагивающие, обвислые щеки; кругом — плотная кучка нумеров — какой-то спор, головы, перевесившиеся со второго этажа через перила,— поодиночке сбегают вниз. Но это — потом, потом... А сейчас я скорее увлек О в противоположный угол, сел спиною к стене (там, за стеною, я видел: скользила по тротуару взад и вперед темная, большеголовая тень), вытащил блокнот.

О — медленно оседала в своем кресле — будто под юнифой испарялось, таяло тело, и только одно пустое платье и пустые — засасывающие синей пустотой — глаза. Устало:

— Зачем вы меня сюда? Вы меня обманули?

— Нет... Тише! Смотрите туда: видите — за стеной?

— Да. Тень.

— Он — все время за мной... Я не могу. Понимаете — мне нельзя. Я сейчас напишу два слова — вы возьмете и пойдете одна. Я знаю: он останется здесь.

Под юнифой — снова зашевелилось налитое тело, чуть-чуть закруглел живот, на щеках — чуть заметный рассвет, заря.

Я сунул ей в холодные пальцы записку, крепко сжал руку, последний раз зачерпнул глазами из ее синих глаз.

— Прощайте! Может быть, еще когда-нибудь...

Она вынула руку. Согнувшись, медленно пошла — два шага — быстро повернулась — и вот опять рядом со мной. Губы шевелятся — глазами, губами — вся — одно и то же, одно и то же мне какое-то слово — и какая невыносимая улыбка, какая боль...

А потом согнутая человеческая щепочка в дверях, крошечная тень за стеной — не оглядываясь, быстро — все быстрее...

Я подошел к столику Ю. Взволнованно, негодующе раздувая жабры, она сказала мне:

— Вы понимаете — все как с ума сошли! Вот он уверяет, будто сам видел около Древнего Дома какого-то человека — голый и весь покрыт шерстью...

Из пустой, ощетинившейся головами кучки — голос:

— Да! И еще раз повторяю: видел, да.

— Ну, как вам это нравится, а? Что за бред!

И это «бред» — у нее такое убежденное, негнущееся, что я спросил себя: «Не бред ли и в самом деле все это, что творится со мною и вокруг меня за последнее время?»

Но взглянул на свои волосатые руки — вспомнилось: «В тебе, наверно, есть капля лесной крови... Может быть, я тебя оттого и...»

Нет: к счастью — не бред. Нет: к несчастью — не бред.

Запись 33-я.
Конспект:

(ЭТО БЕЗ КОНСПЕКТА, НАСПЕХ, ПОСЛЕДНЕЕ.)

Этот день — настал.

Скорей за газету: быть может — там... Я читаю газету глазами (именно так: мои глаза сейчас — как перо, как счетчик, которые держишь, чувствуешь, в руках — это постороннее, это инструмент).

Там — крупно, во всю первую страницу:

— «Враги счастья не дремлют. Обеими руками держитесь за счастье! Завтра приостанавливаются работы — все нумера явятся для Операции. Неявившиеся — подлежат Машине Благодетеля».

Завтра! Разве может быть — разве будет какое-нибудь завтра?

По ежедневной инерции, я протянул руку (инструмент) к книжной полке — вложил сегодняшнюю газету к остальным, в украшенный золотом переплет. И на пути:

— «Зачем? Не все ли равно? Ведь сюда, в эту комнату — я уже никогда больше, никогда...»

И газета из рук — на пол. А я стою и оглядываю кругом всю, всю, всю комнату, я поспешно забираю с собой — я лихорадочно запихиваю в невидимый чемодан все, что жалко оставить здесь. Стол. Книги. Кресло. На кресле тогда сидела I — а я внизу, на полу... Кровать...

Потом минуту, две — нелепо жду какого-то чуда, быть может — зазвонит телефон, быть может, она скажет, чтоб...

Нет. Нет чуда...

Я ухожу — в неизвестное. Это мои последние строки. Прощайте — вы, неведомые, вы, любимые, с кем я прожил столько страниц, кому я, заболевший душой, — показал всего себя, до последнего смолотого винтика, до последней лопнувшей пружины...

Я ухожу.

Запись 34-я.
Конспект:

ОТПУЩЕННИКИ. СОЛНЕЧНАЯ НОЧЬ. РАДИО-ВАЛЬКИРИЯ.

О, если бы я действительно разбил себя и всех вдребезги, если бы я действительно — вместе с нею — оказался где-нибудь за Стеной, среди скалящих желтые клыки зверей, если бы я действительно уже больше никогда не вернулся сюда. В тысячу — в миллион раз легче. А теперь — что же? Пойти и задушить эту — — Но разве это чему-нибудь поможет?

Нет, нет, нет! Возьми себя в руки, Д-503. Насади себя на крепкую логическую ось — хоть ненадолго навались изо всех сил на рычаг — и, как древний раб, ворочай жернова силлогизмов — пока не запишешь, не обмыслишь всего, что случилось...

Когда я вошел на «И н т е г р а л» — все уже были в сборе, все на местах, все соты гигантского, стеклянного улья были полны. Сквозь стекло палуб — крошечные муравьиные люди внизу — возле телеграфов, динамо, трансформаторов, альтиметров, вентилей, стрелок, двигателей, помп, труб. В кают-компании — какие-то над таблицами и инструментами — вероятно, командированные Научным Бюро. И возле них — Второй Строитель с двумя своими помощниками.

У всех троих головы по-черепашьи втянуты в плечи, лица — серые, осенние, без лучей.

— Ну, что? — спросил я.

— Так... Жутковато...— серо, без лучей улыбнулся один.— Может придется спуститься неизвестно где. И вообще — неизвестно...

Мне было нестерпимо смотреть на них — на них, кого я, вот этими самыми руками через час навсегда выкину из уютных цифр Часовой Скрижали, навсегда оторву от материнской груди Единого Государства. Они напомнили мне трагические образы «Трех Отпущенников» — история которых известна у нас любому школьнику. Эта история о том, как троих нумеров, в виде опыта, на месяц освободили от работы: делай что хочешь, иди куда хочешь *. Несчастные слонялись возле места привычного труда и голодными глазами заглядывали внутрь; останавливались на площадях — и по целым часам проделывали те движения, какие в определенное время дня были уже потребностью их организма: пилили и стругали воздух, невидимыми молотами побрякивали, бухали в невидимые болванки. И наконец, на десятый день не выдержали: взявшись за руки вошли в воду и под звуки Марша погружались все глубже, пока вода не прекратила их мучений...

Повторяю: мне было тяжело смотреть на них, я торопился уйти.

— Я только проверю в машинном,— сказал я,— и потом — в путь.

О чем-то меня спрашивали — какой вольтаж взять для пускового взрыва, сколько нужно водяного балласта в кормовую цистерну. Во мне был какой-то граммофон: он отвечал на все вопросы быстро и точно, а я, не переставая,— внутри, о своем.

И вдруг в узеньком коридорчике — одно попало мне туда, внутрь — и с того момента, в сущности, началось.

В узеньком коридорчике мелькали мимо серые юнифы, серые лица, и среди них на секунду одно: низко нахлобученные волосы, глаза исподлобья — тот самый. Я понял: они здесь, и мне не уйти от всего этого никуда, и остались только минуты — несколько десятков минут... Мельчайшая, молекулярная дрожь во всем теле (она потом не прекращалась уже до самого конца) — будто поставлен огромный мотор, а здание моего тела — слишком легкое, и вот все стены, переборки, кабели, балки, огни — все дрожит...

Я еще не знаю: здесь ли она. Но сейчас уже некогда — за мной прислали, чтобы скорее наверх, в командную рубку: пора в путь... куда?

Серые, без лучей, лица. Напруженные синие жилы внизу, на воде. Тяжкие, чугунные пласты неба. И так чугунно мне поднять руку, взять трубку командного телефона.

— Вверх — 45°!

Глухой взрыв — толчок — бешеная бело-зеленая гора воды в корме — палуба под ногами уходит — мягкая, резиновая — и все внизу, вся жизнь, навсегда... На секунду — все глубже падая в какую-то воронку, все кругом сжималось — выпуклый сине-ледяной чертеж города, круглые пузырьки куполов, одинокий свинцовый палец аккумуляторной башни. Потом — мгновенная ватная занавесь туч — мы сквозь нее — и солнце, синее небо. Секунды, минуты, мили — синее быстро твердеет, наливается темнотой, каплями холодного серебряного пота проступают звезды...

И вот — жуткая, нестерпимо-яркая, черная, звездная, солнечная ночь. Как если бы внезапно вы оглохли: вы еще видите, что ревут трубы, но только видите: трубы немые, тишина. Такое было — немое — солнце.

Это было естественно, этого и надо было ждать. Мы вышли из земной атмосферы. Но так как-то все быстро, врасплох — что все

* Это давно, еще в III веке после Скрижали.

крутом оробели, притихли. А мне — мне показалось даже легче под этим фантастическим, немым солнцем: как будто я, скорчившись последний раз, уже переступил неизбежный порог — и мое тело где-то там, внизу, а я несусь в новом мире, где все и должно быть непохожее, перевернутое...

— Так держать,— крикнул я в машину,— или не я, а тот самый граммофон во мне — и граммофон механической, шарнирной рукой сунул командную трубку Второму Строителю. А я, весь одетый тончайшей, молекулярной, одному мне слышной дрожью,— побежал вниз, искать...

Дверь в кают-компанию — та самая: через час она тяжко звякнет, замкнется... Возле двери — какой-то незнакомый мне, низенький, с сотым, тысячным, пропадающим в толпе лицом, и только руки необычайно длинные, до колен: будто по ошибке наспех взяты из другого человеческого набора.

Длинная рука вытянулась, загородила:

— Вам куда?

Мне ясно: он не знает, что я знаю все. Пусть: может быть — так нужно. И я сверху, намеренно резко:

— Я Строитель «И н т е г р а л а». И я — распоряжаюсь испытаниями. Поняли?

Руки нет.

Кают-компания. Над инструментами, картами — объезженные серой щетиной головы — и головы желтые, лысые, спелые. Быстро всех в горсть — одним взглядом — и назад, по коридору, по трапу, вниз, в машинное. Там жар и грохот от раскаленных взрывами труб, в отчаянной пьяной присядке сверкающие мотыли, в неперестающей ни на секунду, чуть заметной дрожи — стрелки на циферблатах...

И вот — наконец — возле тахометра — но, с низко нахлобученным над записной книжкой лбом...

— Послушайте... (грохот: надо кричать в самое ухо).— Она здесь? Где она?

В тени — исподлобья — улыбка:

— Она? Там. В радиотелефонной...

И я — туда. Там их — трое. Все — в слуховых крылатых шлемах. И она — будто на голову выше, чем всегда, крылатая, сверкающая, летучая — как древние валькирии, и будто огромные, синие искры наверху, на радиошпице — это от нее, и от нее здесь — легкий, молнийный, озонный запах.

— Кто-нибудь... нет, хотя бы — вы...— сказал я ей, задыхаясь (от бега).— Мне надо передать вниз, на землю, на эллинг... Пойдемте, я продиктую...

Рядом с аппаратной — маленькая коробочка-каюта. За столом, рядом. Я нашел, крепко сжал ее руку:

— Ну, что же? Что же будет?

— Не знаю. Ты понимаешь, как это чудесно: не зная — лететь — все равно куда... И вот скоро 12 — и неизвестно что? И ночь... где мы с тобой будем ночью? Может быть — на траве, на сухих листьях...

От нее — синие искры и пахнет молнией, и дрожь во мне — еще чаще.

— Запишите,— говорю я громко и все еще задыхаясь (от бега).— Время 11.30. Скорость: 6800...

Она — из-под крылатого шлема, не отрывая глаз от бумаги, тихо:

— ...Вчера вечером пришла ко мне с твоей запиской... Я знаю — я все знаю: молчи. Но ведь ребенок — твой? И я ее отправила — она уже там, за стеною. Она будет жить...

Я — снова в командной рубке. Снова — бредовая, с черным звездным небом и ослепительным солнцем, ночь; медленно с одной минуты на другую перехрамывающая стрелка часов на стене; и все, как в тумане, одето тончайшей, чуть заметной (одному мне) дрожью.

Почему-то показалось: лучше, чтоб все это произошло не здесь, а где-то внизу, ближе к земле.

— Стоп,— крикнул я в машину.

Все еще вперед — по инерции,— но медленней, медленней. Вот теперь «И н т е г р а л» зацепился за какой-то секундный волосок, на миг повис неподвижно, потом волосок лопнул — и «И н т е г р а л», как камень, вниз — все быстрее. Так в молчании, минуты, десятки минут — слышен пульс — стрелка перед глазами все ближе к 12, и мне ясно: это я — камень, I — земля, а я — кем-то брошенный камень — и камню нестерпимо нужно упасть, хватиться оземь, чтоб вдребезги... А что если...— внизу уже твердый, синий дым туч...— а что если...

Но граммофон во мне — шарнирно, точно, взял трубку, скомандовал «малый ход» — камень перестал падать. И вот устало пофыркивают лишь четыре нижних отростка — два кормовых и два носовых — только, чтобы парализовать вес «И н т е г р а л а», и «И н т е г р а л», чуть вздрагивая, прочно, как на якоре,— стал в воздухе, в каком-нибудь километре от земли.

Все высыпали на палубу (сейчас 12, звонок на обед) и, перегнувшись через стеклянный планшир, торопливо, залпом глотали неведомый, застенный мир — там, внизу. Янтарное, зеленое, синее: осенний лес, луга, озеро. На краю синего блюдечка — какие-то желтые, костяные развалины, грозит желтый, высохший палец, должно быть, чудом уцелевшая башня древней церкви.

— Глядите, глядите! Вон там — правее!

Там — по зеленой пустыне — коричневой тенью летало какое-то быстрое пятно. В руках у меня бинокль, механически поднес его к глазам: по грудь в траве, взвеяв хвостом, скакал табун коричневых лошадей, а на спинах у них — те, караковые, белые, вороные...

Сзади меня:

— А я вам говорю: — видел — лицо.

— Подите вы! Рассказывайте кому другому!

— Ну нате, нате бинокль...

Но уже исчезли. Бесконечная зеленая пустыня...

И в пустыне — заполняя всю ее, и всего меня, и всех — пронзительная дрожь звонка: обед, через минуту — 12.

Раскиданный на мгновенные, несвязные обломки — мир. На ступеньках — чья-то звонкая золотая бляха — и это мне все равно: вот теперь она хрустнула у меня под каблуком. Голос: «А я говорю — лицо!» Темный квадрат: открытая дверь кают-компании. Стиснутые, белые, остроулыбающиеся зубы...

И в тот момент, когда бесконечно медленно, не дыша от одного удара до другого, начали бить часы и передние ряды уже двинулись, квадрат двери вдруг перечеркнут двумя знакомыми, неестественно длинными руками:

— Стойте!

В ладонь мне впились пальцы — это I, это она рядом:

— Кто? Ты знаешь его?

— А разве... а разве это не...

Он — на плечах. Над сотнею лиц — его сотое, тысячное и единственное из всех лицо:

— От имени Хранителей... Вам — кому я говорю, те слышат, каждый из них слышит меня — вам я говорю: мы знаем. Мы еще не

знаем ваших нумеров — но мы знаем все. «Интеграл» — вашим не будет! Испытание будет доведено до конца, и вы же — вы теперь не посмеете шевельнуться — вы же, своими руками, сделаете это. А потом... Впрочем, я кончил...

Молчание. Стеклянные плиты под ногами — мягкие, ватные, и у меня мягкие, ватные ноги. Рядом у нее — совершенно белая улыбка, бешеные, синие искры. Сквозь зубы — на ухо мне:

— А, так это вы? Вы — «исполнили долг»? Ну, что же...

Рука — вырвалась из моих рук, валькирийный, гневно-крылатый шлем — где-то далеко впереди. Я — один застыло, молча, как все, иду в кают-компанию...

— «Но ведь не я же — не я! Я же об этом ни с кем, никому кроме этих белых, немых страниц...»

Внутри себя — неслышно, отчаянно, громко — я кричал ей это. Она сидела через стол, напротив — и она даже ни разу не коснулась меня глазами. Рядом с ней — чья-то спело-желтая лысина. Мне слышно (это — I):

— «Благородство»? Но, милейший профессор, ведь даже простой филологический анализ этого слова — показывает, что это предрассудок, пережиток древних, феодальных эпох. А мы...

Я чувствовал: бледнею — и вот сейчас все увидят это... Но граммофон во мне проделывал 50 установленных жевательных движений на каждый кусок, я заперся в себе, как в древнем непрозрачном доме — я завалил дверь камнями, я завесил окна...

Потом — в руках у меня командная трубка, и лет — в ледяной, последней тоске — сквозь тучи — в ледяную, звездно-солнечную ночь. Минуты, часы. И очевидно во мне все время лихорадочно, полным ходом — мне же самому неслышный логический мотор. Потому что вдруг в какой-то точке синего пространства: мой письменный стол, над ним — жаберные щеки Ю, забытый лист моих записей. И мне ясно: никто кроме нее,— мне все ясно...

Ах, только бы — только бы добраться до радио... Крылатые шлемы, запах синих молний... Помню — что-то громко говорил ей, и помню — она, глядя сквозь меня, как будто я был стеклянный,— издалека:

— Я занята: принимаю снизу. Продиктуйте вот ей...

В крошечной коробочке-каюте, минуту подумав, я твердо продиктовал:

— Время — 14.40. Вниз! Остановить двигатели. Конец всего.

Командная рубка. Машинное сердце «Интеграла» остановлено, мы падаем, и у меня сердце — не поспевает падать, отстает, подымается все выше к горлу. Облака — и потом далеко зеленое пятно — все зеленее, все явственней — вихрем мчится на нас — сейчас конец — —

Фаянсово-белое, исковерканное лицо Второго Строителя. Вероятно это он — толкнул меня со всего маху, я обо что-то ударился головой и, уже темнея, падая,— туманно слышал:

— Кормовые — полный ход!

Резкий скачок вверх... Больше ничего не помню.

Запись 35-я.
Конспект:

В ОБРУЧЕ. МОРКОВКА. УБИЙСТВО.

Всю ночь не спал. Всю ночь — об одном...

Голова после вчерашнего у меня туго стянута бинтами. И так: это не бинты, а обруч; беспощадный, из стеклянной стали, обруч наклепан мне на голову, и я — в одном и том же кованом кругу: убить Ю. Убить Ю,— а потом пойти к той и сказать: «Теперь — веришь?» Противней всего, что убить как-то грязно, древне, размозжить чем-то голову — от этого странное ощущение чего-то отвратительно-сладкого во рту, и я не могу проглотить слюну, все время сплевываю ее в платок, во рту сухо.

В шкафу у меня лежал лопнувший после отливки тяжелый поршневой шток (мне нужно было посмотреть структуру излома под микроскопом). Я свернул в трубку свои записи (пусть она прочтет всего меня — до последней буквы), сунул внутрь обломок штока и пошел вниз. Лестница — бесконечная, ступени — какие-то противно скользкие, жидкие, все время — вытирать рот платком...

Внизу. Сердце бухнуло. Я остановился, вытащил шток — к контрольному столику — —

Но Ю там не было: пустая, ледяная доска. Я вспомнил: сегодня — все работы отменены; все должны на Операцию, и понятно: ей незачем, некого записывать здесь...

На улице. Ветер. Небо из несущихся чугунных плит. И так, как это было в какой-то момент вчера: весь мир разбит на отдельные, острые, самостоятельные кусочки, и каждый из них, падая стремглав, на секунду останавливался, висел передо мной в воздухе — и без следа испарялся.

Как если бы черные, точные буквы на этой странице — вдруг сдвинулись, в испуге расскакались какая куда — и ни одного слова, только бессмыслица: пуг-скак-как-. На улице — вот такая же рассыпанная, не в рядах, толпа — прямо, назад, наискось, поперек.

И уже никого. И на секунду, несясь стремглав, застыло: вон, во втором этаже, в стеклянной, повисшей на воздухе, клетке — мужчина и женщина — в поцелуе, стоя — она всем телом сломанно отогнулась назад. Это — навеки, последний раз...

На каком-то углу — шевелящийся колючий куст голов. Над головами — отдельно, в воздухе,— знамя, слова: «Долой Машины! Долой Операцию!» И отдельно (от меня) — я, думающий секундно: «Неужели у каждого такая боль, какую можно исторгнуть изнутри — только вместе с сердцем, и каждому нужно что-то сделать, прежде чем — —» И на секунду — ничего во всем мире, кроме (моей) звериной руки с чугунно-тяжелым свертком...

Теперь — мальчишка: весь — вперед, под нижней губой — тень. Нижняя губа — вывернута, как обшлаг засученного рукава,— вывернуто все лицо — он ревет — и от кого-то со всех ног — за ним топот...

От мальчишки: «Да, Ю — должна быть теперь в школе, нужно скорей». Я побежал к ближайшему спуску подземки.

В дверях кто-то бегом:

— Не идут! Поезда сегодня не идут! Там —

Я спустился. Там был — совершенный бред. Блеск граненых хрустальных солнц. Плотно утрамбованная головами платформа. Пустой, застывший поезд.

И в тишине — голос. Ее — не видно, но я знаю, я знаю этот упругий, гибкий, как хлыст, хлещущий голос — и где-нибудь там вздернутый к вискам острый треугольник бровей... Я закричал:

— Пустите же! Пустите меня туда! Я должен —

Но чьи-то клещи меня — за руки, за плечи, гвоздями. И в тишине — голос:

— ...Нет: бегите наверх! Там вас — вылечат, там вас до отвала накормят сдобным счастьем, и вы, сытые, будете мирно дремать, организованно, в такт, похрапывая,— разве вы не слышите этой великой симфонии храпа? Смешные: вас хотят освободить от извиваю-

щихся, как черви, мучительно грызущих, как черви, вопросительных знаков. А вы здесь стоите и слушаете меня. Скорее — наверх — к Великой Операции! Что вам за дело, что я останусь здесь одна? Что вам за дело — если я не хочу, чтобы за меня хотели другие, а хочу хотеть сама,— если я хочу невозможного...

Другой голос — медленный, тяжелый:

— Ага! Невозможного? Это значит — гонись за твоими дурацкими фантазиями, а они чтоб перед носом у тебя вертели хвостом? Нет: мы — за хвост, да под себя, а потом...

— А потом — слопаете, захрапите — и нужен перед носом новый хвост. Говорят, у древних было такое животное: осел. Чтобы заставить его идти все вперед, все вперед — перед мордой к оглобле привязывали морковь так, чтоб он не мог ухватить. И если ухватил, слопал...

Вдруг клещи меня отпустили, я кинулся в середину, где говорила она — и в тот же момент все посыпалось, стиснулось — сзади крик: «Сюда, сюда идут!» Свет подпрыгнул, погас — кто-то перерезал провод — и лавина, крики, хрип, головы, пальцы...

Я не знаю, сколько времени мы катились так в подземной трубе. Наконец: ступеньки — сумерки — все светлее — и мы снова на улице — веером, в разные стороны...

И вот — один. Ветер, серые, низкие — совсем над головой — сумерки. На мокром стекле тротуара — очень глубоко — опрокинуты огни, стены, движущиеся вверх ногами фигуры. И невероятно тяжелый сверток в руке — тянет меня вглубь, ко дну.

Внизу, за столиком, Ю опять не было, и пустая, темная — ее комната.

Я поднялся к себе, открыл свет. Туго стянутые обручем виски стучали, я ходил — закованный все в одном и том же кругу: стол, на столе белый сверток, кровать, дверь, стол, белый сверток... В комнате слева опущены шторы. Справа: над книгой — шишковатая лысина, и лоб — огромная желтая парабола. Морщины на лбу — ряд желтых неразборчивых строк. Иногда мы встречаемся глазами — и тогда я чувствую: эти желтые строки — обо мне.

...Произошло ровно в 21. Пришла Ю — сама. Отчетливо осталось в памяти только одно: я дышал так громко, что слышал, как дышу, и все хотел как-нибудь потише — и не мог.

Она села, расправила на коленях юнифу. Розово-коричневые жабры трепыхались.

— Ах, дорогой,— так это правда, вы ранены? Я как только узнала — сейчас же...

Шток передо мною на столе. Я вскочил, дыша еще громче. Она услышала, остановилась на полслове, тоже почему-то встала. Я видел уже это место на голове, во рту отвратительно-сладко... платок, но платка нет — сплюнул на пол.

Тот, за стеной справа,— желтые, пристальные морщины — обо мне. Нужно, чтобы он не видел, еще противней — если он будет смотреть... Я нажал кнопку — пусть никакого права, разве это теперь не все равно,— шторы упали.

Она, очевидно, почувствовала, поняла, метнулась к двери. Но я опередил ее — и громко дыша, ни на секунду не спуская глаз с этого места на голове...

— Вы... вы с ума сошли! Вы не смеете...— Она пятилась задом — села, вернее, упала на кровать — засунула, дрожа, сложенные ладонями руки между колен. Весь пружинный, все так же крепко держа ее глазами на привязи, я медленно протянул руку к столу — двигалась только одна рука — схватил шток.

— Умоляю вас! День — только один день! Я завтра — завтра же — пойду и все сделаю...

О чем она? Я замахнулся — —

И я считаю: я убил ее. Да, вы, неведомые мои читатели, вы имеете право назвать меня убийцей. Я знаю, что спустил бы шток на ее голову, если бы она не крикнула:

— Ради... ради... Я согласна — я... сейчас.

Трясущимися руками она сорвала с себя юнифу — просторное, желтое, висячее тело опрокинулось на кровать... И только тут я понял: она думала, что я шторы — это для того, чтобы — что я хочу...

Это было так неожиданно, так глупо, что я расхохотался. И тотчас же туго закрученная пружина во мне — лопнула, рука ослабела, шток громыхнул на пол. Тут я на собственном опыте увидел, что смех — самое страшное оружие: смехом можно убить все — даже убийство.

Я сидел за столом и смеялся — отчаянным, последним смехом — и не видел никакого выхода из всего этого нелепого положения. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы развивалось естественным путем — но тут вдруг новая внешняя, слагающая: зазвонил телефон.

Я кинулся, стиснул трубку: может быть, она? — И в трубке чей-то незнакомый голос:

— Сейчас.

Томительное, бесконечное жужжание. Издали — тяжелые шаги, все ближе, все гулче, все чугунней — и вот...

— Д-503? Угу... С вами говорит Благодетель. Немедленно ко мне! Динь,— трубка повешена,— динь.

Ю все еще лежала в кровати, глаза закрыты, жабры широко раздвинуты улыбкой. Я сгреб с полу ее платье, кинул на нее — сквозь зубы:

— Ну! Скорее — скорее!

Она приподнялась на локте, груди сплеснулись набок, глаза круглые, вся повосковела.

— Как?

— Так. Ну — одевайтесь же!

Она — вся узлом, крепко вцепившись в платье, голос приплющенный.

— Отвернитесь...

Я отвернулся, прислонился лбом к стеклу. На черном, мокром зеркале дрожали огни, фигуры, искры. Нет: это — я, это — во мне... Зачем Он меня? Неужели Ему уже известно о ней, обо мне, обо всем?

Ю, уже одетая, у двери. Два шага к ней — стиснул ей руки так, будто именно из ее рук сейчас по каплям выжму то, что мне нужно:

— Слушайте... Ее имя — вы знаете, о ком,— вы ее называли? Нет? Только правду — мне это нужно... мне все равно—только правду...

— Нет.

— Нет? Но почему же — раз уж вы пошли туда и сообщили...

Нижняя губа у ней — вдруг наизнанку, как у того мальчишки — и из щек, по щекам капли...

— Потому что я... я боялась, что если ее... что за это вы можете... вы перестанете лю... О, я не могу — я не могла бы!

— Я понял: это — правда. Нелепая, смешная, человеческая правда! Я открыл дверь.

Запись 36-я.
Конспект:

ПУСТЫЕ СТРАНИЦЫ. ХРИСТИАНСКИЙ БОГ. О МОЕЙ МАТЕРИ.

Тут странно — в голове у меня как пустая, белая страница: как я туда шел, как ждал (знаю, что ждал) — ничего не помню, ни одного звука, ни одного лица, ни одного жеста. Как будто были перерезаны все провода между мною и миром.

Очнулся — уже стоя перед Ним, и мне страшно поднять глаза: вижу только Его огромные, чугунные руки — на коленях. Эти руки давили Его самого, подгибали колени. Он медленно шевелил пальцами. Лицо — где-то в тумане, вверху, и будто вот только потому, что голос Его доходил ко мне с такой высоты — он не гремел как гром, не оглушал меня, а все же был похож на обыкновенный человеческий голос.

— Итак — вы тоже? Вы — Строитель «Интеграла»? Вы — кому дано было стать величайшим конквистадором. Вы — чье имя должно было начать новую, блистательную главу истории Единого Государства... Вы?

Кровь плеснула мне в голову, в щеки — опять белая страница: только в висках — пульс, и вверху гулкий голос, но ни одного слова. Лишь когда он замолк, я очнулся, я увидел: рука двинулась стопудово — медленно поползла — на меня уставился палец.

— Ну? Что же вы молчите? Так или нет? Палач?

— Так,— покорно ответил я. И дальше ясно слышал каждое Его слово.

— Что же? Вы думаете — я боюсь этого слова? А вы пробовали когда-нибудь содрать с него скорлупу и посмотреть, что там внутри? Я вам сейчас покажу. Вспомните: синий холм, крест, толпа. Одни — вверху, обрызганные кровью, прибивают тело к кресту; другие — внизу, обрызганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех, верхних,— самая трудная, самая важная. Да не будь их, разве была бы поставлена вся эта величественная трагедия? Они были освистаны темной толпой: но ведь за это автор трагедии — Бог — должен еще щедрее вознаградить их. А сам христианский, милосерднейший Бог, медленно сжигающий на адском огне всех непокорных — разве Он не палач? И разве сожженных христианами на кострах меньше, чем сожженных христиан? А все-таки — поймите это, все-таки этого Бога веками славили как Бога любви. Абсурд? Нет, наоборот: написанный кровью патент на неискоренимое благоразумие человека. Даже тогда — дикий, холматый — он понимал: истинная, алгебраическая любовь к человечеству — непременный признак истины — ее жестокость. Как у огня — непременный признак тот, что он сжигает. Покажите мне не жгучий огонь? Ну,— доказывайте же, спорьте!

Как я мог спорить? Как я мог спорить, когда это были (прежде) мои же мысли — только я никогда не умел одеть их в такую кованую, блестящую броню. Я молчал...

— Если это значит, что вы со мной согласны,— так давайте говорить, как взрослые, когда дети ушли спать: все до конца. Я спрашиваю: о чем люди — с самых пеленок — молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье — и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае... Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там — блаженные с оперированной фантазией (только потому и блаженные) — ангелы, рабы Божьи... И вот, в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее вот так (— Его рука сжалась: если бы в ней был камень — из камня брызнул бы сок), когда уже осталось только освежевать добычу и разделить ее на куски,— в этот самый момент вы — вы...

Чугунный гул внезапно оборвался. Я — весь красный, как болванка на наковальне под бухающим молотом. Молот молча навис, и ждать — это еще... страш...

Вдруг:

— Вам сколько лет?

— Тридцать два.

— А вы ровно вдвое — шестнадцатилетне наивны! Слушайте: неужели вам в самом деле ни разу не пришло в голову, что ведь им — мы еще не знаем их имен, но уверен, от вас узнаем,— что им вы нужны были только как Строитель «Интеграла» — только для того, чтобы через вас...

— Не надо! Не надо,— крикнул я.

...Так же, как заслониться руками и крикнуть это пуле: вы еще слышите свое смешное «не надо», а пуля — уже прожгла, уже вы корчитесь на полу.

Да, да: Строитель «Интеграла»... Да, да... и тотчас же: разъяренное, со вздрагивающими кирпично-красными жабрами лицо Ю — в то утро, когда они обе вместе у меня в комнате...

Помню очень ясно: я засмеялся — поднял глаза. Передо мною сидел лысый, сократовски-лысый человек, и на лысине — мелкие капельки пота.

Как все просто. Как все величественно-банально и до смешного просто.

Смех душил меня, вырывался клубами. Я заткнул рот ладонью и опрометью кинулся вон.

Ступени, ветер, мокрые, прыгающие осколки огней, лиц, и на бегу: «Нет! Увидеть ее! Только еще раз увидеть ее!»

Тут — снова пустая, белая страница. Помню только: ноги. Не люди, а именно — ноги: нестройно топающие, откуда-то сверху падающие на мостовую сотни ног, тяжелый дождь ног. И какая-то веселая, озорная песня, и крик — должно быть мне: «Эй! Эй! Сюда, к нам!»

Потом — пустынная площадь, доверху набитая тугим ветром. Посредине — тусклая, грузная, грозная громада: Машина Благодетеля. И от нее — во мне такое, как будто неожиданное, эхо: ярко-белая подушка; на подушке закинутая назад с полузакрытыми глазами голова: острая, сладкая полоска зубов... И все это как-то нелепо, ужасно связано с Машиной — я знаю как, но я еще не хочу увидеть, назвать вслух — не хочу, не надо.

Я закрыл глаза, сел на ступенях, идущих наверх, к Машине. Должно быть шел дождь: лицо у меня мокрое. Где-то далеко, глухо — крики. Но никто не слышит, никто не слышит, как я кричу: спасите же меня от этого — спасите!

Если бы у меня была мать — как у древних: моя — вот именно — мать. И чтобы для нее — я не строитель «Интеграла», и не нумер Д-503, и не молекула Единого Государства, а простой человеческий кусок — кусок ее же самой — истоптанный, раздавленный, выброшенный... И пусть я прибиваю или меня прибивают — может быть это одинаково — чтобы она услышала то, чего никто не слышит, чтобы ее старушечьи, заросшие морщинами губы —

Запись 37-я.
Конспект:

ИНФУЗОРИЯ. СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ. ЕЕ КОМНАТА.

Утром в столовой — сосед слева испуганно шепнул мне:

— Да ешьте же! На вас смотрят!

Я — изо всех сил — улыбнулся. И почувствовал это — как какую-то трещину на лице: улыбаюсь — края трещины разлетаются все шире — и мне от этого все больнее...

Дальше — так: едва я успел взять кубик на вилку, как тотчас же вилка вздрогнула у меня в руке и звякнула о тарелку — и вздрогнули, зазвенели столы, стены, посуда, воздух, и снаружи — какой-то огромный, до неба, железный круглый гул — через головы, через дома — и далеко замер чуть заметными, мелкими, как на воде, кругами.

Я увидел во мгновение слинявшие, выцветшие лица, застопоренные на полном ходу рты, замершие в воздухе вилки.

Потом все спуталось, сошло с вековых рельс, все вскочили с мест (не пропев гимна) — кое-как, не в такт, дожевывая, давясь, хватались друг за друга: «Что? Что случилось? Что?» И — беспорядочные осколки некогда стройной великой Машины — все посыпались вниз, к лифтам — по лестнице — ступени — топот — обрывки слов — как клочья разорванного и взвихренного ветром письма...

Так же сыпались изо всех соседних домов, и через минуту проспект — как капля воды под микроскопом: запертые в стеклянно-прозрачной капле инфузории растерянно мечутся вбок, вверх, вниз.

— Ага,— чей-то торжествующий голос — передо мною затылок и нацеленный в небо палец — очень отчетливо помню желто-розовый ноготь и внизу ногтя — белый, как вылезающий из-за горизонта, полумесяц. И это как компас: сотни глаз, следуя за этим пальцем, повернулись к небу.

Там, спасаясь от какой-то невидимой погони, мчались, давили, перепрыгивали друг через друга тучи — и окрашенные тучами темные аэро Хранителей с свисающими черными хоботами труб — и еще дальше — там, на западе, что-то похожее — —

Сперва никто не понимал, что это — не понимал даже и я, кому (к несчастью) было открыто больше, чем всем другим. Это было похоже на огромный рой черных аэро: где-то в невероятной высоте — еле заметные быстрые точки. Все ближе; сверху хриплые, гортанные капли — наконец, над головами у нас птицы. Острыми, черными, пронзительными, падающими треугольниками заполнили небо, бурей сбивало их вниз, они садились на купола, на крыши, на столбы, на балконы.

— Ага-а,— торжествующий затылок повернулся — я увидел того, исподлобного. Но в нем теперь осталось от прежнего только одно какое-то заглавие, он как-то весь вылез из этого вечного своего подлобья, и на лице у него — около глаз, около губ — пучками волос росли лучи, он улыбался.

— Вы понимаете,— сквозь свист ветра, крыльев, карканье,— крикнул он мне.— Вы понимаете: Стену — Стену взорвали! По-ни-ма-ете?

Мимоходом, где-то на заднем плане, мелькающие фигуры — головы вытянуты — бегут скорее внутрь, в дома. Посредине мостовой — быстрая и все-таки будто медленная (от тяжести) лавина оперированных, шагающих туда — на запад.

...Волосатые пучки лучей около губ, глаз. Я схватил его за руку:

— Слушайте: где она — где I? Там, за Стеной — или... Мне нужно — слышите? Сейчас же, я не могу...

— Здесь,— крикнул он мне пьяно, весело — крепкие, желтые зубы...— Здесь она, в городе, действует. Ого — мы действуем!

Кто — мы? Кто — я?

Около него — было с полсотни таких же, как он — вылезших из своих темных подлобий, громких, веселых, крепкозубых. Глотая раскрытыми ртами бурю, помахивая такими на вид смирными и нестрашными электрокуторами (где они их достали?),— они двинулись туда же, на запад, за оперированными, но в обход — параллельным, 48-м проспектом...

Я спотыкался о тугие, свитые из ветра канаты и бежал к ней. Зачем? Не знаю. Я спотыкался, пустые улицы, чужой, дикий город, неумолчный, торжествующий птичий гам, светопреставление. Сквозь стекло стен — в нескольких домах я видел (врезалось): женские и мужские нумера бесстыдно совокуплялись — даже не спустивши штор, без всяких талонов, среди бела дня...

Дом — ее дом. Открытая настежь, растерянная дверь. Внизу, за контрольным столиком — пусто. Лифт застрял посередине шахты. Задыхаясь, я побежал наверх по бесконечной лестнице. Коридор. Быстро — как колесные спицы — цифры на дверях: 320, 326, 330... I — 330, да!

И сквозь стеклянную дверь: все в комнате рассыпано, перевернуто, скомкано. Впопыхах опрокинутый стул — ничком, всеми четырьмя ногами вверх — как издохшая скотина. Кровать — как-то нелепо, наискось отодвинутая от стены. На полу — осыпавшиеся, затоптанные лепестки розовых талонов.

Я нагнулся, поднял один, другой, третий: на всех было Д-503 — на всех был я — капли меня, расплавленного, переплеснувшего через край. И это все, что осталось...

Почему-то нельзя было, чтобы они так вот, на полу, и чтобы по ним ходили. Я захватил еще горсть, положил на стол, разгладил осторожно, взглянул — и... засмеялся.

Раньше я этого не знал — теперь знаю, и вы это знаете: смех бывает разного цвета. Это — только далекое эхо взрыва внутри вас: может быть — это праздничные, красные, синие, золотые ракеты, может быть — взлетели вверх клочья человеческого тела...

На талонах мелькнуло совершенно незнакомое мне имя. Цифр я не запомнил — только букву: Ф. Я смахнул все талоны со стола на пол, наступил на них — на себя каблуком — вот так, так — и вышел...

Сидел в коридоре на подоконнике против двери — все чего-то ждал, тупо, долго. Слева зашлепали шаги. Старик: лицо — как проколотый, пустой, осевший складками пузырь — и из прокола еще сочится что-то прозрачное, медленно стекает вниз. Медленно, смутно понял: слезы. И только когда старик был уже далеко — я спохватился и окликнул его:

— Послушайте — послушайте, вы не знаете: нумер I — 330...

Старик обернулся, отчаянно махнул рукой и заковылял дальше...

В сумерках я вернулся к себе, домой. На западе небо каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой — и оттуда глухой, закутанный гул. Крыши усыпаны черными потухшими головешками: птицы.

Я лег на кровать — и тотчас же зверем навалился, придушил меня сон...

Запись 38-я.
Конспект:

(НЕ ЗНАЮ, КАКОЙ. МОЖЕТ БЫТЬ, ВЕСЬ КОНСПЕКТ — ОДНО: БРОШЕННАЯ ПАПИРОСКА.)

Очнулся — яркий свет, глядеть больно. Зажмурил глаза. В голове — какой-то едучий синий дымок, все в тумане. И сквозь туман: «Но ведь я не зажигал свет — как же...»

Я вскочил — за столом, подперев рукою подбородок, с усмешкой глядела на меня I...

За тем же самым столом я пишу сейчас. Уже позади эти десять — пятнадцать минут, жестоко скрученных в самую тугую пружину. А мне кажется, что вот только сейчас закрылась за ней дверь, и еще можно догнать ее, схватить за руки — и может быть она засмееется и скажет...

I сидела за столом. Я кинулся к ней.

— Ты, ты! Я был — я видел твою комнату — я думал, ты — —

Но на полдороге наткнулся на острые, неподвижные копья ресниц, остановился. Вспомнил: так же она взглянула на меня тогда, на «Интеграле». И вот надо сейчас же все, в одну секунду, суметь сказать ей — так, чтобы поверила — иначе уж никогда...

— Слушай, I,— я должен... я должен тебе все... Нет, нет, я сейчас — я только выпью воды...

Во рту — сухо, все как обложено промокательной бумагой. Я наливал воду — и не могу: поставил стакан на стол и крепко взялся за графин обеими руками.

Теперь я увидел: синий дымок — это от папиросы.— Она поднесла к губам, втянула, жадно проглотила дым — так же, как я воду, и сказала:

— Не надо. Молчи. Все равно — ты видишь: я все-таки пришла. Там, внизу — меня ждут. И ты хочешь, чтоб эти наши последние минуты...

Она швырнула папиросу на пол, вся перевесилась через ручку кресла назад (там в стене кнопка, и ее трудно достать) — и мне запомнилось, как покачнулось кресло и поднялись от пола две его ножки. Потом упали шторы.

Подошла, обхватила крепко. Ее колени сквозь платье — медленный, нежный, теплый, обволакивающий все яд...

И вдруг... Бывает: уж весь окунулся в сладкий и теплый сон — вдруг что-то прокололо, вздрагиваешь, и опять глаза широко раскрыты... Так сейчас: на полу в ее комнате затоптанные розовые талоны, и на одном: буква Ф и какие-то цифры... Во мне они — сцепились в один клубок, и я даже сейчас не могу сказать, что это было за чувство, но я стиснул ее так, что она от боли вскрикнула...

Еще одна минута — из этих десяти или пятнадцати, на ярко-белой подушке — закинутая назад с полузакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов. И это все время неотвязно, нелепо, мучительно напоминает мне о чем-то, о чем нельзя, о чем сейчас — не надо. И я все нежнее, все жесточе сжимаю ее — все ярче синие пятна от моих пальцев...

Она сказала (не открывая глаз — это я заметил):

— Говорят, ты вчера был у Благодетеля? Это правда?

— Да, правда.

И тогда глаза распахнулись — и я с наслаждением смотрел, как быстро бледнело, стиралось, исчезало ее лицо: одни глаза.

Я рассказал ей все. И только — не знаю почему... нет, неправда, знаю — только об одном промолчал — о том, что Он говорил в самом конце, о том, что я им был нужен только...

Постепенно, как фотографический снимок в проявителе, выступило ее лицо: щеки, белая полоска зубов, губы. Встала, подошла к зеркальной двери шкафа.

Опять сухо во рту. Я налил себе воды, но пить было противно — поставил стакан на стол и спросил:

— Ты за этим и приходила — потому что тебе нужно было узнать?

Из зеркала на меня — острый, насмешливый треугольник бровей, приподнятых вверх, к вискам. Она обернулась что-то сказать мне, но ничего не сказала.

Не нужно. Я знаю.

Проститься с ней? Я двинул свои — чужие — ноги, задел стул — он упал ничком, мертвый, как там — у нее в комнате. Губы у нее были холодные — когда-то такой же холодный был пол вот здесь, в моей комнате возле кровати.

А когда ушла — я сел на пол, нагнулся над брошенной ее папиросой.—

Я не могу больше писать — я не хочу больше!

Запись 39-я.
Конспект:

КОНЕЦ.

Все это было, как последняя крупинка соли, брошенная в насыщенный раствор: быстро, колючась иглами, поползли кристаллы, отвердели, застыли. И мне было ясно: все решено — и завтра утром я сделаю это. Было это то же самое, что убить себя — но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть.

На западе, ежесекундно в синей судороге содрогалось небо. Голова у меня горела и стучала. Так я просидел всю ночь и заснул только часов в семь утра, когда тьма уже втянулась, зазеленела и стали видны усеянные птицами кровли...

Проснулся: уже десять (звонка сегодня, очевидно, не было). На столе — еще со вчерашнего — стоял стакан с водой. Я жадно выглотал воду и побежал: мне надо было все это скорее, как можно скорее.

Небо — пустынное, голубое, дотла выеденное бурей. Колючие углы теней, все вырезано из синего осеннего воздуха — тонкое — страшно притронуться: сейчас же хрупнет, разлетится стеклянной пылью. И такое — во мне: нельзя думать, не надо думать, не надо думать, иначе——

И я не думал, даже, может быть, не видел по-настоящему, а только регистрировал. Вот на мостовой — откуда-то ветки, листья на них зеленые, янтарные, малиновые. Вот наверху — перекрещиваясь, мечутся птицы и аэро. Вот — головы, раскрытые рты, руки машут ветками. Должно быть, все это орет, каркает, жужжит...

Потом — пустые, как выметенные какой-то чумой, улицы. Помню: споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое, податливое и все-таки неподвижное. Нагнулся: труп. Он лежал на спине, раздвинув согнутые ноги, как женщина. Лицо...

Я узнал толстые, негрские и как будто даже сейчас еще брызжущие смехом губы. Крепко зажмуривши глаза, он смеялся мне в лицо. Секунда — я перешагнул через него и побежал — потому что я уже не мог, мне надо было сделать все скорее, иначе — я чувствовал — сломаюсь, прогнусь, как перегруженный рельс...

К счастью — это было уже в двадцати шагах, уже вывеска — золотые буквы «Бюро Хранителей». На пороге я остановился, хлебнул воздуху, сколько мог — и вошел.

Внутри, в коридоре — бесконечной цепью, в затылок, стояли нумера, с листками, с толстыми тетрадками в руках. Медленно подвигались на шаг, на два — и опять останавливались.

Я заметался вдоль цепи, голова расскакивалась, я хватал их за рукава, я молил их — как больной молит дать ему скорее чего-нибудь такого, что секундной острейшей мукой сразу перерубило бы все.

Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх юнифы, отчетливо выпячены два седалищных полушара, и она все время поводила ими по сторонам, как будто именно там у нее были глаза. Она фыркнула на меня:

— У него живот болит! Проводите его в уборную — вон, вторая дверь направо...

И на меня — смех: и от этого смеха что-то к горлу, и я сейчас закричу или... или...

Вдруг сзади кто-то схватил меня за локоть. Я обернулся: прозрачные, крылатые уши. Но они были не розовые, как обыкновенно, а пунцовые: кадык на шее ерзал — вот-вот прорвет тонкий чехол.

— Зачем вы здесь? — спросил он, быстро ввинчиваясь в меня.

Я так и вцепился в него:

— Скорее — к вам в кабинет... Я должен все — сейчас же! Это хорошо, что именно вам... Это может быть ужасно, что именно вам, но это хорошо, это хорошо...

Он тоже знал е е, и от этого мне было еще мучительней, но, может быть, он тоже вздрогнет, когда услышит, и мы будем убивать уже вдвоем, я не буду один в эту последнюю мою секунду...

Захлопнулась дверь. Помню: внизу под дверью прицепилась какая-то бумажка и заскребла на полу, когда дверь закрывалась, а потом, как колпаком, накрыло какой-то особенной, безвоздушной тишиной. Если бы он сказал хоть одно слово — все равно какое — самое пустяковое слово, я бы все сдвинул сразу. Но он молчал.

И весь напрягшись до того, что загудело в ушах,— я сказал (не глядя):

— Мне кажется — я всегда ее ненавидел, с самого начала. Я боролся... А впрочем — нет, нет, не верьте мне: я мог и не хотел спастись, я хотел погибнуть, это было мне дороже всего... то есть не погибнуть, а чтобы она... И даже сейчас — даже сейчас, когда я уже все знаю... Вы знаете, вы знаете, что меня вызывал Благодетель?

— Да, знаю.

— Но то, что Он сказал мне... Поймите же — это вот все равно, как если сейчас выдернуть из-под вас пол — и вы со всем, что вот тут на столе — с бумагой, чернилами... чернила выплеснутся — и все в кляксу...

— Дальше, дальше! И торопитесь. Там ждут другие.

И тогда я — захлебываясь, путаясь — все что было, все, что записано здесь. О себе настоящем и о себе лохматом, и то, что она сказала тогда о моих руках — да, именно с этого все и началось,— и как я тогда не хотел исполнить свой долг, и как обманывал себя, и как она достала подложные удостоверения, и как я ржавел день ото дня, и коридоры внизу, и как там — за Стеною...

Все это — несуразными комьями, клочьями — я захлебывался, слов не хватало. Кривые, двоякоизогнутые губы с усмешкой пододвигали ко мне нужные слова — я благодарно кивал: да, да... И вот (что

же это?) — вот уже говорит за меня он, а я только слушаю: «Да, а потом... Так именно и было, да, да!»

Я чувствую, как от эфира — начинает холодеть вот тут, вокруг ворота, и с трудом спрашиваю:

— Но как же — но этого вы ниоткуда не могли...

У него усмешка — молча — все кривее... И затем:

— А знаете — вы хотели кой-что от меня утаить, вот вы перечислили всех, кого заметили там за Стеной, но одного забыли. Вы говорите — нет? А не помните ли вы, что там мельком, на секунду,— вы видели там... меня? Да, да: меня.

Пауза.

И вдруг — мне молнийно, до головы, бесстыдно ясно: он — он тоже их... И весь я, все мои муки, все то, что я, изнемогая, из последних сил принес сюда, как подвиг — все это только смешно, как древний анекдот об Аврааме и Исааке. Авраам — весь в холодном поту — уже замахнулся ножом над своим сыном — над собою — вдруг сверху голос: «Не стоит! Я пошутил...»

Не отрывая глаз от кривеющей все больше усмешки, я уперся руками о край стола, медленно, медленно вместе с креслом отъехал, потом сразу — себя всего — схватил в охапку — и мимо криков, ступеней, ртов — опрометью.

Не помню, как я очутился внизу, в одной из общественных уборных при станции подземной дороги. Там, наверху, все гибло, рушилась величайшая и разумнейшая во всей истории цивилизация, а здесь — по чьей-то иронии — все оставалось прежним, прекрасным. И подумать: все это — осуждено, все это зарастет травой, обо всем этом — будут только «мифы»...

Я громко застонал. И в тот же момент чувствую — кто-то ласково поглаживает меня по плечу.

Это был мой сосед, занимавший сиденье слева. Лоб — огромная лысая парабола, на лбу желтые неразборчивые строки морщин. И эти строки обо мне.

— Я вас понимаю, вполне понимаю,— сказал он.— Но все-таки успокойтесь: не надо. Все это вернется, неминуемо вернется. Важно только, чтобы все узнали о моем открытии. Я говорю об этом вам первому: я вычислил, что бесконечности нет!

Я дико посмотрел на него.

— Да, да, говорю вам: бесконечности нет. Если мир бесконечен, то средняя плотность материи в нем должна быть равна нулю. А так как она не нуль — это мы знаем,— то, следовательно, Вселенная — конечна, она сферической формы и квадрат вселенского радиуса, y^2 = средней плотности, умноженной на... Вот мне только и надо — подсчитать числовой коэффициент, и тогда... Вы понимаете: все конечно, все просто, все — вычислимо; и тогда мы победим философски,— понимаете? А вы, уважаемый, мешаете мне закончить вычисление, вы — кричите...

Не знаю, чем я больше был потрясен: его открытием или его твердостью в этот апокалипсический час: в руках у него (я увидел это только теперь) была записная книжка и логарифмический циферблат. И я понял: если даже все погибнет, мой долг (перед вами, мои неведомые, любимые) — оставить свои записки в законченном виде.

Я попросил у него бумаги — и здесь я записал эти последние строки...

Я хотел уже поставить точку — так, как древние ставили крест над ямами, куда они сваливали мертвых, но вдруг карандаш затрясся и выпал у меня из пальцев...

— Слушайте,— дергал я соседа.— Да слушайте же, говорю вам! Вы должны — вы должны мне ответить: а там, где кончается ваша конечная Вселенная? Что там — дальше?

Ответить он не успел; сверху — по ступеням — топот——

Запись 40-я.
Конспект:

ФАКТЫ. КОЛОКОЛ. Я УВЕРЕН.

День. Ясно. Барометр 760.

Неужели я, Д-503, написал эти двести двадцать страниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал — или воображал, что чувствую это?

Почерк — мой. И дальше — тот же самый почерк, но — к счастью, только почерк. Никакого бреда, никаких нелепых метафор, никаких чувств: только факты. Потому что я здоров, я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь — я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто. Точнее: не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться (улыбка — есть нормальное состояние нормального человека).

Факты — таковы. В тот вечер моего соседа, открывшего конечность Вселенной, и меня, и всех, кто был с нами — взяли в ближайший аудиториум (нумер аудиториума — почему-то знакомый: 112). Здесь мы были привязаны к столам и подвергнуты Великой Операции.

На другой день я, Д-503, явился к Благодетелю и рассказал ему, все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа).

Вечером в тот же день — за одним столом с Ним, с Благодетелем — я сидел (впервые) в знаменитой Газовой Комнате. Привели ту женщину. В моем присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина упорно молчала и улыбалась. Я заметил, что у ней острые и очень белые зубы и что это красиво.

Затем ее ввели под Колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие — то это было очень красиво. Когда из-под Колокола стали выкачивать воздух — она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты — это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла,— смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под Колокол. Так повторялось три раза — и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее: многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням Машины Благодетеля.

Откладывать нельзя — потому что в западных кварталах — все еще хаос, рев, трупы, звери и — к сожалению — значительное количество нумеров, изменивших разуму.

Но на поперечном, 40-м проспекте удалось сконструировать временную Стену из высоковольтных волн. И я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить.

Мария Аввакумова

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Терпенье

Дождь печурке гореть не дает.
Дождь печурку водой заливает.
Льет и льет день и ночь напролет.
Телогреечка не просыхает.
...И солярки плеснешь — не горит,
пожалеть-обогреть не желает.
Человек свою жизнь материт:
то ли кашляет, то ли рыдает.

Да, кому-то весь отдых — на пне.
Да! не каждому райские кущи.
На холодном вулкановом дне
мы за хлебом стоим за насущным.

Эх... когда бы тут воля моя —
учредила б средь праздников прочих
в день промозглого октября
День Товарищей Чернорабочих.

День тебя — население дыр
(по буханочке хлеба в руки),
там, где землю дожди бьют до дыр,
с обогревом такие муки...
Где неделями жди вертолет,
где погибнешь без верного дела.
...Вот откуда ТЕРПЕНЬЕ идет
по земле. До конца. До предела.

Руки

Они расплющены работой,
они красны от напряженья,
они загублены заботой, —
давно забывшие скольженье,
порханье, губ прикосновенье
во дни надежды с позолотой...
Все дни ведут они сраженье,
чтоб духа отдалить крушенье.
И он еще держался б, дух,
да оболочек нету двух.

Черное вдохновение

(Пятидесятые)

Беги от черных вдохновений.
Сожги бумагу. С нею злость.
Чтоб черное вино сомнений
опять рекой не полилось.

Есть соль и хлеба есть краюха.
Скажи спасибо и на том.
Зачем опять о черном ухе?
Зачем опять о прожитом?
О черной поселковой глотке,
что дни и ночи на столбе
долдонила про темпы, сводки
обестолковленной тебе;
о трудностях, о госзаёмах,
врагах в обличии друзей —
о «скрытых, лютых, вероломных»,
о тех, кого поймешь поздней...

Под черной глоткой поселковой
ты и сейчас торчишь еще
в ногах толпы, на всё готовой, —
и не готовой ни на что.

Но не суди ее презренно.
Толпа молчит и ты молчи.
Молчанье тоже дерзновенно
в иной глуши, в иной ночи.

Росток

Ветлы росток в бутылке ржавой
у перекрестия окна.
Светлы твои мечты, держава —
золоторизная Весна.

А сей росток на ветке черной,
листком украшен в день седьмой,
округлым, светлым, утонченным, —
не Вечности ль росток самой?!

Камнетесы

Не всё диабазы да брекчии[1]...
Породу пора и полегче бы
рубить, обдирать, шлифовать.
Гранитами руки измучены,
к могильному делу приучены, —
а им бы любить, обнимать.

[1] Диабазы, брекчии — очень твердые каменные породы.

Палаты украшены плитами
российского мрамора алого:
полжизни, считайте, безжалостно
одна пожирает плита.
Живого и мертвого битвами
изрыта отчизна усталая.
...Земля! на полметра отталая,
целуй камнетесов в уста.

Соленый мед

Я не бывала в молодых,
хоть и писали «молодая».
Но в голодранках заводных
я набывалась за троих,
живую грязь превозмогая.

Пустых словес не признаю.
И вас, кто их тасует всуе,
за метр в упор не узнаю
и обегаю за версту я.

Не только лед, не только лед...
в конце концов и мед вкусила.
Мне говорили — сладок мед,
а я соленого хватила.
И хорошо. И поделом.
Не то бы вместе с языком,
гляди, и душу проглотила.

В. Попов, Н. Шмелев

АНАТОМИЯ ДЕФИЦИТА

Из универмага «Товары для женщин» на углу Петровки и Кузнецкого моста очередь выходила на улицу и тянулась плотной стеной вверх по Петровке метров на пятьдесят, вдоль магазина «Часы» и Пассажа. Прикрепленный к очереди милиционер время от времени пользовался висевшим на груди мегафоном, чтобы рассредоточить стоявших по отгороженной части тротуара. Был один из первых солнечных дней весны 1987 года, точнее, последнее воскресенье марта, магазины работали, вытягивая квартальный план, и то ли погода, то ли неуклонно возраставшие по мере продвижения вперед надежды на получение дефицита создавали в очереди обстановку радостного возбуждения. Стояли главным образом женщины — давали исчезнувшие из продажи еще зимой колготки,— и, как водится в таких случаях, заинтересованно обсуждали между собой причины столь неожиданно обрушившейся на них новой заботы.

Суждения высказывались самые разные:

— Фабрику в Тушине на ремонт закрыли, остались только импортные...

— Да прямо фабрику! Можно подумать, что только у вас в Тушине колготки и производят. Просто придерживают их сейчас специально, чтобы чулки, которые никто не берет, раскупили. А как разойдутся чулки, снова колготки выбросят, на иих-то спрос всегда есть.

Последняя версия, показавшаяся, видимо, более правдоподобной, активно обсуждалась, пока в разговор не вмешался милиционер:

— Цены на нефть упали,— авторитетно заявил он, и от столь неожиданного поворота дискуссии женщины несколько притихли.— Колготки-то ваши мы на валюту покупаем, а валюту получаем, потому что нефть экспортируем. В прошлом году цены на мировом рынке в два раза снизились, значит, и доходы наши валютные сократились: выбирать теперь приходится — либо для вас колготки и духи за границей покупать, либо машины и зерно для народного хозяйства...

А в самом деле, почему пропали колготки? Почему периодически исчезают из продажи какие-то мелочи, а если разобраться, не такие уж мелочи,— то простыни, то стиральные порошки, то батарейки, то зефир и пастила, то обои, то нитки? Почему практически постоянно что-нибудь в дефиците: когда есть одно, нет другого, а как появляется другое, исчезает с прилавков третье?

Все эти «почему» касаются лишь видимой части айсберга. В разряд дефицитных попадают не только потребительские товары, но и продукция производственного назначения. Спросите любого хозяйственника, что его больше всего беспокоит, и в девяти случаях из десяти вы услышите: где достать то-то и то-то. Не хватает запчастей и стройматериалов, электромоторов и бумаги, белковых добавок к комбикормам и самих комбикормов. Снабженец превратился в ключевую фигуру на производстве, а успех любого хозяйственного начинания определяется в первую очередь умением «пробить фонды».

Пытаясь найти рациональное объяснение дефицита, мы обычно обращаем внимание на конкретные факторы конкретной ситуации, рассматривая каждый отдельный случай нехватки чего-либо изолированно, независимо от других. Как

часто мы усматриваем причины в непредвиденных, незапланированных, неожиданно возникающих особых обстоятельствах, которые только и помешали произвести данное изделие в нужном количестве. И сколько их, этих объективных, непредсказуемых обстоятельств: и превратности погоды, и ремонт фабрик, и движение цен на мировом рынке, и перипетии международной обстановки. В крайнем случае мы виним нерадивых плановиков и даже руководителей отдельных отраслей — ну, действительно, кто мешает тракторному и сельскохозяйственному машиностроению сократить сборку машин, увеличив за счет этого поставку запчастей, ведь все равно в колхозах и совхозах готовые машины разбирают на запчасти.

В случае с колготками тоже находятся вполне рациональные и благовидные объяснения. Как, например, сообщала «Правда» в начале нынешнего года — а к тому времени этот маленький досадный дефицит «все еще» продолжал портить женщинам настроение,— при фактической потребности в 340 миллионов пар (расчет Научно-исследовательского института спроса и конъюнктуры при Министерстве торговли СССР) Минторг заказал Минлегпрому 310 миллионов колготок, а по плану 1987 года должно было быть произведено всего 250 миллионов. Вроде бы все ясно: плохо планируют, надо точнее учитывать спрос, надо потребовать, чтобы конкретные должностные лица, ответственные за этот участок, лучше работали. Газета, между прочим, вполне прозрачно намекала на необходимость увязать зарплату этих должностных лиц со степенью удовлетворения потребительского спроса. Если бы все было так просто...

Нет, к сожалению, все не так. Ответственные должностные лица здесь не при чем.

Постоянство дефицита, регулярность, с которой возникает нехватка всего и вся — от детского мыла и баллончиков для сифонов до железнодорожных вагонов,— заставляет предположить, что за всеми этими конкретными случаями стоит некая общая закономерность. Попробуем показать, что связана эта закономерность со сложившейся у нас системой планирования, которая в своем нынешнем виде не только не исключает, но и неизбежно предполагает постоянство дефицита, делает его хроническим, неистребимым и неустранимым. Парадоксально, но факт,— при нынешнем механизме планирования дефицит не исключение, а правило, естественным образом воспроизводимое явление, неотъемлемая черта хозяйственной системы.

ПЛАН — ЗАКОН

Что планируется в нашей экономике? Легче сказать, что не планируется; в несчетном количестве действующих инструкций, положений и предписаний трудно сейчас разобраться даже опытному специалисту. Если же очень упростить реальную картину, можно сказать, что существующая ныне система планирования зиждется на двух принципах.

Принцип первый — план по номенклатуре. Каждому предприятию и объединению доводится сверху не только стоимостный объем продукции, но и показатели производства в натуре — в тоннах, штуках, метрах и т. д. Степень детализации плановых позиций очень высока: Госплан дает 2 тысячи укрупненных наименований, Госснаб разбивает эти укрупненные позиции на 15 тысяч, министерства — на 50 тысяч, и, наконец, на стадии прикрепления потребителей к поставщикам, производимого органами Госснаба, каждая номенклатурная позиция дробится еще на 10—15 наименований.

В нынешнем году Госплан оставил себе только 415 позиций, передав остальные в ведение Госснаба. Кроме того, решено, что от 30 до 50 процентов продукции предприятия в обрабатывающих отраслях могут планировать самостоятельно. Это радикальнейшая мера, о чем еще будет сказано особо. Здесь же только отметим, что даже при том высоком уровне дробности, который существовал до самого последнего времени и в основном существует сейчас, круг планируемых в натуре позиций оказывается уже того, который есть на самом деле:

ассортимент фактически выпускаемых изделий удваивается примерно каждые десять лет и насчитывает сейчас 25 миллионов наименований. Это означает, в частности, что предприятия на практике имеют некоторую, но очень небольшую самостоятельность в формировании своего портфеля заказов: нельзя выпускать гвозди вместо рельсов, хотя можно заменять производство одних гвоздей другими.

Собственно говоря, такие стихийные, не санкционированные сверху сдвиги в номенклатуре производимой продукции в довольно узких пределах, то есть в той мере, в какой предприятие само может определять ассортимент, действительно происходят. В жертву, естественно, всегда приносятся малорентабельные изделия, производство которых хлопотно, но прибыли не дает и, главное, не особенно помогает «накрутить вал». Таким путем, между прочим, «вымываются» из ассортимента пуговицы и туалетная бумага, прищепки для белья и леденцы, сушки и градусники. Но это к слову. Система же в целом нацелена на всеобщее планирование номенклатуры, и, скажем, до войны, когда такая система и сформировалась, а ассортимент был много уже, чем теперь, планировались практически все виды, подвиды, марки и артикулы фактически производимой продукции. Да и сегодня директивные адресные задания по производству продукции в натуре детализируются так, что если и оставляют производителям какую-то свободу выбора, то лишь самую минимальную.

Принцип второй — фондирование ресурсов. Помимо плана по производству, до каждого предприятия и объединения доводится план по материально-техническому снабжению: подавая за один-два года до планового периода заявки на фонды в Госснаб, предприятия затем получают сверху план снабжения с точным указанием поставщиков и объемов поставок. Потребители и поставщики заключают между собой хозяйственные договоры, и в дальнейшем, если договоры продолжают действовать, плановые и снабженческие органы уже не занимаются таким «договорным оборотом», концентрируя свои усилия на удовлетворении вновь возникающих потребностей через установление заданий по расширению производства. Конечно, нет никаких гарантий, что все заявки предприятий будут удовлетворены — на дефицитную продукцию запросы всегда урезаются, но, если заявку в срок не подать, вообще ничего не получишь. Это, по сути, «карточная» система снабжения, в рамках которой можно рассчитывать на получение сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования только строго в соответствии с утвержденными лимитами.

Согласно принятым недавно решениям к 1990 году оптовая, безнарядная торговля должна обеспечивать 60 процентов всего материально-технического снабжения предприятий, а к 1992 году — более 70 процентов всех поставок в системе Госснаба. В 1988 году Госснаб планирует увеличить объем поставок в порядке оптовой торговли в три с половиной раза против 1987 года, доведя его до 30—35 миллиардов рублей. Однако сейчас на долю оптовой торговли приходится менее 5 процентов всех поставок в системе Госснаба (около 10 миллиардов рублей).

Жесткий план по номенклатуре и фондирование — две стороны одного процесса планового производства. Поскольку потреблять можно лишь то, что произведено, а производится только то, что запланировано, постольку и производственное потребление может осуществляться лишь по заранее заданной схеме; отклонения от лимитов возможны только за счет резервных фондов.

Два принципа планирования, таким образом, логически взаимосвязаны и дополняют друг друга. Общество в лице плановых органов дает предприятиям и в конечном счете отдельным работникам точные производственные задания, обеспечивая их при этом всем необходимым для выполнения плана. Самостоятельность и инициатива в идее отнюдь не исключаются: трудовые коллективы, получая в свое распоряжение часть общественных ресурсов, сами ищут пути их наиболее рационального использования — так, чтобы выполнить плановые задания с наименьшими затратами.

Хозрасчет в такой системе означает, что предприятие оказывается своего рода «черным ящиком». Ему планируют «вход» (лимиты на трудовые и материальные ресурсы и цены на них, включая ставки зарплаты) и «выход» (объем производства в натуре и цены производимой продукции), а уж как трудовой коллектив будет превращать ресурсы в продукцию внутри «черного ящика» — между «ходом» и «выходом»,— это его дело. Если удастся дать план с меньшими затратами ресурсов, то прибыль, а следовательно, и премии будут больше.

В идеале, таким образом, все стройно и все хорошо.

Как же может в такой системе, где все спланировано и предусмотрено заранее, возникнуть дефицит? Ведь это не рынок, где производители не знают точных размеров общественных потребностей, подкрепленных платежеспособным спросом, и не ведают, сколько товаров предложат для продажи их соседи. Ведь в плановом хозяйстве, казалось бы, все учитывается загодя, заблаговременно, и даже на случай непредвиденных обстоятельств можно создать резервные фонды. И в конце концов если все-таки дефицит возникает из-за особых обстоятельств, разве нельзя скорректировать план, отрегулировать структуру производства так, чтобы всего хватало?

Ответ до тривиальности прост: нет, нельзя, все предусмотреть заранее невозможно. Нетривиально здесь, может быть, лишь то, что мы не вполне представляем себе реальные масштабы разрыва между тем, что можно спланировать, и тем, что действительно планируется.

Любое общественное производство требует поддержания технологических связей и пропорций. Есть связи явные, заметные невооруженным глазом — скажем, для выплавки чугуна нужно определенное количество железной руды и угля, для производства станков — определенное количество металла, для пошива одежды — известное количество тканей. Чтобы охарактеризовать такие связи, экономисты пользуются термином «прямые затраты ресурсов на единицу продукции». Но есть и неявные связи, о существовании которых можно только догадываться и точно определить которые можно лишь с помощью специальных расчетов. Для описания этих связей применяют понятие «косвенные затраты ресурсов на выпуск единицы продукции». Например, для того же пошива одежды проволока прямо не нужна, но требуются ткани, при покраске которых применяются анилиновые красители, получаемые в том числе и при переработке нефти, перекачиваемой насосами, в которых используются электромоторы с проволочной обмоткой ротора. Не будет проволоки — не будет и электромоторов, насосов, нефти, красителей, тканей и, наконец, одежды. Для потребителя — последствие более реальное, хотя, возможно, менее трагичное, чем для города, который был взят врагом, «потому что в кузнице не было гвоздя».

Явные и неявные технологические пропорции — прямые и косвенные затраты ресурсов — должны, разумеется, не просто учитываться, но и абсолютно точно просчитываться в планировании, коль скоро задачей является формирование сбалансированного, увязанного по всем статьям плана. В чисто научном плане задача эта давно решена — разработана теория межотраслевого баланса, с помощью которой, зная требуемые объемы выпуска конечной продукции и коэффициенты прямых затрат разных ресурсов на производство единицы каждой разновидности конечной продукции, можно подсчитать косвенные и полные (прямые + косвенные) затраты, и далее — точные объемы производства всех видов промежуточной продукции. На практике, однако, задача неразрешима из-за своей огромной размерности.

Современные ЭВМ способны решать подобные задачи, только если число уравнений (неизвестных) исчисляется сотнями. Фактический же ассортимент продукции насчитывает не сотни и не тысячи, а десятки миллионов наименований. Но главное даже не в этом. Если и допустить, что нужные ЭВМ когда-то появятся, все равно расходы на сбор подробной исходной информации о коэффициентах прямых затрат явно выходят за пределы экономической целесообразности, не могут быть оправданы любыми мыслимыми выгодами. Нельзя же, в самом деле, приставить к каждому рабочему одного, а то и нескольких учетчиков, фиксирующих расход материалов, износ деталей станков, объем наладочно-ремонтных работ, прямые затраты рабочего времени и многое другое. Нужно ли говорить, что уже и в своем нынешнем виде наш бюрократический хозяйственно-управленческий аппарат отнюдь не самый экономичный в мире?

При действующем же порядке, когда межотраслевые балансы используются только в аналитических и предплановых расчетах, когда планирование даже очень укрупненной номенклатуры (тысячи позиций) осуществляется Госпланом и Госснабом по простым материальным балансам (приход — расход), которые только в общих чертах увязываются друг с другом в ходе сложного бюрократического процесса согласований между министерствами, отделами Госплана и Госснабом,— при этом порядке абсолютно невозможно ожидать согласованности, стыковки различных отраслей и производств в масштабах всего народного хозяйства. На практике поэтому не просчитывается и не увязывается и тысячная доля того, что фактически планируется и производится.

Мы привыкли думать, что когда центр распределяет ресурсы и устанавливает производственные задания, никаких ошибок быть не может, ибо «сверху виднее». На самом деле верно прямо противоположное: при самых благих намерениях у центра нет физической возможности составить не то что оптимальный, но хотя бы просто сбалансированный план, просчитать даже не второстепенные и третьестепенные, но и многие основные пропорции производства. Ошибки поэтому не только возможны — они абсолютно неизбежны. Вариант плана, сбалансированного по основным позициям, может появиться на свет лишь случайно, причем вероятность его появления ничтожно мала.

Нынешний механизм планирования поэтому с необходимостью подразумевает постоянное воспроизведение диспропорций, образование дефицита, с одной стороны, и перепроизводства — с другой. Ставшая всеобщей практикой, корректировка планов неизбежна. Иначе и не может быть, ибо сбалансированного плана нет, и, следовательно, дефицитность или избыточность данного вида продукции обнаруживается лишь в ходе выполнения плана. Корректировка порой выступает в качестве меньшего зла, чем твердое следование несбалансированному плану, в котором заложено перепроизводство ненужной и недопроизводство нужной продукции.

Даваемые из года в год обещания спускать в министерства, объединения и предприятия твердые, не подлежащие пересмотру планы — заведомая фикция: ни Совмин, ни Госплан, ни Госснаб, ни тем более министерства не могут взять на себя при нынешней практике планирования ответственность за поставку в срок и в полном объеме заказанных предприятиями ресурсов, за обоснованность плановых заданий по производству продукции в натуральном выражении. Ведь утверждаемый к исполнению план, как заранее известно, вовсе не сбалансирован.

Все упирается, таким образом, в два принципа планирования, в сложившуюся систему, а не в отдельных, пусть и ответственных, работников планового аппарата и даже не в отдельные звенья системы. Плановики не виноваты, ибо они тоже люди и не могут прыгнуть выше головы, шагнуть за пределы человеческих возможностей. Виновата система, при которой жестко планируется и регулируется то, что ни при каких условиях никогда не может быть просчитано, увязано и состыковано. Система, нацеленная на то, чтобы объять необъятное, зарегулировать живой экономический организм, втиснуть его в прокрустово ложе жестких плановых предписаний. Система, в которой не плановые органы существуют для экономики, а экономика — для плановых органов, не Госплан — для народного хозяйства, а народное хозяйство — для Госплана.

План оказывается законом, который по определению невыполним во всех своих пунктах. Призыв «план любой ценой», пожалуй, лучше всего отражает суть нынешней системы планирования: для хозяйственника — это приказ произвести запланированное, невзирая на затраты, для плановика — твердая уверенность в необходимости спланировать все до последней гайки, чего бы это ни стоило.

Между тем несбалансированный план-закон действительно имеет свою «цену», и немалую, причем в самом что ни на есть прямом смысле. Есть потери, буквально бьющие в глаза, когда, скажем, на механическом заводе № 1 города Горького отправляют в металлолом годный цинк, чтобы выполнить план по сдаче отходов цветного металла (иначе — штрафы), или когда на Курганском автобусном заводе кувалдами отбивают «лишние» части от поступающего с Горьковского автозавода не полностью собранного «ГАЗ-53», на базе которого монтируют затем автобусы. Читая о таком в газетах, мы справедливо возмущаемся — какая вопиющая бесхозяйственность! Но есть и другие, не менее очевидные потери, которые, однако, как-то не принято связывать с существующей системой планирования, но которые на деле оказываются ее неизбежным логическим следствием.

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПЛАН

«Кто не хочет работать, ищет причину, кто хочет,— ищет средства» — это изречение, нередко украшающее стены цехов и заводоуправлений, в условиях дефицитной экономики приобрело весьма специфический смысл.

Действительно, как найти виновного в срыве плановых поставок? Хозяйственник докладывает плановику, что подвели смежники, недопоставили то-то и то-то, смежники, в свою очередь, ссылаются на своих поставщиков и т. д., так что найти виноватого невозможно. Плановика это только раздражает, ибо, похоже, хозяйственник намекает, что «наверху» чего-то недосмотрели и, следовательно, виноват он, плановик. Умудренный опытом плановик поэтому просто не принимает таких аргументов: «Не смогли достать,— говорит он хозяйственнику,— значит, должны были сделать сами». И приходится делать...

Наши заводы, как известно, самые крупные в мире. Но в то же время у нас самые многопрофильные, самые неспециализированные заводы. В стремлении иметь все под рукой руководители предприятий натурализируют свои хозяйства, создают ремонтные, инструментальные и строительные цеха, отсутствующие, между прочим, на зарубежных заводах.

Машиностроительные предприятия обрастают непрофильными и, как правило, кустарными, слабомеханизированными подразделениями по производству инструмента, оснастки, литья, поковок, тары и проч. Эффективность этих подразделений низка, но зато они «свои», с них всегда можно получить почти все (а еще лучше, если б все), не обращаясь к смежникам. Как показало обследование ЦСУ, из каждых 100 машиностроительных предприятий производят для собственных нужд: чугунное литье — 71, стальное литье — 27, поковки — 84, штамповки — 76, крепежные метизы — 65. Себестоимость этих изделий на универсальных предприятиях примерно в два-три раза выше, чем на специализированных.

А сколько СМУ и ПМК находится в подчинении нестроительных ведомств! Порой эти небольшие и малопроизводительные хозяйства даже нечем занять, и их существование оправдано только одним — невозможностью получить от специализированных строительных трестов мелкие, но необходимые услуги в нужные сроки. Строят, кроме того, и «дедовским» хозяйственным способом (13 процентов всех строительно-монтажных работ). Подрядчик, конечно, мог бы построить лучше, быстрее и дешевле, но ведь не хочет: строительным трестам выгодны крупные заказы, возведение новых объектов, ибо они тоже отчитываются по валу, по объему освоенных средств, а реконструкция действующих предприятий для них та же «мелочевка». Приходится промышленному предприятию обзаводиться своим строительным цехом, чтобы в случае нужды побелить стены корпусов, протянуть коммуникации, расширить котельную.

И, наконец, ремонтные подразделения, расширение которых давно вышло за всякие разумные пределы. Ремонтом техники занято сейчас больше рабочих (около 8 миллионов человек), чем ее изготовлением; по доле ремонтников в общей численности занятых мы значительно превосходим западные страны; затраты же средств на техническое обслуживание и ремонт превышают первоначальную стоимость станков в восемь — десять раз. Суммарные производственные мощности по ремонту сельскохозяйственной техники, например,— а это 300 заводов, 4200 специализированных мастерских (ранее подчиненных Госком-

сельхозтехнике) и существующие в каждом колхозе и совхозе мастерские (около 50 тысяч),— в шесть-семь раз превышают мощности отраслевого машиностроения.

Гипертрофированное развитие сферы ремонта отчасти связано со специфическими причинами, но не последнюю роль играет здесь и громоздкая планово-административная организация самого ремонта, нерациональное распыление ремонтной базы. Ведь специализированные ремонтные заводы тоже работают по установленному плану, который, мягко говоря, не всегда стыкуется с фактическими сроками поломок оборудования. Для предприятия поэтому надежнее иметь на собственном балансе ремонтный цех, чем быть в постоянной зависимости от «чужих» ремонтников.

Особенно заметно это в сфере ремонта сельхозтехники, которая в отличие от промышленного оборудования к моменту списания не успевает состариться ни морально, ни физически. Средние фактические сроки службы тракторов и комбайнов, сократившиеся за последние 30 лет вдвое, у нас сейчас даже в полтора-два раза меньше, чем, скажем, в США. Казалось бы, быстрая обновляемость парка сельскохозяйственных машин должна сократить потребность в их ремонте. На деле же эти машины едва ли не больше ремонтируются, чем работают. Второй в мире по численности парк тракторов используется хуже, чем где-либо: из 2,8 миллиона тракторов только из-за технической неисправности не эксплуатируется 250 тысяч. Вместо 1 миллиона наличных комбайнов колхозам и совхозам, по оценке Агропрома, реально требуется на треть меньше — не более 650 тысяч. Затраты на ремонт, например, тракторов в пять — семь раз выше их первоначальной стоимости.

Откуда же берется эта необходимость расходовать на ремонт в каждый год эксплуатации трактора почти столько же, сколько он сам стоит? И нужно ли это делать, если на средства, истраченные на ремонт за один-два года эксплуатации, можно купить новый трактор?

Главное здесь — опять-таки плановая организация ремонта. С одной стороны, она предполагает кустарный трудоемкий ремонт в сельских мастерских. С другой стороны,— обязательный, в плановом порядке, ремонт на ремонтно-технических предприятиях (бывшая «Сельхозтехника»), которым тоже надо выполнять план по номенклатуре. Бывает так, что руководителей хозяйств в конце года только для того, чтобы РАПО, в которое эти же хозяйства и входят, не завалило план ремонта техники, заставляют гнать исправные машины по снегу на ремонтные базы. Ремонт превращается в самоцель: не ремонт для трактора, а трактор для выполнения плана ремонтников.

Колхозы и совхозы, заводы и объединения, производящие все у себя, имеющие разветвленные инструментальные и ремонтные, заготовительные и строительные подразделения, удобны для плановых органов. Во-первых, они меньше досаждают просьбами достать, выделить, обеспечить и т. п., для них не нужно разыскивать подрядчиков и поставщиков. Во-вторых, с таких многопрофильных, разносторонних производителей всегда легче спросить, да и в случае прорыва можно быстро переориентировать их на производство другой продукции. Чем выискивать дополнительные фонды и лимиты на организацию нового производства, устанавливать новые связи между поставщиками, не легче ли обязать всех поголовно производить понемногу? С миру по нитке — смотришь, и дефицит рассосется. Как при царе Горохе, но зато надежно.

Кто, например, должен строить автодорогу в регионе? Местные власти, конечно, могут за счет средств своего бюджета выдать заказ (подряд) мощной специализированной строительной организации. Но ведь у строителей свой план и ограниченные фонды под план, им «разбрасываться» не резон. Плановики же, в свою очередь, не в силах, разумеется, предвидеть из центра, сколько фондов и каких именно понадобится выделить на строительство всех дорог местного значения. Поэтому идут по «простейшему» пути — обязывают (благо есть такие права) все предприятия региона выполнить дорожные работы в объеме шестидневных норм на каждый находящийся в хозяйстве грузовик, трактор, экскаватор и т. п., но менее 0,3 процента годового объема производства товарной продукции. Обложенные такой натуральной повинностью предприятия области имеют,

правда, право передать свой объем работ строительным подрядчикам. Да ведь подрядчики берутся строить не за деньги, вернее, не за одни деньги (денежная оплата сама собой разумеется), а только при условии передачи им лимитов капиталовложений, материально-технических ресурсов и т. д. Приходится поэтому предприятиям либо платить штрафы, либо, отвлекая ресурсы от профильного производства, бросать технику и людей на строительство и ремонт дорог. В последнем случае ситуация напоминает не XX век, а средневековье с его натуральным хозяйством и отработочной рентой, проще говоря, барщиной.

Из всех прочих разнообразных натуральных повинностей, установленных местными властями для предприятий и организаций, более всего известна, наверное, «картошка» — шефская помощь городских заводов, НИИ, учебных и других заведений колхозам и совхозам во время сева, сенокоса, уборки урожая. Если отбросить эмоции и иронию, свойственные многим публикациям на эту тему, следует, конечно, признать, что такая помощь (предусмотренная, кстати, еще в «Утопии» Томаса Мора) необходима и неизбежна и сейчас, и в обозримом будущем. Сельскохозяйственные работы носят сезонный характер, и, нравится нам это или нет, мы вынуждены привлекать огромную массу городской рабочей силы на село летом и особенно осенью. Такая необходимость существует во всех странах: в США, скажем, число занятых в сельском хозяйстве каждый год увеличивается с 2,8—2,9 миллиона человек в январе — феврале до почти 4 миллионов в июле — августе, то есть на целую треть, за счет соответствующего сокращения резервной армии труда и падения уровня безработицы. У нас в сельском хозяйстве постоянно занято около 30 миллионов человек, и можно примерно представить, сколько именно миллионов рабочих, студентов и научных работников ежегодно становятся «шефами на один сезон».

Вопрос, однако, в том, в каких формах привлекать на село сезонную рабочую силу. Так же, как и во многих других случаях, централизованно-принудительные методы, применяемые сейчас в данной сфере, крайне неэффективны и расточительны. Мы обманываем самих себя, когда, скажем, не включаем в себестоимость сельскохозяйственной продукции зарплату шефов, которую они продолжают исправно получать на своем предприятии, будучи на селе и числясь «в командировке».

К чисто хозяйственному делу следует и подходить по-хозяйски, разрешив тем, кто нуждается в сезонной рабочей силе, привлекать ее за плату и позволив сезонникам брать отпуск за свой счет, чтобы подзаработать. Конечно, экономически заинтересовать горожан в сельском труде колхозы и совхозы смогут, только резко повысив свою рентабельность. Но другого пути здесь нет. Надо, чтобы отношения между шефами и подшефными были поставлены на строго хозрасчетную основу без всякого вмешательства райкома; надо, чтобы шефы получали зарплату за реальный труд, будь то в городе или на селе, а не за отсутствие на работе, как сейчас; надо, наконец, ликвидировать сами отношения «помощи», подразумевающие, что щедрый город благосклонно и почти безвозмездно берет на себя часть сельских работ.

«Средневековые» натуральные повинности, возложенные на предприятия и организации, мешают их основной, профильной работе, ухудшают специализацию и, следовательно, снижают эффективность всего народного хозяйства. Специалисты занимаются не своим делом, работу, требующую профессиональной подготовки, выполняют самоучки. Между тем лозунг «сделай сам», более подходящий для кружков «умелые руки», чем для всего народного хозяйства, слишком часто возводится в ранг общегосударственной политики. Трудно, например, плановикам заниматься такой «мелочевкой», как ремонт и эксплуатация жилья, не легче ли привлечь к этому самих жильцов? И вот уже только в РСФСР сформировано 7 тысяч «ремонтных дружин» из самих квартиросъемщиков, а в подготовке жилья к зиме участвуют уже не десятки и даже не сотни тысяч, а 25 миллионов человек. А какой ущерб наносят предприятиям периодические кампании в поддержку развития подсобных сельских хозяйств промышленных предприятий, цехов ширпотреба, самообеспеченности отдельных областей и регионов продовольствием и т. д.?

В стране уже более 20 тысяч агроцехов при заводах, фабриках, стройках — чуть ли не у каждого третьего-четвертого предприятия свой агроцех. Но этого мало — предусматривается создание подсобных сельских хозяйств, как правило, при каждом промышленном предприятии или объединении, транспортной или строительной организации.

В опубликованном в 1987 году Постановлении Президиума Верховного Совета СССР Министерство цветной металлургии критикуют за то, что у целой четверти подведомственных ему предприятий не созданы вовсе подсобные сельские хозяйства. Три из каждых четырех предприятий, на которых плавят металл, имеют своих коров, а вот одно все-таки не имеет! К тому же те, которые имеют, не очень много производят — в среднем 13,5 килограмма в год в расчете на одного работника отрасли. В пример ставится Башкирский медио-серный комбинат, где производят 65 килограммов мяса на каждого работника. Цифра, между прочим, очень показательна, хотя это случайное совпадение: потребление мяса на душу населения в целом по стране как раз и составляет немногим более 60 килограммов. Иначе говоря, если все предприятия — промышленные, транспортные и другие — будут производить по 65 килограммов мяса в расчете на одного занятого, то самому сельскому хозяйству останется разве что обеспечивать мясом только детей и пенсионеров.

Как о большой беде сообщают газеты о том, что в Грузии еще остается около 300 предприятий, не выпускающих ширпотреб; Харьковский тракторный завод упрекают за то, что на 1 рубль фонда заработной платы он дает лишь 13 копеек ширпотреба, а некоторые предприятия министерств энергетического машиностроения, тяжелого и транспортного машиностроения, станкостроительной и инструментальной промышленности недавно критиковались на заседании Президиума Верховного Совета СССР за то, что стоимость выпуска товаров народного потребления на 1 рубль зарплаты не превышает у них 25 копеек.

Возможно, где-то интересы дела требуют сочетания производства тепловозов и соковыжималок, региональной самообеспеченности продовольствием. Но не везде же! Критерий здесь только один — экономическая целесообразность, рентабельность. А как раз этот принцип при «кампанейском», «валовом» подходе сплошь и рядом нарушается.

Современное общественное производство немыслимо без узкой специализации его отдельных ячеек. Заводы-универсалы — это даже не вчерашний, а позавчерашний день мировой индустрии, плохо специализированные предприятия неизбежно проигрывают в эффективности и способности к технологическим нововведениям. По существующим оценкам, в основных производственных подразделениях наших промышленных предприятий производительность труда составляет более 75 процентов среднего уровня западных стран, тогда как в промышленности в целом (включая вспомогательные подразделения) — только около 60 процентов.

Крупные потери в данном случае неизбежны. В то время как плановые органы с должным размахом и чувством перспективы пытаются руководить специализацией и кооперацией в производстве сложнейших узлов, деталей и компонентов не только в масштабах национальной экономики, но и в рамках СЭВ, в реальности на Нижнетагильском металлургическом комбинате, например, приходится осваивать выпуск такой непрофильной продукции, как спецобувь для работающих у печей, не прожигаемая искрами от плавки. Легче, конечно, купить такую обувь на стороне, но что делать, если ее нет (не запланировали)? Не станешь же, в самом деле, докладывать министру, что план по прокату не выполнен из-за отсутствия спецбашмаков.

Другое важнейшее следствие несбалансированного плана — огромный рост товарно-материальных запасов. Ненужная продукция, которая спланирована в избытке, накапливается на складах, ибо ее нельзя использовать, а нужными изделиями хозяйственники запасаются впрок, так как они либо уже в дефиците, либо могут стать дефицитными завтра.

К концу 1985 года, когда оборотные средства в запасах товарно-материальных ценностей достигли максимума, только на государственных предприятиях и только в отраслях материального производства они составили более 460 миллиардов рублей, или более 80 процентов национального дохода. Если добавить к этому запасы колхозов (более 50 миллиардов рублей), то окажется, что общие запасы только в сфере материального производства превысили 90 процентов созданного в том же году национального дохода. Еще в 1970 году, кстати сказать, отношение запасов государственных предприятий в отраслях материального производства к национальному доходу было заметно ниже, чем сейчас,— «всего» 57 процентов.

Вдумаемся в эти цифры. Запасов у нас сейчас почти столько же, сколько мы создаем за год. Другими словами, если бы структура запасов соответствовала структуре национального дохода и если бы нашлась возможность в течение года сократить их до нуля, мы все, точнее, те почти 100 миллионов человек, которые заняты в отраслях материального производства, могли бы получить годовой оплачиваемый отпуск. Разумеется, до нуля сократить запасы нельзя, непрерывность производственного процесса обязательно требует известного задела. Но уж никак не в размерах годового национального дохода.

В западной статистике национальный доход исчисляется не только по отраслям материального производства, но и по таким, которые у нас до сих пор относят к разряду непроизводственных, не создающих национальный доход (наука, образование, здравоохранение, культура и искусство, бытовое обслуживание, пассажирский транспорт, управление и др.). В наиболее развитых капиталистических странах в этих непроизводственных отраслях занята уже бо́льшая часть трудящегося населения, и потому сравнивать с национальным доходом надо все запасы — и в отраслях материального производства, и в непроизводственной сфере. В США, например, в частном секторе экономики отношение запасов к доходу сейчас примерно 30 процентов, то есть запасоемкость нашего материального производства почти в три раза превышает запасоемкость всей американской экономики.

В качестве показателя состояния хозяйственной конъюнктуры на Западе часто используют соотношение «товарно-материальные запасы на момент времени / месячный объем продаж». Это соотношение падает при высокой деловой активности и растет в периоды кризисов и низкой конъюнктуры, когда возникают трудности с реализацией и разбухают запасы готовой продукции. В последние три десятилетия в США данный показатель колебался в довольно узких пределах — 1,4—1,9 для обрабатывающей промышленности, 1,0—1,3 — для оптовой торговли, 1,3—1,5 — для розничной торговли. Если отношение запасов к месячным продажам превышает 1,7 в обрабатывающей промышленности, 1,2 — в оптовой торговле, 1,4 — в розничной торговле, это, как правило, верный признак того, что экономика накануне кризиса или уже переживает его. В 1982 году, когда был достигнут апогей самого тяжелого в послевоенной истории США кризиса, среднее отношение запасов к месячному объему продаж составило в обрабатывающей промышленности — 1,73; в оптовой торговле — 1,24; в розничной — 1,40.

В нашей промышленности в 1985 году отношение запасов к месячному объему производства было равно 2,4, в торговле — 3,6. На нашу экономику, иначе говоря, постоянно давит гигантский груз товарно-материальных запасов, намного превышающий по тяжести тот, который выносит капиталистическое хозяйство в периоды самых разрушительных кризисов перепроизводства.

В розничной торговле США, где практически отсутствует понятие дефицита, собственно товарные запасы (только запасы готовой продукции, без сырья и материалов) лишь ненамного превышают месячный оборот. В нашей розничной торговле товарные запасы превышают квартальный (92 дня) оборот, и все-таки постоянно чего-то «не хватает».

Что, возможно, еще более важно,— в последние 15 лет у нас происходит ускоренное разбухание товарно-материальных запасов. В то время как в США при росте национального дохода на 1 доллар запасы возрастают всего на 20—30 центов, мы в 70-е — 80-е годы вынуждены оплачивать каждый рубль увеличения национального дохода приростом запасов более чем на рубль, хотя в

1966—1970 годах для этого требовалось только 60 копеек. В итоге на увеличение запасов у нас в 80-е годы уходит почти 6 процентов создаваемого национального дохода, тогда как в США — менее 1 процента.

Характерно также и то, что в США и других западных странах в долгосрочном плане просматривается тенденция к снижению уровня запасов. В 80-е годы эта тенденция связана с внедрением ряда технических новшеств, в частности, автоматизированных компьютерных систем управления снабжением. В 1972 году японская автомобильная компания «Тойота» впервые применила так называемую систему «канбан», которая затем нашла распространение в промышленности Японии, а с конца 70-х годов — в некоторых машиностроительных фирмах США, Франции, ФРГ и других стран. Смысл этой системы состоит в том, что продукция выпускается мелкими партиями, а запасы практически ликвидируются, ибо компьютер подает нужные детали и узлы точно к началу производственной операции. Мелкосерийность ведет к увеличению затрат на переналадку оборудования, но это с лихвой покрывается экономией, которую дает резкое сокращение объема незавершенного производства и запасов материалов, деталей и компонентов.

Запускаются детали в производство при такой системе в буквальном смысле прямо «с колес»: в Японии сейчас нередки случаи, когда поставщики доставляют продукцию фирме-заказчику три-четыре раза в день. На фирме «Тойота» объем складских запасов рассчитан всего на 1 час работы, тогда как в американской компании «Форд» — на срок до 3 недель. Считается, что в автомобильной промышленности Японии в целом требуется сейчас примерно в десять раз меньше запасов, чем в США, для обеспечения равного объема выпуска.

Можно ли представить при нашей системе снабжения, что запасы материалов и компонентов рассчитаны лишь на несколько часов работы завода? Любой снабженец сочтет, наверное, такой вопрос издевательством и будет прав. Ведь интервалы времени между поставками исчисляются обычно не в часах и не в днях, а в месяцах; запас соответственно тоже должен быть рассчитан на месяцы работы. А сколько подводят поставщики? Короче говоря, чем запас больше, тем лучше: за сверхнормативные запасы могут пожурить или в крайнем случае лишить премии (поскольку прибыль уменьшается на величину штрафов), а если завод остановится, то могут и с должности снять.

Чрезмерные запасы и дефицит — две стороны одной медали. При распределении ресурсов строго по лимитам дефицит неизбежен, а в атмосфере всеобщего дефицита, естественно, растут запасы впрок. Сколько уже говорено о том, что невозможно предугадать точно все потребности за полтора-два года вперед, что нельзя для замены каждой перегоревшей лампочки писать заявку в Госснаб. Все равно пишут, потому что за наличный расчет в ближайшем магазине организациям эти лампочки приобретать запрещено. Согласно утвержденным в 1977 году Минторгом и Госбанком правилам продажи товаров рыночного фонда предприятиям, учреждениям, колхозам в порядке мелкого опта, им разрешено приобретать за безналичный расчет безмены, деготь, колесную мазь, оглобли, хомуты, серпы и многие другие «чудеса техники», но почему-то запрещено покупать гвозди, обои, краски и те же электролампочки. За наличный же расчет можно купить в магазине вещь не дороже 5 рублей.

Дело принимает совсем катастрофический оборот, если нужные изделия, детали, запчасти — импортные. Здесь бюрократическая цепочка для большинства предприятий, не имеющих пока прямого выхода на внешний рынок, существенно удлиняется: потребитель должен обратиться в свое министерство, которое затем дает заявки в Госснаб, Госснаб в пределах фондов, определенных Госпланом, делает заказ в Минвнешторге, который, в свою очередь, распределяет эти заказы по специализирующимся на закупке машин внешнеторговым объединениям. Потом — процесс закупки, тоже требующий нескольких месяцев, и при удачном стечении обстоятельств потребитель получает нужную деталь к импортному станку через 2—2,5 года.

Получается своего рода замкнутый круг — вне плана снабжаться нельзя, запрещено, а по плану — можно, да не снабжают, потому что «фонды кончились». И если этот замкнутый круг прорывается, то главным образом благодаря путешествующим по городам и весям толкачам-снабженцам, договаривающимся сначала с поставщиками и выбивающим затем под эти договоренности фонды в Госснабе.

Еще один очевидный результат несбалансированного плана — гигантские диспропорции в производстве и использовании инвестиционных товаров. Производятся и закупаются никому не нужные станки, пылящиеся затем на складах, а то и ржавеющие под открытым небом, строятся предприятия, на которых некому работать, и в то же время существует острый дефицит оборудования, нехватка производственных мощностей.

Вот некоторые цифры. За последние 25 лет фондоотдача в СССР упала почти вдвое, в том числе в промышленности — в полтора раза, в сельском хозяйстве и строительстве — более чем в три раза. Даже если сделать поправку на статистические искажения, все равно картина останется в полном смысле этого слова уникальной для экономической истории промышленно развитых стран.

Причина падения фондоотдачи — быстрый рост бездействующих основных фондов, не дающих никакой продукции. Почти 90-процентная степень использования производственных мощностей, о которой сообщает Госкомстат, на самом деле статистическая фикция; эта цифра не дает даже примерного представления о реальных масштабах недоиспользования машин, оборудования, зданий, сооружений. В промышленности на деле коэффициент загрузки оборудования по времени редко превышает сейчас 0,7, а коэффициент сменности снизился с 1,54 в 1960 году до 1,35 в 1985 году. В машиностроении мы имеем только 63 станочника на 100 станков, в промышленности в целом — и того меньше. Парк бездействующего оборудования в сельском хозяйстве и строительстве превышает все разумные пределы. И тем не менее вводятся в действие новые производственные мощности, строятся новые заводы, на которых, как заведомо известно, все равно некому будет работать. Плановые органы, другими словами, и здесь, в сфере использования основных фондов, не в состоянии все сбалансировать и увязать концы с концами. Год от года диспропорции нарастают и влекут за собой такие потери, которых не знает ни одна рыночная экономика даже в периоды самых глубоких кризисов.

На капиталовложения и на прирост запасов, то есть на накопление, а не на потребление, мы направляем в последние годы 24—27 процентов национального дохода, а если исчислять советский национальный доход по западной методологии, то, грубым счетом, около 20 процентов. США на эти же цели расходуют сейчас только 6 процентов национального дохода. По другим, более пессимистическим оценкам, учитывающим «хитрости» нашего ценообразования (налог с оборота, разные уровни рентабельности отдельных отраслей и др.), мы тратим на накопление целых 40 процентов национального дохода, или около 30 процентов по западной методике счета. Такова примерная цена только некоторых прямых потерь, порожденных всеобъемлющим директивным планированием.

Какой же именно план нужен социализму, если нынешнее всеохватывающее планирование столь расточительно и так дорого обходится? И может ли быть такой план, при котором все наши нынешние беды исчезнут: улучшится специализация предприятий, снизятся до нормального уровня запасо- и фондоемкость?

Вопросы могут показаться чисто риторическими. Ведь мы уже так много слышали о порочности всеохватывающего директивного планирования, ведь прошел уже XXVII съезд партии и июньский (1987 года) Пленум ЦК, ведь выработана уже генеральная линия перестройки планирования — замена административных рычагов хозрасчетными, экономическими стимулами. С начала 1988 года предприятия переводятся на новую систему планирования — госзаказы и экономические нормативы. Нужно ли снова говорить о «плохой» административной системе, от которой мы отказываемся?

Не будем, однако, спешить с выводами. Изучать прошлое, как известно, надо, чтобы не повторять прежних ошибок. И многие дорого обошедшиеся нам уроки минувших лет особенно поучительны сегодня, когда мы вступаем в решающий этап перестройки планирования.

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Уточним некоторые понятия. Планирование производства в натуре (затрат и выпуска) носит название директивного. Это в принципе та система, которая существовала у нас последние полвека и господствует до сих пор,— плановое установление цен играет вспомогательную, подчиненную роль, ибо важнее всего не цены на производимую продукцию, а нормативы ее отоварнвания (какое маттехснабжение можно получить под план, то есть под установленный объем производства в натуре). Даже в сфере личного потребления во многих случаях действует тот же механизм прямого безденежного обмена: мясо-молочные продукты и жилье, мебельные гарнитуры и путевки в дома отдыха, дефицитные импортные товары и многое другое распределяются фактически по карточкам, и все решает не столько величина зарплаты, сколько возможность ее отоварить.

Есть другое понятие — индикативное планирование, подразумевающее административное регулирование только цен, налогов, заработной платы и процентов по кредитам, но не натуральных объемов производства. При индикативном планировании производители могут сами определять, что именно производить, в каких количествах и кому продавать. Но самостоятельно устанавливать основные цены на производимую продукцию и используемые ресурсы они не вправе; эти цены определяют плановые органы (так же, как и налоги, процент за пользование кредитом, рентные платежи и т. п.), регулируя тем самым производство. Такое планирование часто называют косвенным, направляющим, экономическим. Фактически именно оно имеется в виду, когда говорят об экономических стимулах: вместо того, чтобы заставлять предприятие делать то-то и то-то, его в этом экономически заинтересовывают через повышение цен на продукцию, понижение цен на ресурсы, уменьшение налогов, предоставление льготных кредитов и т. д.

Индикативное планирование использовалось у нас в 20-е годы, чтобы экономически воздействовать на независимые тресты и синдикаты в промышленности и частный мелкотоварный сектор в сельском хозяйстве. Из всех социалистических стран в настоящее время методы косвенного, индикативного планирования шире всего использует Китай, где 95 процентов крестьянских дворов, работающих на началах семейного подряда, заключают с государством контракты на поставку сельхозпродукции. Основную продукцию — зерно и хлопок — государство закупает по твердым ценам; если крестьянин выполняет контракт, то получает возможность купить у государства по твердым ценам химические удобрения, дизельное топливо и другие промышленные товары. В промышленности примерно половина продукции не планируется по номенклатуре. Однако на бóльшую часть такой продукции установлены фиксированные цены: государство, иначе говоря, берет на себя обязательство покупать и продавать такую продукцию по твердым ценам без ограничений.

Используется направляющее планирование и в других социалистических странах: в Венгрии, где таким путем регулируются производство многих видов промышленной продукции, торговля и сфера услуг, в которых высок удельный вес индивидуального и кооперативного секторов; в ГДР, где главным образом через цены и налоги регулируется сфера услуг, в которой доля индивидуальных предприятий и кооперативов составляет 75 процентов; в Польше, где таким путем государство воздействует на сельское хозяйство, в котором доминирует частное мелкотоварное производство, и т. д.

Наконец, существуют экономические системы, в которых полностью или частично отсутствует всякое планирование — и директивное (натуральных объемов производства), и индикативное (цен и зарплаты). Технологические пропорции воспроизводства устанавливаются и поддерживаются в этом случае благодаря действию механизма рыночного саморегулирования, автоматической самонастройки; если, к примеру, спрос превышает предложение, цена повышается, и это вызывает сокращение спроса и расширение производства (предложения).

Такое экономическое саморегулирование вовсе не обязательно связано только с капитализмом, хотя при капитализме рынок, отсутствие планирования — это, конечно, первооснова, краеугольный камень всей хозяйственной системы. Существовавший в СССР в период нэпа, по крайней мере на первом его этапе, экономический механизм хотя и включал элементы индикативного планирования, в значительной мере был именно рыночным, саморегулирующимся, ибо не только объемы производства, но и многие цены устанавливались не государством, а синдикатами — добровольными хозрасчетными объединениями трестов (кооперативами), занимавшимися снабжением и сбытом. Из социалистических стран рыночная самонастройка более всего распространена сегодня в Югославии, где самоуправляющиеся трудовые коллективы производят продукцию главным образом на рынок, на свой страх и риск, не имея гарантий в виде обязательств государства купить их продукцию или продать им материалы по твердой цене. Существует и расширяется такая система также в Китае, где на свободный нерегулируемый рынок поступает не только продукция частных предприятий и кооперативов, действующих главным образом в сфере торговли и услуг и обеспечивающих работой 20 миллионов человек, и не только «сверхконтрактная» продукция крестьянских хозяйств, но и порядка 10 процентов продукции государственных промышленных предприятий, для которой не устанавливаются в плановом порядке ни объемы производства, ни цены.

Очень важно представлять себе, что три названные системы — административного (натурального) планирования, индикативного (экономического) планирования и рыночной самонастройки — в принципе противоречат друг другу. Это не исключает, однако, возможности одновременного использования административного планирования в одних сферах хозяйства, экономических стимулов — в других сферах и рыночного регулирования — в третьих. Но в той мере, в какой расширяется применение одной системы, неотвратимо сужается область действия двух остальных.

Так, все экономические стимулы, все хозрасчетные рычаги и методы воздействия на производство оказываются нерезультативными в условиях фондирования и директивного планирования номенклатуры, ибо при распределении ресурсов по карточкам деньги становятся всего лишь счетной единицей, утрачивая качество всеобщего эквивалента. Ведь реальным стимулом служат только такие деньги, которые можно отоварить, под которые, иначе говоря, выделены фонды. Когда же экономика фактически работает по принципу безденежного натурального обмена, когда миллионные прибыли, не подкрепленные разнарядками Госснаба, не обладают никакой реальной покупательной силой, такие хозрасчетные инструменты, как цена, прибыль, налоги и др., девальвируются, теряют способность воздействовать на производство, оставаясь полезными разве что для бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности.

Сейчас едва ли не самым популярным сюжетом в газетных статьях на экономические темы стало противопоставление административных методов управления экономическим, хозрасчетным. Много говорится о том, что положительные стимулы (награда за хорошую работу) более действенны, чем отрицательные (наказание за плохую), что, следовательно, надо не заставлять в административном порядке, а материально заинтересовывать. В соответствии с таким подходом нередко предлагается, например, «шире и смелее» использовать цены в качестве инструмента регулирования: почему бы, скажем, не повысить цены на нерентабельную «мелочевку», чтобы ее производство, став выгодным, расширилось?

Несомненно, такая логика — шаг вперед в сравнении со старыми стереотипами мышления. Важно, однако, не ставить здесь точку и сделать следующий шаг: осознать невозможность эффективного действия экономических механизмов в рамках нынешней системы директивного планирования. Ведь та же «мелочевка», о которой говорилось, стала исчезать из оборота не только и даже не столько потому, что она малорентабельна. Опыт показывает, что и повышение цены на «мелочевку», переводящее ее в разряд высокоприбыльных изделий, не влечет за собой расширение производства.

Взять хотя бы печально известную историю с гречихой, которая в планах продажи сельхозпродуктов выступает по сути в качестве той самой «мелочевки»: гречиха малоурожайна и потому невыгодна с точки зрения плана по зерну. Закупочные цены на эту культуру повышались неоднократно — и прямо, и косвенно (через введение надбавок), что в конце концов сделало ее очень рентабельной. Однако площади под гречихой неуклонно сокращались по той простой причине, что прибыль для хозяйств вовсе не служила тем мощным стимулом, каким она иногда считается. На деньги кормов не купишь, резонно рассуждали руководители хозяйств, предпочитая выполнение плана по валовой продаже зерна увеличению прибыли. Весьма показательно, что некоторое расширение посевов гречихи наметилось только тогда, когда ее стали отоваривать кормами: за каждый проданный государству центнер гречихи совхоз или колхоз получал право приобрести центнер комбикормов или зернофуража. И не менее показательно, что после того, как отоваривание кормами прекратили, продажа гречихи вновь сократилась.

Действенными, эффективными, таким образом, оказываются не денежные стимулы, а только натуральные.

Получается еще один замкнутый круг: сначала плановые органы создают дефицит продукции, а затем пытаются его исправить через централизованное распределение дефицитных ресурсов. Деньги и экономические стимулы по сути изгоняются из хозяйственной практики — хорошо работающий коллектив стимулируют натурально: за 1 центнер гречихи — столько-то тракторов, удобрений, кормов и т. д., за 1 центнер рапса — строго определенное количество шрота, запчастей, суперфосфата и т. д., и т. п. Круг этот не только замкнутый, но и порочный: как уже говорилось, здесь слишком много — миллионы — пропорций, и все обоснованно просчитать и увязать между собой физически невозможно.

Экономические стимулы и директивное планирование натуральных показателей, таким образом, по сути своей антиподы: там, где есть директивный план в натуре, не могут срабатывать стимулы, и, наоборот,— там, где действуют стимулы, не нужно и даже вредно директивное планирование.

Такие же антиподы рыночная самонастройка и планирование, будь то директивное или индикативное. Понятие «рынок» включает в себя три элемента: нерегулируемое предложение (свобода производства), нерегулируемый спрос (свобода приобретения), нерегулируемая цена, уравновешивающая спрос и предложение. Если отсутствует хотя бы один из этих трех элементов, нет и не может быть полного рынка, не вступают в действие силы самонастройки, автоматического регулирования.

Применительно к нашим сегодняшним проблемам, может быть, особенно важно подчеркнуть, что рынок отнюдь не во всем совместим даже с теми экономическими стимулами, на которые сейчас возлагаются такие большие надежды. Устанавливая, например, сверху цены — даже при отмене производственных адресных заданий в натуре,— мы не можем и не должны рассчитывать на то, что «заработает» механизм саморегулирования. Никакого автоматизма, никакого действия «встроенных регуляторов» хозяйственной жизни в этом случае ждать не приходится. Равновесие в экономике будет поддерживаться только за счет изменения установленных сверху, в плановом порядке цен. Там, где плановики не захотят или «не успеют» вовремя их изменить, неизбежно будут возникать диспропорции. Если, скажем, на дефицитную продукцию не поднять цены, она так и останется дефицитной. И если Госкомцен не установит цену на новую технику так, чтобы должным образом распределить экономический эффект между производителем и потребителем, новую технику не будут либо выпускать, либо внедрять.

Пример. Воскресенское объединение «Минудобрения», затратив миллионы рублей на совершенствование технологии, в первом квартале 1987 года перешло, наконец, на выпуск аммофоса и нитроаммофоса только высшего качества. Основной показатель качества здесь — содержание питательных веществ в 1 тонне удобрений: чем больше питательных веществ приходится на единицу веса, чем меньше в 1 тонне пустой породы, тем выше качество. Действовавшие расценки

за 1 тонну удобрений изменены, однако, не были, несмотря на неоднократные просьбы комбината, поэтому его прибыль в первом квартале снизилась: питательных веществ производилось столько же, но объем производства в тоннах и, следовательно, валовая выручка сократились. Поплатившийся за технический прогресс комбинат был вынужден уменьшить со второго квартала объем выпуска продукции высшего качества, после чего дела снова пошли на лад.

Сейчас, когда многие предприятия получают право самостоятельно планировать часть выпускаемой продукции, когда снабжение переходит к оптовой торговле, на цены и нормативы, по существу, возлагаются те же функции, которые ранее выполняли директивные планы по номенклатуре. Ошибки в установлении цен и нормативов могут обойтись нам не менее дорого, чем вчерашние и сегодняшние просчеты в директивном планировании.

Но об этом чуть позже. Вернемся сейчас к нашему главному вопросу: какая же из описанных систем — директивное планирование, индикативное планирование, рынок — предпочтительнее?

История советской экономической мысли знает немало споров на эту тему, в том числе и с трагическими развязками, однако готового ответа или хотя бы общепринятой абстрактной теории до сих пор нет. В одной из последних ленинских работ — «О кооперации» была сформулирована основополагающая мысль о том, что «...строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классовой победе пролетариата над буржуазией — это есть строй социализма», что «...простой рост кооперации для нас тожественен... с ростом социализма, и вместе с этим мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм» (выделено нами.— В. П., Н. Ш.)[1].

Коренная перемена точки зрения на социализм состояла вот в чем: поскольку кооперативы, естественно, имеют право самостоятельно решать, какую продукцию производить, кому и по каким ценам ее продавать, постольку кооперативная экономика работает на принципах рыночного саморегулирования, а планирование, будь то директивное или индикативное, может быть лишь результатом добровольного соглашения всех кооперативов. Это был пересмотр представлений Маркса и Энгельса, считавших, как известно, что ни товарного производства, ни товарно-денежных отношений, ни денег при социализме быть не должно.

В последующие пять лет раскрепощенная в результате введения нэпа экономика действительно развивалась, и очень неплохо, в основном на базе рыночной самонастройки, дополнявшейся регулированием цен. С конца 20-х годов, однако, нэп, по сути, начали сворачивать: с 1927 года для трестов ввели производственные планы, с 1928 года синдикатская торговля была заменена распределением по фондам и нарядам, а в 1929 году синдикаты превратили в отраслевые промышленные объединения — посредническое звено в системе управления промышленностью через наркоматы. В конце 1930 года только 5 процентов промышленной продукции поставлялось по договорам поставщиков с потребителями — против 85 процентов в предыдущем году. Отраслевые наркоматы стали детально регламентировать оперативно-хозяйственную деятельность подведомственных предприятий. В сочетании с коллективизацией сельского хозяйства (колхозам тоже стали устанавливать планы) и другими реформами, в частности кредитной 1930 года, запретившей коммерческий кредит (одних предприятий другим) и заменившей его плановым банковским кредитованием, все это означало, что индикативное планирование и рыночная самонастройка заменяются системой жесткого директивного планирования. К концу первой пятилетки такая система окончательно утвердилась.

В экономической теории того времени набирало силу мнение, что товарно-денежные отношения есть лишь атрибут переходного периода, что они должны отмереть, когда социализм будет в основном построен. В конце 20-х — начале 30-х годов многие экономисты проектировали переход от торговли к плановому продуктообмену; Наркомторг даже принял решение создать специальный научно-исследовательский институт для изучения проблем потребления, обмена и рас-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 373, 376.

пределения на всех стадиях перехода от рыночного товарообмена к плановому продуктообмену.

Однако даже в 30-е годы, в условиях широкого распространения директивного планирования, товарно-денежные отношения в реальной жизни никак не исчезали. Разрыв между теорией, которая отрицала действие закона стоимости и существование товарного производства при социализме, и действительностью, из которой вопреки всему не удавалось все-таки изгнать деньги, был налицо. В начале 1941 года во время обсуждения макета учебника политэкономии в ЦК ВКП(б) Сталин высказался против тех экономистов, которые отрицали действие объективных экономических законов при социализме, в том числе и закона стоимости, и выдвинул положение о существовании в условиях социализма товарного производства.

Такая точка зрения была далее поддержана участниками экономической дискуссии 1951 года, посвященной обсуждению того же макета учебника, закреплена в вышедшей в следующем году работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» и, наконец, в появившемся в 1954 году первом советском учебнике политической экономии. В нем утверждалось, что при социализме существует «товарное производство особого рода» и что это обусловлено существованием двух форм собственности — государственной и колхозной (в государственном секторе, в той его части, которая производит средства производства, наличие товарно-денежных отношений вообще отрицалось). Предполагалось, что по мере того как колхозная собственность становится тормозом дальнейшего развития производительных сил, она будет подтягиваться до уровня общенародной, а товарное обращение превратится в прямой продуктообмен.

Спустя время этот примитивный взгляд был отвергнут, и после ряда дискуссий в конце 50-х и в 60-х годах большинство политэкономов пришло к выводу, что товарное производство сохраняется при социализме постольку, поскольку объективно существует потребность в хозяйственной самостоятельности отдельных производственных единиц (предприятий, колхозов) и, следовательно, неизбежна их определенная хозяйственная обособленность. Теоретические споры, однако, не проходили бесследно для хозяйственной практики и экономической политики. Один пример в этом отношении особенно показателен. С тех пор как была подведена теоретическая база под положение о «неполноценном» характере кооперативной собственности, не говоря уже об индивидуальной, стал активно осуществляться курс на перевод колхозов в совхозы, вытеснение личного подсобного хозяйства. Доля колхозов в общей товарной продукции сельского хозяйства снизилась с 61 процента в 1940 году до 41 в 1985 году, доля личного подсобного хозяйства — с 27 процентов в 1940 году до 10 в 1985 году, тогда как доля совхозов повысилась за этот период с 12 до 50 процентов.

Совершенно новый поворот дискуссии о товарно-денежных отношениях в социалистическом хозяйстве дало развитие в 60-е годы теории оптимального планирования социалистической экономики. Теория эта была создана прежде всего усилиями замечательного советского ученого, экономиста-математика, академика Л. В. Канторовича. В 1939 году он опубликовал работу «Математические методы организации и планирования производства», в которой излагались основы теории оптимального планирования и линейного программирования. В 1959 году увидела свет другая его работа, написанная в основном еще в начале 40-х годов,— «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов», где наряду с формулировкой динамического варианта основной задачи производственного планирования развивалась также концепция так называемых объективно обусловленных оценок. По свидетельству многих специалистов, книга произвела подлинный переворот в их экономическом мышлении. Работы Л. В. Канторовича были отмечены Государственной и Ленинской премиями. Приоритет советской науки в данной области признан за рубежом; сам Л. В. Канторович — единственный советский экономист, удостоенный Нобелевской премии.

Если упростить формулировку основной задачи производственного планирования, переложив ее на бытовой язык, получится следующее. Допустим, общество смогло таким образом определить цель своего хозяйственного развития на год или пятилетку: нужно произвести в строго определенном количестве такие-то конечные продукты (вооружения для обороны, дороги и здания для благоустройства городов и т. п.), а другие конечные продукты (продовольственные товары, одежда, мебель, бытовые приборы и т. п.) мы решили рассматривать как комплектные наборы, зафиксировав предварительно их структуру, и чем больше их будет произведено, тем лучше. Допустим, общество точно знает все свои ресурсы (рабочая сила, земля, полезные ископаемые, основные фонды, материальные запасы и проч.) и, кроме того, точно знает множество способов превращения ресурсов в продукцию (если построить завод в данном месте и с одной технологией, то надо будет истратить столько-то оборудования, столько-то сырья и рабочей силы, произвести такое-то количество перевозок и т. д., а если построить этот завод в другом месте, то — другое количество, а если расширить мощности на старом заводе — то третье, и так дальше; наконец, некоторые ресурсы — полезные ископаемые, например,— невоспроизводимы, их истощение в течение планового периода может потребовать возрастающих затрат на добычу или на импорт и т. д.). При таких исходных данных с помощью чисто математических методов можно будет узнать как раз то, что нас интересует: где именно строить заводы, какую технологию применять, каких поставщиков к каким потребителям прикреплять, чтобы получить максимальный полезный эффект (наибольшее число комплектных потребительских наборов), то есть наилучшим образом использовать ограниченные ресурсы.

Больше того, оказалось возможным дать однозначный ответ на вопрос: каковы должны быть о ц е н к и всех ресурсов, чтобы сумма затрат ресурсов, используемых при осуществлении оптимального производственного плана, была минимальной? Проще говоря, было показано, что есть один-единственный набор оценок ресурсов и продуктов, обладающий следующим примечательным свойством: если на основе этих оценок установить цены и разрешить предприятиям производить все что угодно, то они, стараясь максимизировать свою прибыль, выберут такую структуру производства, которая в точности соответствует рассчитанному прежде оптимальному плану.

Это открытие, по сути, подвело прочный теоретический фундамент под концепции индикативного планирования. Строго математически было доказано, что есть способ соединить, увязать интересы всего общества с интересами отдельных производственных коллективов, не спуская им директивные задания по производству продукции в натуре, ничем не ущемляя их самостоятельности. Через установление цен на ресурсы и продукцию на основе объективно обусловленных оценок общество получало возможность не административно, но экономически воздействовать на производителей таким образом, что они, преследуя только собственную выгоду (максимизируя свой доход), в конечном счете приносили бы наибольшую пользу всему обществу.

Здесь уместна аналогия с известным в экономической науке принципом «невидимой руки», который был сформулирован еще Адамом Смитом. Так он называл автоматическое рыночное регулирование, самонастройку, обеспечивающую сбалансированность национального хозяйства в условиях, когда каждый «экономический человек» эгоистичен, преследует свои корыстные интересы: производитель стремится получить побольше прибыли, потребитель — истратить свой доход так, чтобы получить максимальный полезный эффект, торговец старается купить подешевле и продать подороже и т. д., но все они «невидимой рукой» (рынком) направляются к цели (общественное благо), которую вовсе не преследовали...

Аналогия, конечно, неполная. Рынок всегда слеп, он не может обеспечивать долгосрочные интересы общества, скажем, в том, что касается рационального использования невоспроизводимых природных богатств, формирования оптимальной структуры потребления (потребляется все, что продается, а при хорошей рекламе продать можно все, что угодно — от пушек до порнографии) и т. д. А индикативное планирование — это «сознательная невидимая рука», которая обеспечивает общественное благо, предварительно установив, в чем оно состоит.

«Цены», рассчитываемые «оптимальщиками», отличаются от рыночных и качественно, и количественно. Чисто рыночные цены формируются стихийно, в них отражается все многообразие вкусов, привычек и предпочтений отдельных «экономических людей» — производителей и потребителей. Напротив, объективно обусловленные оценки исчисляются в уме, на бумаге, исходя из принятой целевой установки (оптимального плана), и отражают так или иначе складывающееся в центре понимание хозяйственной целесообразности. По самой своей природе поэтому объективно обусловленные оценки лишь способ, средство, инструмент реализации оптимального плана.

И директивное, и индикативное планирование, другими словами, подразумевают возможность и неизбежность выбора наиболее предпочтительного из многих вариантов. Возможность такого выбора в плановом хозяйстве существует всегда, и так или иначе этот выбор осуществляется на практике. Но все дело именно в том, как, какими путями этот выбор затем реализуется — через доведение до производителей жестких заданий по производству продукции в натуре или через воздействие на их посредством цен и налогов.

Наверное, самое время задаться здесь вопросом: в чем же разница между директивным и индикативным *оптимальным* планом? Если и тот и другой в конечном счете приводят, хотя и разными путями, к одинаковому результату — к реализации наилучшей из возможных производственных программ,— так ли важно, как именно это достигается?

Оказывается, важно. И прежде всего потому, что в нынешних условиях, да и в обозримой перспективе, когда точно просчитать ни директивный оптимальный натуральный план, ни объективно обусловленные оценки для оптимального индикативного плана по всей номенклатуре производимых изделий абсолютно невозможно,— в этих условиях результаты директивного и индикативного планирования неизбежно различны. Если все спланировано директивно, то неучтенный, непредвиденный вариант, например, неожиданно возникшее техническое решение, вообще никак реализован быть не может (фонды ведь все расписаны, а потребители завязаны на поставщиков, и осуществление любых неучтенных вариантов возможно лишь при корректировке плана). Если же в плановом порядке устанавливаются только цены, то прибыльные, но неучтенные заранее варианты обязательно будут реализованы; правда, следствием станет, конечно, определенное нарушение сбалансированности, а это потребует корректировки цен на ходу или вообще отказа от их планового установления.

Получается, что при наличии неучтенных вариантов (а они есть всегда, причем их число на несколько порядкоа больше числа учтенных) право производственного коллектива выбрать то, что не предусмотрено обществом, превращается в условиях индикативного планирования из формального в реальное. И этот выбор действительно делается, тогда как при директивном планировании даже формальной возможности такого выбора нет.

Но надо четко представлять себе и недостатки индикативного планирования. Экономические нормативы и стимулы далеко не всесильны. Госкомцен, утверждающий ежегодно 200 тысяч цен и тарифов на товары и услуги (85—90 процентов всех цен так или иначе «проходит» через это ведомство, а 42 процента всех действующих оптовых цен прямо им устанавливается) физически не способен обеспечить мало-мальски приемлемый уровень научной обоснованности ценообразования.

Попробуйте точно рассчитать на бумаге, в кабинете цену хотя бы одного товара так, чтобы она адекватно отражала общественно необходимые затраты труда или степень сбалансированности спроса и предложения. Не получится, не может получиться, потому что все цены взаимосвязаны, цена одного товара зависит от цен других.

Чтобы определить общественно необходимые затраты труда на производство 1 квадратного метра ткани, нужно, если вспомнить уже приводившийся пример, знать нормативные расходы красок на выпуск тканей, нефти — на производство красок, электромоторов — на добычу и перекачку нефти, проволоки — на обмотку электромоторов и т. д. Слишком много здесь пропорций, все точно учесть невозможно. Или, чтобы определить, насколько следует поднять цены на дефицитные ткани для выравнивания спроса и предложения, надо, среди прочего, знать, в какой мере сократится (расширится) вследствие подорожания тканей спрос на другие потребительские товары (на иголки и нитки, скажем, расширится, так как производство тканей возрастет и люди будут больше шить, но на услуги туристических бюро, возможно, сократится, поскольку население будет больше тратить на одежду за счет экономии на путешествиях).

В мире цен все взаимосвязано, и малейшее изменение одного элемента передается по цепочке на миллионы других. Рассчитать с приемлемой точностью цены так же трудно, как и сбалансированный план в натуре. И это не субъективное мнение того или иного экономиста, но математически точно доказанное в теории оптимального планирования положение. При индикативном планировании, другими словами, так же, как и при директивном, теоретически возможная стопроцентная рациональность оказывается на практике недостижимой, нереальной и утопичной. Теоретически можно перевернуть земной шар, если есть точка опоры, но на практике ее нет.

В печати сейчас идет широкое обсуждение реформы ценообразования: пишут, что цены на сырье занижены, что энергоресурсы у нас самые дешевые в мире, что цены на продукцию сельского хозяйства уже отражают не столько общественно необходимые затраты, сколько огромные дотации из казны. Все правильно, но ведь это наиболее крупные и потому заметные невооруженным глазом диспропорции. Если целая отрасль, угольная промышленность, например, убыточна, можно смело писать, что виной тому заниженные цены на уголь — разве могут *все* трудовые коллективы отрасли работать плохо, неэффективно?

А если от общих рассуждений на уровне «больше — меньше» пойти чуть дальше и задаться вопросом, на какую именно величину должны быть повышены цены на уголь и как учесть в налогах на прибыль условия добычи, которые даже в двух рядом расположенных шахтах не одинаковы? А если спросить, в какой мере субъективными (качество работы коллектива), а в какой — объективными (техническая оснащенность, качество сырья и т. д.) обстоятельствами объясняется то, что в одном и том же городе, Москве, на «Трехгорке» затрачивают 4 человеко-часа на тонно-номер пряжи, а на фабрике «Освобожденный труд» — 24?

Недостатка в рецептах нахождения «ценовой точки опоры» вроде бы не ощущается. В качестве универсального измерителя предлагают использовать энергозатраты и нормативную трудоемкость; Госкомцен собирается устанавливать цены на базе прогрессивных норм затрат труда и материалов, перейти к калькулированию стоимости единицы полезного эффекта, а не единицы продукции, как раньше; в сельском хозяйстве «научно обоснованная цена» должна, как утверждается, учитывать ресурсный потенциал производителей (балл почвы, специализация, место расположения, трудообеспеченность и т. п.). Что ж, расчеты такого рода ведутся во всем мире, они необходимы, если речь идет о теоретических исследованиях. Важно только понимать, что попытки зарегулировать живые реальные цены в соответствии с теми или иными надуманными построениями, с очередными «универсальными принципами» ничего, кроме вреда, принести не могут. Слишком мало знаем мы о такой сложнейшей общественной взаимосвязи, какой является цена, слишком примитивны наши теоретические представления о ней.

Почему бы, кстати сказать, теоретикам ценового конструирования не проверить свои схемы для начала на ценах мирового рынка? Ведь до сих пор ни на Западе, ни у нас нет моделей, которые бы со сколько-нибудь приемлемым уровнем точности объясняли (прогнозировали) динамику ценовых соотношений на свободном рынке. И разве не ясно, что научно обоснованный подход к установлению цен в нашем хозяйстве непременно подразумевает исчерпывающее и полное познание законов динамики рыночных цен, точные представления о том, что именно они отражают, а что не отражают, что стимулируют, а что нет? Да, рыночные цены несовершенны, наши цены должны быть свободны от их недостатков, но надо же не только понять, но и точно сосчитать эти их недостатки, чтобы не повторять «ошибок» рынка при конструировании наших цен. В против-

ном случае установление цен сверху останется произволом, насилием над экономической реальностью, приведет к несравненно большим диспропорциям и издержкам, чем рыночное ценообразование.

Собственно говоря, эта проблема уже сейчас обостряется до крайности в связи с переходом на самофинансирование. С 1988 года по этой системе работают в промышленности предприятия и объединения, выпускающие около 60 процентов всей продукции. Министерства встали на путь установления индивидуальных, дифференцированных по предприятиям нормативов отчисления прибыли в бюджет, то есть фактически налогов на прибыль. Они были рассчитаны так, чтобы оставляемая на предприятии прибыль соответствовала плановым показателям, установленным для 1988—1990 годов. Скажем, Сумское НПО сдает сейчас 29 копеек с каждого рубля прибыли, АвтоВАЗ — порядка 50, КамАЗ — более 70, Магнитка и Днепропетровское объединение «Днепрошина» — примерно 85 копеек. Только Минхиммаш установил единую для всех предприятий прогрессивную шкалу налогообложения, да и то ввел при этом жесткие ограничения на размеры фондов материального поощрения и социально-культурных мероприятий, так что величина прибыли сказывается, по существу, только на фонде развития производства. А что делать? Справедливо ли устанавливать единый норматив для всех предприятий, если условия производства на них различны? Кто подсчитал, какую часть прибыли коллектив добыл «по праву», собственным пóтом, какую — потому, что его не подвели, как других, смежники, а какую — из-за того, что находится в районе, где избыток, а не дефицит квалифицированных кадров?

А как быть с дифференциацией налогов по предприятиям, выпускающим разную продукцию или даже подчиненным разным министерствам? Фонд развития производства ведь зависит от прибыли, остающейся на предприятии, следовательно, расширять производство особенно быстро будут в тех отраслях, где налоги ниже. Попробуйте определить, какие налоги нужны, чтобы при данных ценах точно удовлетворить общественную потребность и в гаечных ключах «восемь на десять», и в автомобильных прицепах, учитывая, что эти потребности взаимосвязаны не по одной, а по нескольким линиям (ключами закручивают гайки в прицепах, стальные болванки, из которых делают ключи, в этих самых прицепах перевозят и т. д.).

Продолжать не стоит. Такие вопросы можно задавать до бесконечности. И надо осознать, что ни сегодня, ни в обозримой перспективе точных ответов на них нам не получить. *Всеобъемлющее индикативное планирование того, что мы физически не в состоянии спланировать, оказывается в итоге едва ли не столь же вредным, столь же невозможным в реальности, как и всеохватывающее директивное.* На практике поэтому, вероятно, разумно использовать инструменты и директивного, и индикативного (экономического) планирования для регулирования производства только строго ограниченного ассортимента изделий. Да и то лишь в том случае, когда есть обоснованная уверенность в том, что мы знаем, сколько и каких именно изделий требуется, или когда есть такая же уверенность в том, что рыночные цены окажутся худшим регулятором.

Иными словами, нам нужно не то, или другое, или третье, а и то, и другое, и третье *одновременно.* Все дело, однако, в том, каким должно быть это сочетание и того, и другого, и третьего, в каких пропорциях следует соединить в едином хозяйственном механизме директивный план, индикативный план и рыночную самонастройку.

ТАК КАКОЙ ЖЕ ПЛАН НАМ НЕОБХОДИМ?

Вернемся теперь к вопросу, с которого начали: все-таки какой план нужен социализму и нужен ли вообще? Очевидно, нужна такая система, которая лучше всего соответствует природе социализма и его высшей цели — обеспечению максимального благосостояния и полного всестороннего развития всех членов общества.

Выбор труден. Речь здесь идет не только о чисто экономической эффективности, но и о духовных ценностях, об окружающей нас природе, о наследстве, которое мы оставим будущим поколениям, о социальной справедливости, наконец. Тот же Л. В. Канторович, между прочим, всю свою жизнь занимавшийся оптимумом, поисками наилучших вариантов, говорил, что предпочел бы неоптимальное состояние, но зато удовлетворяющее принципам социальной справедливости. У каждой системы регулирования есть свои плюсы и минусы, и в этом тоже надо отдавать себе отчет.

Чисто рыночное регулирование сопряжено с большей и не всегда оправданной социальной дифференциацией, плохо обеспечивает экономически рациональные решения, когда дело касается долгосрочных проектов, которые нельзя оценивать, руководствуясь лишь сиюминутной выгодой, не всегда эффективно в таких сферах, где создается уникальная, неповторимая, невоспроизводимая продукция. Взять хотя бы фундаментальную науку: все великие открытия делались не в расчете на прибавку к зарплате, хотя внедрение результатов прикладных исследований в производство действительно лучше идет там, где дело поставлено на коммерческую основу.

Наконец, рыночное регулирование в современных условиях неизбежно сопровождается ростом цен. Свободный, немонополизированный рынок — это далекое прошлое, XIX век, да и, строго говоря, даже тогда он не был совершенно свободным. Существующие сейчас на Западе и во всем мире рынки в той или иной степени монополизированы, поделены между несколькими крупнейшими производителями, так что цена образуется не только под влиянием свободной игры рыночных сил, но и в результате монополистического соглашения, даже если оно и не оформлено.

В нашей экономике уровень монополизации чуть ли не высший в мире. Во многих отраслях конкретную продукцию выпускают всего одно-два предприятия-монополиста. В самом деле, сколько всего заводов производят у нас сталь, автомобили, тракторы, подшипники и т. д.? Да все они нам известны из газет, их в буквальном смысле слова можно в каждом случае сосчитать по пальцам. Швейные машинки, те вообще производит один-единственный подольский завод, и нетрудно представить себе, как подскочат цены на «Чайки», если в обстановке нынешнего дефицита их перестанут устанавливать сверху.

Но это только одна сторона. Другая же состоит в том, что социально-экономические системы или системы планирования, вообще не связанные ни с какими издержками, человечеству, к сожалению, до сих пор не известны. Все плохо, все несовершенно — и директивное планирование, и индикативное планирование, и рыночная самонастройка. Но каждая из этих систем имеет свои, хотя и ограниченные, но плюсы. И других механизмов регулирования хозяйства в нашем распоряжении все равно нет — их просто не существует в природе. Как бы сильно нам ни хотелось организовать все рационально, без потерь, как бы страстно мы ни желали пригнать друг к другу без малейшего зазора все кирпичики экономического здания, это пока не в наших силах. Об издержках нашей нынешней системы директивного планирования, в том числе и таких, которые принимают форму вполне осязаемых материальных потерь от плохой специализации, чрезмерной запасо- и фондоемкости производства, уже говорилось. Одни только эти потери в несколько раз больше тех, которые существуют в любой рыночной экономике.

И в конце концов ведь чисто экономическая эффективность тоже имеет далеко не последнее значение. В одной из фантастических повестей А. и Б. Стругацких нарисована примечательная картина экономического вытеснения капитализма социализмом: «прославленные империи Морганов, Рокфеллеров, Круппов, всяких там Мицун и Мицубиси» лопнули, не выдержав конкуренции более дешевых товаров, производимых в социалистических странах, и «уже забыты»; только в обеих Америках, где «еще имеют хождение деньги», осталось «несколько миллионов упрямых владельцев отелей, агентов по продаже недвижимости, уны-

лых ремесленников», сохранились «солидные предприятия по производству шикарных матрасов узкого потребления... да и те вынуждены прикрываться лозунгами всеобщего благоденствия». Такая весьма далекая от сегодняшней реальности ситуация — заветная мечта любого экономиста-марксиста — своего рода нэп в глобальном масштабе, чисто хозяйственная, коммерческая победа социализма над капитализмом, основанная именно на более высокой эффективности производства в плановой системе.

Производительность труда, по мысли Ленина, есть самое важное, самое главное для победы нового общественного строя: «...социализм требует сознательного и массового движения вперед к высшей производительности труда по сравнению с капитализмом... Социализм должен *по-своему*, своими приемами — скажем конкретнее, *советскими* приемами — осуществить это движение вперед»[1]. Советские приемы планирования, следовательно, должны обеспечивать наивысшую эффективность производства. И если мы хотим, чтобы так действительно было, у нас нет другого пути, как отказаться от директивного планирования большей части производства, ибо оно сейчас явно неэффективно.

С чисто теоретической точки зрения, хороший, сбалансированный по всем статьям план лучше рынка. Но... Конечно, рынок ошибается, равновесие на нем устанавливается только через неравновесие, через постоянные отклонения от равновесия. Но рынок и самонастраивается, он постоянно тяготеет к состоянию равновесия, тогда как несбалансированный директивный план вообще исключает движение в сторону равновесия. Несбалансированный план поэтому много хуже рынка, сопряжен с гораздо большими потерями, чем рыночное авторегулирование.

Порой кажется, что если усилить плановую службу, улучшить ее работу — принять постановление о повышении сбалансированности и научной обоснованности планов, увеличить штат Госплана и Госснаба, форсировать внедрение в снабженческих конторах электронно-вычислительной техники и т. д.,— то можно наконец будет все увязать в рамках централизованного плана. На самом деле это именно иллюзия, видимость, стереотип мышления, сложившийся у нас в последние полвека, на протяжении которых мы и представить себе не могли ничего, кроме директивного плана. Номенклатура продукции исчисляется теперь не тысячами, а уже десятками миллионов, и роль главного посредника между производителями и потребителями может сыграть только рыночный механизм саморегулирования.

Простой здравый смысл подсказывает, что планировать и директивно (определять объемы производства), и индикативно (определять цены) следует никак не более нескольких сотен видов важнейшей продукции: это именно то количество, которое мы в самых благоприятных обстоятельствах можем физически обсчитать при современном уровне знаний, развития техники сбора и обработки информации. Вся остальная продукция вообще не должна планироваться — ни директивно, ни индикативно, ибо мало-мальски обоснованно спланировать ее невозможно, а необоснованное планирование обходится намного дороже, чем рыночная самонастройка.

Во всех отраслях хозяйства нам сейчас как воздух нужны предприятия — и мелкие, и крупные,— работающие *без всякого спускаемого сверху плана*, просто по договорам и подрядам с другими предприятиями и организациями. Такие предприятия, действующие на началах полного коммерческого расчета, могут быть и индивидуальными, и кооперативными, и государственными. Реализуя продукцию и предоставляя услуги по договорным ценам, они смогли бы «заткнуть» многочисленные «дыры» в нашем несбалансированном хозяйстве, «расшить» многие узкие места, устранить дефициты по пресловутой «мелочевке», особенно раздражающие всех. Снабжаться такие предприятия должны тоже без нарядов и лимитов — через оптовую торговлю сырьем, комплектующими изделиями, оборудованием. Короче, нам нужен полноценный рынок — свободная про-

[1] В. И. *Ленин*. Полное собрание сочинений, том 36, стр. 178.

дажа, а не поставка продукции в счет выполнения плана, свободные закупки ресурсов, а не их распределение из центра.

Сейчас мы вступаем в решающий этап перестройки планирования: решено, что с начала 1988 года от 30 до 50 процентов продукции предприятия в обрабатывающих отраслях будут планировать самостоятельно, без указаний сверху, что и в каких количествах производить. Это радикальнейшая перемена: ничего подобного мы не знали более полувека. Важно теперь, чтобы дело не ограничилось полумерами, чтобы сопротивление министерств, ведомств и местных властей не свело в очередной раз через инструкции и циркуляры радикальные решения к еще одному «совершенствованию» существующего механизма планирования. Важно при расширении хозяйственной самостоятельности предприятий (и не «при одновременном укреплении роли централизованного планирования», а именно за счет ограничения его сферы), при переходе от фондируемого снабжения к оптовой торговле *параллельно* вводить плавающие, гибкие договорные цены, прекращая практику их декретирования сверху. Важно, наконец, твердо осознать, что радикальность перестройки планирования состоит именно в том, чтобы отказаться от централизованного директивного планирования и фондирования не только «мелочевки», но главной, преобладающей части выпускаемой продукции, чтобы одновременно прекратить устанавливать сверху (дерегулировать) цены на товары и услуги, составляющие основную часть оптового и розничного оборота.

И еще об одном. У нас много пишут о том, как надо перестроить экономический механизм, чтобы обеспечить и рост эффективности, и социальную справедливость, выдвигают многочисленные проекты идеальной организации хозяйственной жизни. Ни в коей мере не стараясь преуменьшить важность подобных разработок, отметим, что при этом все же часто упускается из виду одно простое соображение: советская экономика — сложившийся организм, обладающий собственными внутренними закономерностями функционирования и развивающийся во многом независимо от благих пожеланий экономической науки и самых совершенных и рациональных рецептов переустройства хозяйственного механизма.

Разве мало в истории примеров, когда благородные и возвышенные идеалы, прогрессивные и разумные устремления отдельных личностей и даже больших социальных групп так и оставались только идеалами и устремлениями, не находя практического воплощения? К худшему или к лучшему, жизнь в целом, и экономическая жизнь в частности, имеет свойство идти своим чередом, отбирая из бесчисленных реформаторских идей только те, которые подходят ей в данный момент и в данном месте.

Совсем недавно наша неспособность как-то повлиять на сложившийся ход вещей была особенно заметной. «В плановом, по идее, государстве мы давно развиваемся стихийно... Планы проштамповывают развитие инерционное, фиксируют то, что катится само собой, из пятилетки в пятилетку». Эти слова известного нашего экономиста, члена-корреспондента АН СССР Н. Я. Петракова как нельзя более точно отражают суть дела, ибо нет ничего более анархичного, чем несбалансированный план. Стихийность, анархия не означают в данном случае, разумеется, отсутствия закономерностей, но определяют форму, характер действия экономических законов. Они реализуются не через указания и предписания плановых органов, но помимо них, а часто и вопреки им.

Плановики считали, что могут все, что именно они определяют направления развития экономики и регулируют ее многообразные пропорции и зависимости. На самом же деле не было ничего более далекого от истины. Результаты действий плановых органов были трудно предсказуемы, а порой и прямо противоположны ожидавшимся. Система оказалась могущественнее плановиков: не они вели ее за собой, а она их. Как и всякий сложный организм, закономерности развития которого плохо изучены, экономическая система поглощала, растворяла в себе предписания и запреты директивных органов, продолжая жить своей собственной жизнью, двигаться своим, только ей известным путем, смывая или в крайнем случае огибая, подобно могучей реке, все воздвигавшиеся препятствия.

До сих пор мы очень мало знаем о реальных, «всамделишных», а не приду-

манных в кабинетах политэкономами закономерностях развития административной системы, которая более полувека была не то что частью, но главным стержнем всей нашей жизни. Между тем достаточно очевидно, что индустриализация за счет сельского хозяйства, «перегибы» коллективизации, агрессивная нетерпимость ко всем рыночным, товарно-денежным отношениям и многое другое — это не следствие злого умысла одного человека или даже какой-то социальной группы, но объективные закономерности становления административной системы, обнаружившиеся, кстати сказать, впоследствии в бо́льших или меньших масштабах и в других социалистических странах. Хозяйственные диспропорции, рост запасоемкости и недогрузки производственных мощностей, ориентация на получение сиюминутной выгоды за счет перекладывания издержек «на потом», опережающий рост оптовых цен на готовые изделия в сравнении с ценами на промышленное и сельскохозяйственное сырье, изъятие прибавочного, а иногда и необходимого продукта из сельского хозяйства в пользу промышленности и опять-таки многое другое — это тоже объективные закономерности, правда, уже не становления, а функционирования и развития административной системы. И наконец, видимо, не менее закономерно и то, что только на определенном этапе своего развития административная система исчерпывает себя, саморазрушается, заменяется такой, которая основана на экономических стимулах или рыночной самонастройке.

Почему все так складывается? Почему? До сих пор этот вопрос остается без исчерпывающего ответа.

Точно так же развертывающаяся перестройка, как и всякий социально-экономический процесс, имеет свои закономерности, и понимаем мы их пока очень плохо. Много ли мы знаем, к примеру, о механизмах торможения, кроме того, что они существуют, очень сильны и связаны главным образом с бюрократией? А ведь наш собственный опыт в этом отношении едва ли не самый богатый в мире. Как 10, так и 20, и 30 лет назад были среди экономистов такие, кто серьезно анализировал диспропорции и издержки административной системы, убедительно доказывал необходимость широкого внедрения экономических стимулов и рыночных механизмов. И если административная система все эти годы не слишком изменялась, то виной тому отсутствие не идей, но действенных возможностей воплотить их в жизнь. В экономике, как и в технических науках, самым слабым звеном неизменно оказывался именно этап внедрения.

К сожалению, ограниченные, контролируемые сверху масштабы дискуссий и административные методы решения научных разногласий, худосочная статистика и запреты на исследования многих кардинальных проблем, искусственно воздвигнутые барьеры на пути международного обмена идеями и пренебрежительное отношение к западным экономическим исследованиям, как к сплошь вульгарным и апологетическим,— все это не могло не сказаться на развитии экономической науки, имеющей, как и всякая другая, мировой характер. Но сказать, что ученые-экономисты только в долгу перед народом, все-таки нельзя, ибо во все времена были исследователи, предлагавшие и хозяйственный расчет, и самофинансирование, и экономические методы управления. Основная, главная наша беда в том, что их предложения не реализовывались, не осуществлялись на практике. И не по их вине.

Сейчас, когда постепенно рассеивается туман, покрывавший долгое время важнейшие периоды развития биологии и истории, кибернетики и генетики, хочется надеяться, что будет написана и правдивая, полная история отечественной экономической мысли. А если уж говорить, кто у кого в долгу, то, наверное, плановики и работники разных «аппаратов» перед учеными-экономистами. Кто свел на нет в свое время экономическую реформу 1965 года, кто подрубил на корню щекинский метод, да мало ли примеров? Даже тогда, когда хорошие решения принимались «наверху», они неизменно выхолащивались, спускаясь по ступенькам бюрократической пирамиды, так что если и доходили до предприятий и организаций, то в крайне урезанном виде.

Еще в 1961 году, например, вышло постановление Совмина о переводе на хозрасчет отраслевых научно-исследовательских организаций — главного сектора нашей науки, в котором занято сейчас около 700 тысяч человек, то есть почти половина всех научных работников. Прошло четверть века — огромный срок, за который молодые папы успели стать дедушками. Было принято еще 70 (!) всевозможных положений и инструкций по «развитию и углублению хозрасчета» — о создании в НИИ фондов экономического стимулирования, о расширении прав руководителей и т. д.,— но по существу ничего не изменилось. Сейчас мы снова говорим, что хозрасчет в отраслевой науке остается формальным, что его надо сделать реальным, а те, кто знаком с проблемой, знают, что до сих пор просто не выполнено то, самое первое постановление четвертьвековой давности. Более 25 лет хорошие идеи «гуляют» по инстанциям, признаются интересными, нужными и полезными, но никак не могут воплотиться в повседневную хозяйственную жизнь.

А с каким трудом идет уже в наши дни создание кооперативов, индивидуальных предприятий, совместных фирм с участием зарубежных партнеров! То и дело все упирается в какие-то древние инструкции, запрещающие, скажем, регистрировать грузовые автомобили, принадлежащие частным лицам и кооперативам, обращать средства на безналичных счетах в наличные деньги, применять при аттестации продукции международные стандарты вместо отечественных ГОСТов. Инструкции эти «никто не отменял», а толковать их зачастую можно и так и этак.

В прошлом году планировалось, что госзаказ будет охватывать только 50—70 процентов продукции предприятий обрабатывающей промышленности. На деле же в целом по промышленности на госзаказ пришлось 82 процента производства. В ряде случаев министерства продолжают планировать даже внутризаводской оборот, то есть изделия, производимые для собственного потребления, а не для поставок на сторону. В госзаказ включили даже товары народного потребления и бытовые услуги населению на том основании, что надо якобы обеспечить баланс денежных доходов и расходов. Этот аргумент звучит прямо-таки как насмешка: будто раньше удавалось в плановом порядке состыковать спрос и предложение, денежные доходы и расходы населения...

Все это лишний раз свидетельствует, что необходим серьезный, свободный от эмоций, трезвый и всесторонний анализ и нашего прошлого, и нашего настоящего, прежде всего анализ механизма торможения. Слишком долго мы ждали перемен — нельзя допустить, чтобы сейчас мы погубили дело из-за «мелочей». Ошибки, естественно, будут, их не может не быть, но тем важнее избежать тех, которые мы в состоянии предвидеть. Праздничнo-маршевый, шапкозакидательский тон, нет-нет да и проскальзывающий в отдельных выступлениях (наметили — значит, выполним), здесь не менее вреден, чем пессимизм. Такой подход, по сути дела, ничем не отличается от бытовавшего когда-то представления о возможности «перевоспитать» овес в пшеницу, повернуть реки вспять или «отменить» закон стоимости.

Нужен анализ, по возможности точное понимание того, чего мы можем, а чего не можем достичь принимаемыми мерами. Скажем, нереально ожидать, что, заменив план по номенклатуре нормативами, мы сможем избавиться от нынешней несбалансированности экономики. Установление из центра, только сверху всех цен и нормативов едва ли не так же неэффективно, как всеобъемлющее натуральное планирование. Нам неизбежно придется двигаться дальше — к рыночной самонастройке, которая тоже будет связана с определенными издержками — с ростом цен и не всегда оправданной дифференциацией доходов, например, но которая тем не менее сулит куда бо́льшие выгоды и неизмеримо меньшие потери в сравнении с тем, что мы имеем сейчас.

И надо также понимать, что стопроцентный идеал сегодня невозможен даже в теории, что идеал «любой ценой» — уже не идеал, что поэтому следует думать не о полном устранении всех несправедливостей, потерь и издержек (это нереально), но о соотношении плюсов и минусов, затрат и результатов в самом широком смысле.

Ю. Золотов,

академик

ИЗ АМЕРИКАНСКИХ ТЕТРАДЕЙ

В Европе все берутся описывать теперешних американцев и любят это занятие.

Джон Стейнбек.

У автора, занимающегося наукой, было довольно много зарубежных командировок, в том числе в Соединенные Штаты. За первую месячную поездку в 1975 году взятая с собой толстая тетрадь была полностью исписана. Потом что ни командировка, то своя тетрадь. Долгая поездка — объемистый дневник, короткая недельная — и дневничок жидкий. За двенадцать лет накопилось немало таких отчетов «для себя». В конце концов получились записки: Америка глазами научного работника.

«Когда все время колесишь по стране,— писал Эрскин Колдуэлл,— переезжаешь с места на место, это дает простор наблюдениям — меняется климат, меняются люди вокруг, видишь этих людей и за делом, и на досуге, что позволяет судить о многом. Но в положении странствующего наблюдателя есть и обратная сторона: ведь несколько часов, пусть даже несколько дней — срок слишком ничтожный, чтобы как следует узнать человека, сойтись с ним на короткую ногу». Эти слова можно было бы взять вторым эпиграфом к записькам. Написал их Колдуэлл о путешествии по Соединенным Штатам. Но Колдуэлл ездил по своей родной стране, где он был одним из крупнейших писателей...

I

...Если американец заостривает только кончики, так он знает это дело лучше всех на свете, но он может никогда ничего не слыхать про игольи ушки. Игольи ушки не его специальность, и он не обязан их знать.

В. Маяковский.

Узкая полоска земли, на которой в ряд стоят роскошные гостиницы и пансионаты. Под окнами — обширнейший песчаный пляж. Конец апреля, сезон еще не открылся, на пляже пусто. Привлекательная молодая женщина вышла из нашего отеля «Коновер» и побежала вдоль пляжа. Она в кроссовках, одета по-спортивному, ветер треплет волосы. Вдали еще какая-то фигура. Мы идем к воде, в некоторой нерешительности пробуем ее и — была не была — грудью на океан. Однако богатыри не мы, вода, по московским меркам, оказывается довольно теплой.

В Майами-Бич на выброшенный в море, вытянутый с севера на юг кусок американского континента, мы только что приехали.

Пляжа раньше фактически не было, его насыпали несколько лет тому назад; сделали с американским размахом: ширина сто метров, длина шестнадцать километров, стоимость (а это в Америке указывают всегда) шестьдесят четыре миллиона долларов. Из гостиницы идем к морю в плавках и пляжных туфлях; так это здесь и предусмотрено.

Когда на другой день мы рассказывали коллегам-американцам, что в день приезда дважды успели искупаться, кто-то из них съязвил: «Так это же русские медведи, они холода не боятся».

В Майами-Бич мы приехали — вдвоем — на сессию Американского химического общества; предстояло делать доклады. Два дня перед этим мы провели в Нью-Йорке.

Десять лет назад я перемещался в прямо противоположном направлении — из Флориды в город Итаку, штат Нью-Йорк. Из влажной жары, когда одежда прилипает к телу,— в город с пронзительным северным ветром и колючим снегом. Ноябрь. На нас были в ту пору плащи и странного вида шапочки. Помнится, как, поселившись в гостинице, мы решили пройтись по городу. Подняли воротники, замотали шарфами шеи, шапки опустили на глаза и уши и... вошли в небольшой ювелирный магазин.

За прилавком был один продавец. Глаза его тревожно забегали. Видимо, он незаметно нажал какую-то кнопку, из глубины магазина появился второй человек, судя по всему, владелец. Он смотрел выжидающе и настороженно.

Настоящие гангстеры, наверное, сразу приступают к делу, мы же незапрограммированно тянули — стали осматривать витрину. Зачем пришли в магазин, не помню, но витрину смотрим — так и просится словечко Зощенко — индифферентно. Индифферентно разглядываем кольца, браслеты и золотые цепочки. Владелец и приказчик, напряженно ожидавшие, когда же мы выхватим пистолеты, потихонечку начали оттаивать. Мой спутник, профессор С. Б. Саввин, попросил что-то показать и — мы уже почти вошли в доверие — ему, поколебавшись, показали. К тому же по нашему не первоклассному английскому они поняли, конечно, что мы, если и грабители, то не свои, а «все лучшее — в Соединенных Штатах». Если мы и бандиты, то, похоже, не такие опытные. Можно представить себе, как эти лавочники утирали пот, когда мы, наконец, закрыли за собой двери, так, разумеется, ничего и не купив.

В этот раз все наоборот — улетали из Москвы в конце апреля, оделись не для тропиков, из аэропорта ехали в шерстяных костюмах, которые здесь, как доха эскимоса. И — хорошо прогретый песок дорогостоящего пляжа, ухоженные пальмы, ярое солнце и голубой — боже, как банально,— действительно голубой Атлантический океан. Поэтому сразу перешли на местную форму одежды — летнюю и совершенно не парадную.

В отеле «Иден Рок» (Майами-Бич) небольшой прием для группы участников сессии. Несколько мимолетных встреч. Сегодня начало конференции. Работал в нескольких секциях, был на выставке химических приборов, аппаратура великолепная и очень разнообразная. Нас пригласили на ужин Джеймс Навратил и Стив Кертес, организаторы симпозиума, на котором предстоит делать доклады. Много говорили. Борис Федорович Мясоедов — это мой коллега — в числе прочего спросил, что они думают о планах «звездных войн». Навратил отмолчался, Кертес сказал, что он одобряет планы, поскольку они обеспечивают большую занятость. Навратил вместо политических дискуссий предложил мне подготовить книгу для задуманной им серии монографий.

Майами хорошо смотрится с моря или из Майами-Бич. В городе много интересных зданий, среди них выделяются новые постройки архитектурной фирмы «Арквитектоника». Здание «Атлантис» на Брикелл-авеню с огромной, в четыре этажа, дыркой, через которую видишь небо. В проеме, на уровне десятого этажа, небольшой бассейн! На крыше огромный красный треугольник; само здание — сплошное стекло, но на высоте четвертого этажа большие выступы тоже треугольной формы. Та же фирма спроектировала и самое высокое здание Майами «Палас», в нем сорок один этаж. Издали видна и еще одна архитектурная достопримечательность города — длинное красного цвета сооружение на двух рядах колонн; его назвали Вавилоном, этажи расположены уступами.

В сессии химического общества участвует Гленн Сиборг, лауреат Нобелевской премии.

В США нобелевских лауреатов больше, чем в любой другой стране. Из 59 Нобелевских премий по химии, присужденных с 1945 по 1984 год, 24 получили американцы.

Как это у них выходит, в чем причина?

Вероятно, все-таки не в том, что большая часть ученых и инженеров — мужского пола (женщин — двадцать процентов). И не в том, что научным работникам в США неплохо платят. Чтобы подойти ближе к реальным причинам успеха американской науки, вспомним, что научным работником в Соединенных Штатах стать нелегко, требуется преодолеть много барьеров. Для этого нужны как минимум способности, трудолюбие, некоторая нестандартность. Ученые, с которыми мы общались, хорошо подготовлены, глубоко знают свою область, много читают по специальности. Правда, иногда страдают узостью. Приведенные слова Маяковского (из книги «Мое открытие Америки») в какой-то мере относятся и к ученым. Философское мышление и широта интересов, испокон веков отличавшие русского интеллигента, не столь типичны для интеллигента американского.

«Наука, конечно, интернациональна,— писал в 1925 году наш историк химии М. А. Блох.— Она представляет собой плод общечеловеческой мысли, пути и методы исследования и ход мышления одинаковы для каждого естествоиспытателя, к какому бы народу он ни принадлежал, но в эту общую работу человеческой мысли каждый народ вносит некоторую характерную особенность, присущую особенностям исследователя. Одною из характерных особенностей русского ума является широта обобщения, полет творческой мысли. История науки... показывает нам, что русские ученые самобытно подходят к разрешению ряда проблем, что они умеют отвлечься от старых форм, но за нарушение шаблона им иногда довольно долгое время приходится стоять совершенно одиноко, пока методическое и систематическое исследование, большей частью других народов, не заполняет новыми фактами и идеями этот пробел, который образовался оттого, что их идеи опередили современный им век».

Здесь многое верно, примеры так и просятся на бумагу, но это отвлекло бы нас. Разве что один. Русский ботаник и биохимик Михаил Семенович Цвет предложил в 1903 году новый метод разделения смесей веществ, который он назвал хроматографическим. Сам автор широко пользовался этим методом, публиковал статьи, но отклика не получил или почти не получил. М. С. Цвет умер в 1919 году, а в тридцатые годы метод «разглядели» за рубежом. Его стали использовать, появились новые варианты, за них были присуждены Нобелевские премии. Сейчас это один из самых важных и распространенных методов анализа. А

М. С. Цвет Нобелевской премии не получил, хотя был ее безусловно достоин. К счастью, заслуги Цвета как первооткрывателя хроматографии теперь признаны во всем мире.

Однако вернемся за океан. Профессор Сиборг был в числе тех, кто впервые получил целую группу трансурановых элементов — от плутония до менделевия,— и вместе с другими учеными показал, что плутоний может служить ядерным горючим. Был председателем Комиссии по атомной энергии США, неоднократно приезжал в нашу страну, избран иностранным членом Академии наук СССР. Жизнь Сиборга связана с западным побережьем, он профессор Калифорнийского университета в Беркли, работает здесь в знаменитой Радиационной лаборатории имени Лоуренса.

Я побывал в лаборатории у Сиборга при несколько необычных обстоятельствах.

В 1980 году мы провели с Б. Ф. Мясоедовым месяц в США. Время было не самое удачное, период «санкций». Президент Дж. Картер на фоне событий, связанных с Афганистаном, вводил одно ограничение за другим. В нашей программе, составленной в Москве и посланной на согласование с Национальной академией наук США, значилось посещение двух крупных атомных лабораторий: Окриджской в штате Теннесси и Лоуренсовской в Калифорнии. Их из нашей программы исключили. Однако вместо Окриджа нам предложили посетить университет в городе Ноксвилл, примерно в тридцати километрах от атомного центра. Это Национальная академия сделала, видимо, с расчетом. Те ученые, с которыми мы должны были встретиться в Окриджской национальной лаборатории, приезжали в течение нескольких дней в Ноксвилл и там спокойно с нами беседовали. Более того, на территории университета был организован семинар с нашими докладами, в котором приняли участие специалисты-атомщики. Одним словом, и Национальная академия наук, и тем более коллеги из Окриджа (куда, кстати, раньше советских ученых относительно легко пускали) постарались максимально уменьшить последствия официального запрета.

Еще дальше в этом отношении пошел Сиборг. На посещение Лоуренсовской лаборатории тоже, как я сказал, в Вашингтоне было наложено вето. В программе, однако, сохранилось посещение Калифорнийского университета в Беркли (в Калифорнии несколько университетов, и в Беркли один из самых известных), где нас принимали на химическом факультете. Это известный научный центр, богатый традициями и нобелевскими лауреатами тоже.

В Беркли Сиборг работает с 1934 года. Были, правда, перерывы. Начиная с 1942 года в течение четырех лет Сиборг находился в Чикаго, участвовал в Манхэттенском проекте создания атомной бомбы, а в 1961—1971 годах был в Вашингтоне на посту председателя Комиссии по атомной энергии. Занимал он еще много других важных постов.

Так вот, Сиборг пренебрег запретом госдепартамента. Сотрудники химического факультета сообщили, что именитый профессор готов принять нас в Лоуренсовской лаборатории. Правда, ненадолго, с визитом скорее вежливости, чем деловым. Поскольку и я, и Борис Федорович прежде уже были в лаборатории, сейчас для нас эта протокольная сторона имела большое значение. Разговор был непродолжительный, мы сфотографировались. Как не сфотографироваться с такой знаменитостью! Перед нами был старый человек; Сиборгу еще не исполнилось и семидесяти, но глаза у него были погасшими. С такими глазами, подумал я, открытий не сделаешь.

...Самый высокий уровень. Нобелевские лауреаты. Прекрасно оборудованные лаборатории. Но как не сказать тут, что, по нашему впечатлению, общая подготовка средних американцев не очень уж хороша.

Много ли они, например, читают?

Между Беркли и Сан-Франциско действует специальная железная дорога, в основном подземная, ее называют «Барт». В «Барте» или метро другого города редко увидишь людей с книгой. Кто-то просматривает газету, листает иллюстрированные брошюры. В сравнении, скажем, с Японией и, конечно, с нашей страной очень заметная разница. По данным журнала «Ридерс дайджест», в 1985 году 27 миллионов взрослых американцев были практически неграмотными, а это почти каждый пятый житель США. Сорок пять процентов жителей этой страны заявляют, что они никогда не читают книг; 39 процентов американцев никогда не ходят в кино.

В Ноксвилле мы говорили с американцем, преподавателем русского языка. Он был по одну сторону большого письменного стола, мы — по другую. Хозяин сидел, развалившись в кресле и положив ноги на стол. Подошвы его ботинок не были прямо перед нашими глазами, но мы непроизвольно бросали на них взгляды. Речь шла о русской советской литературе. Профессор Фален знает Пастернака, Бабеля, Булгакова, Белого, Гладкова, но не слышал о Константине Симонове и Валентине Распутине...

В американских газетах сообщалось, что большинство учащихся старшего класса одной из школ Майами не смогли показать на карте, где расположен их город. Многие даже не знали, что Майами во Флориде. Журнал «Ньюсуик» опубликовал письмо одного преподавателя колледжа, который жалуется, что многие его студенты считают, будто Эйзенхауэр был президентом США в XIX веке, а Ленинград находится на американском континенте. Простого, мало читающего американца кормят эрзацами; карманные книжки с яркими обложками, среди которых попадаются и шедевры, в массе своей — чтиво. В этих книгах в основном убивают или от первой до последней страницы занимаются любовью. «Если у нашего народа,— писал Джон Стейнбек,— настолько атрофированы вкусовые луковицы, что он не только мирится с безвкусной пищей, но и предпочитает ее всякой другой, то что сказать об эмоциональной стороне его жизни? Или эмоциональная кормежка кажется ему пресной и он приперчивает ее садизмом и сексом, черпая то и другое из дешевых книжонок?»

П

В штате Флорида девять университетов, я знаком с двумя.

Государственный университет штата Флорида — в Таллахасси, главном городе этого штата. Столица невелика, вместе с округой 125 тысяч жителей. Университет по американским понятиям довольно старый, основан в 1857 году. Он включает колледж наук и искусств, это, по-нашему, естественнонаучные факультеты. Кроме того, в университете есть факультеты связи, криминалистики, педагогики, юридический, библиотечного дела, музыки, общественных наук, социологии, театра и изобразительных искусств, «домашней экономики» и управления (бизнеса).

Американские университеты многопрофильнее наших. Помимо перечисленных факультетов или отделений, в университетах часто бывают технологический, медицинский, сельскохозяйственный и другие факультеты. Иногда есть все-таки специализация. В Техасе известен университет «Эй энд эм» — «Агрикалче энд медсин», сельского хозяйства и медицины.

Химический факультет университета в Таллахасси готовит магистров и докторов по аналитической, органической, ядерной, физической химии и по биохимии. Совместно с физическим факультетом выпускает также специалистов по химической физике, а вместе с биологами — по молекулярной биофизике.

Наш хозяин в Таллахасси — профессор университета Грэгори Шо́пен.

Из дневника. У нашего старого друга Грэга Шопена праздник: он получил премию Американского химического общества, и в его честь в рамках сессии организован специальный полуденный симпозиум. Делают доклад сам Шопен и его коллеги. Мы поздравили Грэга.

В 1959 году я первый раз попал за границу. В Мюнхене проходил международный конгресс по теоретической и прикладной химии, я работал в секции радиохимии и там встретил Шопена. И у него это была первая поездка в Европу и вообще за рубеж. Вторично мы встретились в 1966 году в Швеции, на международной конференции по экстракции. В перерыве между заседаниями Шопен подошел к роялю и сыграл несколько коротких пассажей. Другой американец, профессор Фрайзер, о котором речь впереди, вышел на середину зала, показал на Шопена и громко сказал, переставив ударение: Шопе́н!

Грэг — крупный специалист по химии редкоземельных элементов, радиохимик и химик-неорганик. Маленького роста, живой, всегда с улыбкой, он очень приятен в общении. Как большинство американцев, прост и демократичен.

В числе прочих встреч Шопен организовал нам встречу с доцентом Ральфом Догерти. Молодое энергичное лицо, черная борода и усы — по моде. Он химик-органик, но у него хобби: сразу начал рассказывать о сперматозоидах. Его группа собрала недавно сперму у 132 сотрудников университета (у нас мурашки по коже), подсчитали число сперматозоидов в единице объема спермы, нашли в литературе подобные данные, полученные в США ранее, начиная с 1929 года. Вывод такой: концентрация сперматозоидов заметно снижается.

Уже не мурашки, а дрожь. Что будет с бедным человечеством?

Догерти говорит с экспрессией, показывает таблицы, графики. По цифрам вроде получается, что он прав...

С Шопеном и другими сотрудниками университета мы обсуждали проблемы организации науки в США. Грэг не раз бывал в Европе, в Японии, он может сравнивать. В целом он считает, что научная работа в Соединенных Штатах налажена неплохо.

Исследования и опытно-конструкторские разработки проводятся в организациях четырех типов. Это государственные научные учреждения, фирмы, университеты и так называемые «бесприбыльные» организации. Промышленные корпорации в Америке, ясное дело, всегда частные. Университеты могут быть и государственными, и частными. Причем лучшие, наиболее престижные (Стэнфордский, Корнеллский, Принстонский) — частные. Большинство «бесприбыльных» организаций тоже в частных руках.

Я трижды был на фирмах. В 1979 году коротко, с экскурсией, правда, научной, посетил лаборатории компании «Юнион карбайд» в Парме, недалеко от Кливленда. Химики хорошо знают эту фирму, но после трагических событий в индийском городе Бхопале, когда в результате аварии на химическом предприятии «Юнион карбайд» погибли две с половиной тысячи человек, корпорация приобрела скандальную известность во всем мире. В лабораториях изучают материалы из углерода. Показалось, между прочим, что среди сотрудников относительно много женщин — картина для Соединенных Штатов не очень типичная. Вторая фирма, которую мы изучали вни-

мательнее, находится в Калифорнии, в городе Саннивейл, недалеко от Сан-Хосе и Сан-Франциско. Компания «Дайонекс» делает ионные хроматографы, а это мой интерес. Типичная небольшая корпорация, но отнюдь не задавленная колоссами; о причинах этого чуть ниже.

Государственное научное учреждение посещал всего, кажется, однажды: Национальное бюро стандартов под Вашингтоном.

Главный редактор главного американского журнала по аналитической химии профессор Джордж Моррисон назвал аналитический отдел этого бюро «лабораторией нации». Действительно, это едва ли не крупнейший — во всяком случае, по числу сотрудников — аналитический центр США; в 1975 году в отделе работали сто двадцать человек. Был я, правда, несколько раз в так называемых федерально-финансируемых научных институтах или лабораториях, управляемых университетами. Это что-то вроде наших крупных отраслевых лабораторий при вузах. Финансируются они государством, федеральные ведомства ставят им научные задачи, но эти организации включаются в состав университетов.

Плохо знаю «бесприбыльные» научные организации. По-русски их можно еще назвать корпорациями, «не стремящимися к прибыли», или «некоммерческими» организациями. Создаются они в значительной мере по инициативе правительства для выполнения правительственных заданий или под влиянием контрактов обычных частных фирм с правительством. «Бесприбыльные» научные центры включают специализированные организации и так называемые «фабрики мысли». Первые часто осуществляют техническое руководство крупными проектами в области обороны, космоса, ЭВМ... В отличие от частных компаний организации такого типа избавлены от необходимости следить за рыночной конъюнктурой и подлаживаться к ней. В отличие от государственных учреждений деятельность «бесприбыльных» организаций не осложнена потоком указаний, мелких поручений, лишним бюрократизмом. Создают подобные учреждения обычно для выполнения проектов первостепенной важности; примером может быть «Аэроспейс корпорейшн», развивающая программы, связанные с авиацией и космонавтикой. Частные фирмы с подозрением относятся к «бесприбыльным» организациям: они ведь составляют конкуренцию в борьбе за правительственные заказы.

А «фабрики мысли» — это, по существу, конъюнктурные институты, консультативные органы; очень известное учреждение этого типа — «Рэнд корпорейшн», которое создали еще во время второй мировой войны по предложению военно-воздушных сил. К заслугам этой фирмы можно отнести разработку методологии использования ЭВМ в экономике и управлении. К некоммерческим учреждениям относятся также музеи, зоопарки, ботанические сады, питомники. «Бесприбыльные» организации финансируются государством, разного рода фондами (фондом Форда и другими), частично промышленностью.

В начале восьмидесятых годов более четырех пятых объема исследований и разработок в Соединенных Штатах выполняли государственные учреждения и промышленные фирмы. Ассигнования со стороны государства на науку и опытно-конструкторские разработки за последние годы уменьшаются, со стороны промышленных корпораций — растут.

Любопытным феноменом является успешная исследовательская деятельность в небольших фирмах, где работает менее ста человек. Такие фирмы объективно оказались более заинтересованными в создании и внедрении нового, чем крупные, которые завоевали позиции и меньше боятся конкуренции. Некоторые маленькие фирмы за счет интереса к науке, к новому в технике быстро выросли и перешли в разряд крупных, а компании «Хьюлет-Паккард» и «Ксерокс» — в крупнейшие.

Кто знает, может быть, и «Дайонекс» вырастет в гиганта...

Преобладают две формы организации научных работ — ведомственная и программно-целевая, или контрактная. Обе эти формы известны и у нас. В первом случае финансируется учреждение — институт, лаборатория. Во втором — конкретный научный проект; деньги дают под определенную цель.

Специально созданная комиссия представила в 1969 году президенту доклад о научной политике. Комиссия подчеркнула зависимость темпов экономического развития страны от масштабов фундаментальных исследований. Было рекомендовано расходовать на проведение таких исследований не менее одной десятой процента валового национального продукта, и рекомендации эти были приняты.

Университеты, в которых я в основном и бывал, получают средства на общие цели по ведомственному принципу, но обычно эти ассигнования невелики. Есть фонд, субсидирующий фундаментальные исследования, Национальный научный фонд, который предоставляет дотации для проведения таких работ. Но эти фонды небольшие, получить дотации непросто. Как правило, финансирование университетских исследований ведется по системе контрактов. Университеты имеют договора с военным и космическим ведомствами, с федеральными ведомствами по энергетике, охране окружающей среды, исследованию океана — это самые финансируемые направления.

Получают от этих ведомств деньги и, как у нас в вузах, делают для заказчика определенную работу. Проконтролировать трудно, какую часть средств потратили именно на эти исследования. Остальные деньги университетские ученые оставляют на собственные научные дела, к которым лежит душа.

Финансовые проблемы занимают много времени, много внимания. Профессора обсуждают эти дела с сотрудниками и студентами, это у них животрепещущая проблема...

Что касается кадровой политики в науке, то ее коротко и емко охарактеризовал советский науковед В. В. Дубровский в брошюре о развитии исследований в Соединенных Штатах. Он написал, что политика эта базируется на двух принципах: 1) жесткое ограничение численности при высоком уровне оплаты и 2) ориентация на талантливых людей. Наблюдения и беседы в лабораториях США убеждают в том, что вывод этот правилен. Штат невелик, зато закупают много приборов, в том числе автоматизированных, четко организуют труд, интенсифицируют его, а также используют услуги «прикомандированных» разного рода, которых нередко содержит «направившая» сторона, например, правительства развивающихся стран.

На науку и технические разработки США тратят немало. ФРГ, Великобритания, Франция и Италия, вместе взятые, расходуют на исследования и разработки меньше половины того, что тратят Соединенные Штаты. В течение последних лет доля национального продукта, ассигнуемая на исследования и разработки в США, неуклонно растет. При этом, правда, умалчивается, какая доля этих ассигнований идет на исследования и разработки в интересах Пентагона.

Кстати, в США, как и у нас, периодически обсуждают вопрос, какие исследования считать фундаментальными, какие прикладными. Конечно, мнений много. Но однажды Национальный научный фонд дал определения, их приводит П. Диксон в книге «Фабрики мысли». В соответствии с этими определениями фундаментальные исследования — изучение неизвестного; они ненаправленны; их мотивируют стремлением к знанию ради него самого. Прикладные исследования рассчитаны на удовлетворение какой-либо существующей потребности, например, на создание лекарства от определенной болезни; прикладные исследования опираются на фундаментальные исследования и, как правило, сами порождают дополнительное знание.

...За несколько дней до нашего прилета в Таллахасси Шопен разыскал нас по телефону в другом городе и сказал, что, к сожалению, он не может быть на месте во время нашего визита. Это показалось странным, так как дата была заранее с ним согласована. Шопен предупредил, что уже в день приезда нам предстоит делать доклады на семинаре. Однако, когда мы, получив чемоданы, пошли на выход в аэропорту столицы Флориды, Грэг Шопен оказался тут как тут. Никуда он не уехал, а его объяснения мы пропустили мимо ушей. Что касается семинара, все было так. Когда мы устроились в машине Шопена и двинулись в город, он спокойно спросил, можем ли мы делать доклады прямо сейчас: семинар начинается через полчаса. По тону Шопена можно было понять, что ничего экстраординарного в этом нет: самолеты летают четко, ехать до города минут двадцать, чемоданы оставим в автомобиле; одним словом, все в порядке вещей. Нам ничего не оставалось, как делать вид, что и для нас это обычное дело: прилетел и — на трибуну.

Приехали. Выступили. Получили урок американской деловитости.

Вечером Шопен пригласил нас поужинать в ресторане, но сначала заехали ненадолго к нему домой. Вилла на берегу озера, у хозяина пять лодок, две или три автомашины. Дома никого не было, мы осмотрели комнаты, немного выпили. А потом в ресторане были стейк, красное вино и разные разговоры. Узнаем, что в Таллахасси, оказывается, не один университет, а два, второй «для черных», в нем восемь тысяч студентов. После введения законов шестидесятых годов, юридически уравнявших негров с белыми, черные могут учиться и в «белом» университете, но вот белых американцев в негритянском университете почти нет, хотя тоже в принципе могут быть. Флорида — штат южный... У Шопена секретарь и одна из аспиранток — «черные»; аспирантку Пегги профессор очень хвалил — способная, трудолюбивая.

Я знаю только одного известного аналитика-негра. Джеймс Митчел — руководитель аналитического отдела лаборатории имени Белла в городе Мэррей Хилл, штат Нью-Джерси. Мы познакомились в Швейцарии, во время конференции, а точнее, оказавшись за одним столом на банкете. Он прилетел в Давос в числе очень немногих американцев, пересекших океан ради этого мероприятия. Он оказался знающим и скромным человеком. Фирма его — «Белл лабораториз» — очень известный центр, там создают новое оборудование для связи, особенно телефонной. Сотрудники лаборатории удостоены двух Нобелевских премий — за открытие и использование дифракции электронов и за создание транзисторов.

III

Из дневника. Сегодня встреча с профессором Генри Фрайзером, как всегда, приятная. Редкий человек, сколько в нем обаяния и деликатности. Сказал, что придет на мой доклад. Дома у него все в порядке: жена здорова и сыновья на подъеме, тяжело болевшая дочь поправляется. Вспомнили о моих поездках в Аризону, о его поездках в СССР. Фрайзер очень сожалел, что не смог в 1984 году принять очередное приглашение Академии наук СССР: трудно было достать деньги на такой далекий перелет.

...Первая поездка в США была ознакомительной, мы совершали ее вместе с профессором С. Б. Саввиным. За месяц

побывали в десяти городах, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Атланте. Остальные города поменьше или совсем маленькие университетские: Эймс в штате Айова, Гейнсвилл во Флориде, Атенс в Джорджии, Итака в штате Нью-Йорк. Поездка была насыщенной: сменили шестнадцать самолетов, побывали в одиннадцати аэропортах и ровно столько же раз были в частных домах.

5 ноября 1975 года. Мы в городе Тусон, штат Аризона. Здесь все зелено: вокруг пальмы и кактусы. Довольно тепло вечером и утром, днем жарко. Очень своеобразная гостиница «Аризона-инн» — в саду несколько одноэтажных домов, мы занимаем двухкомнатную половину такого дома. Одна комната очень большая — с диванами, креслами, множеством торшеров, ламп, камином, книжными полками; две ванные комнаты, гардеробная, веранда, внутренний дворик. Чем не вилла миллионера? И правда: постояльцам с гордостью сообщают, что в гостинице останавливались герцог Уиндзор и вице-президент Рокфеллер. Поселившись, обнаружили на столе вазу с цветами, в которую была вложена визитная карточка директора гостиницы.

— У вас хорошее соседство,— сказал на другой день Фрайзер.— Прямо через улицу напротив отеля живет знаменитый гангстер Джо Бонанно, один из руководителей «Коза ностра». Он «работал» в Чикаго и Нью-Йорке, теперь «на заслуженном отдыхе».

Ничего себе. Забор, правда, у Бонанно высокий, пенсионер оттуда не появлялся, да и у нас не было большого желания с ним встречаться.

Из газет. Гангстер обиделся. Джозеф Бонанно, 79-летний главарь американской мафии, подал в суд на крупное издательство «Саймон энд Шустер», требуя выплатить ему 18 миллионов долларов в «возмещение за нанесенный моральный ущерб». Чем же его обидели? Оказывается, сообщает журнал «Прогрессив», в аннотации на обложке автобиографической книжонки с претенциозным названием «Человек чести», которую недавно выпустило это издательство, Бонанно охарактеризован как «гангстер мелкого пошиба».

Тусон почти сплошь состоит из одноэтажных индивидуальных домов и занимает огромную территорию. Прямоугольная сеть улиц. Чем-то Тусон напоминает наши большие южные станицы, только почище и побогаче. Магазины, кинотеатры, заправочные станции сосредоточены фактически на нескольких улицах, но в центре группа крупных многоэтажных зданий. В городе есть магазины, работающие двадцать четыре часа в сутки; часто они называются «Сэвэн-элэвэн», «Семь-одиннадцать». Это что-то вроде нашего «в яблочко», «двадцать одно», то есть подарок судьбы, выигрыш, «повезло вам»...

Вместе с Фрайзером и его другом Эдгаром Трумэном поехали в известную астрономам лабораторию «Китт-Пик», она в горах в восьмидесяти километрах от Тусона. Дорога идет через пустыню Сонора. Никогда не думал, что пустыня может быть такой живописной, такой интересной. Беспредельная холмистая равнина неожиданно вздыбливается, бывшие вулканы образуют островки гор. Поразительно разнообразна растительность: одних кактусов множество видов, среди них гигантский древовидный «сквороу». Издали кажется, что горные склоны с этими кактусами поросли редкими деревьями почти без ветвей. Своеобразный лес. Высота кактусов до десяти — двенадцати метров, в диаметре они до семидесяти сантиметров, вес до десяти тонн, возраст — десятки и сотни лет.

От дороги метнулся койот, машина раздавила ядовитую змею, переползавшую шоссе. Населенных пунктов практически нет. Фрайзер сказал, что в этой пустыне неподалеку находится резервация индейцев папаго. Полные круглые лица, черные, прямые, длинные волосы — мы видели в Тусоне этих индейцев. В Аризоне несколько резерваций, самое крупное индейское племя навахо живет на северо-западе, на границе с Ютой и Нью-Мексико. Каждые семь из трудоспособных десяти индейцев — безработные, более половины здешних жилищ лишены электричества. В резервации ведут горные работы, но индейцев берут туда с большим трудом; среди рабочих их менее двадцати процентов.

В обсерватории нам показали самый крупный в мире телескоп для исследования Солнца.

Профессор Фрайзер родился в Нью-Йорке, учился в университете Дьюка, степень магистра у него по органической химии, степень доктора — по физической. После войны переехал в Питсбург доцентом-химиком в университет. И здесь стал одним из организаторов крупнейших в мире так называемых Питсбургских конференций, которые проводятся ежегодно уже тридцать девять лет; мы об этих конференциях еще будем говорить.

В 1958 году Фрайзер переехал в Аризону, купил дом и осел надолго, вероятно, навсегда. Стал деканом химического факультета. В значительной степени благодаря ему университет штата Аризона в Тусоне превратился в один из лучших центров аналитической химии в США.

Весьма полный, чуть рыжеватый, с не очень густыми прямыми волосами, Фрайзер часто улыбается. Трижды был в СССР, один раз в Москве на международном химическом конгрессе и дважды гостем Академии наук. Мы знакомы, кажется, тысячу лет; у меня даже есть отдельная довольно толстая папка «Переписка с Фрайзером». Это интеллигентный, тонкий, очень знающий, всем интересующийся человек; с ним можно говорить о чем угодно. Сюрреализм: ему нравится образ текущего времени на знаменитой картине Дали. Политика: бывший теперь министр обороны Уайнбергер — наиболее опасная фигура в администрации (это уже разговоры восьмидесятых годов). Языки: тут Фрайзеру нет равных в наших профессиональных кругах; когда его избрали почетным членом японского общества аналитической химии, пригласили в Японию, чтобы вручить диплом, он сделал научный доклад по-японски. Читает на русском, говорит на французском, немецком, испанском и, вероятно, еще на нескольких языках. Бывал у меня в московской квартире, один раз после ужина устроили маленькие танцы, он танцевал с десятилетней Машей, теперь ей девятнадцать, но в каждом письме Генри шлет добрые пожелания «моему замечательному партнеру по танцам». Предки Фрайзера — из еврейской семьи, жившей где-то в Восточной Европе, родители его жены Эдит — из Западной Белоруссии. У Фрайзеров трое детей, один из сыновей известный певец, и как-то Генри подарил нашему дому пластинку с песнями в исполнении сына. Второй пошел по отцовскому пути, специалист по аналитической химии. Здесь в Майами-Бич Бену Фрайзеру вручают награду Американского химического общества, в честь него устроен специальный симпозиум, Генри полон радости и гордости. Дочь — профессиональная художница, дома у Фрайзеров висят ее картины; живет, как и сын-музыкант, в Лос-Анджелесе.

Во время одной из наших последних встреч, во Франции в конце 1985 года, я сказал Генри, что наш общий друг и коллега стал у нас членом правительства, министром. Фрайзер хитро улыбнулся и сказал вежливо, что уже знает об этом. Откуда, каким образом?

— Какую газету вы считали бы «самой капиталистической» в США? — спросил он.

Я нерешительно ответил:

— Может быть, «Уолл-стрит джорнэл»?

Фрайзер обрадовался как ребенок — за меня обрадовался, сказал «молодец» (он иногда вставляет русские слова, и это слово у него в ходу). Оказывается, он прочитал о назначении советского министра в этой «самой капиталистической» нью-йоркской газете.

В конце семидесятых годов Фрайзер предложил мне подыскать нашего сотрудника, который мог бы у него поработать. Финансовое обеспечение профессор брал на себя. И вот Владимир Васильевич Багреев, мой заместитель по лаборатории, уехал в Аризону и провел там год. У Фрайзера в лаборатории интернациональный коллектив, но прежде чем отправиться в эту лабораторию, заглянем еще в одно место.

...В 1965 году корреспондент журнала «Лаффбой» взял интервью у Бриджит Бардо. «У вас репутация интеллектуалки,— спросил он.— Вы когда-либо читали Виктора Гюго?» С независимостью красотки, которая знает, чем она берет, кинозвезда ответила: «Я не уверена. А кто его написал?»

Но мы с вами несомненно читали не только Гюго, но и О. Генри.

«В двадцати милях к западу от Тусона «Вечерний экспресс» остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что, не столь для него полезное.

В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Тидбол, «Акула» Додсон и индеец-метис из племени Криков, по прозвищу Джон Большая Собака, влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий».

Так начинается рассказ О. Генри «Дороги, которые мы выбираем».

В двадцати милях к западу от Тусона или где-то совсем рядом находится теперь музей пустыни. Это гибрид зоопарка, ботанического сада, аквариума и собственно музея. Я был там дважды с интервалом в пять лет. В первый приезд много фотографировали — снимать в музее можно все, он производит впечатление; непривычные нам животные, диковинные растения, пустынные ландшафты.

Стараясь скомпоновать кадр получше, мой спутник и друг случайно сел на кактус. Иголки вонзились в его джинсы, мы их быстро вынули, но оказалось, что самые мелкие и острые прошли насквозь... Деликатная ситуация: с нами жена Фрайзера Эдит и женщина-экскурсовод. Пришлось на некоторое время уйти в туалет... Как я старался! Этот эпизод вошел в анналы аналитической химии, поскольку я, не удержавшись, рассказал его в одном выступлении в Москве.

Через пять лет в музей нас возил сам профессор Фрайзер, а сразу после экскурсии мы поехали к нему на кафедру в Аризонский университет.

Высшая школа в США являет очень пеструю картину; в стране нет единой системы высшего образования. Как уже говорилось, есть вузы государственные, есть частные. Учебные заведения подчас очень сильно отличаются учебными планами и программами, уровнем подготовки, продолжительностью обучения, размерами и уровнем расходов на обучение. Плата за учебу тоже, конечно, разная. Разумеется, вузы разнятся по уровню исследовательских работ, квалификации преподавателей. В стране нет единого диплома о высшем образовании.

Всего в США около двух тысяч вузов. Это университеты, четырехгодичные колледжи, технологические институты, «младшие» колледжи и, наконец, технические школы. Самый распространенный тип — четырехгодичные колледжи «свободных наук и искусств»; в конце семидесятых годов таких вузов было сорок

процентов, в них работала четверть всех преподавателей и профессоров. «Младшие» колледжи и технические школы похожи на наши техникумы, но дают образование, считающееся высшим. Наука представлена действительно главным образом в университетах, которые составляют десятую долю вузов США,— как, между прочим, и у нас в стране. Однако в университетах занята половина всего профессорско-преподавательского состава.

Самого высокого уровня — по масштабам научных исследований и в смысле престижа — двадцать, от силы тридцать университетов и технологических институтов, большинство — частные. Это, скажем, Гарвардский университет, Йельский, Корнеллский, Принстонский, Станфордский, Калифорнийский в Беркли, Висконсинский... Очень известны Массачусетсский (Эм-ай-ти) и Калифорнийский (Калтэк) технологические институты. Знаменитые университеты и институты не всегда крупные; в Принстоне три тысячи студентов, в Калтэке всего полторы, а есть университеты, например, в Боулдере, штат Колорадо, с 25—27 тысячами.

За разговорами незаметно добрались до города, по пальмовой аллее въезжаем на территорию университета. У Фрайзера небольшая лаборатория, фактически одна большая комната, не считая его собственного кабинета. Штата в нашем понимании почти нет: сам профессор, его секретарь, может быть, один-два ассистента. Научную работу ведут студенты, «постдоки», практиканты. В 1980 году коллектив лаборатории образовывали молодые ученые из других стран — пятеро из Японии, один из Малайзии, один из Индии; помимо Фрайзера и его секретарши, в лаборатории из 12—15 сотрудников только двое были американцами.

Очень непринужденная обстановка, тесновато, одежда на всех максимально простая и удобная, никаких галстуков. Большинство без халатов. Каждые две-три недели сотрудники и практиканты пишут отчеты, представляемые профессору. Чувствуется, что работа идет напряженная.

— Как оплачивается труд тех, кто работает у вас в лаборатории? — спросил я Генри.

— По-разному,— ответил он.— Многим плачу сам из средств, получаемых по контрактам, или из ассигнований Национального научного фонда. Некоторые живут на стипендии, предоставленную их правительствами или пославшими их университетами.

Когда настало святое время ланча, всей лабораторией пошли в небольшой ресторанчик недалеко от университетского городка — кампуса. Пиво и что-то мясное, достаточно сытное и вкусное. Мы были гостями. Нам не дали заплатить, не дали платить за нас и Фрайзеру, а все «сбросились». Атмосфера, в значительной мере благодаря Фрайзеру, была очень доброжелательной, товарищеской. Доктор Акиба из японского города Сендая через некоторое время прислал мне, уже из Японии, куда он скоро вернулся, большую пачку фотографий этого нашего визита. На снимках все улыбаются.

Лекции в Америке читают в течение одного астрономического часа. Впервые я должен был читать такую лекцию как раз в Тусоне: Фрайзер сказал, что завтра у него регулярная, по расписанию, лекция по аналитической химии, и он был бы рад, если бы прочитал ее я. Причем не обязательно на тему, которая стояла в его программе. После некоторого колебания я согласился. В сущности, получился доклад о наших московских исследованиях по экстракции металлов. После лекции Фрайзер сказал мне, что переживал больше меня, что «нзошелся» от волнения и «симпатии».

После лекции нужно было отвечать на разнообразные вопросы, подчас не имеющие отношения к теме. Служат ли наши молодые ребята в армии? Как у нас с обучением математике (девушка спросила не о математике, а о «мас», я не понял, оказалось, что это студенческий жаргон, мне пришлось сказать «пожалуйста, без сокращений», все улыбнулись)? Когда начинается специализация? Занимаются ли студенты научной работой? В большинстве вопросы были нетрудными.

Один вечер провели у Фрайзера. О домах американских профессоров хотелось бы поговорить отдельно. Фрайзер сказал, что, когда они перебрались в Аризону, их одноэтажный дом из красного кирпича стоил тридцать тысяч долларов, сейчас бы за него взяли раза в два больше. Дом километрах в пятнадцати от университета, в тихом месте. Довольно большой участок с кактусами, агавами, а также гранатами и другими плодовыми деревьями и кустарниками. В доме 5—7 комнат, в том числе маленький домашний кабинет с книгами.

Привез нас из гостиницы «Плаза» японец Ямада, работающий у Фрайзера, на своей машине, которую он купил в Тусоне за шестьсот долларов. Конечно, это подержанная машина, но на ходу; новая обошлась бы вдесятеро дороже.

Ужин, как часто на американских вечеринках, со шведским столом. Но сначала аперитив — водка, конечно, по случаю гостей из СССР. Была вся лаборатория Фрайзера, кое-кто с женами, всего человек двенадцать. Обсуждали и недавний конкурс красоты в университете. Мы видели в газетах фотографии победительниц: ослепительные улыбки, идеальные зубы, живые глаза; финалистки смотрелись даже на серой газетной бумаге.

Конкурсы красоты проводятся, как известно, на разных уровнях, вплоть до общенационального. Снимки «мисс Америка» в хорошем иллюстрированном журнале — это вам не газетные фото мисс «провинциальный университет». Вот Ванетта Уильямс, «мисс Америка» 1984 года, студентка Сиракьюзского университета в штате Нью-Йорк, изучает музыку и театр. На выборах, состоявшихся в Атлантик-Сити, жюри покорили красота, обаяние и талант Ванетты,— так, во всяком случае, писал журнал «Америка». Победительница конкурса получила поощрительную стипендию в 25 тысяч долларов и была принята в Белом доме.

Я послал домой открытку с фотографией нашей тусонской гостиницы «Плаза».

Я пошлю в Москву открытку,
вслед за нею полечу,
у заснеженной калитки
сам ее и получу.

Так писал — в несвойственной ему манере — Андрей Вознесенский, находясь в Нью-Йорке. У меня было так же: весточка, что я жив и здоров, пришла примерно через неделю после того, как я вернулся и уже порядком успел устать от институтской суеты. Конечно, открытка идет из одного мира в другой... Внутри Соединенных Штатов почта, однако, работает неплохо. В 1985 году из ста городов страны, расположенных в самых разных местах, контрольные письма в Атланту, например, пришли через 1,85 дня, в Нью-Йорк — через 2,43 дня, в Гонолулу, на Гавайи, тоже довольно быстро — за трое с половиной суток.

Но особенно хорош телефон, изобретенный, как известно, в Америке. На каждую сотню американцев ныне приходится восемьдесят четыре телефонных аппарата; в США сорок процентов всех телефонных аппаратов мира. Из любой уличной будки можно позвонить в любое место страны.

IV

В США, да и фактически во всем мире, работники науки, профессора и преподаватели по достижении определенного возраста должны уходить в отставку, на пенсию. Именно должны; это все знают, никому не обидно, на миру и смерть красна. В Японии профессор университета идет на пенсию обычно в 63 года, в США чаще всего в 65.

После этого научную работу (но не педагогическую и тем более не административную) можно продолжать в небольшом масштабе. В Соединенных Штатах известным профессорам оставляют комнату, реже — право иметь аспирантов. Есть такое звание или, скорее, должность «профессор-эмиритус», что-то вроде почетного профессора. Один-два раза я сталкивался с прямыми нарушениями этого установления: находили обходные пути. Профессор Ол Стейермарк был в течение 15 лет профессором-визитером! На визитера он, в общем, был вначале похож: проработав 33 года в компании «Хофман-Лярош», он вышел в отставку и пришел в университет имени Радгерса в Ньюарке. Профессора зачислили на должность и держали на ней до кончины в 1984 году. Стейермарк занимался анализом органических соединений и известен специалистам всего мира. Однако это все-таки исключение. Типичная картина — отставка по достижении пенсионного возраста.

В нашей Академии наук тоже было правило: нельзя занимать пост директора института после 65 лет. С оговоркой: нельзя без специального разрешения президиума Академии. Однако разрешения довольно легко давались; многим директорам уже больше семидесяти и даже больше восьмидесяти лет. В институтах также много вольностей, лабораториями часто заведуют люди не самых активных возрастов.

Стремление сочетать опыт и авторитет испытанных жизнью руководителей со смелостью и энергией молодых, в общем, конечно, оправдано. Но процесс омоложения науки протекает медленно, если он вообще протекает. Средний возраст некоторых научных коллективов не снижается, даже не остается постоянным, а растет. Авторитет и опыт аксакалов иногда, чего греха таить, сочетаются со старческим эгоцентризмом, малой трудоотдачей, слабой восприимчивостью к новому, с хворями. Следующее поколение выходит на основную сцену с опозданием, «перегоревь», самим пора уже думать о пенсии. Подчас ветераны науки — во власти давно сложившихся стереотипов. Не все способны оставаться гибкими, умеющими сомневаться, в том числе в самих себе.

Бенджамин Франклин — ученый, изобретатель, политик и просто очень умный человек — писал: «...За мою долгую жизнь... у меня бывали случаи, когда благодаря более полной информации и по более глубокому размышлению мне приходилось менять свои суждения по весьма важным вопросам, которые некогда казались мне решенными. Поэтому, чем старше я становлюсь, тем чаще склонен подвергать сомнению свою точку зрения и с большим уважением прислушиваться к мнению других».

Увы, не всегда так бывает...

Исключения привлекают внимание. На фоне старейшин химического анализа наиболее яркое явление — Исаак Кольтгоф, профессор университета штата Миннесота в Миннеаполисе. Кольтгоф — это почти легенда, сама история аналитической химии двадцатого века. В феврале 1984 года ему исполнилось девяносто лет, и несколько журналов отметили юбилей. В одной статье подчеркивалось, что уже после выхода на пенсию в 1962 году Кольтгоф опубликовал 133 научные работы, в среднем по шесть работ ежегодно. Когда ему исполнилось 85, профессор-ветеран всех поразил,

напечатав в ведущем американском научном журнале большую обзорную статью по совершенно новому направлению — новому не только для него самого, но. и для его учеников и коллег. Не без гордости он написал, что прочитал все работы, цитируемые в обзоре.

Невысокого роста, плотный, лысый — таким я запомнил его по первой встрече в Москве в 1957 году. На конференцию пригласили наиболее известных иностранных аналитиков, и Кольтгоф был самым известным. По «нему» учились многие поколения наших химиков, особенно в университетах. Учебник по количественному анализу и целая серия других, переведенных — и вовремя и с опозданием — на русский язык, были ведомы всем. Еще недавно академик О. А. Реутов, специалист по органической химии, отметивший свои 65, спросил в разговоре: «Это какой Кольтгоф? По которому я учился?» А шла речь о переводе новой книги маститого американца.

Впрочем, американцем он стал только в тридцать три года. Родился в Голландии, учился и работал в Утрехте. Там в университете выполнил первые, но очень важные и довольно многочисленные работы, написал несколько монографий. В университет штата Миннесота его пригласили как уже известного, яркого, перспективного ученого. И вот с 1927 года работает в Миннеаполисе.

Я немножечко горжусь тем, что в 1971—1975 годах одновременно с Кольтгофом был членом комитета международной организации химиков-аналитиков; изредка мы переписываемся, тем более что я занимаюсь тем самым направлением, которому был посвящен упомянутый обзор.

Однако в основном американские ученые и преподаватели относительно молоды или просто молоды. Без всяких «относительно».

Лоуренсовская лаборатория находится на склоне довольно высокой горы, откуда прекрасный вид на Беркли, Сан-Франциско и океан. Основная часть университетского городка, кампуса, лежит у подножия горы. Внизу и химический факультет, где мы встретились с американским ученым русского происхождения. Профессор Алексис Белл говорит по-русски не хуже нас, хотя он из второго или третьего поколения эмигрантов. Просто в семьях эмигрантов, мы в этом убеждались не раз, русский язык обычно сохраняют и поддерживают.

Профессор рассказывал, как закрепляются молодые люди в университете, в науке. После защиты диссертации и получения ученой степени доктора философии можно устроиться в качестве ассистента. Сотрудник получает одну-две комнаты и право проводить собственные исследования на средства по договорам либо с правительством, либо с фирмами. В этом деле ему никто не помогает. Юридическое положение не очень прочное: могут уволить. Через шесть лет он представляет университету опубликованные за это время работы, их рецензируют, часто привлекая для этого специалистов из других городов. Затем статьи и отзывы рассматриваются университетом, при положительном решении сотрудник становится доцентом. Это важная ступень: доцент в Беркли имеет право работать в университете, пока и поскольку существует сам университет.

Следующий возможный шаг — профессор. На химическом факультете в Беркли 55 профессоров, доцентов и ассистентов. Это сообщество и называется в США факультетом. Смысл слова «факультет» в русском и английском (в США) языках разный. Факультет здесь — «департамент».

Белл трижды бывал в Советском Союзе, знаком с нашими крупными специалистами в области катализа.

Русских в ученых кругах США вообще немало. В Атланте нам устроили встречу с математиком профессором Лавровым. За ланчем Вячеслав Васильевич рассказал, что родился он в Бийске, с восьми лет жил в Китае, в 1926 году молодым человеком приехал в Соединенные Штаты. Первое время было трудно, плохо знал язык, потом акклиматизировался. Он уже второй год в отставке, перед пенсией был проректором по финансовым вопросам. По-русски говорит так же великолепно, затрудняется только в использовании новообразований, вроде ЭВМ. Помню и Александра Ивановича Попова, профессора из штата Мичиган. Его судьба похожа на судьбу Лаврова. Во время гражданской войны оказался с родителями в Китае, прожил там несколько лет, затем переехал в США. С Поповым, собственно, мы познакомились в Москве: я принимал его в институте. Попову нравилось в Союзе, русский язык очень помогал ему при знакомстве со страной. В Ноксвилле декан химического факультета также наш соотечественник — Глеб Александрович Мамантов (почему-то не Мамонтов).

Русских в Штатах много, конечно, не только в науке. И очень разных русских. В одном из больших универмагов Нью-Йорка я что-то сказал своему спутнику. Обернулась пожилая покупательница и спросила по-русски:

— Ну, как дела в Союзе? Давно приехали?

Мы сразу поняли, что она тут не в командировке и не из сотрудников какого-либо советского учреждения.

— Недавно,— ответили мы.— А в Союзе все нормально.

Русский, тоже из другого, не ученого мира — Сергей Бойкан. В 1925 году его отец-хирург выехал из СССР, оказался в США. Сергей здесь и родился в 1932 году, то есть он мой ровесник. По-русски также говорит великолепно. Адвокат, содержит контору, делами доволен. Доходы — 80 тысяч долларов в год. Как член общества по опеке иностранцев он

провел с нами одно из воскресений, возил по городу и окрестностям. Был ровен, приветлив.

О наших соотечественниках за границей немало написано. Но это очень большая и богатая тема. С какими трагедиями тут приходится сталкиваться! В Вене, где много евреев, выходцев из Союза, один из них почти рыдал, говорил о том, как хотел бы вернуться обратно, о том, сколько раз обращался в консульство, писал в высокие адреса. Он страдал от отсутствия взаимопонимания и взаимопомощи, говорил, что здесь он никому не нужен и не интересен.

Большинство эмигрантов и потомков эмигрантов тянутся ко всему нашему. Они рвутся на советские выставки, спортивные выступления, часто «болеют» за нас, а не за теперешних «своих». Некоторые коллекционируют предметы, связанные с русской, советской культурой. В поезде Цюрих — Давос в Швейцарии мы оказались в одном купе с молодым австралийцем, русским по происхождению, тоже с отличным языком. Он с увлечением собирает материалы о культурных достижениях русских эмигрантов, интересно рассказал о Сергее Дягилеве. Конечно, есть и те, кто работает на «Голос Америки» или на радиостанцию «Свобода», кто ни во что не верит и ненавидит все советское.

V

Из дневника. Сегодня встретили Келлера. Встреча деловая, короткая; свиданию были рады, спросили про жену Дону и детей. А потом — он по своим делам, мы — по своим. А сколько с ним всего связано...

В ноябре 1980 года наше пребывание в Ноксвилле совпало с праздником — Днем благодарения. А праздник слился с обычным уик-эндом. Получилось три нерабочих дня. Наш хозяин доктор Лю Келлер из Окриджской национальной лаборатории воспользовался этим и решил устроить нам культурно-развлекательную программу. На первый день праздника он пригласил к себе обедать.

Его дом, стоящий шестьдесят тысяч долларов, куплен, разумеется, в рассрочку; ежемесячно Келлеры выплачивают сто двадцать долларов — и так в течение тридцати лет. Лю говорит, что за дома, которые стоят сто и более тысяч долларов, приходится ежемесячно вносить до пятисот долларов. Газеты печатают множество объявлений о продаже домов, часто с фотографиями; можно убедиться, что размер домов и их стоимость колеблются около какого-то среднего, во всяком случае в данной местности.

У Келлера сын и три дочери. Одна из дочерей — ее зовут Клэйр (Клара) — живет сейчас с родителями здесь, в Ноксвилле. Год провела на Тайване, изучала китайский. В Мичиганском университете получила степень бакалавра, в Ноксвилле — магистра. Одновременно с учебой в университете Клэйр работает в библиотеке Окриджской лаборатории, ее мечта — стать библиографом с китайским языком, работать в библиотеке конгресса в Вашингтоне.

Сам Келлер занимает видный пост, долгое время был директором лаборатории трансурановых элементов в Окридже, теперь директор химического отдела этой лаборатории...

Вообще-то мы должны ужинать у Келлеров, а не обедать. Предполагалось, что с утра поедем в горы, но погода испортилась, стало пасмурно и противно, что делать в горах в такое время? Поэтому покрутились на машине по Окриджу и окрестностям, а в промежутке заехали к Келлерам на ланч: гамбургеры, пиво и кофе.

Окридж — место знаменитое. Первая атомная бомба была сделана из урана, полученного на местном заводе. Второй ядерный реактор — после первого Чикагского, запущенного Энрико Ферми — теперь окриджский музейный экспонат. Есть большой биологический отдел со специальной фермой. Коровы с этой фермы в 1945 году были облучены при первом испытательном взрыве атомной бомбы в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Вокруг лаборатории в лесах расположены заводы, в том числе для разделения изотопов урана диффузионным методом. Мы их посмотрели снаружи; около самого большого и старого завода даже сооружена смотровая площадка; на заводе работают шесть тысяч человек. Накапливается и накапливается оружие... Зачем так много?

Праздник, почти нет машин на дорогах, да и местность такая: леса, горы. Наездившись и насмотревшись, вернулись в дом, где уже ждали Дона, Клэйр и трое приезжих с Тайваня — китайская девушка с американским именем Анита, юноша, почему-то назвавшийся тоже не по-китайски Чарльзом, и молодой человек, имени которого я не запомнил. Китайцы тут же дали справку: в местном университете учатся девяносто человек с Тайваня и пятеро из КНР. На прошлой неделе в Окридже была солидная делегация из Китайской Народной Республики.

Все собрались на праздничный ужин.

В декабре 1620 года на побережье Массачусетса высадились сто переселенцев. Приехали они в Новый свет под зиму, а зима выдалась суровой. Пилигримы не были к ней подготовлены, и половина их не дожила до весны. Оставшиеся получили на следующий год хороший урожай, и осенью губернатор колонии объявил один из дней Днем благодарности всевышнему за спасение. В 1789 году первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон объявил 26 ноября Днем благодарения. Теперь его отмечают в последний четверг ноября. Это домашний праздник, ознаменованный торжественным обедом. По тради-

цин едят то, что ели пилигримы, получив первый урожай, во всяком случае индейку и пирог из тыквы.

«В День благодарения или рождества,— писал журнал «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт»,— американцы отпускают ремень на одну-две дырочки и, не думая о калориях, до отвала наедаются жирной индейкой, картофельным пюре с соусом и тыквенным пирогом, и это стало почти ритуалом».

На большом подносе принесли индейку. Восторги, охи, ахи... Все чересчур торжественно. Выдали каждому по тоненькому ломтику, положили понемногу гарнира, после чего поднос исчез за кухонной дверью. То же — с вином: налили по бокалу, и бутылка пропала. Пирог из тыквы большого впечатления не произвел. Одним словом, распускать ремни не было необходимости. Может быть, это связано с общенациональной тенденцией есть поменьше? По данным министерства сельского хозяйства США, в 1983 году американцы съели за год на семь килограммов говядины меньше, чем в 1975 году, сливочного масла — на 41 процент меньше, чем в 1960 году, а вот йогурт пошел круто в гору: в 1982 году его «потребили» втрое больше, чем в 1970-м. Йогурт — кисломолочный продукт вроде простокваши, его едят ложкой.

На легкий желудок зато легко разговаривать. Китайцы спрашивали, как мы проводим свободное время. Я сказал, что зимой, например, катаемся на лыжах. По-английски беговые лыжи «кросс кантри ски» в отличие от более привычных здесь горных лыж, которые просто «ски». Дословно «кросс кантри» можно понять как «поперек страны». Так китайцы и поняли. Глаза Аниты расширились. Как, неужели через всю Россию? Юноши тоже смотрели недоуменно.

Сколько с английским случалось более и менее забавных недоразумений! Так, когда в университете Ноксвилла заговорили об известном химике-аналитике Дине, я сначала решил, что речь идет о декане химического факультета, потому что «дин» — это декан.

В Атланте мы как-то стояли вдвоем с С. Б. Саввиным у рекламного щита кинотеатра. Это было в первой поездке в Соединенные Штаты, в начале ее, и мы еще были очень «зелеными». Подошла весьма привлекательная молодая мулатка, что-то спросила. Мы не поняли, переспросили. Она повторила, но мы недоумевали. Казалось, она предлагает посмотреть фильм в рентгеновских лучах.

Неужели уже и рентгеновские лучи используют в кино? Что-то не то. Мы пожимали плечами, отказывались. Она предлагала, предлагала, потом с досадой повернулась и ушла. На другой день мы повстречались с двумя советскими гражданами, работавшими в Технологическом институте Атланты. В газете «Атланта конститьюшн» они прочитали о нашем приезде и сумели найти нас. В кафе за пивом выяснилось, что мы с нашим еще довольно плохим английским действительно не поняли вчерашнюю симпатичную смуглянку. Она говорила не об экс-рэй (рентгеновских лучах), а о эксрейтид (помеченный иксом, крестом),— так в Америке обозначают порнографические фильмы.

Один крест — ничего, смотреть можно; секс непременно, но, если повезет, будет игра актеров, запоминающаяся музыка. Два креста — уже весьма солоно. Чем больше секса, тем меньше искусства. Фильмы с тремя крестами откровенны до предела, а сюжет примитивнейший, только для связки порнографических сцен.

На второй и третий день наших вынужденных каникул Келлер предложил поехать в Алабаму, а именно в город Хантсвилл, километров за триста. Поехали вчетвером, с нами Дона.

Справа и слева от шоссе краснозёмы. Земля действительно красная. Келлер сказал, что почва здесь весьма плодородная. Кругом влажные леса, местность холмистая — отроги Аппалачей, дымчатые, или дымящие горы. Ехали на юго-запад вдоль реки Теннесси, притока Миссисипи; на ней много разных гидротехнических сооружений. Лю и Дона вели машину по очереди.

Дорога превосходная, машины бегут навстречу, обходят нас слева, и мы также обгоняем. «Шевроле», «олдсмобили», «форды», много японских: «дацун», «тойота». Вот навстречу огромный трак, грузовик с длинным кузовом. Обгоняем дачу на колесах, машину, предназначенную для путешествий с семьей. Кстати, русское слово «дача» стало интернациональным, как и слова «спутник», «тройка», «водка», «Большой» (театр), а теперь и «перестройка» и «гласность».

Солнечно, тепло, несмотря на позднюю осень.

Эти дачи на колесах, машины для семейного отдыха, рекреационные автомобили, автокемперы — их можно называть по-разному — очень распространились, множество людей проводят в них отпуска и выходные дни. В одном лишь 1984 году было продано четыреста тысяч таких машин, а всего в ходу около шести миллионов. Они очень разные по комфорту. В самых роскошных и дорогих есть туалет, водопровод с холодной и горячей водой, холодильник, кондиционер, цветной телевизор и многое другое. Но такой автокемпер стоит пятьдесят тысяч долларов, он далеко не каждому по карману, особенно если учесть, что, по официальным данным, средний годовой доход американской семьи равен двадцати пяти тысячам долларов.

А машины бегут, бегут спокойно, деловито.

В 1985 году в США было зарегистрировано 165 миллионов машин: автомобилей, мотоциклов, мотороллеров... Автомобили, конечно, прежде всего. Легковых на конец того же 1985 года было 130 миллионов. Население — 220 миллионов. В 1982 году каждый статистический американец наездил по 13 тысяч километров. Для страны с таким интенсивным движением огромное значение имеет правильная езда на автомобиле. В целом американцы ездят хорошо, они внимательны к другим водителям, дороги великолепно оборудованы. Как водитель, я особенно отметил для себя продуманно организованную информацию на шоссе. Однако ежегодно на дорогах США случается 50 тысяч автомобильных катастроф со смертельным исходом. Одна из главных причин — пьяные водители, в половине смертей виноваты именно они. Поэтому сейчас в США решительно борются с пьянством шоферов.

Остановились на ланч в Чаттануге.

В каждом городе Америки вам скажут про что-нибудь «самое-самое». Недалеко от Чаттануги мы прочитали на придорожном щите, что где-то поблизости находится самое большое в мире подземное озеро. В самой Чаттануге мы обедаем в ресторане, который расположен в бывшем вокзале; разумеется, это один из самых больших в мире ресторанов. Надо сказать, что эта «самость» основана подчас просто на неосведомленности; многие американцы живут в узком мирке.

Рядом с рестораном поезд-музей. 5 марта 1880 года сюда пришел первый поезд, связавший север и юг страны; пришел по первой муниципальной железной дороге из Цинциннати, штат Огайо. Один из репортеров назвал тот поезд «Чаттануга чу-чу». Чу-чу — это пыхтит паровоз. Потом появилась известная во всем мире песенка «Чаттануга чу-чу». А через сто лет, 5 марта 1980 года, за несколько месяцев до нашего приезда, железнодорожная компания, которая тоже называется «Чаттануга чу-чу», воспроизвела этот переезд, подготовив специальный поезд в стиле поездов столетней давности; а в Америке сто лет — далекая история. В поезде поместились именитые горожане и из Цинциннати, и из Чаттануги, были и мэры обоих городов. И вот поезд стоит у вокзала: не только музейный экспонат, но источник и других доходов — в его вагонах гостиница.

Лю Келлер — довольно крупный радиохимик. Он средних лет. Интересуется русским языком — может читать, пытается говорить; новогодние открытки пишет всегда по-русски, правда, с ошибками. Ну, а сколько ошибок в английском делаем мы!

Вина в «одном из самых больших ресторанов» не пили, все-таки двое за рулем. Да и вообще американцы, по моим наблюдениям, не очень уж склонны к спиртному, во всяком случае в научных кругах. С 1920-го по 1933 год в США был «сухой закон», запрещались и производство, и продажа спиртных напитков. Однако это привело к появлению нелегальных источников спиртного, возросла преступность. Желающие выпить повсеместно нарушали закон, появились изготовленные кустарным способом некачественные напитки, употребление которых грозило отравлением. Государство перестало получать налог от продажи спиртного, теряя на этом 500 миллионов долларов ежегодно. К тому же оно вынуждено было тратиться на борьбу с нарушениями закона. Рузвельт отменил «сухой закон». В 1980 году на каждого американца приходилось в год 7,6 литра виски, но треть взрослых вообще не пила. Ведется антиалкогольная пропаганда.

Борются и с курением, и эта борьба дает результаты. Число курящих, особенно среди пожилых, сокращается. В ряде штатов введено ограничение на курение в рабочих помещениях, особенно это относится к государственным учреждениям и организациям.

Интересную заметку прочитал в провинциальной газете «Колорадо дейли». Бросив курить, можно увеличить влечение к сексуальному общению. По меньшей мере этот факт установила Каролин Стокуэлл, исследователь из государственного университета Уэн в Детройте. Как сообщила Стокуэлл, она изучила группу курильщиков, которые преодолели свою привычку, и нашла, что 24 процента участников исследования стали проявлять больший интерес к сексу, чем в то время, когда они курили.

На моем письменном столе в московской квартире разложены фотографии. На многих ракеты: средние, большие и гигант «Сатурн-5». Эта ракета лежит, остальные нацелены в небо. На некоторых надпись «Армия США». Людей почти нет. На одном снимке, говоря нашим языком,— проходная. И надпись: «Алабамский космический и ракетный центр».

Откуда фотографии и почему я о них пишу?

Я сам фотографировал ракеты, и, конечно, с разрешения. Это экспонаты «самого большого в мире» музея космонавтики.

В самом конце войны американцы захватили в Германии ракетный центр фашистов, производивший самолеты-снаряды ФАУ-1 и ФАУ-2. Разработавшие их ученые во главе с Вернером фон Брауном — сто двадцать специалистов-немцев — вскоре оказались в США. В Хантсвилле, штат Алабама, была создана сек-

ретная ракетная база. Фон Браун стал ее директором и оставался в этой роли десять лет. В Хантсвилле разрабатывали космическую лабораторию «Скайлэб», космические корабли многоразового использования по программе «Спейс шаттл» («Космический челнок»), астрономическую спутниковую лабораторию.

Центр и сейчас активно работает, но тут построили специальное здание для экспозиции, часть объектов открыли для публики и сделали музей. Каждый может приехать, купить билет за шесть долларов и перемещаться по территории. Но все-таки Келлер позвонил, как потом выяснилось, из Ноксвилла и спросил, могут ли посетить центр русские. Разрешение было дано, и мы провели здесь много часов.

Экскурсантов возят на автобусе, выходить из него можно только в определенных местах.

Большой, несколько этажей, бассейн для тренировки астронавтов; с гордостью говорят, что воду в нем не меняли семь лет, она не портится... Макет космического корабля многоразового использования — уж мы по нему полазили!.. Макеты космических станций... В собственно музейной экспозиции — фотографии и личные вещи фон Брауна, костюм астронавтов, кусок лунного грунта. Хотя есть портреты К. Э. Циолковского и первых наших космонавтов, все-таки это история американских исследований космоса. На открытых площадках — аттракционы, мечта мальчишек. Мы испытали себя в гигантской центрифуге, летали в «шаттле», причем иллюзия полета была полной: нас трясло и прижимало к наклонившемуся при «старте» креслу. Во время «полета» видели проносившийся мимо спутник, с безумной скоростью приземлялись на длиннющую посадочную полосу «в Калифорнии». Теряешь ощущение времени. Когда вышли, нас пошатывало.

Молодец Келлер — хорошо придумал. А то сидели бы в ноксвиллском мотеле «Шератон-Уэст», скучая при телевизоре, или доедали бы индейку у Лю и Доны.

Перед отъездом в Ноксвилл заехали в один-два торговых центра, в одном магазине встретили русского продавца; он, однако, почти забыл язык. Где только не встречаются соотечественники!

VI

У нас в «Коновере» комнаты рядом, если по-нашему — смежно-изолированные. Из коридора отдельные входы, но между комнатами две последовательно расположенные двери: одна отпирается из моей комнаты, другая из комнаты Б. Ф. Мясоедова.

В гостиницах Америки документов обычно не спрашивают. Заполняя анкету, пишешь свою фамилию и постоянный адрес; в принципе можно вписать и «потолочные» сведения. В одной поездке мы, не расплачиваясь за гостиницу, сообщали портье, что счета следует посылать в Национальную академию наук в Вашингтон. Ни один портье не усомнился, что академия будет платить. Уточняли только вашингтонский адрес. При твоем отъезде комнату не проверяют, контрольных отметок не делают. Уходя с чемоданом, сдаешь портье ключ и говоришь, что хотел бы расплатиться.

Отели, конечно, бывают разные. Хорошие очень дороги, самые хорошие дороги безумно. Наши номера в нью-йоркской гостинице «Беверли» стоили по 110 долларов в сутки. В каждом данном отеле номера обычно похожи. Половину площади занимает кровать или две. Санузел с ванной или душем, на полу всегда палас, в комнате цветной телевизор, радио, централизованная подача кондиционированного воздуха или встроенный в окно кондиционер, если гостиница не из новых. Чисто. Письменных столов как таковых почти никогда не бывает, комнаты гостиниц для работы не предназначаются, но есть нечто, что может служить и для работы. Бывает холодильник иногда с напитками, за которые вы, однако, должны платить отдельно и немало. В каждой комнате есть шкаф для одежды, в нем много вешалок, очень часто сделанных из проволоки. В Америке одежду вешают на плечики, поэтому привычных петелек не бывает. Мыло в номерах всегда, одежных и сапожных щеток нет. Полотенец много, меняют их каждый день. В одной гостинице в нижние матрацы были вделаны вибраторы; в специальный ящичек нужно бросить квотер — монету в двадцать пять центов — и вибратор начнет работать.

Предназначенный в основном для отдыха, Майами-Бич застраивался солидными и благоустроенными (и дорогими) гостиницами и пансионатами.

Одну из достопримечательностей Майами-Бич представляют дома в стиле «арт деко» в южной части города. Нигде в мире нет такого комплекта. Для этого стиля, в частности, характерно очень активное использование нескольких цветов, предпочтительно мягких. В фасаде отеля «Кеймор», к примеру, нежно-голубой выступает в качестве основного, лоджии светло-желтые, простенки, пространства под окнами окрашены в спокойный кремово-коричневый, еще более светлый коричневый цвет использован, чтобы подчеркнуть горизонтали. Стены магазина «Мари и Эрик» фисташковые, на этом фоне выделяются светло-коричневые вертикальные выступы. Залюбуешься.

В середине дня очень жарко, но в зданиях воздух кондиционирован. На улицах Майами прохожих немного; люди если и перемещаются, то преимущественно в автомобилях. За несколько дней мы ни в Майами, ни в Майами-Бич не встретили, кажется, ни одного полисмена.

В центре конгрессов, где мы работаем, нас больше всего интересует выставка: приборы, лабораторное оборудование, материалы, книги. Иные издательства, имеющие на выставке свои стенды, бесплатно — в целях рекламы — раздают некоторые массовые издания, особенно учебники химии. Это довольно широкий жест, принимая во внимание дороговизну печатной продукции в США. Еще в 1979 году средняя цена книги в твердой обложке составляла приблизительно 23 доллара, в мягкой — от 2 до 8 долларов, средняя стоимость книги по науке и технике — 26—28 долларов. С тех пор книги подорожали.

Приборы тоже интересны. Каких только приборов для анализа здесь нет! Каждый год на Питсбургских конференциях, на сессиях Американского химического общества, на многочисленных выставках в Западной Европе, да и у нас в стране, американские компании демонстрируют новейшую аналитическую технику.

Из дневника. Март 1979 года. Мы с Ниной Степановной Строгоновой летим из Нью-Йорка в Кливленд на Питсбургскую конференцию по аналитической химии и прикладной спектроскопии. До Нью-Йорка добрались нормально прямым рейсом из Москвы. Из Нью-Йорка в Кливленд вылететь было трудно, застряли часов на семь-восемь: не было мест на первый подходящий самолет, а следующий рейс через пять часов. К тому же вылет и этого рейса задержали на два часа. А мы уже проделали огромный путь из Москвы, устали.

Эти приключения с самолетами все-таки редкость. Авиационное сообщение в США организовано очень хорошо. Густая сеть авиалиний, удобные самолеты, довольно четко выдерживается расписание, отличные аэропорты. Продуманная система регистрации, перемещения и накопления летающих граждан исключает толчею и неразбериху. Можно приехать в аэропорт за полчаса, даже за 15—20 минут до вылета — и все успеваешь.

Удобны челночные рейсы между Нью-Йорком и Вашингтоном, между Нью-Йорком и Бостоном. Однажды я от гостиницы в Нью-Йорке до гостиницы в Вашингтоне добрался за два часа, а расстояние 400 километров. Аэропорты в обоих городах расположены очень близко к центру, особенно в Вашингтоне, формальности при посадке в самолет минимальные. Можно даже билет купить непосредственно в самолете, приехав в аэропорт за 5—10 минут до вылета: садитесь как в автобус.

В самолетах предлагают журналы, прохладительные напитки. Во время длительных рейсов хорошо кормят, иногда предлагают спиртные напитки. При регистрации всегда спрашивают, курит ли пассажир. Курящие и некурящие сидят в разных отсеках самолета. Очень быстро обрабатывают багаж, даже в больших аэропортах. Пока идешь по длинному переходу к багажному отделению, чемоданы, бывает, уже доставят туда. Самолеты круто набирают высоту и лихо садятся. Многие авиакомпании, привлекая пассажиров, обеспечивают им в полете разные дополнительные услуги. Например, компания «Американ эйрлайнс» заказывает автомобиль напрокат или номер в гостинице, если пассажир об этом просит. Можно слушать радио, в широкофюзеляжном самолете смотреть кинофильмы.

За последние годы, впрочем, возросло число авиакатастроф. Это связано с увольнением большого количества опытных авиадиспетчеров, принимавших участие в известной забастовке 1981 года. Взамен уволенных набрали новых работников, но их не хватает, и уровень их квалификации невысок.

Захват самолетов стал ужасающей обыденностью. В США, однако, этот вид преступлений не так развит, как в других странах. Однажды бдительные полицейские, проводившие осмотр ручной клади в аэропорту Де-Мойна, штат Айова, нашли при посадке в самолет в моем портфеле перочинный нож, я забыл переложить его в чемодан. Иностранец, к тому же русский, с холодным оружием — это нехорошо. Нож отобрали, принесли довольно большую картонную коробку, положили туда этот опасный предмет, коробку закрыли, завязали и отправили багажом. Когда прилетели, коробку я забрал вместе с чемоданом, нож мой не потерялся.

Чемоданы, кстати, при погрузке и выгрузке сильно швыряют, так что ничего хрупкого в них лучше не класть. В 1980 году мы начали свою поездку по Америке с города Боулдера в Колорадо. Когда приехали, Б. Ф. Мясоедов открыл крышку чемодана, гостиничный номер заполнили знакомые запахи. Взятая в подарок бутылка грузинского коньяка была разбита, рубашки и прочее содержимое чемодана пропитались этой не вполне бесцветной жидкостью.

Итак, летим с Ниной Степановной на конференцию.

Сколько людей можно собрать на научную конференцию? Максимально?.. Ну, тысячу. Пять тысяч, ответит читатель, знающий, что были такие конгрессы в Москве. В 1979 году на ежегодной Питсбургской конференции по аналитической химии и прикладной спектроскопии было более пятнадцати тысяч человек, а в 1984 году — более двадцати четырех.

Зала на такую прорву энтузиастов не найдешь. Но не на стадионе же проводить серьезное ученое собрание. Поэтому всех участников вместе не собирают ни разу. Конференция состоит из множества одновременных симпозиумов, заседаний, секций, лекций. Кроме того, параллельно работает крупнейшая в мире выставка приборов для химического анализа, и она действительно крупнейшая.

Питсбургскую конференцию, о которой

идет речь, проводят ежегодно с 1950 года. Сначала действительно в Питсбурге, штат Пенсильвания, отсюда и название. Потом несколько лет в Кливленде. Один раз конференция состоялась в Нью-Орлеане. В последние годы химики-аналитики встречаются в городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

Определению состава веществ и материалов в США уделяют много внимания, сами масштабы Питсбургских конференций свидетельствуют об этом.

Неделя в Кливленде пролетела быстро. Мы посещали заседания, я сделал доклад, но больше всего времени провели на выставке. Редкие свободные минуты посвящали городу, один раз вышли на лед озера Эри, на берегу которого расположен Кливленд.

Город Кливленд многие не любят. К тому же считают, что он теряет свои позиции экономического и культурного центра. Отцы города защищают его, оправдываются. Даже в туристском путеводителе напечатана статья с показательным заголовком «Кливленд еще не готов отправиться в гроб».

«Кливленд часто называют разрушающимся,— говорится в этой статье.— Если он разрушается, почему тогда здесь расположились 40 из тысячи благоденствующих корпораций, что ставит город на устойчивое третье место после Нью-Йорка и Чикаго?» И далее: «А посмотрим на историю одного из богатейших в мире людей, который недавно провел в Кливленде пять недель, как и его свита численностью более двухсот человек. Этот человек был король Саудовской Аравии Халид». Кливлендский симфонический оркестр длительное время считали одним из лучших в мире. Путеводитель информирует: самый большой и самый красивый в мире вестибюль банка — в Кливленде (Юнион комерс бэнк). А музеи? Кливлендский музей искусств каждый год имеет по три миллиона долларов на приобретение произведений искусства, это больше, чем может требовать музей Метрополитен в Нью-Йорке. Музей Сальвадора Дали — «наиболее полный официальный музей этого знаменитого художника». Музей естествознания, науки и здравоохранения...

Кстати, о музее Дали. Я большой поклонник сюрреализма. Поэтому, как только узнал о существовании в Кливленде этого музея, стал изыскивать возможность попасть туда. Оказалось, музей не в городе, а на расстоянии приблизительно 15 километров. Общественного транспорта нет, на такси тратиться не хотелось... Но организаторы конференции, случайно узнав о нашем желании посетить музей, сказали, что организуют эту поездку, и действительно организовали. Так что мы с Ниной Степановной получили прекрасную возможность с этим музеем ознакомиться. Теперь я знаю, что это не самый большой в мире музей Сальвадора Дали. Крупнейший — в Испании, недалеко от Барселоны, в Фигерасе, где родился художник. И тем не менее музей в Кливленде замечательный; в нем много ценных полотен, большая коллекция фотографий.

(Окончание следует.)

Вл. Новиков

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

(ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И БЮРОКРАТИЯ В ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ)

Уменье, знанье, методы, навыки, таланты — имущество кочевое и крылатое. Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, нищи,— что же нам терять?

А. Блок. Интеллигенция и революция.

...Место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники и суть наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня...

А. Блок. О назначении поэта.

Помнится, при первом чтении романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» острее всего в память врезался такой вот с фабульной точки зрения вроде бы проходной эпизод. Юрий Андреевич, опустившийся, забросивший и медицину, и литературные занятия, выходит на заработки вместе с Мариной: «Оба сдельно пилили дрова проживающим в разных этажах квартирантам. Некоторые, особенно разбогатевшие в начале нэпа спекулянты и стоявшие близко к правительству люди науки и искусства стали обстраиваться и обзаводиться обстановкой. Однажды Марина с Юрием Андреевичем, осторожно ступая по коврам валенками, чтобы не натащить с улицы опилок, нанашивали запас дров в кабинет квартирохозяину, оскорбительно погруженному в какое-то чтение и не удостаивавшему пильщика и пильщицу даже взглядом. С ними договаривалась, распоряжалась и расплачивалась хозяйка.

«К чему эта свинья так прикована? — полюбопытствовал доктор.— Что размечает он карандашом так яростно?» — Обходя с дровами письменный стол, он заглянул вниз из-за плеча читающего. На столе лежали книжечки Юрия Андреевича в Васином раннем Вхутемасовском издании».

Доктор Живаго, как мы помним, предпримет еще одну попытку переделать судьбу, вернется к статьям и стихам, но жизни ему остается чуть более десяти страниц — до рокового августовского дня и душного трамвая на Пресне. Что же касается высокопоставленного «квартирохозяина», то он, мне кажется, дожил до наших дней, прочел роман — и не простил автору с героем ни «свиньи», ни полуслучайного сравнения со спекулянтом. Это он сегодня, вращаясь в «кругах» и выступая на каком-нибудь заседании, с притворной небрежностью изрекает: «А «Доктор Живаго», на мой взгляд, довольно слабый роман. В художественном отношении...»

И тут, согласитесь, крайне наивно было бы затевать эстетический диспут и втолковывать вышеозначенному товарищу что-нибудь там насчет своеобразного сюжетосложения, символов и ритма фразы. Он с удовольствием подремлет, делая вид, что внимательно слушает, да еще и ухмыльнется втайне: дескать, до чего же немудреное дело — с этой публикой управляться... Нет, тут уж не к разбору поэтики душа тянется, а к тому, что называют реальной критикой. И эпизод с дровами в таком контексте приобретает зловещую обобщенность — как знак поражения Интеллигента и торжества будущего Бюрократа.

Задумавшись над проблемой, вынесенной в заголовок статьи, я едва ли не впервые в своей работе столкнулся с дефицитом текущего литературного материала. Конечно, выпущенные на свободу произведения Булгакова и Платонова, Пастернака и Пильняка много говорят о судьбе русского интеллигента в послереволюционную эпоху. Конечно, структура сталинской бюрократии резко высвечена в рыбаковских «Детях Арбата» и в «Новом назначении» Бека, а «Белые одежды» Дудинцева раскрывают драматическую судьбу отечественной науки через четкое, почти научное разграничение социально-ролевых функций личности: здесь и ученые, переродившиеся в функ-

ционеров, и мужественные мученики — хранители истины, и тайный интеллигент в обличье официального инквизитора — своеобразный лазутчик в стане бюрократии. Немало мыслей пробуждают и лет на пятнадцать — двадцать «призадержанные» битовский «Пушкинский дом», книга прозы В. Сосноры «Властители и судьбы» (ее герой Гаврила Романович Державин предприинял ведь самую первую попытку гармонично сочетать принадлежность к правящей бюрократии и к творческой интеллигенции).

Но реальную критику на одной только ретроспективной основе не построишь, для нее уже и наши шестидесятые годы — история. Хочется говорить о том, что, пользуясь бюрократическим клише, мы имеем на сегодняшний день. Личный социально-житейский опыт моего поколения — это главным образом семидесятые и восьмидесятые годы. «Времена не выбирают», и соблазн затесаться в ряды тех, кто себя называет «детьми 56-го года», чреват духовным иждивенчеством. Нам отвечать за семидесятые и восьмидесятые, а значит, нам их в первую очередь и осмыслять.

И вот тут-то наша текущая словесность не балует. Интеллигент и Бюрократ в ней предусмотрительно разведены по разным углам. Собственно, это именно Бюрократом, державшим словесность под контролем, и было сделано, а литературный поток очень зависит от нормативов «проходимости». Интеллигент в нашей прозе был надежно и надолго помещен в отсек «духовно-нравственных проблем», где ему разрешили сколько угодно заниматься поисками смысла жизни: особой опасности, что этот смысл он найдет, никто не усматривал. А что же бюрократ? Для его изображения были выработаны две очень твердые формулы: «низкая» и «высокая». «Низкая» — комическая, с осторожным намеком на сатиру. Она распространялась на маленьких бюрократов, желательно из сферы сервиса и торговли, и повторяла плакатные штампы давнего времени. Потешный Бывалов из старой популярной кинокомедии всех устраивал, и его безопасные копии в ограниченном количестве изготовлять порою разрешалось.

«Высокая» форма рисует судьбу бюрократа в плане трагическом. Правда, завязкой трагедии неизменно служит отставка героя, когда ему ничего не остается делать, как пересматривать и переоценивать прожитое. Таков, к примеру, директор завода Абрикосов в кинофильме «Частная жизнь», уносящий из покидаемого кабинета бюстик Сталина — символ административно-командных методов управления. Таков отставной министр Павел Петрович в повести И. Герасимова «Ночные трамваи» («Новый мир», 1988, № 2), переживающий и моральное крушение, и инфаркт, и коварные козни бывшего зятя — карьериста с говорящей фамилией Бастионов. Не сказать, что это характеры не типичные и нежизненные.

Ситуация отставки неизбежно помещает героев в иной социальный ряд (курица не птица, пенсионер не функционер), где на них уже распространяется закон сочувствия и милосердия. Судите сами: вот вы случайно встретили отставного чиновника, от которого некогда претерпели. Скажете ли вы ему: «Так тебе и надо!»?

А посмотреть бы нам на настоящего бюрократа в типических, так сказать, обстоятельствах, когда он в силе и на коне, когда он в полной мере пользуется властью и героически защищает свои привилегии. Увидеть бы во всей глубине внутренний мир бюрократа, движущие мотивы его социального поведения, его кровные интересы. Где романы, повести, драмы об этом? Доктор философских наук А. Бутенко выступил в журнале «Театр» (1987, № 12) с серьезной статьей «Главный социальный конфликт: в жизни и на сцене». В ней формулируется гипотеза о том, что «постоянно сохранявшееся противоречие между интересами масс трудящихся, стремившихся к социализму и коммунизму, и интересами бюрократии, боровшейся за свое безраздельное господство и свои привилегии, а потому препятствовавшей прогрессу, как раз и было тем главным социальным конфликтом советского общества, в свете которого возникали, разрешались и «прятались» все другие противоречия». Мысль крупная и интересная. Отрадно, что в нашей обществоведческой науке стали появляться гипотезы (само это интеллигентное слово увидеть приятно): ведь раньше эта сфера держалась исключительно на установочных «аксиомах». Но когда ученый переходит от «жизни» к «сцене», ему негде особенно развернуться: увы, привлекаемая для анализа «Серебряная свадьба» оказывается беднее той увлекательной системы конфликтов, которая выстроена в статье языком истории и социологии.

Не будем, однако, прибегать к формуле «отставание литературы от жизни»: она тоже выработана в бюрократическом мире. Писателям требуется время — не для банального «отклика» и «отражения», а для самостоятельных прозрений. Понукать литературу негоже ни с каких позиций, ни с какими — пусть самыми благими — целями. Выразимся так, как говорят почтальоны, не желающие огорчать отсутствием вестей: «Вам — пишут». Пишут о семидесятых — начале восьмидесятых, именуемых ныне застойными годами. И поколение мое согласно, чтобы его лучшие годы носили такой эпитет, лишь бы теперешние годы — прошлый, нынешний, будущий — подтвердили бы со временем право называться как-то иначе. Что именно и как пишут — мы узнаем позже. Но не сидеть же сложа руки в конце концов! Рискнем поговорить как раз о том, что сейчас вынашивается, обдумывается, набрасывается, перечеркивается, переписывается. После драки, как известно, кулаками не машут, так почему же перед дракой не попробовать? В порядке разминки.

Да и те, кто пишет сейчас именно то, что мы с нетерпением ждем, нуждаются если не в помощи и не в подсказке, то, во всяком случае, в моральной поддержке, в создании такого нравственного климата, при котором каждый пишущий может строить свою работу, приближаясь к выстраданному нашей литературой принципу:

О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.
(А. Твардовский)

Ведь ни для кого не секрет, что в самой литературе сегодня с особенной остротой ощущается годами назревавшее противостояние интеллигенции и бюрократии, несовместимость тех, кто жаждет высказаться «так, как я хочу», и тех, кто привык писать так, «как надо». Потому сейчас в критике на первый план выдвинулась не эстетика литературы, а ее социология. Потому сейчас в центре внимания статьи, где речь ведется не столько о текстах и творческих тенденциях, сколько о «литературной жизни». Многие говорят о подобных статьях: это не критика, а публицистика. Я тоже иной раз так говорю, но вот сажусь писать — и вместо привычных размышлений о жанре и стиле начинает складываться нечто вроде публицистики, нечто о той самой литературной жизни. Ведь если у литературы жизни не будет, то не будет ни текстов, ни тенденций. Наступило время говорить о социальном фундаменте художественного поиска, об ориентации писателя относительно жесткой антитезы «интеллигент — бюрократ». Потому-то оживает наша историческая память и всплывает в ней не только доблестное и светлое, но и горько-поучительное. Потому-то сегодня поименно вспоминают всех, кто поднял руку на неизгладимо-постыдном судилище над Пастернаком, кто ставил предательскую подножку Твардовскому.

Интеллигенция, интеллигентность... Сколько наговорено на эту тему в последние полтора десятилетия! Это ведь был наибезопаснейший предмет для диспутов, для бесконечных словопрений насчет того, что не всякий интеллигент интеллигентен, что мало одной образованности — надо быть еще и человеком хорошим. В процессе таких разговоров каким-то невидимым режиссером ловко устранялась всякая социальная подоплека, и все сводилось к очередному призыву быть взаимно вежливыми.

Не меньше говорилось на эту тему в порядке неофициальном, в дружеских компаниях, где резкие и крайние мнения высказывались смелее и полнее, чем, скажем, на страницах «Литературной газеты». Надо полагать, отголоски этих откровенных споров еще проникнут в пишущиеся сегодня романы, повести и пьесы. Пока же «образ интеллигента» в текущей словесности слишком нерезок, расплывчат и по своей концептуальности значительно уступает кулуарным разговорам на соответствующую тему. Вспомним, о чем говорилось на протяжении застойных лет в институтских курилках, в тесных кухоньках, заменивших, как со временем напишут искусствоведы об интерьере интеллигентского жилища, былые столовые и гостиные. В этих нервных и путаных спорах рождались порою гипотезы дерзкие и размашистые, многими до сих пор почитаемые за доказанную истину. Говорилось, к примеру, что именно интеллигенция затеяла крупнейшие социальные преобразования, что на ее совести все беды и разочарования века. Наверное, такое суждение как раз и обусловлено давней интеллигентской слабостью — несколько гипертрофированным представлением о своей исторической роли. Так или иначе, иные всерьез и категорически решили, что долг интеллигенции ныне сводится к замаливанию и заглаживанию собственных всемирно-исторических грехов. Проблема «интеллигенция и революция» была у нас до сих пор предметом скорее эмоционального, чем научно-исторического осмысления. Отсюда и хождение столь «мифологичных» концепций, которые порой выворачиваются весьма парадоксальным образом. Приняв за абсолютную истину весьма спорную гипотезу об исторической греховности интеллигенции, некоторые молодые литераторы «осмыслили» годы сталинского террора следующим образом: «элита» истребляла сама себя и жалеть ее не должно. Тридцать седьмой год предстал в их трактовке «очищением» — ничего, что в угоду такой «антиинтеллигентской» версии пришлось «округлить» многомиллионные жертвы самого что ни на есть «простого» народа!

Была еще одна, не менее влиятельная, хотя тоже негласная версия: интеллигенции больше не существует вовсе, а претендующие на звание интеллигентов таковыми не являются. Надо сказать, что эта с виду максималистская концепция очень по вкусу пришлась как раз тем, кто функционирует неподалеку от культуры, но сам как личность интеллигентностью не обременен. На нет ведь и суда нет. Если нет ни интеллигенции, ни интеллигентности настоящей, то насколько же проще жить! Нечего стыдиться, не к чему тянуться, можно куда угодно входить прямо в галошах, судить-рядить обо всем на свете, ничего не стесняясь. Появились откровенно неинтеллигентные журналы, появились литераторы, бравирующие бескультурьем. Наверное, Александр Александрович Блок, пустивший столько иронических стрел в современников-интеллигентов, был бы весьма ошарашен такими парадоксально-несовместимыми, прямо-таки оксюморонными словосочетаниями, как «некультурный писатель», «неинтеллигентный критик» — несмотря на всю свою приверженность к оксюморону как фигуре поэтической речи. Между тем подобные сочетания — реальность нашей культурной жизни. И все-таки, полагаю, те, кто объявил о «самороспуске» русской интеллигенции,

превысили свои полномочия и поторопились, как говорится, расписаться за грамотных, к тому же за более грамотных и интеллигентных людей, чем они сами. За П. Капицу, за Д. Лихачева и Р. Щедрина, за Тарковского-отца и Тарковского-сына, за многих и многих других. «Ликвидаторской» точке зрения в 1975 году — по-моему, достаточно четко и убедительно — возразил А. Вознесенский: «Есть русская интеллигенция. Вы думали — нет? Есть. Не масса индифферентная, а совесть страны и честь». Стихотворение хорошо известно, но, кажется, не все заметили и верно истолковали тот каламбур, на котором оно построено, игру двух значений слова «есть», преследующую цель отнюдь не игровую и не шутливую:

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь;
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»

Иначе говоря, вместо того, чтобы вести расслабленно-умозрительные споры о том, есть ли интеллигенция, надо просто служить ее идеалам. Идеалам Достоевского и Л. Толстого, Салтыкова-Щедрина и Чехова, беспощадно судивших интеллигенцию, но ни в малейшей мере не желавших ее устранения или самоупразднения. Трюизм? Что ж, в условиях нынешней острой дискуссионности неплохо очертить и необходимые трюизмы, истины, не подлежащие пересмотру.

Опасаясь ступить на тропу бесконечно-бесперспективного поиска точных определений «интеллигенции» и «интеллигентного человека», хочу только заметить, что наше литературное сознание чересчур зависимо от такого, что ли, статистического понимания данного термина, когда под ним подразумеваются работники умственного труда. Конечно, «интеллигенция» — понятие социальное, но при этом — социально-духовное и социально-нравственное. Представление об интеллигенции всего лишь как о «прослойке» восходит к жестким абстрактно-классовым схемам былой поры. Тут невольно припоминаются исполненные здравого смысла раздумья Владимира Сергеевича Прозорова из романа В. Белова «Кануны»: «Да, как и вы, я знаю: в мире существуют классовые противоречия. Но можно ли игнорировать другие, не менее мощные противоречия? Противоречия национальные, например... А религиозные противоречия?.. Противоречия полов. Глупых и умных. Слабых и сильных просто физически. Все это вы заменили одним: классовым антагонизмом. Не слишком ли просто, Степан Иванович?»

Здесь, может быть, приведен еще даже не весь набор противоречий, которые существенны для научного познания жизни, а уж для художественного — тем более. Литературный опыт свидетельствует, что всякая односторонность (к примеру, сосредоточенность на одних только национальных противоречиях вкупе с «противоречиями полов») чревата неадекватными выводами и несправедливыми приговорами. А уж судьбу нашей интеллигенции никак не понять без учета противоречия глупых и умных, честных и нечестных. Слово «интеллигенция», как принято считать, ввел Боборыкин на исходе прошлого века, но явление-то само начало формироваться в преддекабристской ситуации «горя от ума», когда Чацкие начали отделяться от молчалиных и скалозубов. И внутри одного класса это происходило. Упаси нас бог от «внеклассовых» и «надклассовых» построений, но какие-то «межклассовые» пересечения здесь имеются. Скажем, явно существовала в России крестьянская интеллигенция. Ведь не всякий трудолюбивый и культурный хозяин, подобно Якову Лукичу Островнову, мечтал ходить в перчатках, участвовал в диверсиях и морил голодом собственную мать. Это характер гиперболизированный, шекспировского, так сказать, размаха, а если посмотреть более социологично, то среди горьких плодов коллективизации мы увидим расправу над крестьянином-интеллигентом. Потому-то и схватилось сейчас общественное мнение за реликт этого типа интеллигенции, за Терентия Мальцева.

Будем думать, что эта духовно-трудовая традиция восстановима. Будем надеяться, что, покончив с нивелировкой и уравниловкой, общество даст возможность показать себя и интеллигенции рабочей. А литература, быть может, найдет путь к свободному от лубочности и лакировки изображению тружеников не в противопоставлении их хлюпикам-интеллигентам, а в сопоставлении, в выявлении общих качеств и черт современного интеллигента — независимых от того конкретного слоя, к которому он принадлежит.

Каждого из нас судьба не раз сводила с интересными, развитыми, подлинно интеллигентными людьми, не принадлежащими к статистической «интеллигенции» и даже не имеющими высшего образования. В то же время успешное продвижение в служебной карьере от многих потребовало тщательного искоренения в себе каких-либо признаков интеллигентности. Тут, впрочем, я не хотел бы подпевать уже привычной песне на тему: вот, дескать, стали мы слишком умными и образованными, а интеллигентность — это прежде всего нравственность — и все такое. Нет, для пресыщения просвещением у нас, по-моему, оснований еще мало. Лично мне, честно говоря, как-то не доводилось видеть ни одного человека «слишком» умного или «слишком» образованного, поскольку «потолка» здесь быть просто не может. А ум, знания и нравственность — все это сообщающиеся сосуды интеллигентности. Производство лживых отчетов, фальшивых диссертаций, пустых книг возможно лишь тогда, когда человек не только совесть, но и ум свой понуждает к обману, когда он знания свои либо забывает, либо предусмотрительно и не приобретает таковых, как раз и стремясь быть «не слишком» образованным. В свою очередь, истоки интеллигентности в народном сознании — это не мистические прозрения лжепророков вроде Гришки Распутина да фанатичных «самородков» вроде Лысенко, а ясный ум, глубина здравого понимания жизни и людей. И, кстати, уважение к чужим реальным знаниям и умениям, к чужой дельной мысли.

Между тем в нашей прозе семидесятых годов постепенно вырабатывалась система беллетристических штампов, основанная на противопоставлении «шибко умных» интеллигентов и исключительно «душевных» людей «из народа». Я говорю в данном случае именно о широком потоке, о десятках и сотнях книг, не «хороших и разных», а посредственных и очень похожих друг на друга. Одно время у нас было в ходу выражение «эстетическая серость», несколько обидное для эстетики и не совсем точное в применении к серости. Ибо серость — идейна. Литературное повествование не может обойтись без каких-то антитез, контрастов, без подобия конфликта — если не штормового, то хотя бы легкой ряби на воде. Что же противопоставить без особого риска, что же столкнуть друг с другом, когда писать не о чем, а печататься очень хочется?

Город и деревню. И вот, профанируя сюжеты Шукшина, Распутина, раннего Белова, мучившихся двойной болью деревенского и городского народа, сотни литературных новобранцев заиграли на этих двух струнах к радости и спокойствию редакторов и цензоров, прочно заучивших в вечерних университетах, что между городом и деревней у нас противоречия — дай бог выговорить — неантагонистические. Горожане предстали во множестве повестей и рассказов противными типами, толкающими своих сельских собратьев в магазинных очередях со словами: «У, деревня!» и «Понаехали, понимаешь!» Горожане более крупного социального ранга в такую систему не попали, что вполне понятно: они ведь в очередях не стоят.

Беллетристика сугубо «городской» темы тоже нашла безболезненный тип противоречий, столкнув друг с другом интеллигентов во всякого рода любовных и бракоразводных, квартирно-дачных и среднего масштаба должностных конфликтах. Эта линия норовила присвоить себе имя «трифоновской», хотя при всем внимании названного писателя к «пестрым» явлениям овец от козлищ он отличал, и, скажем, если Сергей из «Другой жизни» при всех его страшных недостатках — это интеллигент, то Климук при всех смягчающих обстоятельствах — бюрократ. Трифонов не любил, когда его героев называли интеллигентами, но едва ли ему понравилась бы и роль основоположника «антиинтеллигентской» прозы.

В течение долгих лет бюрократы, вершившие судьбу рукописей, пробегали взглядом по произведениям антиинтеллигентской направленности и спокойно визировали, убедившись, что здесь «ничего нет». Это «ничего нет» повторяет теперь и читатель литературы такого рода, правда, уже с другой интонацией и другим оценочным пафосом. Сегодня, когда разрешена индивидуальная трудовая деятельность, когда можно и куртки шить и повести писать не по ГОСТу, в торговую сеть продолжают пока поступать и мрачные плащи старого покроя и мрачноватые «антиинтеллигентские» повести.

Герой повести Александра Астраханцева «Развилка» («Наш современник», 1986, № 12) — геолог, навещающий в Москве старого друга Лешу, с которым когда-то они вместе работали в далеком горном поселке. Леша «угощает» его московской компанией, где главенствует режиссер Фред, презирающий толпу и, естественно, оказывающийся любовником Лешиной жены. Эстеты, болтающие о «сценографии», конечно же, гораздо больше увлечены тряпками и способами приготовления кофе — напитка, вызывающего особенную неприязнь автора. Отхлестав саркастическим словом отвратительных московских интеллектуалов, А. Астраханцев в последнем абзаце словно спохватывается и от имени героя оговаривается, что Москва все-таки остается «символом всего святого и возвышенного». Тут, замечу, автор вдается в другую крайность: у нас на памяти еще недавний культ Москвы как «образцового» города, имевший отчетливое бюрократическое происхождение, как раз и породивший хамство по отношению к провинциальным «гостям столицы», варварское обращение со всем «святым» и «возвышенным» в древнем городе.

Поначалу тянет поспорить с темпераментным автором «Развилки», доказать ему, что в Москве немало истинных интеллигентов, равнодушных к тряпкам и комфорту, живущих почти аскетически, бескорыстно преданных науке и культуре, сохранивших в душе, в памяти, в коллекциях и собраниях столько необходимых всем нам ценностей (А. Астраханцев под горячую руку ставит в один ряд варку кофе, «владение дачей, машиной, собирание книг, прочее коллекционирование»). Что театральное искусство выстояло моровую полосу во многом благодаря непризнанным режиссерам неприкаянных студий (вспоминаю, между прочим, титулованных московских артистов, репетировавших и игравших «просто так» в нищем студенческом театре). Будучи, как и А. Астраханцев, уроженцем Сибири, хочу заметить, что имя Эдик и «американизированные» клички типа Фред встречаются там ничуть не реже, чем в столице, что кофе там пьют, когда удается достать, с неменьшим удовольствием. Не берусь, правда, судить, где больше разврата, но, честное слово, и в Москве встречались мне люди не менее достойные, чем описанная А. Астраханцевым (и слишком напоминающая персонажей распутинского «Пожара» и астафьевского рассказа «Жизнь прожить») чета трогательно любящих друг друга стариков.

Впрочем, надо ли во всем этом убеж-

дать автора повести «Развилка»? Ведь его страстные инвективы, похоже, проистекают из того, что темперамент растрачен на стрельбу по фиктивным (и разрешенным!) мишеням, а до настоящей социальной развилки (где истинных интеллигентов уже не спутаешь с мимикрирующими «под интеллигента» бюрократами и кормящейся рядом свитой) писатель так и не добрался. И не он один.

То и дело встречаясь на страницах нашей прозы с погрязшими в роскоши и бездуховности профессорскими дочками и бесящимися с жиру, склонными к преступным развлечениям профессорскими сынками, иной раз даже начинаешь сомневаться: нет ли тут накладки какой? Профессорская зарплата по нынешним временам не бог весть как велика, да и подлинная роскошь сегодня достается не за трудовые рубли по общедоступным каналам, а на весьма льготных основаниях по тем каналам, название которых начинается с деликатной приставки «спец». Кстати, в «Докторе Живаго» между делом описано одно из ранних учреждений подобного рода. Юрий Андреевич и его тесть получают в качестве платы за врачебные консультации от высокопоставленных клиентов ордера «в первый учрежденный тогда закрытый распределитель». Помните, как были поражены два врача случайно свалившимся на них одноразовым изобилием? Впрочем, мотив «распределителей» и вообще «спецжизни» в повествовательной структуре нашей прозы сколько-либо значительного развития не нашел. Может быть, тема профессорского благополучия и интеллигентского быта явилась его условно-литературной заменой?

Заменой не совсем бессознательной. «Антиинтеллигентские» мотивы имеют определенную традицию, совсем забывать о которой было бы несправедливо. Мало кто вспоминает сегодня романы И. Шевцова «Тля» и «Любовь и ненависть», но каждый отчетливо представляет себе сюжет кочетовских «Братьев Ершовых», где один из героев Дмитрий Ершов громогласно выводил на чистую воду растленного интеллигента Орлеанцева и презренного изобретателя Крутилича: «Таким бы не диктатуру пролетариата подавай, а диктатуру сильных личностей... Не выйдет, гражданин Орлеанцев, с гнилыми вашими теориями. Сомнем вас. Прямо говорю — сомнем!» Зал грохнул аплодисментами».

Не думаю, что это только факт из копилки литературных курьезов. При всей разоблачительной прямолинейности роман не лишен расчета. Нужна была идеологическая изощренность и изобретательность, чтобы в 1956—1957 годах приписать интеллигенции не только стремление к подрыву основ, но и культ «сильной личности», желание повелевать. Изрядно измененный и модифицированный миф о властолюбии и «элитарности» интеллигенции дожил до нашего времени и порой всплывает то в критических статьях, то в письмах читателей, публикуемых прессой, то в выступлениях тех, кто сегодня похваливает Кочетова, ставя его имя рядом с именем Твардовского.

А о настоящей любви к сильной личности, между прочим, недавно достаточно громко возгласил не кто иной, как Валентин Пикуль — фигура весьма репрезентативная в социальном смысле. Мы сейчас не касаемся произведений этого автора, но очевидно, что тот читательский пласт, на который они сориентированы, во всяком случае, не интеллигентский. Совсем другие читатели увлечены жизнью придворной элиты екатерининского века, находя в ней трогательные для себя переклички с временами позднейшими.

Как же так получилось, что элитарная спесь, высокомерие, равнодушие к жизни людей обыкновенных вдруг стали приписываться интеллигенции, хотя на самом-то деле именно эти черты изначально чужды подлинному интеллигенту? Демократизм, «чувство равенства со всеми живущими», о котором упомянуто на страницах «Доктора Живаго»,— это тот фундамент, на котором сам феномен интеллигенции выстраивался. Ведь и свою историческую роль она дерзала осуществить не иначе, как через самоотверженное, жертвенное служение своему народу. Кастовый снобизм—мета совсем другого уклада, чиновно-бюрократического. Откуда же взялись предпосылки такой путаницы, когда чисто внешние атрибуты: шляпа, галстук, очки — стали в обыденном сознании неразличимыми признаками и бюрократа, и интеллигента?

Может быть, это следствие духовного перерождения какой-то части интеллигенции, променявшей свой традиционный культ долга на чиновный культ должности? Отчасти и так. Бюрократический слой вообще складывался из «перерожденцев»: бывших крестьян, перебравшихся в городские начальственные кабинеты и своими резолюциями губивших деревню, бывших рабочих, овладевших методами нажима и окрика, бывших интеллигентов, чинивших насилие над культурой. Но при этом нельзя не учитывать неиссякаемую способность бюрократа к мимикрии и смене масок. А. Бутейко обратил наше внимание на то, как ловко Сталин и «выпестованная им партийно-государственная бюрократия» перелагали ответственность за беззакония и репрессии на рабочий класс и на «диктатуру пролетариата». Бюрократия всегда умела скрывать свое подлинное лицо—циничное, безразличное ко всему, кроме сохранения своей господствующей позиции. Отсюда и лицедейство бюрократа, его умение сыграть и прямолинейного «работягу», и «мужичка», и «интеллигента». Последняя роль ему особенно пришлась по вкусу в 70—80-е годы, в условиях роста управленческого аппарата, постепенной бюрократизации науки, образования и культуры.

Помимо шляпы, очков и галстука, появилось множество «позиций», в которых интеллигент и бюрократ стали малоразличимы. Не только таблички «завов» и «замов», но и такие скромные титулы, как «старший научный сотрудник» или «редактор», стали потенциально двусмысленными: кто кроется за ними — ученый или чиновник, литератор или делопроизводитель? Для начальников стали легкой добычей не только докторские степени, но и академические лавры. Среди служащих, подписывающих рукописи в набор, стало дурным тоном не сочинять романы и стихи и не печатать их в «дружественных» издательствах и журналах. В бой за личное благополучие вступили не только научные и литературные «генералы», но и более многочисленные «офицеры».

Оно, конечно, деловая жизнь обрела иерархическую стройность, проще стало определять, кто есть кто. Персонаж повести Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» вычислял, кто важнее чином — старший лесничий или инструктор райкома? Постепенно деловые люди научились решать и не такие задачки. Скажем, нет мучительнее дилеммы: какой из двух авторских рукописей отдать предпочтение, если обе они примерно одинаковой степени серости? Коэффициент художественности пока не открыт (да для бесконечно малых величин он едва ли бы оказался эффективным измерителем), зато должностные коэффициенты конкурирующих авторов у нас тертыми «знатоками» вычисляются мгновенно, причем в уме.

Но самое печальное в этом процессе — бюрократизация умственного труда, превращение в безгласных «клерков» учителей и врачей, инженеров и юристов. Ведь именно они составляли изначально основной массив интеллигенции. В наших школьных разборах чеховских произведений беспощадно клеймятся опустившийся Ионыч и ему подобные. Действительно, Антон Павлович был строг. Помнится, учитель словесности Никитин был пристыжен тем, что не читал «Гамбургскую драматургию» Лессинга. Господи, применимы ли такие беспощадные критерии к нынешним учителям словесности — не к отдельным белым воронам-новаторам, а ко всей массе? И, замечу, в бурных спорах о преподавании литературы в школе у нас преобладают какие-то прямо-таки бюрократические аргументы — количество часов и программа. Но программа-то — не более чем бумага. Впишите в нее хоть Веневитинова с Ходасевичем, отведите хоть сотню часов на них — все это не заменит индивидуальной культуры учителя, его элементарной начитанности.

А что до Ионыча, то к нему, к Доктору Старцеву, и сегодня в частном порядке больные стали бы за изрядную плату обращаться. Поскольку его работа все же не сводилась к выписке бюллетеня, и умел он произнести в разговоре с больным больше, чем три звука «ОРЗ».

Не будем, однако, отыгрываться на рядовых тружениках-интеллигентах, пусть и обделенных подлинной интеллигентностью. Ведь если мыслить социально, то снижение профессионального и общекультурного уровня работников умственного труда во многом объясняется тем, что престиж и реальный диапазон их деятельности оказался несоизмеримо ниже престижа управленческого труда.

Чтобы как-то изменить эту ситуацию, понадобится длительная работа. И литературе грешно было бы не заняться ею тоже, обратившись к такому неиссякаемому источнику характеров и ситуаций, как противоречие между бюрократией и интеллигенцией. Суть здесь не лежит на поверхности. Подобно тому как настоящий интеллигент не назовет себя сам интеллигентом, то и настоящий бюрократ никогда сам себя бюрократом не обозвет. И все-таки наша способность их различать еще не утрачена.

Стратегия интеллигента — самоотдача. В этом суть его честолюбия, всех его амбиций и самых затаенных мечтаний. Интеллигентность самокритична, рефлективна и поэтому ничего общего не имеет с «бескорыстием» жаждущего печататься графомана или карьеризмом, выдаваемым за самоотверженное служение делу. Самохвальство и переоценка своих возможностей — за пределами интеллигентности, в состав которой органично входит строжайшая «госприемка». Интеллигентность в этом смысле рентабельна, выгодна обществу.

К тому же материальные потребности интеллигента имеют определенный потолок: у него никак не возникнет желания осыпать своих дочерей бриллиантами, а сыновей посылать в весьма дорогостоящее сафари. Я далек от популярного ныне осуждения вещизма (ведь он возникает только на социальной почве дефицита вещей), но интеллигент способен служить примером культуры потребления — непременно добровольной, а не вынужденной. Она прочно связана и с присущим интеллигенту уважением к закону, брезгливостью к любой возможности присвоить чужое.

Не таковы наши бюрократы. «Спецснабжение», как выяснилось, не утоляет потребностей, а ведет к их безмерному разрастанию. Бюрократия стала в известной мере «криминогенной» средой. Примеров тому было явлено множество, ограничусь одним из самых выразительных — историей Героя Социалистического Труда Ахмаджана Адылова, насаждавшего в Ферганской долине рабовладельческий труд и тем самым удовлетворявшего свои ненасытные потребности. Реальная бюрократическая «этика» нечасто становится предметом художественного исследования. Только Л. Зорин дерзнул вытащить ее на сцену гласности в комедии «Цитата». Ответственный ра-

ботник Кирилл Петрович Балтазаров без всякого сарказма, спокойно говорит о своих собратьях по рангу:

Вот Николаев, Никодимов
И Никаноров — тут как тут.
Все вместе мы непобедимы.
Друзья придут и подопрут.
Ну, задымишь необратимо —
тогда, конечно, продадут.
Но все же все мы — побратимы.

Категории верности и предательства в этой морали нет, здесь действует только закон выживания. И метастазы цинизма из управленческой сферы проникали в научную и творческую среду. Ведь многие творческие личности — кто постоянно, кто время от времени — выступают в роли «функционеров» — как редакторы, как рецензенты, как члены ученого или редакционного советов.

Никите Михалкову принадлежит афоризм: в поединке бюрократа и художника побеждает тот, кто настоящий. Сказано остроумно и оптимистично, но, увы, очень много можно вспомнить случаев, когда настоящие художники были сломлены весьма заурядными, посредственными бюрократами. Ведь каждый талантливый мастер обречен бороться в одиночку — при том, что бездарности сплачиваются легко и надежно.

Бюрократическая централизация культуры являет нам сегодня множество неполадок в плане социальном и даже бытовом. Социальный статус современного актера и режиссера — примерно на уровне Несчастливцева и Счастливцева. Наших соотечественников призывают увлекаться не роком, а классикой — в то самое время, как Москва надолго осталась без единого зала, приспособленного для исполнения симфонической музыки. Массовые библиотеки по всей стране пребывают в неудовлетворительном состоянии: на полках нетронутая, порою «неразрезанная» макулатура, а за читаемыми книгами и журналами многомесячная очередь.

На протяжении десятилетий эта «проза» не интересовала «начальников» от культуры. Зато они уверенно вмешивались в интимные вопросы творчества: как написать, как поставить и сыграть, как нарисовать или вылепить. Листаешь мемуары драматургов и режиссеров: с неподдельным трепетом там повествуется о том, как Екатерина Алексеевна «закрыла» или, наоборот, великодушно «разрешила» спектакль, до оценки действий этой дамы рассказчики доходить не рискуют — будто читаешь записки XVIII столетия, где о совсем другой Екатерине Алексеевне ведется речь.

В прошлом ли все это? «Отсутствует минимальная гласность при обсуждении и принятии управленческих решений, все продолжает делаться авторитарно, касается ли это судьбы какого-либо театра или его отдельных деятелей»,— констатирует режиссер В. Фокин («Огонек», 1988, № 4). Но вот министр культуры В. Г. Захаров, выступая по телевидению 13 февраля сего года, обнадежил, пообещав «углубление демократических методов управления культурой». Хоть и идет речь о демократических методах, но суть старая — «управление»...

Образ русской интеллигенции неразрывно связан с двумя ее извечными вопросами — «кто виноват?» и «что делать?». Позиция обличителя и обвинителя, конечно, эффектнее, но никуда не уйти от необходимости «положительной программы», хотя бы самой приблизительной. Что же надо сделать?

Сделать так, чтобы сумма прав управленца не превышала суммы его обязанностей: власть ему дана над делами, но не над людьми. Ввести в рамки престиж управленческого труда и вознаграждение за него. Вписать в кодекс управленца уважение к чужим знаниям и квалификации, умение с максимальной эффективностью использовать их в интересах дела. Управленцев в области культуры, просвещения и науки полностью переориентировать с командования творческой мыслью на обеспечение условий для свободного ее развития.

«Поставить на место» и интеллигента. На то место, которое ему завещано нашей историей и традициями отечественной культуры. Для этого не так уж много нужно. Интеллигентность ведь способна расти на самой каменистой почве, без особой подкормки — только немножечко кислорода ей необходимо. Кислорода правды. И более всего в этом процессе укрепления статуса интеллигенции заинтересован не кто иной, как н а р о д. Нам насущно нужны:

Интеллигентные ученые, неподкупные эксперты, способные дать стране честные советы и дельные рекомендации.

Интеллигентные учителя, несущие юным согражданам знания, а не пункты инструкций.

Интеллигентные воспитатели, способные выпрямить искривленные судьбы несметной безотцовщины.

Интеллигентные врачи, свободные от бумажно-отчетного комплекса бюрократа и не свободные от клятвы Гиппократа.

Интеллигентные юристы, всерьез признающие презумпцию невиновности и ставящие закон превыше административной табели о рангах.

Интеллигентные редакторы и издатели, не затрудняющие, а облегчающие связь между писателем и читателем.

Интеллигентные писатели, не благодушно разглагольствующие о том, что важнее — правда или художественность, а мужественно несущие двойной груз беспощадной правды и бесконечной тяги к совершенству.

В мире журналов и книг

«Чтобы остаться самим собой...»

История литературы знает немало примеров того, как сочинения, предназначавшиеся взрослому читателю, со временем занимали прочное место на полках детских и юношеских библиотек. Но что-то не память не приходит пример иного рода, когда произведение, адресованное юному читателю, оказывалось бы способным удовлетворить строгим требованиям, предъявляемым литературе для взрослых.

Возьму на себя смелость утверждать, что «Петровская набережная» Михаила Глинки из их числа.

Рождением своим в значительной мере книжка обязана энергии и незаурядному организаторскому таланту редактора ленинградского детского журнала «Искорка» Д. Б. Колпаковой. Стремясь привлечь к работе в журнале талантливых писателей, именно она убедила М. Глинку, до того автора четырнадцати «взрослых» книг, испытать свои силы в работе над книгой для детей.

Сам же М. Глинка, сдав в журнал первые рассказы о нахимовце Мите Нелидове, очевидно, и не предполагал, сколь увлечет его эта работа. Его не соблазнили рассказы о приключениях детства, показной экзотике жизни юных воспитанников Нахимовского училища. Творческий интерес для автора представляли лишь те подробности жизни юного героя, которые сыграли решающую роль в формировании личности, дальнейшей судьбы и которые осмыслены в книге как нравственные уроки жизни.

Перед читателем разворачивается одна из «тихих» драм начала пятидесятых годов — времени девальвации духовных ценностей, драма утраты, ослабления нравственных связей между поколениями.

В «Петровской набережной» намечены как бы две сюжетные линии: одна — это история поступившего учиться в Нахимовское училище героя, и другая — история души, робкой, доброй, совестливой, но постепенно, под влиянием жизненных обстоятельств погружающейся в глухое самодовольство, эгоизм.

Забегая вперед, скажу: в заключительных главах читатель с удивлением обнаружит, что выросший из трогательного крохотного «грибка», покрытого налезающей на уши нахимовской бескозыркой без ленточек, бравый гардемарин, бесспорный кандидат на золотую медаль «пробы» 1952 года, трижды шагавший с обнаженным палашом через Красную площадь на парадах ассистентом при знамени училища, этот самый юноша становится вдруг... неинтересен автору. Тонкий рассказчик, которому не откажешь в умелом владении деталями, остроумный комментатор событий, М. Глинка становится тороплив, сух. События, захватывающие героя, переполняющие душу гордостью,— все эти парады, поцелуи с «недосягаемой» Леной в Румянцевском садике и пр.— упоминаются лишь в контексте иных событий, более важных для автора, но вовсе не значительных с точки зрения героя. Автору был интересен характер страдающего, мучающегося, усердно «строящего» себя пацана, но стал скучен и непривлекателен налитый здоровьем и знаниями выпускник Нахимовского училища, упоенный признанием успехов и, как все самодовольные люди, в расчетливой подслеповатости оберегающий собственный душевный комфорт.

Итак, повесть о счастливом детстве. В чем же оно, счастье?.. Не в том же, что после войны Митя Нелидов остался сиротой. И не в том, что довелось в младенчестве испытать ему и холод, и голод, утратить отчий дом. Разве понятие счастья и все случившееся с героем не на разных полюсах шкалы жизненных ценностей? Все относительно. Горе, беды, утраты — как у всех, как у многих тогда. А потом, в сорок восьмом году, Мите выпало то, о чем могли только мечтать миллионы послевоенных мальчишек. И разве не счастье в одиннадцать лет надеть форму военного моряка? Вскидывая прямую ладонь к бескозырке, разом приобщиться к тем, кто овеян славой победы, кто пришел с войны, к тем, кто совершал подвиги во имя победы над врагом. Именно как право на подвиг принимают счастливчики военную форму и вместе с ней первые испытания на этом пути.

М и х а и л Г л и н к а. Петровская набережная. Повесть. Л., Детская литература, 1987.

Не беда, что армейские интенданты упустили из виду «малоразмерных» защитников Родины, «грибков»; вот и шагают от станции в свой первый полевой лагерь маленькие нахимовцы, новобранцы, в ботинках на два-три размера больше, шагают в духоте, в пыли... Ноги стерты в кровь, голова в чаду, обливаются потом мальчишки, еще не получившие даже права повязать ленточки на бескозырки. И ни одного пожелавшего сесть на грузовик с вещами! Ни одного попросившего пощады, снисхождения!

Почему же, когда читаешь главу о переходе малышей от станции к лагерю, не оставляет ощущение того, что тебе рассказано гораздо больше, нежели просто о героическом эпизоде?.. Откуда идут эти шкеты?

Идут они, дети народа-победителя, с войны, где вместе с горьким воздухом победы, оплаченной миллионами жизней, впитали они нормы чести, долга, совести, самоотверженности.

Мужество требует награды. И командир роты, уже окрещенный Папой Карло, протягивает свой «ТТ» Юрочке Белкину, самому маленькому, отказавшемуся сесть в машину, и, указав на плавающее в озере бревно, командует: «Шмаляй!..» Так рождаются герои.

Уроки мужского воспитания юные нахимовцы получат не у дипломированных учительниц, оснащенных методиками и до буквы выверенными программами, а у мичмана Лошакова с его неповторимо сочным словарем и верой в истинность воинской службы. У Папы Карло, чья неистовая душа вся на виду, в зеркале круглого его лица, «румяного, как у екатерининского вельможи». У лейтенанта Тулунбаева, лучшего штурмана Северного флота, музыканта и математика. У начальника училища в коротковатом кителе, не по строевому сутулого, но все на свете понимающего. У преподавателя Глазомицкого, умеющего не только взращивать математические таланты, но и личным примером обучающего высшей математике человеческих отношений.

Вот идет традиционная военная игра в летнем нахимовском лагере. Интригующе начав рассказ о «боевых действиях», автор тут же словно забывает об игре и рассказывает о том настоящем, что произошло на этой «войне» потешных рот.

А настоящим был плен, в который попал разведчик пятой роты воспитанник Нелидов. Настоящей была его попытка бежать... «Митю приволокли к костру и заново затянули руки, затянули еще туже... Кисти скоро онемели, потом онемели локти, затем стали неметь плечи... Ужас пришел снова. Если остановится кровь, то ткань мертвеет. Может, уже сейчас его руки не спасти... Через полчаса Митя дал слово сиплому, что никуда не убежит. Его развязали».

Почему же пришедшие утром парламентеры, увидев его греющимся у костра, ехидно спрашивают: «Может, зря мы за тобой пришли? Тебе и здесь неплохо...» «Их не валяли по кустам, им не всовывали в рот суконный околыш, их не связывали так, как связывали его... Вон у него на руках и на ногах рубцы!.. Освободили час назад, а промучался он всю ночь! Всего час какой-нибудь не дотерпел!.. Чего от него ждали? Что он останется каменным до конца? Даже когда не останется никаких шансов? Даже когда в борьбе уже не будет никакого смысла? Но зачем? Зачем?

— Чтобы самим собой остаться,— вдруг сказал лейтенант Тулунбаев.— Вот зачем».

Универсальность вопроса о бессмысленности борьбы, оправдывающей даже такое детское предательство, и емкость ответа лейтенанта Тулунбаева вряд ли в полной мере могут быть оценены не нюхавшими житейского пороха читателями. И тут М. Глинка подводит нас к самой сути своего повествования.

Не без основания можно предположить, что на вопрос: «Зачем написана эта книга?», автор так и ответит: «Чтобы остаться самим собой...»

«Петровская набережная» — это книга об интеллигенции и интеллигенте, добровольном бремени моральных обязательств, сопутствующих этому званию. Интеллигентным человека не сделать по принуждению, порядочность не внедрить ни силой, ни приказом, ни уставом. Интеллигентом становятся. Порядочным же человека не делают ни обстоятельства, ни чужая воля, ни усердие мудрых воспитателей — мысль глубокая, обращенная непосредственно к совести человека. И эта мысль автора об ответственности каждого лично и безраздельно — за моральное достоинство своих дел и помыслов. Обстоятельства могут только способствовать или мешать, могут помочь оправдать слабость, но решающим остается личный, самостоятельный, сделанный наедине со своей совестью выбор, добровольный и в ущерб — непременно в ущерб — частным, эгоистическим интересам.

Иронический афоризм, родившийся на другой набережной другого рукава Невы, в «Пушкинском доме» Андрея Битова: «Культурным быть невыгодно» — перекликается с мыслями автора «Петровской набережной».

Что же это за убеждения, заставляющие человека поступиться личными удобствами, реальными, ощутимыми сию минуту выгодами, что заставляет одних людей видеть то, что вроде бы выгодней было не заметить, слышать то, чего не слышат или делают вид, что не слышат, расчетливые люди? Зачем обременять себя долгами, которых никто никогда с тебя не спросит? Зачем тяготить душу благодарностью, о которой тоже никто не напомнит, не намекнет даже, разве что вдруг проснувшаяся совесть?..

Писатель остро ощущает насущные духовные потребности общества, живет ими, ищет ответы, задавая вопросы себе, нашему минувшему опыту, нашей истории.

В редакционном послесловии к одной популярной в свое время детской книжке было сказано: «Многие ребята, прочитав эту книгу, дают обещание учиться и сдавать экзамены на «отлично», поднять дисциплину, крепко дружить с товарищами, помогать взрослым...» «Петровская набережная» не попадет в разряд книг, побуждающих к публичным обещаниям, она рассчитана на глубоко личное общение автора с читателем. Ее место мне видится в недлинном ряду отечественных книг о детстве, помогающих и юному и взрослому читателю глубже понять нравственную природу нашего общества, или хотя бы просто помогающих видеть вокруг себя прекрасных неброских людей, не проповедью, не призывом, а самой своей жизнью наполняющих высоким достоинством звание русского интеллигента.

Честные, горькие книги о нашем давнем и недавнем прошлом вызывают и по сей день оторопь ревнителей педагогического благонравия: на чем, на каких примерах будем воспитывать молодежь?!

Стоит оглянуться назад, вспомнить тех, кто был рядом, говорит автор «Петровской набережной», и вы увидите все, что стало со временем социальным дефицитом: благородство, справедливость, великодушие, милосердие, порядочность... правда, не там, где их привычно искали... правда, наследники этих богатств парадным шагом летели куда-то мимо, косили глазом в сторону, молясь иным богам.

Повесть М. Глинки «Петровская набережная», возвращает нам это ушедшее время, где можно отыскать ко многому обязывающий ответ на вечный вопрос: «Кто мы? Откуда мы родом?»

Михаил Кураев

г. Ленинград.

О «стариках», «дедах» и «салагах»

Маленькая повесть Юрия Полякова «Сто дней до приказа» всколыхнула читателей: и тех, кто служит сегодня в армии, и тех, кто в последние десятилетия прошел срочную службу.

Спрашивается, что же такого страшного показал автор повести? Так называемую «дедовщину», неписаный кодекс казарменных отношений между старослужащими и первогодками? В этом кодексе есть даже некая демократичность: ведь каждый новобранец на втором году службы автоматически переходит в разряд «стариков», а за три-четыре месяца до увольнения — в разряд «дедов», имеющих много привилегий: ему прислуживают первогодки, «салаги», или «сынки», как их еще называют, за него дежурят на кухне, убирают постели и делают еще много малоприятных солдатских дел. Разделение труда проходит по принципу: сегодня тебя «дрючат», завтра ты «дрючишь». В этой вроде бы справедливой формулировке естественное уважение новобранцев к «старикам», овладевшим воинским мастерством, нормами уставной жизни, превращается в свою противоположность: пробуждаются мстительность, чванство, садизм и прочие низменные инстинкты. В такой атмосфере вседозволенности очень трудно «преодолеть соблазн презирать человека» (Ф. Мориак) — требуется высокая духовно-нравственная культура.

Но нет ее в описанной Ю. Поляковым солдатской казарме, где издеваются над первогодками, нередко унижают их достоинство, если оно и было в какой-то мере привито семнадцатилетнему парню школой, комсомолом, семьей.

Чего можно ожидать от примитивного, самодовольного ефрейтора Сани Зубова, или Зуба, как зовут его в батарее? Год назад его самого мордовал рядовой Мазаев: «Парень восемь на семь, глаза в разные стороны, двух слов не свяжет, если только при помощи фигуральных выражений, глубоко чуждых армии и печати»,— с меланхолической иронией замечает однопризывник Зуба, рядовой Леша Купряшин, чьими устами ведется повествование. Мазаев заставлял новобранца в течение нескольких часов маршировать и отдавать честь его, мазаевской, шинели, напяленной на швабру и поставленной у стены. Мазаев, а вслед за ним Зуб заставляли «сынков» или «салагу» стирать гимнастерки, подворотнички, посылали с унизительными поручениями на кухню, в каптерку, принуждали прислуживать себе, принуждали нагло, в присутствии других солдат.

И вдруг Саня Зуб напоролся на тихое сопротивление невзрачного новобранца Фимы Елина, парня с «бледным веснушчатым лицом, голубыми глазами и обиженными губами». До армии Серафим Елин работал пионервожатым; Зуб невзлюбил его с первого взгляда, когда бывший вожак красногалстучной детворы вошел в казарму, не постучавшись, и сказал: «Здравствуйте, товарищи!» Зуб довел Елина до того, что тот исчез из казармы и пытался покончить с собой...

Самое, пожалуй, существенное здесь — отношение других солдат и офицеров к

Юрий Поляков. Сто дней до приказа. Повесть. Юность, № 11, 1987.

«педагогике» Зуба, отношение пассивное, как к чему-то неизбежному. Поэтому, когда Зуб кидается чуть ли не с кулаками на Елина, молодые новобранцы молчат, боясь мести старослужащих. Из «стариков» один Алексей Купряшин встает на защиту Елина. Но Купряшин вообще выделяется в батарее: он военкор газеты, «умный», как говорят про него солдаты. Однако другие умные «старики» в основном оправдывают «дедовщину».

Впрочем, Валера Чернецкий, из студентов, вычислитель взвода управления, занимает особую позицию. Когда на утренней поверке майор Осокин доложил об исчезновении рядового Елина, Чернецкий со злостью тихо произносит в адрес Зуба: «Ну что, силовик-наставник, доэкспериментировался?». Однако накануне на ночном заседании «стариков», осудивших поведение Купряшина, Чернецкий всерьез обосновывает свою терпимость к «дедовщине»: «Ты думаешь, люди на «стариков» и «салаг» только в армии делятся? Ошибаешься. Разуй глаза: эти на работу пехом шлепают, а те в черных бугровозах ездят, эти в очередях давятся, а те в спецсекциях отовариваются... Запомни, Купряшин: там, где появляются хотя бы два человека, сразу встает вопрос — кто командует, а кто подчиняется». Чернецкий напоминает, что в соседнем подразделении как-то сформировали состав из одного призыва. И что же? «Так там молодые сами свои порядки устанавливали: кто здоровее, тот и «дембель».

Значит, дело не в старослужащих и даже не в «дедовщине», а в принципах человеческих отношений, складывающихся в современных армейских коллективах. Юрий Поляков высказывает предположение, что «дедовщина» появилась в нашей армии во второй половине 60-х годов, когда отменили трехлетний срок армейской службы, перешли на двухлетний, и те, кто дослуживал свой третий год, почувствовали приступ зависти, ревности и отыгрывались на новобранцах... Так зародилась «традиция». Непосредственные командиры поначалу определили это явление как своего рода наставничество, передачу опыта, преемственность. Командир батареи Уваров убежденно говорит майору Осокину: «...если «дедовщина», несмотря на всю борьбу с ней, существует, значит, это нужно армии, как живому организму. Так везде...» Здесь, правда, возникает вопрос, какая разница между дисциплиной и жестоким принуждением. Майор Осокин считает, что «дедовщина» выхолащивает веру первогодков в командирскую справедливость и воспитывает в каждом молодом солдате держиморду.

Возникают и более серьезные вопросы, о которых Юрий Поляков решился сказать,— о культуре армейской жизни, о демократичности армейских уставов и нравов. Обязательность службы в армии неизбежно определяет атмосферу отношений военнослужащих между собой и, конечно, отношения молодежи к службе. Обязанность есть обязанность. Она священна, как сказано в нашей Конституции. Может быть, поэтому никто из воинских командиров всерьез не задумывался, как привести служебные установления в соответствие с новым уровнем духовно-нравственного развития современной молодежи, с ее возросшим чувством личного достоинства. Алексей Купряшин в отношениях «стариков» с «сынками» однажды увидел «полный идиотизм». Если служба в армии — обязанность, значит, нельзя даже задумываться, какова армейская служба, значит, «нужно смирить душу и вжиться» в эту двухлетнюю неизбежность. Потому что, полагает Купряшин, «сила характера не в том, чтобы ломать других, как считает Уваров, а в том, чтобы сломать себя».

Здесь наш думающий герой останавливает себя. Он вдруг на мгновение усомнился, «а нужно ли ломать, нужно ли привыкать к тому, к чему приучил себя я? Может быть, прав смешно уплетающий «шрапнель» (солдатскую кашу) Елин: сначала мы сами придумываем свинство, а потом от него же мучаемся...» — Герой наш тут малость испугался своей догадки и не решился сформулировать для себя все неизбежные из этой догадки последствия.

А последствия серьезные. Речь идет об основных человеческих ценностях: об уважении к себе и к другим, о достоинстве и справедливости, о неприкосновенности личности и о чести в конце концов. Почему, вступая в армейские ряды, молодой новобранец должен «ломать себя», т. е. ломать привычные для себя нравственные представления о человеке и нормальных «гражданских» ориентирах? В конечном счете речь идет о культуре армейской жизни, о культуре жизни, работы и быта подразделений и частей.

На эти темы написаны сотни военно-академических диссертаций, монографий, военно-методических пособий. И все же то, чем живет последние три года наше общество — гласность, демократизация, критика и самокритика,— пока лишь в малой степени проникает в воинские гарнизоны. Казалось бы, трудно совместить такие понятия, как демократизация, культура, гласность, с армейскими уставами и регламентами, но несовместимость эта кажущаяся.

Валера Чернецкий прав: уровень армейских отношений отражает уровень гражданского сознания в обществе. «Дедовщина» возможна только на том уровне духовного развития, на котором пребывают рядовой Мазаев или ефрейтор Зубов, властные, мстительные, недалекие люди. Она составляет лишь малую часть сложнейших проблем, возникающих с каждым новым призывом и, увы, давно бытующих в нашей армии.

Армия до последнего времени была зоной вне критики и общественного мнения. Юрий Поляков чуть приподнял занавес, и вот читатель уже поражен сложностью

отношений в солдатской казарме. Хорошо знающий армейские нравы Вяч. Кондратьев признается, что из читательских откликов на повесть Юрия Полякова он узнал «о таких вещах, о которых просто страшно писать. Это уж почище канувшей в Лету бурсы, не слышал я, чтоб такое совершалось даже в среде заключенных» (ЛГ, 10 февраля 1988). Писатель по простоте и чистоте душевной предлагает «принять незамедлительные меры пресечения» этих ненормальных отношений в армии.

Думаю, что «меры пресечения» бессильны, когда встает вопрос о духовной и нравственной культуре армейских коллективов, о свободе и достоинстве личности солдата и командира, о демократизме и гласности их отношений. Нужна терпеливая, многолетняя работа по воспитанию человека в солдатской шинели или офицерском кителе.

Скромная по своим художественным достоинствам повесть «Сто дней до приказа» выполняет свою роль первой. Она по-хорошему иронична: ведь Алексей Купряшин, а вместе с ним и автор повести Юрий Поляков могли себе позволить такую интонацию; они уже прошли срочную солдатскую службу. Повесть умело построена в виде картины одного дня в артиллерийском дивизионе, когда солдаты были подняты утром на поиски пропавшего Серафима Елина. Композиция привлекает кинематографической динамичностью.

Глубина авторского владения словом, к сожалению, оставляет желать лучшего. Явно недостаточно проникновение в характеры даже главных персонажей — рассказчика Алексея Купряшина, майора Осокина, ефрейтора Зубова, рядового Елина.

Повесть «Сто дней до приказа» — только первая ласточка, возвестившая о грядущей весне обновления армейской жизни. Но одна ласточка весны не делает.

Вл. Воронов

А дальше будет фабула иная...

Вспоминая Николая Калинниковича Гудзия, встречи с ним, академик Д. С. Лихачев задумался над тем, почему именно его — в ряду равных, а порой куда более именитых современников — называли «совестью советского литературоведения»: «Это не титул и не должность. Этим званием не награждают; его нельзя выслужить. Но его можно заслужить. Он заслужил это высокое звание своею искренностью и правдивостью... И он был очень добр. Он никогда не радовался чужим неудачам. Дурные поступки его всегда болезненно огорчали». И еще: «Н. К. был наделен острым чувством течения времени, хода Истории. Кто знает, может, поэтому среди его учеников конца 30-х годов — блестящая плеяда поэтов «фронтового поколения»: Коган и Кульчицкий, Гудзенко и Левитанский, Наровчатов и Самойлов — тогдашние студенты ИФЛИ (Московского института истории, философии и литературы)».

Добавим: в ИФЛИ учились еще и Твардовский, и Симонов — случайным ли покажется такое соединение ярких имен? Но важно и о другом помнить. «У меня,— говорит Юрий Левитанский,— есть основания думать, что та эволюция, которую прошли люди моего поколения, была одной из самых сложных, самых трудных и, может быть, самых трагичных... Горький когда-то советовал молодым: как можно больше читайте, как можно меньше верьте. Нас учили, пожалуй, по принципу обратному: читать меньше, а верить больше».

Все-таки сказанное не до конца относится к воспитанникам ИФЛИ. И читали они жадно, как будто спеша до начала войны заложить фундамент, способный выдержать всю тяжесть истории. И учились, к счастью, еще и у таких учителей, как Гудзий, а в поэзии — у «Тихонова, Сельвинского, Пастернака», но также и у Гумилева, Ходасевича, Цветаевой, от руки переписанных... Да и верили, разумеется, не только в то, что «на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом»,— хотя эта вера, признается в недавнем интервью Ю. Левитанский,— увы, была слепой.

Такие две силы, две скалы сдвинулись в житейском море: война — и культура, история, поэзия, слово. Судьба — и юношеские мечтанья.

Мундиры, ментики, нашивки, эполеты.
А век так короток — господь не приведи.
Мальчишки, умницы, российские поэты,
провидцы в двадцать и пророки к тридцати.
. . . .
Как первый гром над поредевшими лесами,
как элегическая майская гроза,
звенят над нашими с тобою голосами
почти мальчишеские эти голоса.

Говорят: на войнах и в мирских бурях первыми гибнут лучшие. «Мальчишки, умницы... провидцы в двадцать...» —

Юрий Левитанский. Годы. Стихи. М., Советский писатель, 1987.

о ком стихи? О гениях XIX, золотого, и в равной мере — о жертвах железного XX: «Мы все их старше, а они все так же юны, и нету судей у нас выше, чем они».

ИФЛИ — Лицей двадцатого столетья. Сопоставление не исчерпывается одними обольщениями и обетами младых лет — «любви, надежды, тихой славы...» — ни раскатами вовсе не элегической майской — двух июньских гроз, двух Отечественных войн... полтораста лет между вспышками молний; ни ранней поределостью зеленой поросли, о чем столько написано и Самойловым (которому посвящены процитированные выше стихи):

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.

И вроде день у нас погожий.
И вроде ветер тянет к лету...
Аукаемся мы с Сережей,
Но леса нет, и эха нету.

И у названного здесь детским, ифлийским именем Наровчатова в «Зеленых дворах» — тоже об этом.

Однако самое важное в намеченном сближении двух школ обнаруживается, когда задумываешься о днях нынешних, о возрасте, в котором сегодня воздействуют на жизнь российской поэзии «ифлийцы» Д. Самойлов, Ю. Левитанский. Ведь как ни парадоксально, лицейская закваска и у «Пушкинского поколения» поэтов XIX века тем более проявлялась, чем глубже они вступали в возраст.

Сегодня распространено меж стихотворцами, критиками и читателями мнение, точнее — верование, будто бы в поэзии вообще все сводится к «почве»: природному голосу, неподдельному чувству, характеру и уж совсем для меня загадочной «воле». Реалии культурные, дескать, прах, мертвый камень, а на камнях ничего не растет. Вообразим Пушкина без его лицейских занятий, без Апулея и Цицерона, один на один с нянькой Ариной и дядькой Никитой... «Памятника» мы бы не дождались. О почве, природном даре — кто спорит; но фундамент ничуть не менее важен. Фундамент, приподнимающий над землей, дающий соотнести себя с «соседями».

Сталкиваясь с названным верованием, я обычно ищу защиты у Пастернака, достигшего высокой степени свободы, лирической раскованности,— вот у кого дыханье почвы (и судьбы!) не только не затруднено, но очищено озоном, альпийским луговым воздухом мировой культуры.

Юрий Левитанский следует этой традиции.

Стихи его отличают легкость, музыкальность, и многие стали песнями, как, например, «Диалог у новогодней елки». Музыкальность, но какой ценою. Легкость?..

Проторенье дороги, евангелье от Сизифа,
неизменное, как моленье и как обряд,
повторенье до, повторенье ре,
повторенье мифа,
до-ре-ми-фа-соль одним пальцем сто лет подряд.

Или:

Делаю то, что должен,
а не то, что хочу.
Тяжкий крест несу терпеливо.
Тяжкий камень в гору качу.

У Ю. Левитанского есть очень разные «стихи о стихах», но в каждом так или иначе встает вопрос, не часто встречающийся в стихотворениях на эту естественную для поэта, для каждого поэта тему: «Кто-то так уже писал», «Все стихи однажды уже были... нам восстановить их предстоит». Подобный поворот, кажется, обещает скорую растерянность, рефлексию, отчаяние — у Ю. Левитанского разговор идет о стихотворчестве, жизни, посвященной служению слову, как об историческом деянии.

Вот откуда ощущение протяженности жизни его лирического героя не во днях — в тысячелетиях. Вот отчего столь естественно появление в книге «Кинематограф» шествия «двухсот поколений человечества» — и «седовласого старца Диогена», поднимающего над толпою свой фонарик, от имени всех вопрошающего поэта: «Для чего?» А в книге «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом», где предельно обнаженная красная нить судьбы автора сплетется с вечным сюжетом о средневековом алхимике, ценою собственной души купившем вчерашний день,— и с ним-то вдвоем пустится герой повествования в дальнее странствие, дабы хоть одним глазком заглянуть в итоге в день завтрашний...

«Годы» — своего рода «Избранное»: три лучшие, поздние книги поэта под одной обложкой. Прислушайтесь: «Кинематограф», «День такой-то», «Прогулка с Фаустом» (а еще есть у него книга «Два времени») — время, текущие годы суть лейтмотив лирики Ю. Левитанского последних двух десятилетий. Предыдущие книги, выходившие в 50—60-е, назывались «Стороны света», «Земное небо». Время вытесняет из тематического круга пространство.

Тут дело не в паспортном возрасте или не столько в нем. Ранние книги ярче, «сочнее», в них чаще находишь стихи балладного строя. Цветовые пятна (недаром когда-то М. Луконин определял поэзию Ю. Левитанского как «акварель душевных переживаний») давно уступили место строгой графике; теперешняя манера письма поэта напоминает карандашный рисунок или офорт.

Сдержанная графичность все сильнее сказывается и на композиции, проявляется в проработке «светотени», в мягких переходах от черного к белому — от одного стихотворения к другому. И в том еще, как каждый дополнительный штрих, вроде бы и повторяя уже обозначенную линию, решительно уточняет образ, а то и изменяет его ракурс. Книга «Годы» — это книга элегий.

Я, побывавший там, где вы не бывали,
я, повидавший то, чего вы не видали,
я, уже там стоявший одной ногою,
я говорю вам — жизнь все равно прекрасна.
Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна,
даже когда трудна и когда опасна,
даже когда несносна, почти ужасна —
жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна.

Время. Судьба. Слово. Триада, намеченная еще в «Дне таком-то»: «Так что же мне делать с проклятым моим ремеслом и что же мне делать с горчайшей слезинкой твоей». Хотя и сказано в стихотворении «Попытка оправданья»: «И вот я две муки неравных кладу на весы», но муки эти сплетены мертвым узлом, и чаши перевешивают одна другую попеременно, то Судьба, то Слово. В «Письмах Катерине, или Прогулке с Фаустом» жестко обозначилось и «коромысло весов» — Время.

Юрий Левитанский находит подчас точные метафоры для выражения троичности жизни человеческой (время — судьба — слово): «Глухо била с правого берега батарея, и мальчишка, почти оглохший в этой пальбе,— Лорелея, шептал я, ну, что же ты, Лорелея, ты зачем так губительно манишь меня к себе!..» — в стихотворении «22 июня 81-го года» слово «Рейнметалл», название старой трофейной пишущей машинки, «вытягивает» за собой цепочку знаков судьбы: Рейн, на берегах которого пришлось автору воевать, и «рейнский металл», что над ним «витал», и — еще дальше, выше — таинственная Лорелея из лекций по классической немецкой литературе, слушанных в ИФЛИ... а превыше всего этого крыло времени, отражающееся в рейнской вечно текущей воде...

Важно расслышать лаконичное, не слишком поэтичное заглавие книги Ю. Левитанского «Годы». В прежних названиях содержался намек если не на тайну, то на какую-то сюжетную интригу, формальную сверхзадачу.

И в названии книги, которую Ю. Левитанский пишет сейчас — «Белые стихи»,— при всей конкретности, указании на определенную поэтическую задачу есть игра смыслов. Это книга, тронутая сединой, белым цветом жизненной умудренности, ясности и прозрачности явлений, открывающих свою духовную суть, но и ощущением того, что «каждый день такой-то и такой» — белый лист.

Это строгие строки классической прозы
и белые розы у вас на окне,
и внезапные слезы, причина которых не страх
перед черною бездной
и горным обвалом
куда-то несущихся лет,
а щемящий восторг перед чудом творенья
и чудом явленья на свет,
перед этой счастливой удачей —
однажды случайно возникнуть,
явиться
и быть.

Между прочим, вот пример того, как в искусстве содержание и форма слиты. Светлов пошутил: балерина не имеет возможности сказать зрителю, мол, я плохо танцую — зато какую идею выражаю! Жизненная позиция Ю. Левитанского, характер его лирического героя во многом объясняются раздумчивой, неспешной интонацией его стиха, длинными периодами, когда рука все не смеет поставить точку («знаки препинанья вообще не наше дело, их расставит время»), чурается мысли «в лоб», избегает прямого истолкования.

О каждой из трех поздних книг Ю. Левитанского много писалось, они переиздаются, но в «Годы» автор включил также новые стихи, из книги еще не завершенной. Включил, нарушив свое правило: не печатать отдельных стихотворений, пока не сделаны последние мазки. По этим нескольким стихотворениям видно, что «Белые стихи» отличаются от «Кинематографа», «Дня такого-то» и «Писем Катерине» отсутствием максимально проявленного сюжета, выверенностью всех стихотворений как элементов цельного сочинения. «Белые» — значит свободные, неподвластные частным законам, поскольку главный — в крови.

В новых стихах еще сильнее обозначена тяга к простоте, и она наряду с присущими Ю. Левитанскому философичностью и теплотой, доверительностью интонации обратила его к забвенным жанрам послания в стихах и притчи. Вспомним: именно притча и послание расцветали в периоды истории, когда слово (и поэтическое, в частности) теряло вес и доверие к нему падало. Вот и Ю. Левитанский, решительно отказавшись от «оттенков и полутонов», так ему свойственных, пишет ныне «белым по белому». Рано судить о книге — будем ее терпеливо ждать. Я хотел бы только вот что отметить: два послания — подчеркнуто адресованы в «крайние стороны»: «юным друзьям» — стихотворцам и «старшему брату по плоти и по крови свободного российского стиха» А. А. Тарковскому, в каждом случае — с целью сказать одно прежде прочего: «Жизнь все равно прекрасна».

Михаил Поздняев

Выстоять!

У моего поколения, поколения тех, кому в сорок первом было четыре-пять лет, война запечатлелась в памяти, как череда тягостных и не по-детски острых впечатлений, оставшихся на всю жизнь.

Тут и чадящие развалины сожженных городов, и тоскливая неопределенность эвакуации, и кислый запах чужой, выменянной на барахло, одежонки, и голод, и страх перед почтальоном,— а вдруг принесет похоронку? — и долгое, растянувшееся на несколько лет наше ожидание отцов, братьев, так и не вернувшихся с фронта.

Может, потому у нашего поколения особое отношение к войне. Когда я решил стать офицером, не было недоборов в военные училища, профессия кадрового военного считалась престижной, а психологи не бились над проблемой взаимоотношений старослужащих и молодых новобранцев. Помню, как бережно относились к нам, первокурсникам, прибывшим на корабельную стажировку, старшины, «дядьки», служившие на флоте в ту пору пять лет. Слово «молодой» не звучало нарицательно. Никому бы и в голову не пришло издеваться над нами, нашими неумением, неопытностью. Нас учили — сурово, требовательно, терпеливо. Проблема возникла позже, вместе с застоем, болотной ряской, подернувшей душу народа, когда правда о войне всячески ретушировалась, чтобы не выглянул ненароком страшный ее оскал, не потянуло горечью пепелища.

Оттого и выползли из мышиных углов равнодушные, для которых Великая война — скучный эпизод, потому иной удалец может оттолкнуть от прилавка инвалида войны, бросив ему вслед: «Надоели!»; потому во рвах с останками расстрелянных под Симферополем скребут лопатами упыри-гробокопатели в поисках золотых коронок...

И как знамение воспринялось появление правдивых книг о войне, среди них и книги Константина Воробьева. Читая и перечитывая его военные повести «Убиты под Москвой», «Крик» и недавно увидевшую свет повесть «Это мы, господи!..», задаешься вопросом: в чем же притягательная сила этих произведений, почему столько лет они волнуют самых разных читателей?

Прежде всего они покоряют правдой, художественным воссозданием реального облика войны, той достоверностью, что дается только своим, горьким опытом, опытом солдата-писателя.

Вот идет на фронт учебная рота кремлевских курсантов («Убиты под Москвой»), рослые подтянутые парни под командой капитана Рюмина. Понятно изумление измученного подполковника из ополченцев: «Двести сорок человек? И все одного роста? — спросил он и сам зачем-то привстал на носки сапог». «Рост сто восемьдесят три»,— сказал капитан...»

Да, все одного роста, но каждый — индивидуальность. В них запечатлены черты героического поколения ровесников революции, почти полностью полегших на полях сражений. И хотя обучены курсанты, и обмундирование подогнано, и выправка — не чета пожилым ополченцам, но ясно — перед нами мальчишки, наивные, необстрелянные, еще не осознавшие, что война — настоящая. Психологически точно переданы размышления лейтенанта Алексея Ястребова: «Все его существо противилось тому реальному, что происходило,— он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось: пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед, к Москве... Это было, конечно, правдой, потому что... потому что об этом говорил Сталин...»

Мальчишкам предстоит не только повзрослеть за несколько дней войны, иным суждено и умереть — умереть с честью и мужеством. Не выдержав испытаний, струсил, бежал с передовой, переодевшись в солдатскую шинель, командир дивизии генерал-майор Переверзев. «Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит,— с пренебрежением говорит о нем раненый солдат.— Нас там хоть и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось!» А курсанты выстояли, выстоял и командир взвода Алексей Ястребов. Выбрался из могилы, вырытой для капитана Рюмина, которую только что проутюжил немецкий танк;; и в этот момент им «владело одновременно несколько чувств, одинаковых по силе,— оторопелое удивление перед тем, чему он был свидетелем в эти пять дней, и тайная радость от того, что остался жив; желание как можно скорее увидеть своих и безотчетная боязнь этой встречи; горе, голод, усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжег танк...». Заметьте, какая сдержанная, мужественная интонация!

И вот идет по лесу лейтенант Ястребов, единственный, кто остался в живых из тех двухсот сорока, идет навстречу другим, еще более суровым испытаниям...

Уже в наше мирное время, за тысячи миль от родной земли не раз приходилось мне встречать на кораблях матросов, курсантов, молодых офицеров, в которых отчетливо проглядывали черты тех кремлевских курсантов, что были убиты под Москвой осенью сорок первого. Жаль, нет пока еще писателя-баталиста, который бы с такой же, как Константин Воробьев, художественной силой воссоздал образ нашего воина-современника.

Повесть «Это мы, господи!..» о наиболее драматическом явлении войны — красноармейцах и командирах, попавших в плен к врагу.

Долгое время тема эта находилась под запретом, должно быть, с той поры, когда Верховный Главнокомандующий заявил, что у врага нет наших пленных, есть лишь изменники Родины.

Более сорока лет пролежала в архиве повесть Константина Воробьева. Трудно представить, что написал он ее в сорок третьем году, используя краткие передышки между боями. Какой обнаженной, кровоточащей должна быть душа двадцатитрехлетнего автора, коль под пером его могли родиться такие строки: «...Каждый день по утрам пленные выносили умерших за ночь. Каждый день около шестидесяти человек освобождали места для других. В середине лагеря, внутри одного барака, во всю ширь и глубь вырыли пленные огромную яму. Не зарывая, сносили туда умерших, и катился в нее воин с высоты четырех метров, стукаясь голым, обледеневшим черепом по костяшкам торчащих рук и колен братьев, умерших раньше его...

Тяжелым, ленивым шагом катились дни. Подминал этот шар под тысячепудовую тяжесть тоски и отчаяния людей, опустошая душу, терзая тело...»

«Это мы, господи!..» — в этом крике души нет попытки оправдать себя, в нем извечная тоска русского хлебопашца-воина, волею тяжких обстоятельств принявшего срам и муки плена. Не случайно Константин Воробьев эпиграфом к своей повести взял строки из «Слова о полку Игореве»: «Лучше быть убиту от мечей, чем от рук поганых полонену». Сама мысль о плене невыносима для русского воина. А коль случилась беда — останься человеком, сохрани силы для борьбы с врагом до последней капли крови.

Повесть «Это мы, господи!..» является как бы продолжением повести «Убиты под Москвой». И хотя герой ее — военнопленный лейтенант Сергей Костров, в нем угадываются черты Ястребова, за которым, думается, стоит и сам автор — участник боев за Москву, бывший военнопленный, партизан, подпольщик.

Разных людей собрала беда в подвале клинского стекольного завода, за колючей проволокой, без пищи, без воды. Тут и шепоток можно услышать: «Ан, слава богу, третью неделю живу в плену и ничего, пью... Самому нужно быть хорошему, тогда и камраты будут хороши...» И услышать гневный ответ: «Штоб твои дети всю жизнь так пили, как мы тут!», «Ишь сука паршивая, камрата заимел...»

Свирепствуют в лагере голод, холод, тиф. Но не сломлены люди, выстоял, выполняет свой долг военврач Владимир Иванович Лучин; не сломлен морально тяжелобольной лейтенант Костров. Ему угрожает ампутация ноги, и смысл выжить он видит только в одном — снова встать в строй. «Резать не дам,— упрямо выговорил Сергей.— Я еще буду драться».

Тюрьмы, лагеря: Саленский, Каунасский. Обычные и штрафные. Чудовищные зверства эсэсовцев, надругательства над военнопленными: «Еще не успели закрыться ворота за изможденным майором Величко, как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем врезались в гущу пленных и начали избивать их. Брызгала кровь, шматками летела срубленная неправильным косым ударом лопаты кожа. Лагерь огласился рыком осатаневших убийц...»

И так — день за днем. Наконец, дерзкий побег, скитание по лесам и болотам, попытка пробиться к своим и снова тюрьма.

Скупыми, точными мазками изображены полицейские — человеческое отребье, продавшееся оккупантам. Один из них спрашивает на допросе Сергея, сколько ему лет. «Двадцать три»,— отвечает Костров. «Мне с тобой не до шуток, понял? Мальчиком прикидываешься?..»

Перед полицейским стоит старик — грязный, оборванный, истощенный, но дерзкий. За пожилого человека принимают Кострова и его однокамерники в тюрьме. «Ох и испаскудили ж тебя, парень!» — сочувствует один из них. А впереди еще испытания, испытания, одно страшнее другого. И лишь гвоздит, терзает мысль, мысль о побеге. «Бежать, бежать, бежать!» — почти надоедливо, в такт шагам чеканилось в уме одно слово. «Бежа-ать!» — хотелось крикнуть на весь лагерь и позвать кого-то в сообщники...»

Да, это мы, господи!.. И те, кто полег под Москвой, навсегда воссоединившись с родной землей; и те, кто прошел муки плена, устоял, сохранив способность к борьбе; и те, кто поднял Знамя Победы над рейхстагом. Неправда безнравственна, полуправда развращает, оставляет ссадины, особенно на неокрепшей, юной душе. Вот почему, думаю, сегодня книга Константина Воробьева обращена прежде всего к молодым, к тем, кому Родина вручила оружие, кому предстоит продолжить великие традиции предшественников — защитников Отечества.

Без правды о войне, пусть самой горькой, нет истинного представления о величии духа нашего народа.

Юрий Пахомов

Константин Воробьев. Убиты под Москвой. Это мы, господи!.. М., Художественная литература, 1987.

Кирпичные корабли

Когда я взял в руки объемистый — больше чем в 500 страниц — том избранных поэм, стихов и песен Новеллы Матвеевой, книга сразу стала окликать меня знакомыми строками и мотивами. И, конечно, одно из самых памятных стихотворений, ставшее, как сегодня выражаются, авторской песней, — «Дома без крыш». Поэтесса рассказывает о своей прогулке летней ночью, об окруживших ее странных образах и картинах, в которых причудливо мешается высокое и низкое, отвлеченное и сугубо бытовое.

Из-за угла, как вор,
Вынырнул бледный двор:
Там на ветру волшебном
Танцевал бумажный сор.

Новелла Матвеева каким-то чудодейственным образом сплавляет «ветер волшебный» и «бумажный сор». У нее среди «цементных волн» новостройки — «Кадка с какой-то краской Точно в теплом море — челн».

Уже одно это не позволяет назвать стихи и песни Матвеевой «экзотичными». Да поэтесса и сама возражает:

Меня корили огорченно
(но в огорченье — увлеченно)
Экзотикою. Окаянство!

Вообще наивно представлять романтическое как нечто обязательно экзотическое, сугубо возвышенное, оторванное от реальности. Поэтическая бутафория так же далека от подлинного романтизма, как чучело от летящей птицы.

Новелла Матвеева пишет часто о кораблях, далеких, заморских, но, может быть, особенное вдохновение ее осеняет тогда, когда возникают «не дома, а корабли» в родном городе, все вдруг плывет, и дома кажутся «кораблями кирпичными».

Или чудесный «кораблик» — он-то уж, кажется, почти совсем экзотичный. Но в этом «почти» все дело. Сказочный, «саморожденный» кораблик этот:

Сам себя, говорят, он построил,
Сам себя, говорят, смастерил.

Строчки звучат одновременно и как старинная легенда, и как обрывок из сегодняшнего разговора.

Шел кораблик по летним морям,
Корчил рожи последним царям,
Все ли страны в цвету,
Все ль на месте, —
Все записывал,
Все проверял.

Нас покоряет здесь простое и естественное соединение двух интонаций — сказанья и сугубо современного: «Все записывал, Все проверял».

Новелла Матвеева умеет создавать романтические образы, в которых сквозит реальность, а добрая ирония помогает сблизить разнородные начала. Я бы назвал как пример этого ее песню «В тиши весенней», где безымянный герой смотрит на огонь костра, что-то кипит в котле широком,

И мы не знаем,
Ах, мы не знаем:
Был или не был
Он на земле,
Что в тихом сердце
его
Творилось
И что варилось
В его котле.

Удивительно сближены два начала рифмой: «творилось — варилось», перекличкой — «тихого сердца» и кипящего котла.

Сказка у Новеллы Матвеевой свободно соприкасается с сегодняшним днем. И так легко вырывается у поэтессы восклицание:

Это она!
Опять —
Фата-моргана!
Это ее цветные сновиденья,
Это ее театр передвижной!

Здесь все сегодняшнее — и театр передвижной, и «цветные» сновиденья.

Вспоминаю, как Михаил Светлов, уже прикованный к постели, прочитал маленькую книжечку Новеллы Матвеевой, вышедшую в «Молодой гвардии», и сказал:
— Прелесть!

У поэтессы своя родословная. Это Михаил Светлов, Александр Грин, Киплинг в переводах Маршака и Чуковского. Добавим еще сюда Лонгфелло, Бернса, Эдгара По.

Мне кажется, давно пора выпустить книгу песен Новеллы Матвеевой, сопроводив тексты нотами. Это даст новую жизнь песням, в которых, говоря словами поэтессы, «печаль и радость», «ночь с улыбкой дня».

З. Паперный

Новелла Матвеева. Избранное. Стихотворения. Поэмы. М., Художественная литература, 1986.

Из почты «Знамени»

Читатели о пьесе М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!»

В этой подборке представлены письма из обширнейшей редакционной почты, вызванной публикацией пьесы М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» («Знамя» № 1 за 1988 год). К моменту подписания в печать этого номера редакция получила 298 откликов: реплик, разборов, дискуссионных статей. Чем интересна, на наш взгляд, эта почта? Своей географией — письма пришли (и продолжают идти) со всех концов страны. Разнообразием возрастов, профессий их авторов. Серьезным и подчас глубоким подходом к истории и к сегодняшней действительности. Верой в идеалы Октября, в будущее социализма, в судьбу перестройки. Наконец, интересна она и тем, что высказаны разные точки зрения по поводу пьесы и тех ее оценок, которые появились в печати.

Удручает одно: как и в случае с поэмой А. Твардовского «По праву памяти», авторы негативных откликов нередко не пишут своей фамилии либо адреса, а часто—и того, и другого. Пересылают нам порой и жалобы в различные инстанции, письма, где требуют от авторитетных учреждений призвать к ответу и М. Шатрова, и редакцию журнала. Писать, спору нет, можно, куда угодно, вплоть до Президиума Верховного Совета СССР и Прокуратуры Союза. Но резоннее было бы литературное произведение обсуждать на страницах печати. Гласность так гласность. Давайте будем взаимно вежливы, не исключая и такой вежливости, как обмен мнениями (именно обмен мнениями, а не жалобы и «сигналы») без сокрытия подлинных имен и действительных адресов.

Публикуя часть присланных нам писем, мы представили мнения «за» и «против» в том соотношении, которое характерно для почты о пьесе. Письма публикуются с некоторыми сокращениями, продиктованными экономией места.

Уважаемые товарищи!

Огромное спасибо за пьесу «Дальше... дальше... дальше!» Пьеса реально приближает к действительному пониманию величия и человечности В. И. Ленина, гуманистической созидательности его идей. Появляется желание проснуться, чтобы идти дальше... дальше...

После прочтения пьесы впервые сходил в музей Октябрьской революции и филиал музея В. И. Ленина. Решил вступить в общество «Милосердие».

А. Алексеев, рабочий Кировского завода, 27 лет.

Ленинград.

Уважаемая редакция!

Большое спасибо за публикацию пьесы М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» Прочитал ее с огромным волнением. Без сомнения, на вас и на М. Шатрова начнутся нападки и обвинения со стороны представителей механизма торможения, хотя они выдают себя за стражей социализма. Живой ленинский дух открытости и правды, который присутствует на страницах пьесы, им не по нутру. Если бы они могли, они запретили бы даже Ленина, а пока подвергают нападкам тех людей, которые хотят возродить идеалы Октября, ленинскую концепцию социализма.

Хотелось бы, чтобы вы и М. Шатров знали, что честные люди, которым дороги правда и справедливость, благодарны вам за вашу деятельность, укрепляющую веру в необратимость революционной перестройки нашего общества.

Желаю вам всего наилучшего,

Д. Ра юпин

Иркутск.

P.S. О себе: мне 31 год, член КПСС с 1985 г., работаю в милиции.

ПОДАЛЬШЕ... ПОДАЛЬШЕ...

Острой социальной потребности осмыслить прошлое, понять, откуда и куда мы идем, отвечает пьеса М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!». Надо приветствовать новый опыт художественной и вместе с тем основанной на исторических фактах интерпретации «болевых точек» истории нашего общества, тем более, что большинство профессиональных историков все еще топчутся на месте, выжидают чего-то, ограничиваются общими декларациями. Но, как и следовало ожидать, отход от замшелых стереотипов вызывает болезненную реакцию у тех, кто не хотел бы ничего менять. В частности, у тех, кого устраивают привычные «сверхобъективистские» схемы исторического процесса, как якобы движимого анонимными силами, равнодушного к конкретным, реальным лицам и их деятельной роли в этом процессе. Именно такое впечатление производит реплика В. Глаголева «Художественная история и исторические судьбы» по поводу пьесы М. Шатрова. «Только на сцене,— пишет он,— если сменить «героя», жизнь будет протекать иначе». Выходит, в реальной истории от «героев» ничего не зависит, и то, что таким «героем» выступил Сталин, для судеб социализма никакого значения не имело. В подтверждение своей версии В. Глаголев ссылается — как бы вы думали на кого? — на Огюста Конта, у которого он усматривает такой подход к истории, которого, по его мнению, недостает М. Шатрову. «Кстати,— пишет В. Глаголев,— даже еще основоположник позитивизма Огюст Конт справедливо критиковал «историков», не обладавших способностью к научному анализу действительности». В. Глаголев указывает, что, согласно Конту, законы истории подобны законам астрономии, и если историк не понимает их неотвратимости, подобной неотвратимости движения небесных тел, то он не вправе оценивать исторические события. «Но если,— восклицает наш автор,— во времена О. Конта еще можно было представить себе таких историков, то прямой насмешкой над исторической наукой является повторение подобных ошибок в наши дни». И это безапелляционно выдается за непререкаемую истину, отступление от которой инкриминируется Шатрову как немыслимое в наши дни заблуждение. Не парадоксально ли, что поучения В. Глаголева в адрес драматурга, претендующие на марксистскую трактовку истории, обосновываются философией Конта? Здесь мы по примеру автора хотели бы вставить слово «кстати». Кстати, известно ли В. Глаголеву, что Конт написал императору Николаю I после разгрома декабристского восстания длинное письмо, в котором убеждал, что его «позитивная философия и политика имеет один характер и одни задачи с неограниченной монархией», так как он, Конт, «с самого начала ратовал против верховной власти народа и равенства... подобно тому, как император почти в то же самое время, именно с 1825 года, никогда не переставал достойным образом стоять во главе гуманного движения в своем обширном государстве».

«Главный фактор истории — всегда народ»,— пишет В. Глаголев. Но как он истолковывает этот бесспорный тезис? По Глаголеву выходит, что поскольку «герои» могут играть свою роль только в воображении автора или на сцене, то ответственность за все трагические деформации социализма лежит на народе. Он — народ — сам сажал себя в колымские лагеря, уничтожал ленинскую гвардию, срубил перед войной головы выдающимся военачальникам, организовал лысенковщину и т. п. И чего стоят после этого завершающие призывы В. Глаголева «к честности... на основе действительного знания законов исторического развития». Версия об анонимности хода исторического процесса снимает ответственность с конкретных руководителей, «сверхобъективизм» — дымовая завеса бюрократической системы, оправдание безответственности и злодеяний. Подальше... подальше от таких «теоретизирований»!

Доктор философских наук, профессор Д. И. Дубровский,
доктор психологических наук, профессор М. Г. Ярошевский

Москва.

Где ваша партийная ответственность, гражданская честь и просто человеческое достоинство, если вы могли предоставить свой журнал для публикаций пошлости, антисоветчины, политической гадости Шатрову и иже с ним. Чье знамя подхватили? Чьим рупором стали? Как будете смотреть в глаза людям, своим детям?

Соколова Н. А.

Киев.

Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Знамя»!

С огромным интересом прочитал в первом номере за 1988 год пьесу М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» Здорово написано! Вот он, наш Ленин, наш Ильич, живой в своей борьбе, которая продолжается и сейчас.

Ситуация до недавнего времени была такова, что многочисленные чиновники-обществоведы, чувствовавшие, конечно, поддержку со стороны влиятельных людей, присвоили себе право судить, что является марксизмом, а что нет. Живой же Ленин, которого пытается показать читателям, зрителям, обществу Шатров, был не нужен, не выгоден тем чиновникам, он подрывал их спокойное и равномерное житье на благо себе, но не на благо обществу. Да, Ленин из «Штрихов к портрету...», из «Брестского мира» был им не нужен, и, благодаря им, мы не могли его увидеть в то время. Но как могло такое произойти, что группа людей, в угоду своим личным интересам, имела право решать за нас всех, что нам надо смотреть и читать, а что не надо? Как же так могло случиться, что, хотя и тогдашнее руководство проповедовало нам демократию, далеко не во власти народа было решать: быть или не быть многим художественным произведениям? Не о такой демократии мечтал Ленин, не такую демократию хотим мы.

У нашей перестройки зубки только начинают резаться. Борьба предстоит упорная. Нам дороги назад нет, если не удастся сейчас, то потом будет во сто крат трудней: ведь вера у народа в справедливость будет в который уже раз подорвана. Многим, занимающим сейчас позицию наблюдателя, рано или поздно придется делать выбор. Тому, чтобы это было скорее, и способствует в огромной степени пьеса Шатрова «Дальше...», которую, спасибо вам за смелость и порядочность, напечатал ваш журнал.

Если произведение серое, надуманное, безжизненное, написанное в угоду себе или кому-то, но не отражающее реального положения дел, далекое от истины, то оно забудется, и про него никто не вспомнит. Если же произведение затрагивает действительные, реальные интересы народа, оно будет жить, а народ разберется, что ему нужно, и за кем ему, народу, идти. Эта пьеса нам нужна гораздо большим тиражом, люди должны ее читать.

А. Славкин

Москва.

«Очень хочется, чтобы Сталин ушел. Но пока что он на сцене...» В этом заключительном аккорде пьесы — ее актуальность для эпохи перестройки, гласности и демократизации. Пока Сталин на исторической сцене, пока живы его наследники, успех и движение по пути обновления нашего общества будет очень трудным, силы застоя и инерции будут с ожесточением сопротивляться силам нового мышления, силам перестройки сознания и психологии.

Кандидат философских наук, преподаватель научного коммунизма
Почепко Валерий Валерьевич

Ленинград.

Уважаемый тов. Бакланов!

Сегодня я получил первый номер Вашего журнала. Пьесу М. Шатрова прочитал что называется залпом, и, несмотря на позднее время, нашел возможность позвонить и передать журнал товарищу. Считаю, что эту пьесу должны увидеть и услышать ВСЕ. Понимаю, что это не входит в Вашу компетенцию, но как читатель, как коммунист, да просто как гражданин, прошу Вас войти в Госкомитет по телевидению и радиовещанию с предложением незамедлительно экранизировать пьесу. Я член партии с 1969 г. и только года два назад стал понимать, зачем я ношу партбилет. Я, член партии Ленина, не знал, как представлял Ленин развитие общества после революции. Слишком сильно влияние «белых пятен» в истории партии, оно приводит к тому, что люди, выросшие спустя много лет после смерти Сталина, буквально обожествляют его. Отсюда расхожее «Сталина на вас нет», «мало он пересажал» и т. д. и т. п. Для многих Сталин по-прежнему отождествляется с Победой, снижением цен, а главное, с дешевой и вполне доступной водкой и вином... Процесс десталинизации должен быть наступательным. Несмотря на возросший интерес к периодической печати, главным источником информации и идеологического влияния остается телевидение. Поэтому и обращаюсь к Вам с не совсем обычной просьбой. Заранее приношу извинения за то, что создаю дополнительную проблему. Но коль скоро это служит общему делу, не думаю, что она будет обременительной.

С уважением Муромский Юрий Николаевич, рабочий

Донецк.

«ДЕЛО В ШЛЯПЕ»

Пьеса М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» вызвала значительный резонанс в различных кругах читающей публики. Однако некоторым историкам она пришлась не по душе. По их мнению, была задета честь мундира исторической науки. И вот наиболее раздраженные историки-профессионалы защищают свой «исторический удел» от драматурга М. Шатрова. Весьма примечательной в этом смысле является рецензия докторов исторических наук В. В. Горбунова и В. В. Журавлева «Что мы хотим увидеть в зеркале революции?». Содержание рецензии, методы и приемы критики, используемые ими, вряд ли могут соответствовать заголовку их «размышлений».

В рассматриваемой рецензии мы видим, как дипломированные историки, в соответствии с ритуалом поединка чести, отдают вежливый поклон своему «сопернику», признавая за ним и талант, и то, что М. Шатров свои произведения строит на конкретном историческом материале, максимальном приближении к фактам и событиям истории. В то же время драматург, по их мнению, несколько лукавит, «убеждая нас, что главное — найти в потоке событий острый конфликт, и дело в шляпе...» (разрядка моя.— **В. М.**). В какой же шляпе дело? Попробуем разобраться.

Историки обвиняют М. Шатрова в незнании «краеугольных тезисов» марксизма. Но марксизм не догма и не может быть сведен к «краеугольным тезисам», которыми можно манипулировать, как это демонстрируют наши рецензенты.

Первый краеугольный камень, брошенный в автора пьесы: М. Шатров абсолютизирует субъективный фактор в истории, а отсюда — открыто иронизирует над «краеугольным тезисом марксистских историков о решающей роли народных масс в обществе». «Размышляющих» авторов не смущает то известное обстоятельство, что Ф. Энгельс еще сто лет назад призывал будущих марксистских историков больше внимания уделять разработке именно субъективного фактора. Знают они и известное письмо В. И. Ленина В. М. Молотову от 26 марта 1922 года, в котором субъективный фактор раскрывается конкретно-исторически следующим образом: «Если не закрывать себе глаза на действительность, то надо признать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется не ее составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать старой партийной гвардией. Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет если не подорван, то во всяком случае ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него» (Полн. собр. соч., т. 45, с. 20). Серьезной озабоченностью В. И. Ленина за судьбу партии и судьбы социализма и было обусловлено написание «Письма к съезду». М. Шатров в своей пьесе, руководствуясь ленинским подходом, как раз и показывает роль субъективного фактора в ходе революции и строительства социализма.

Второй краеугольный камень: драматург «прямолинейно» трактует содержание понятия «диктатура пролетариата». М. Шатрову, мол, кажется, что диктатура пролетариата — это самая неограниченная и широчайшая демократия, что социализм без политической свободы не социализм. Рецензенты отождествляют понимание диктатуры пролетариата Р. Люксембург с позицией автора пьесы. В то же время «лукаво» забыв привести ленинские высказывания о том, что диктатура пролетариата — это власть через трудящихся и это беспощадная борьба с бюрократическими извращениями рабочего государства. Если содержание пьесы рассматривать в целом, то мы увидим, что М. Шатров истолковывает понятие «диктатура пролетариата» как форму самоорганизации трудящихся масс.

Нашим дипломированным историкам, по-видимому, больше нравится трактовка диктатуры пролетариата как власти для трудящихся, иначе они вряд ли «исторически» оправдывали бы режим личной власти. «Можно ли в свете фактов истории,— пишут они,— всерьез считать, что тень культа личности, при всей пагубности и трагичности его проявлений, целиком заслонила собой классы и другие общественные силы нашего строя с их идеалами, реальными социальными интересами и устремлениями?» (разрядка моя.— **В. М.**). И даже оказывается, что режим личной власти вовсе не был разрушением демократизма, а был его утверждением! В своем манипулировании формулой «диктатура пролетариата» они так увлеклись, что сбились с ориентиров сегодняшнего времени, оставшись на уровне идеалов, интересов и устремлений 70-х годов. Остановись, мгновенье!

Третий краеугольный камень: обвинение М. Шатрова в том, что историческая роль партии выпала из поля зрения драматурга. Если читать пьесу через «исторические очки» Краткого курса истории ВКП(б), то в самом деле трудно увидеть основной пафос пьесы: утверждение высокой нравственно-исторической роли партии в жизни нашего народа через отрицание и преодоление отступничества от ленинских принципов связи партии с народными массами.

«На формулах в исторической науке,— говорил К. Маркс,— далеко не уедешь». «Размышляющие» историки, уверовав во всесокрушающую силу «краеугольных тезисов», пытаются втиснуть историю в прокрустово ложе упрощенных схем. М. Шатров, в отличие от подобных историков, следуя К. Марксу, художественными средствами исследует историю, изображая людей «как действующих лиц и авторов их собственной истории».

В свое время К. Маркс в присущей ему афористической манере, раскрывая механизм вульгарно-эклектического метода исторического анализа, писал: «Если англичанин превращает людей в шляпы, то немец превращает шляпы в идеи». «Размышления» данных историков есть не что иное, как творческое применение этого метода: в реальной истории усматривать только действие универсальных формул, «краеугольных тезисов», то есть шляп, а затем, манипулируя ими, приклеивать М. Шатрову ярлыки-идеи: «исторический нигилист», защитник «концепции перерождения Советского государства» и т. п.

Углубление и расширение демократии и гласности неизбежно приводит к падению спроса на шляпы. Рост политического самосознания трудящихся ведет к спаду шляпного производства. Что же касается «шляпных дел мастеров», то их судьбу в зеркале революции прекрасно отразил В. И. Ленин: «Швыряться звонкими фразами — свойство деклассированной мелкобуржуазной интеллигенции. Организованные пролетарии-коммунисты за эту «манеру» будут карать, наверное, не меньше как насмешками и изгнанием со всякого ответственного поста. Надо

говорить массам горькую правду просто, ясно, прямо...» (Полн. собр. соч., т. 36, с. 290—291). На мой взгляд, пьеса М. Шатрова на сегодняшний день наиболее близка той мере горькой исторической правды, о которой говорит В. И. Ленин.

В. Г. Маркин, кандидат философских наук, зав. кафедрой марксизма-ленинизма Волгодонского филиала Новочеркасского политехнического института

Волгодонск.

Уважаемый товарищ Шатров!

Огромная благодарность Вам и искренняя признательность за пьесу «Дальше... дальше... дальше!»

Кое-что в пьесе не полностью соответствует моим представлениям о том и более позднем времени и описанных деятелях. По моим представлениям, жертвы недостаточно реабилитированы пьесой, а ответственный за эти жертвы недостаточно сурово осужден. Как он этого вполне заслужил.

Тем не менее пьеса замечательна. Еще раз от всей души благодарю Вас и желаю Вам дальнейших больших успехов.

Искренне Ваш А. Дольников

Харьков.

Уважаемый товарищ Бакланов!

На встрече с читателями, которая была показана по телевидению 20 февраля 1988 года, Вы высказались в защиту М. Шатрова и его пьесы «Дальше... дальше... дальше!» Вы сказали, что версии событий в художественной литературе допускаются, но вот искажение событий, искажение фактов ни в коем случае не допустимо. Возникает вопрос: что такое версия исторических событий и фактов, подтвержденных историческими документами, не является ли она домыслом, предположением и тем самым искажением фактов? Я думаю, что любая версия вообще, касающаяся исторических событий недавнего прошлого, неуместна. А в данном случае авторская версия Шатрова о революционных событиях 1917 г. и позднее и о взаимоотношениях вождей революции не только неуместна, но и оскорбительна. Зачем, например, показывают грязное вмешательство Сталина в личную жизнь Н. К. Крупской и В. И. Ленина? Зачем писать о том, что жандармы изнасиловали Спиридонову, зачем Сталин заставил Бухарина ходить на руках по сцене («Брестский мир»). Почему эту пьесу Шатров начал с проклятий вдовы революционера в адрес вождей революции. Все это называется кощунством.

Шатрова надо не защищать, а «прорабатывать», подвергать критике, прочищать ему мозги. Хотя едва ли от этого будет польза. Не поможет. У Шатрова, по-моему, писательского таланта нет, да и трудолюбия тоже.

А. П. Зуев

Ленинград.

Дорогие и уважаемые друзья, уважаемая редколлегия, здравствуйте!

Спасибо всем вам за то, что напечатали пьесу М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» После первого прочтения впечатление огромное, и в нем и надежда на то, что гласность — это все-таки не иллюзия, и тысяча вопросов — почему все-таки?, и понимание, что в пьесе не только наше вчера, но и сегодня, и завтра, и информация, которой мы лишены, вместо догадок, сомнений и слухов. Мне 40 лет. В школе мы изучали другую историю СССР и партии. А пьесу мы читали всей семьей, вместе с дочкой, которой 18 лет и которой она (пьеса) нужна как точка опоры.

Коновалова Светлана Павловна

Ленинград.

Дорогая редакция!

С интересом прочел пьесу М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» Очень своевременная публикация. Не во всем я согласен с автором, в частности, с объяснением появления культа Сталина и репрессий как во многом результата цепи случайных событий, действий и поступков тогдашних руководителей партии. Однако общий пафос пьесы — ленинский, антибюрократический, утверждающий неприемлемость достижения высоких целей низкими средствами,— делает пьесу нужной и очень полезной в наше время.

Хорошо также, что приведены в монологах героев пьесы письмо Бухарина, письма Р. Люксембург и др. Это надо знать.

И еще. Пьеса — дань памяти жертвам сталинских репрессий. Предложение о создании памятника жертвам репрессий было поддержано аплодисментами делегатов XXII съезда КПСС. Но где этот памятник? Поэтому хорошо, что литература, и в частности пьеса М. Шатрова, восполняют этот пробел.

Гусев А. Н.

Москва.

Уважаемая редакция!

В январском номере журнала «Знамя» за 1988 год вы опубликовали бред сумасшедшего! Да, да! Я не ошибся! Речь идет об авторской версии событий, происшедших 24 октября 1917 года и значительно позже, в пьесе Михаила Шатрова «Дальше... дальше... дальше!». Во-первых, о событиях 24 октября 1917 года в этой гнусной публикации сказано весьма мало. Все события спутаны в один непонятный клубок, начинаются 1917 годом, перескакивают на 1922 год и далее непонятно на какое время, когда все участники действий уже отошли в лучший мир. Разговаривают и спорят между собой люди, которые при жизни никогда не встречались и не могли встретиться...

Особого рассмотрения требует «характеристика» личности Сталина. Всю злобу, на какую только был способен, Шатров вложил в «портрет» Сталина. Чего стоят слова, произнесенные якобы Орджоникидзе в адрес Сталина: «Кто ты? Контра? Мечтаешь о реставрации капитализма? Глупость». Или слова В. И. Ленина: «Нам же, сегодня, если думать о судьбе нашего движения, надо сказать громко и внятно: социализм — да! Все осуществленные социалистические преобразования — да! Методы Сталина — нет! Нравственность по Сталину — нет!» В этих словах ярко выражено стремление автора представить все так, что положительные изменения в нашей стране произошли, минуя Сталина, а все зло — дело рук Сталина.

Не будет грубой ошибки, когда отметим, что в настоящее время с оценкой довоенного периода в нашей литературе выступают преимущественно репрессированные или разделяющие их мнение люди. Но именно они видят лишь одну сторону вопроса. А думаете ли вы, товарищи журналисты и писатели, о нас, которых гораздо больше,— миллионах инвалидов и участников Великой Отечественной войны, о тех, кто отдал жизнь за Советскую власть? Ведь мы, еще не оперившиеся юнцы, шли в бой со словами: «За Родину! За Сталина! Ура!». И для многих это были их последние слова! И вы хотите, чтобы мы этот период вычеркнули из жизни, вы хотите, чтобы мы признали, что отдавали свою жизнь, остались калеками в борьбе за несправедливость! Добавьте к этому появившиеся разговоры о том, что социализм — это утопия...

Теперь, по истечении нескольких десятков лет, мы стали мудрее, многое осмысливаем иначе, осмысливаем и те ошибки, которые допускал И. В. Сталин. И все же нельзя его представлять врагом социализма, невеждой и грубияном. Ведь в этом же номере в статье Б. Л. Ванникова «Записки наркома» И. В. Сталин показан вдумчивым, вникающим в суть дела человеком. И там же показана низменная душа некоторых специалистов, например, Б. Шпитального, по клевете которого погиб Таубин. По-видимому, следует себе отдавать отчет в том, что мы

неправильно оцениваем события тех, уже далеких лет. Мы к ним подходим с меркой и исходя из обстановки сегодняшнего дня, а ведь в то время мораль и обстановка были совершенно иными. Я хорошо помню, когда во время ВОВ все немецкие солдаты были для нас фашистами и все немецкое воплощало в себе зло. Так было и после революции, когда каждый дворянин и помещик, офицер — были злейшими врагами. Поэтому если мы хотим правдиво оценивать события довоенных лет, то необходимо их оценивать, исходя из обстановки тех лет, а не писать какую кому вздумается галиматью.

Инвалид ВОВ Л. Мушкетик

Киев.

Многоуважаемый Михаил Шатров!

С огромным интересом прочел Вашу пьесу «Дальше... дальше... дальше!» Пьеса по своему содержанию очень ценна, особенно для молодежи, которая вообще не знает исторической правды о ходе Октябрьской революции и о построении социализма в нашей стране.

Да и мы, старики, особенно сельское крестьянство, хотя все это и пережили, и испытали на собственной шкуре, но настоящих истоков не могли знать, хотя и о многом догадывались своим умом, что дорогу для построения социализма в нашей стране Сталин выбрал не по-ленински, хотя и прикрывался его заветами, а делал все по-другому: жестоко, можно сказать, на костях и крови нашего народа.

Я уверен, если бы В. И. Ленин прожил хотя бы до 40-х годов и оставался в руководстве партии, то наш народ не перенес бы тех мук и лишений, которые переносил в 30-х годах и 40-х годах. Может быть, мы смогли бы даже предотвратить Великую Отечественную войну 1941—1945 годов. Прав я или не прав в своих убеждениях, но я высказываю их Вам, не таясь, открыто и теперь не боясь, что меня ночью схватит «черный ворон»...

Новая политика нашей партии дала возможность свободно вздохнуть нашему народу, хотя отжившие деятели и их прихвостни, все эти бюрократы всеми силами ведут борьбу против М. С. Горбачева, раздувая разные слухи и создавая искусственные трудности с целью вызвать недовольство народа. Но это им не удастся. Корабль перестройки уже двинулся вперед и крошит этот ледяной барьер, как мощный ледокол-атомоход...

Очень прошу Вас, постарайтесь всеми своими силами, чтобы Ваша пьеса пошла на первых порах в столичных театрах, а потом и в областных и городских театрах. Эту пьесу должны не только читать — а прочтут ее немногие, так как тираж журнала «Знамя», наверное, не очень большой,— но и смотреть в театрах и по телевидению. Это нужно для массового изучения нашей правдивой истории, для воспитания нового исторического мышления нашей молодежи.

С уважением к Вашей личности пенсионер, бывший сельский учитель и крестьянин, эвакуированный с родной деревни по случаю катастрофы на Чернобыльской АЭС, Старохатний Аким Михайлович, Гомельская область, Октябрьский р-н, д. Ломовичи.

С удовольствием и одновременно недоумением прочитал статью «Неподсудна только правда» Г. Герасименко, О. Обичкина и В. Попова.

Приятно, что три доктора исторических наук при разборе пьесы М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» возвращают нас к политической обстановке Октябрьской революции, которая на протяжении многих лет искажалась или замалчивалась нашими историками. Не исключено, правда, что в этом виноваты не историки, а политики.

Но очень хотелось бы, чтобы вместо абсолютного отрицания, которое звучит в статье этих докторов исторических наук, ими были написаны правдивые книги или статьи о том времени, которое сегодня так волнует всех граждан нашей страны. Об исторических замыслах виднейших деятелей нашей революции, и прежде всего В. И. Ленина, касающихся социального устройства общества после победы революции. Какой им представлялись экономика нашей страны, социальная структура общества, культура и искусство будущего? Насколько этим мечтам революционеров или их осознанным планам соответствовала наша действительность в 30-е, 50-е и последующие годы? Идем мы к этим идеалам или, наоборот, удаляемся?

После прочтения критической рецензии уважаемых историков возникает впечатление, что они раздражены внедрением драматурга М. Шатрова в сферу их деятельности. Их критика весьма напоминает разгромный отзыв трех оппонентов во время защиты диссертации. Тут и ошибки в датах, и что Савинков предлагал Плеханову лишь пост министра, а не премьер-министра. Авторы рассматривают пьесу как кандидатскую диссертацию, которую после подобного отзыва «диссертанту» надо переписывать заново или уйти из науки.

По-видимому, уважаемые историки все еще живут в своем прошлом. Они не чувствуют кипения сегодняшней жизни, не понимают, что наша перестройка революционна.

Пьеса М. Шатрова реанимирует забытые многими историками и политиками великие идеалы нашей Революции. Пьеса бьет набатом в наши дни. Поднимает нас на резкое улучшение экономики, развитие демократии, гласность, развитие человеческой личности.

Хочется по-дружески посоветовать авторам критической статьи не бояться, что, «сорвав пломбы с груза прошлого», мы пустим поезд под откос. «Поезд» будет набирать скорость, он уже ее набирает, и столкнуть его с пути невозможно, особенно если впереди всегда будет гореть зеленое окно Правды.

Генеральный директор МНТК «Микрохирургия глаза»,
член-корреспондент АН СССР, профессор С. Н. Федоров

Москва.

Уважаемый Михаил Филиппович!

Ваши пьесы заставляют думать, всматриваясь в наше туманное прошлое. Стыдно сказать, ведь мы, советские люди, зарубежную историю или историю древнего мира знаем лучше, чем то, что происходило в нашей стране каких-то 70 и 50 лет назад.

В Ваших пьесах — настоящая жизнь, а не суррогат в виде лакированной картинки, которую нам выдавали за правду высшей пробы и навязывали в школе, в газетах, в лжевоспоминаниях современников. Не буду дольше задерживать Ваше внимание. Хочу еще только сказать, что я восхищаюсь Вашим гражданским мужеством. Правдолюбцы никогда не нравились. Всегда перед ними хотели поставить предел правды. Ведь полуправда — это уже не правда, и неизвестно, что вреднее — ложь или полуправда. Помните, честные люди всегда с Вами. Спасибо Вам большое!

Давыдова

Кишинев.

В редакцию журнала «Знамя»

Поскольку думающее большинство и в нашей стране, и во всем мире склонно воспринимать и анализировать не только текст, но и подтекст, а главное — интонацию, тон тех или иных заявлений, то каждый раз, когда авторы статьи «Неподсудна только правда» слишком громко и излишне нервно выступают

в защиту тех или иных ценностей (социализм, исторический материализм, образ Ленина), они самой манерой объективно дискредитируют то, что субъективно стремятся защитить.

Если всерьез проанализировать интонацию и содержание этой статьи, то окажется, что ее авторы боятся за социализм, как за больное дитя, которое, если его вынести на свежий воздух, неизбежно схватит «воспаление легких», а там, глядишь, и богу душу отдаст.

Невольно задаешь себе вопрос: кто же не верит в устойчивость социализма? Шатров, не боящийся дать голос его оппонентам? Или же авторы статьи, о которой идет речь?

Далее. Авторы страдают тем самым неверием в народ, в котором обвиняют Шатрова. Поскольку считают, что одна, пусть даже и очень талантливая, пьеса может всех нас сбить с панталыку...

Плохо не то, что авторы резко выступают против пьесы Шатрова — это их право, и в обществе, которое мы строим, нет и не может быть неприкасаемых. Плохо то, что они оперируют запрещенным инструментарием, повторяю, полностью дискредитирующим то, что они хотят защищать, по сути, пытаясь закрыть содержательную дискуссию вокруг ряда интересных и спорных проблем, затронутых в талантливой и нужной пьесе.

Боюсь, что сегодня даже те, кто хотел бы возразить и имеет, что сказать о концепции Шатрова — сказать с позиции глубокого уважения к таланту и эрудиции драматурга,— предпочтут промолчать, чтобы не попасть, упаси бог, в один стан с людьми, оперирующими лексиконом, который, как мы все верим, безвозвратно канул з прошлое.

Сила — а не слабость, как нас пытаются убедить авторы статьи «Неподсудна только правда»,— новой пьесы Шатрова именно в ее дискуссионности. Эта дискуссионность и есть идеологическое оружие в борьбе со ржавчиной, имя которой — тривиальщина, шаблон, страх перед тем, чтобы хоть на волос, не дай бог, не отступить от канона, не нарушить пропорции иконописного лика.

Как здесь не вспомнить Александра Трифоновича Твардовского: «Великий Ленин не был богом и не учил творить богов».

Кому-то эта иконописность нужна.

Кому? Не тем ли, кто пуще всего боится, что народ начнет всерьез интересоваться трудами Ленина, читать оригиналы стенограмм партийных съездов и конференций?..

Пусть спорят о Ленине, о социализме. Это значит, что ценности эти живы, что им возвращается высокий общественный статус.

Шатров, кстати, боролся за это всегда, в самых тяжелых ситуациях. И при любом несовпадении позиций стыдно, сознавая в душе свою вину — ведь ничего для живой жизни образа Ленина, когда Шатров воевал один, историками сделано не было, да и, возможно, не могло быть сделано,— с позиций якобы перестройки сегодня «цыкать» на тех, благодаря кому Ленина удалось сохранить для социума в самые тяжелые годы...

С. Е. Кургинян, кандидат физико-математических наук, художественный руководитель Московского экспериментального театра-студии «На досках»

Москва.

Здравствуйте, дорогой Михаил Филиппович!

Прочитал с женой Вашу пьесу «Дальше... дальше... дальше!» Писать, что получили огромное удовлетворение, как-то не поднимается рука, т. к. испытали, конечно, более сложные чувства. Тем не менее именно Вам хотелось бы горячо пожать руку и поддержать Ваш неукротимый дух. То, что Вы делаете,— необходимо! Необходимо, как хлеб, воздух, вода...

Несмотря на то, что мы с женой относительно молоды, в недалеком прошлом мы были ярыми сталинистами. Причина незатейлива: мы чувствовали, что

государство регрессирует и, казалось, только стальная рука может вывести из застоя. В спорах с друзьями я, не уставая, пропагандировал сталинские методы. Причем доказывал свое мнение не голословно, а на основе сталинских работ, а также используя «неотразимые» доводы: победа в коллективизации, индустриализации, строительстве социализма, войне. То есть тот же нехитрый набор, какой используют сталинисты и сейчас. Однако ни я, ни моя жена не были твердолобыми сталинистами, и появляющиеся у нас сомнения мы пытались объяснить в условиях «исторического вакуума» логическими построениями. Сомнения еще более возросли, когда я начал изучать в вечернем институте диалектический и исторический материализм. И именно в это время начали появляться первые публикации о «белых пятнах» истории. Теперь свое увлечение сталинизмом я считаю позорным пятном своей биографии и, наверное, никогда не смогу простить себе той моральной, нравственной и политической близорукости, которую теперь часто имеющют шорами на глазах.

Когда я размышляю о том, что же произошло со мной, я прихожу к выводу, что такой перелом в сознании — благо для общества, ибо он прошел болезненно только для меня и ни в коей мере не затронул интересы государства. Но ведь проблема сталинизма — это не высосанная из пальца проблема, и в последнее время она чрезвычайно обострилась. И добро, если бы она касалась лишь личных интересов граждан... Сталинисты, к несчастью, занимают еще многие посты и пытаются определять направление деятельности общества, исходя из своих убеждений.

Будучи теперь убежденными сторонниками демократизации, мы с живейшим интересом следим за публикациями по вопросам истории. Ваша пьеса «Дальше... дальше... дальше!» словно бы подвела итог наших с женой размышлений.

Смирнов Владимир Михайлович, 37 лет, рабочий, секретарь партийного бюро цеха

Московская обл., Серпуховской район, пос. Протвино.

Уважаемый тов. Шатров М. Ф.

Сожалею, что не знаю Вашего имени и отчества.

В связи с (благодаря, несмотря на и вопреки) наметившейся и обозначившейся критической кампанией по поводу Вашей пьесы «Дальше...» я хочу выразить Вам свое глубокое уважение, поддержку и солидарность. Я отношу себя к числу Ваших горячих сторонников, для которых Ваша последняя работа представляет собой крупный вклад в честное осмысление нашей истории.

Я не театрал и не историк. Но пьесу прочитал запоем. Перечитал ее трижды. Оставляя в стороне ее литературно-художественные достоинства, хотел бы отметить, что для меня лично она предстала как социальное явление, новый взгляд на наше историческое прошлое. Мне кажется, что данные в пьесе социально-политические и нравственно-психологические оценки, великолепно и умно сформулированный ряд вопросов и проблем, глубина и содержательность исторического анализа ставят ее впереди и выше тех сбалансированных статей, которые содержат в общей форме общие фразы о нашей истории, стране, обществе и т. д.

Хочу пожелать Вам новых успехов, мужества, терпения и веры в свое правое дело. Вы не одиноки в системе своих взглядов, принципов, оценок.

Б. И. Снопик, доцент, кандидат психологии

Харьков.

Автор одной из критических статей о пьесе М. Шатрова В. Глаголев напоминает «азбучную истину марксизма», акцентируя внимание на объективной закономерности исторического развития, действующей «помимо воли и желания отдельных исторических лиц, роль которых определяется тем, насколько полно они реализуют эту закономерность на практике». Получается, что автор статьи все отклонения от ленинских норм, имевшие место на пути строительства социализма в нашей стране, объявляет исторической необходимостью, происшедшей «помимо воли и желания отдельных исторических лиц...» Оказывается, эти исторические лица только реализовывали объективные закономерности исторического развития! А так как «главный фактор истории — всегда народ», то и культ личности Сталина, и застойные явления 70-х годов — все дело народа!..

Да, генеральное направление истории определяет объективная закономерность развития общества и ее главный фактор — народ. Но те или иные пути, зигзаги, в том числе и исторически кратковременные движения вспять, зависят от лидеров, обретающих власть и выходящих на авансцену истории. И если то, что уже было, переделать нельзя, то знать, к чему объективно приводят те или иные личностные качества лидеров, обладающих властью, и их текущие политические установки, необходимо. Знание этого обязательно, чтоб избежать повторения ошибок в настоящем и будущем на пути развития нашего общества. Оно необходимо широким массам, чтоб знать, каким путем идти, для движения вперед без зигзагов и возвратов. В этом, я понимаю, суть гласности, необходимой для развития самоуправления в нашем обществе. Автор же статьи, к сожалению, «азбучную истину марксизма» превратил в тезис, оправдывающий любые действия лиц, стоящих у власти, ибо, по его трактовке, они «помимо воли и желания» реализуют объективную закономерность исторического развития.

Третьяков А. И., член КПСС, инженер, 58 лет

Орел.

Прочитал в вашем 1-м номере (ничего себе начало!) гнусный пасквиль Шатрова.

Если бы он жил в Вильнюсе, не поленился бы, сходил, сказал бы, что о нем думаю.

Как можно одного из двух существовавших в истории СССР самых честных и великих людей, дорогого для большинства порядочных советских патриотов Иосифа Виссарионовича Сталина, после его смерти так подло и трусливо оклеветать? И вы для этого подставляете свое «Знамя», а ведь ранее хороший журнал был.

Люди — перекультщики и подстройщики типа Шатрова, Рыбакова и т. п. уйдут, и все о них, к счастью, забудут, а то, что сделал товарищ Сталин и мы под его руководством, останется в истории на века, и этим так же, как мы, гордиться будут наши потомки.

Участник войны Щенсновичус Магис Константинович

Вильнюс.

Уважаемый главный редактор!

«Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать». Мы родились при Ленине, когда билось его сердце, жил и работал его великий мозг... Мы свидетели его, Ильича, начал. Но мы и свидетели годов тридцатых, коллективизации, раскулачивания и репрессий...

Мы участники войны и мирного труда. Как говорится, всё прошли. Но мы не сдались, не согнулись. И теперь в строю. Нас все касается, интересует. Натура уж такая.

Волнует день настоящий, а еще больше — день грядущий. Что он готовит нам, нашим детям и внукам? Не повторится ли то, что было? Разве можно допустить такое, что случилось при Сталине?!

Но ведь порой истый чиновник и бюрократ, делец, отъевшийся на дармовых хлебах, а то, глядишь, и юнец, еще не знавший жизни, почем фунт лиха, бьет себя в грудь и кричит, орет: «Я сталинист!» Это уже понимай, что ему все дозволено, все можно, все нипочем, ходи хоть по головам: ведь он — сталинист!..

Низкая, не наша, не ленинская «гордость», не наша мораль.

Благодарю за публикацию в журнале «Знамя» пьесы Михаила Шатрова «Дальше... дальше... дальше!». Вопреки мраку и теням в пьесе неумолимо пробивает дорогу революционное обновление. Свет побеждает тьму. Правда — ложь.

Хочется выразить уверенность, что пьеса эта займет достойное место у читателя, в наших библиотеках и в наших театрах, на сцене.

Чаплин Петр Митрофанович, ветеран труда, инвалид Великой Отечественной войны, член КПСС с 1944 года

г. Мытищи, Московской области.

Пьеса Шатрова — не о Сталине и даже не о сталинизме. Она о корнях этого явления, о его причинах и, самое главное, о том, как избежать рецидива, как, наконец, выдавить из нас всех, в том числе и в первую очередь из историков, если можно так выразиться, остатки Сталина.

В этом смысле пьеса «Дальше... дальше... дальше!» перекликается с известным фильмом Т. Абуладзе «Покаяние». Только у Абуладзе — притча, а у Шатрова — историческая драма. Но смысл один: пока мы не избавимся от трупа, нам не выйти на дорогу к Храму.

Но Шатров идет дальше Абуладзе. Он не только обнажает корни сталинизма, он берет на себя смелость дать ясный рецепт, как избежать рецидива. Рецепт не новый: он сформулирован практически во всех последних выступлениях М. С. Горбачева. Это дальнейшее всемерное расширение демократии.

Демократизация нашего общества — это сейчас вопрос вопросов. Беру на себя смелость утверждать, что сейчас многих разделяет отношение к демократии, а именно — к вопросу о ее пределах. У каждого свои представления об этих пределах. Многим эти пределы видятся на уровне 70-х годов, а некоторым — даже на уровне 30-х...

Так вот, на мой взгляд, заслуга М. Шатрова в том, что он впервые в нашей литературе взял на себя смелость опубликовать ленинские представления о нашей демократии.

И. Солодарь, инженер

Москва.

Уважаемый товарищ Шатров!

Побольше бы таких произведений. На мой взгляд, чем честнее мы будем говорить об ошибках, тем больше гарантии, что они не повторятся. Продвижению вперед нужна правда без прикрас, иначе нас ждет повторение печального времени застоя. Ведь нельзя лечить болезнь, тем более застарелую, не докопавшись до ее истоков, ведь правильный диагноз — залог правильного лечения и быстрого выздоровления. Если мы сейчас остановимся в нашем поиске правды, то о каком движении вперед можно будет говорить? И постоянное опубликование таких вещей, как Ваша пьеса, как «Дети Арбата», «Ночевала тучка золотая», «Белые одежды» и т. д. и т. п., — это гарантия против ошибок, застоя, гарантия, что об-

ратного хода не будет, что перестройка победит. Это настоящая коммунистическая пьеса.

Желаю Вам скорее ее поставить на сцене.

М. Н. Берман, 35 лет

Омск.

Дорогая редакция!

Только что прочитал в первой книжке 1988 года журнала «Знамя» пьесу М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!». Более пронзительной вещи я не читал! Удивительное сплетение правды и высокого партийного ума. Поражен был до предела глубокой чистотой помыслов ленинской когорты большевиков и сатанинской изворотливостью и жестокостью Сталина и его окружения!

Страшно читать эту правду! Но она нужна как воздух, как хлеб, как вода. Без нее идти «дальше... дальше... дальше...» невозможно. Не в этом ли незнании правды крылось и наше стояние на месте в последние 20 лет?

Обязательно постараюсь достать для себя эту пьесу, чтобы иметь ее под рукой, перечитывать в минуты, когда одолевает апатия (бывает и сейчас такое!) в работе. Вы вдохнули в меня веру в справедливость, чистоту, ум, в конечные результаты перестройки. Знаю одно: во многих еще местах страны перестройки нет, ею и не пахнет. Слишком много наследников Сталина, поборников безволия Брежнева, чтобы надеяться на скорое обновление. И все же...

Спасибо редакции «Знамени» за интересные публикации прошлого года и, уверен, будущие интересные публикации!

Держите правильный курс! Выбор — верный!

С уважением Якуб Патиев, партийный работник, 35 лет

Северо-Осетинская АССР.

Уважаемый Григорий Яковлевич!

17 февраля с. г. посмотрела телепередачу о встрече журнала «Знамя» с читателями, состоявшейся в Ленинской библиотеке. Вы сразу объявили, что Ваш журнал вне всякой группировки, что журнал объективен в своей деятельности на благо судьбы народа, и в журнале нет групп. Это было очень приятно услышать. Но потом, отвечая на записки читателей, которых волнует вопрос об искажении исторической правды в пьесах М. Шатрова, в частности в опубликованной в Вашем журнале пьесе «Дальше... дальше... дальше!», Вы всячески защищали М. Шатрова (также и В. Лакшин), преподнося это так, что автор имеет право на версию.

Но под таким вот вопросом: «Право на версию?» — прошла в «Комсомольской правде» статья ст. научного сотрудника музея-квартиры В. И. Ленина в Кремле Л. Кунецкой. Кто, как не сотрудник такого музея, хорошо знает все, что касается В. И. Ленина. Л. Кунецкая отметила искажения истории и личности Владимира Ильича в пьесах М. Шатрова и проявила большую озабоченность, что такие пьесы будут поставлены на сцене и через них миллионы людей познакомятся с историей страны советского периода в искаженном виде. Знаете Вы, конечно, и статью за тремя подписями докторов исторических наук, которые подвергли критике пьесу М. Шатрова, где В. И. Ленин оказался «подсудимым», и указали, что пьеса изобилует исторической недостоверностью и что М. Шатров приписывает Ленину реплики, содержащие отрицательные оценки современного социализма, превращает В. И. Ленина в рупор собственных идей и мыслей.

Как же можно игнорировать мнение крупных специалистов, историков и продолжать популяризацию этой пьесы М. Шатрова?

Почему-то «идеологический фронт» воспринял демократию как им только угодно и пустился в произвол и во вседозволенность!

Демократия не должна в идеологии превращаться в принцип «что хочу, то и ворочу». Идеология, пресса, литература во все исторические времена и во всех государствах имела цензуру, каждое государство охраняло свой государственный строй. Так почему же сейчас некоторые деятели прессы и литературы поняли демократию как вседозволенность, не заботятся о судьбе народа и наносят огромный вред созиданию людей?

Ясно стало одно, что в литературе образовались не группировки, а происходит яростная идеологическая борьба. Одно направление литераторов, журналистов и критиков отстаивает национальные традиции русского народа и др. национальностей республик, патриотизм и духовность, делающие четкую границу между добром и злом, между нравственностью и безнравственностью. Ценой огромного напряжения духовных сил такие писатели, как В. Распутин, В. Белов, В. Астафьев, В. Шукшин, Ф. Абрамов, Ч. Айтматов, П. Проскурин, С. Залыгин и др., подчеркнули скрадывавшуюся в период застоя грань между правдой и ложью, добром и злом. Добро было названо ими добром, а зло подверглось бескомпромиссной критике.

Другое направление литераторов ориентируется только на западные, причем не лучшие образцы, на «маскультуру». Им не дороги никакие духовные и нравственные ценности. Они «работают» на развращение душ, принижение человека, с чувством пренебрежения пишут о народе, применяя только злословие к народу и оплевывая всю богатую историю России, в т. ч. и советскую.

Но вернусь к первой Вашей фразе о том, что нет в Вашем журнале никаких групп. А не скрывается ли какая группировка, когда журнал «Знамя» продолжает оправдывать автора М. Шатрова, у которого «версия» искажает правду истории и который вносит свои субъективные концепции? Это недопустимо в историческом произведении, да еще связанном с недавней историей Советского государства!

В том, что это право автора, Вы никого не убедили, а остался неприятный осадок, что к мнению специалистов-историков Ваш журнал не прислушался!

Ю. Евдокимова

Москва.

Уважаемая редакция!

Статья «Неподсудна только правда», опубликованная 15 февраля с. г., крайне меня удивила.

Действительно, как могло случиться, что три профессора, три доктора исторических наук прежде, чем публиковать критическую статью, не удосужились внимательно прочесть критикуемую ими пьесу?

Иначе чем объяснить, что они не поняли (или не захотели понять?) основную ее идею?

Ведь утверждая, что пьеса «Дальше... дальше... дальше!» не что иное как судилище над Лениным и идеями социализма, авторы статьи прямо заявляют о таком своем непонимании.

В то же время пьеса М. Шатрова, смею думать, понятна не только людям, «владеющим методологией, методикой исторического анализа»; ее главная идея, если хотите, общедоступна.

М. Шатров утверждает, что та модель социализма, которую мы сейчас имеем, по крайней мере не полностью соответствует ленинской концепции социализма. Начало отхода от ленинских принципов М. Шатров видит в событиях 20—30-х гг. Это отступничество он объясняет рядом субъективных факторов, в первую очередь культом личности Сталина. Вот она — главная идея пьесы. В статье же «Неподсудна только правда» об этом не говорится. А ведь с концепцией М. Шатрова, естественно, можно спорить. Хотя я лично во многом его поддержи-

ваю. Иначе зачем нам было бы сейчас перестраиваться, вспоминать о человеческом факторе? Нам нужно было бы «углублять» (чем, собственно, мы и занимались довольно долго), в крайнем случае «улучшать», но уж ни в коем разе не «перестраивать» наш реальный социализм.

Так что в пьесе М. Шатрова проводится критика не социализма вообще (как утверждают авторы статьи), а «сталинской модели» социализма, что, согласитесь, далеко не одно и то же.

Далее. Авторы статьи настаивают на том, что в пьесе М. Шатрова Сталин — это «другая ипостась Ленина». Опять или непонимание, или нежелание понять мысль М. Шатрова. М. Шатров говорит о другом: методы жесткой, бескомпромиссной борьбы, необходимые и глубоко оправданные в условиях вооруженного восстания и гражданской войны, совершенно неприемлемы, вредны и античеловечны в условиях мирного строительства. Кроме того, как доказывает М. Шатров, Ленин использовал эти методы только против подлинных врагов революции (я думаю, что характеристики, данные в пьесе Корнилову, Деникину и т. д.. как раз подтверждают это), а Сталин начал использовать эти методы против людей, пусть где-то и ошибающихся, но искренне преданных делу построения социализма. Согласитесь, что это опять далеко не одно и то же.

В пьесе М. Шатрова Ленин выступает не адвокатом Сталина, не косвенным защитником его методов (как нас пытаются убедить авторы статьи), а прокурором и, если хотите, судьей!

И эта мысль М. Шатрова тоже лежит, извините, на поверхности. Почему же авторы статьи и ее не поняли?

И наконец. Авторы статьи упрекают М. Шатрова в том, что он допускает «исторические неточности», перепутав, например, точную дату роспуска Учредительного собрания или название должности, которую Савинков предлагал в свое время Плеханову. Что ж, это действительно неточности, но они, как мне кажется, все же принципиального значения не имеют.

А вот одна из ошибок авторов статьи имеет и принципиальное значение и носит методический характер. Для солидных историков такие ошибки крайне нежелательны. Я имею в виду утверждение наших уважаемых профессоров, что «предсмертное письмо Бухарина вообще не поддается научной экспертизе».

Не говоря о том, что подобное заявление само по себе просто неэтично, смею утверждать, что и фактически это не так. Уж много лет существует своего рода стилистическая экспертиза, т. е. по тексту документа можно с большой долей вероятности определить, является ли то или иное лицо автором данного текста. Для этого текст документа просто сравнивают с другими текстами, вышедшими из-под пера того же автора. Наследие Н. И. Бухарина огромно, т. е. имеется материал, на котором можно провести подобную экспертизу. Было бы желание.

В своей статье тов. Г. Герасименко, О. Обичкин и Б. Попов сетуют на то, что «...большинство черпает свои исторические сведения гораздо чаще из литературы и искусства, чем из трудов дипломированных ученых».

Что ж, это действительно так. Это так и будет продолжаться, если ученые-историки будут пытаться и впредь относиться к читателям как к людям малосведущим, не умеющим отличить белое от черного, не способным понять, что хочет сказать своим произведением автор исторической пьесы.

А. Егоров, историк-архивист

Москва.

Уважаемый Михаил Филиппович!

С большим интересом смотрю Ваши пьесы. Мне очень нравится, что Вы хотите передать через драматургию широкому кругу людей свою точку зрения на исторические события и целый ряд фактов отечественной истории, которые, к сожалению, до сих пор являются достоянием только узкого круга профессионалов.

Поскольку Ваши пьесы мне как историку нравятся, то хотелось, чтобы в них было как можно меньше промахов.

Обращаю Ваше внимание на то, что в пьесе «Дальше... дальше... дальше!» допущена ошибка. Она неловко выглядит на фоне остальных, достаточно точно указанных фактов и вряд ли сделана по литературным соображениям. Боюсь, что Вас подвел какой-нибудь неправильный источник информации.

Суть в следующем:

Эйно Рахья не был расстрелян в 1938 году. Он умер своей смертью 26 апреля 1936 года и торжественно похоронен на Коммунистической площадке Александро-Невской лавры в Ленинграде. Некролог напечатан в «Ленинградской правде» 29 апреля 1936 года. Могила его сохранилась и находится под охраной государства.

Шиферсон Борис Павлович

Ленинград.

Уважаемая редакция!

Этим посланием мы хотим выразить Вам благодарность за публикацию пьесы М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!»

Из газетных публикаций мы видим, сколь неодинаковы оценки этого произведения. Очень много у пьесы хулителей. В основном это профессиональные историки. Ничего удивительного в этом нет, ведь шатровские пьесы разбивают создававшийся многие годы стереотип; эти произведения заставляют людей по-новому взглянуть на историю своей страны, партии, ее вождей, а это затрагивает не только «профессиональную гордость» наших «революциеведов», но и их хлеб, доселе без особых усилий зарабатываемый. Наша историческая наука (главным образом историко-партийная) получила должную оценку, она в большом долгу перед обществом, поэтому не критиковать драматурга, а наверстывать упущенное — вот чем бы заняться нашим историкам-«революциеведам».

Пьеса М. Шатрова идет действительно дальше. Она призывает общество к глубокому переосмыслению всего наследия, оставленного нам Великой революцией. Вопросы, поднимаемые в пьесе, в высшей степени политические; они вполне назрели, чтобы их не только обсуждать, но и решать нашей партии и всему обществу. Без их разрешения дело перестройки едва ли сможет победить.

Автор пьесы и журнал, ее опубликовавший, совершили важную и смелую общественно-политическую акцию.

На занятиях в нашем политклубе мы уже не один год изучаем историю партии и Советского государства и делаем это в основном по источникам, а не по конъюнктурным монографиям (хотя и их стараемся не пропускать). И мы считаем, что Михаил Шатров в целом правильно излагает события и дух той эпохи, он мастерски связывает ее с днем сегодняшним. Просим редакцию передать Михаилу Шатрову наши искренние пожелания писать еще смелее, идти еще дальше...

Когда будут изданы и переизданы труды деятелей революции (не только большевиков), стенотчеты съездов, конференций, пленумов, другие документы — тогда никто не сможет водить общество за нос, «отпуская» ему лишь то, что по его высочайшему разумению «политически целесообразно».

С пожеланием успехов и с благодарностью члены городского комсомольского политклуба им. Н. И. Бухарина: Писигин В., Калачев А., Салихов Р., Мокеев В., Башаров Ф., Ширков Д., Стародубцев В., Ершов С., Шарипов Ф., Чертков А.

Набережные Челны.

КРИТИКА ИЛИ ПРИГОВОР?

Считаем своим партийным и профессиональным долгом решительно протестовать против сознательного извращения смысла и содержания пьесы М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» в статьях, появившихся в последнее время в печати.

Концепция пьесы предельно ясна. Она вложена автором в монолог Ленина: «...Сегодня, если думать о судьбе нашего движения, надо сказать громко и внятно: социализм — да! Все осуществленные социалистические преобразования — да! Методы Сталина — нет! Нравственность по Сталину — нет!»

Эту же мысль развивает в пьесе Я. Свердлов. «...От какого наследия мы откажемся, никогда, естественно, его не забывая, а какое возьмем с собой,— так формулирует он проблему и тут же дает четкий ответ: — Магнитку возьмем, Знамя Победы возьмем, веру в социализм возьмем, каждый день, который уводит нас от нации рабов,— возьмем, никогда не откажемся!»

Этим пафосом исторической преемственности и оптимизма пронизана вся пьеса. «...Октябрьская революция,— говорит в ней Ленин,— посеяла такие семена, которые рано или поздно всегда будут давать всходы. Октябрь в душах людей не поддается корчевке. Даже в самые страшные годы наши люди сохраняли масло в светильниках».

Эта авторская концепция не «активно противостоит», как утверждают критики, а полностью соответствует линии партии, курсу XXVII съезда КПСС, документам 70-летия Октября.

Подвергнув пьесу «вивисекции» — вырывая из нее отдельные фразы, реплики, произвольно и бездоказательно толкуя их, критики обвиняют М. Шатрова в идейных ошибках и приписывают ему как раз те идеи, против которых он выступает в пьесе. От подобного рода приемов веет уже забытыми временами «проработок» и навешивания политических ярлыков, которые предшествовали оргвыводам, если и не по отношению к самому автору, то, во всяком случае, к его произведению.

Нас более всего беспокоит, что такого рода критика, звучащая не иначе как «приговором в последней инстанции», может нанести удар творческому процессу осмысления нашего исторического опыта и закроет саму возможность сопоставления различных точек зрения и поиска истины.

Естественно, мы не призываем к тому, чтобы вывести пьесу М. Шатрова из «зоны критики» (у каждого из нас есть свои замечания и предложения), но речь должна идти о критике честной, конструктивной, подлинно научной. Только такая критика может обогатить автора и помочь ему в совершенствовании своего произведения.

И. Минц, академик
А. Самсонов, академик
А. Игнатьев, доктор исторических наук, профессор
Г. Иоффе, доктор исторических наук
А. Ненароков, кандидат исторических наук
Р. Илюхина, доктор исторических наук
Ю. Шарапов, доктор исторических наук
В. Логинов, доктор исторических наук, профессор
А. Бутенко, доктор философских наук, профессор
Е. Амбарцумов, кандидат исторических наук
Ю. Афанасьев, доктор исторических наук, профессор
Я. Темкин, доктор исторических наук, профессор
Е. Городецкий, доктор исторических наук

Советуем прочитать

Советские Вооруженные Силы. Вопросы и ответы. Страницы истории. 1918—1988. М., Политиздат, 1987.

Почему оказалась необходимой ликвидация старой армии? Для чего создавалась и что собой представляла так называемая «завеса»? В чем сущность дискуссии о советской военной доктрине в начале 20-х годов? В чем заключались причины неоднократной реорганизации танковых войск в 30-е годы? Почему Красной Армии не удалось в самом начале войны отразить агрессию гитлеровцев, отбросить их войска за пределы СССР? Почему был заключен Варшавский Договор?..

Содержание книги составили ответы на эти и многие другие вопросы, которые нередко задают люди, интересующиеся становлением Советских Вооруженных Сил в разные периоды жизни страны.

Пылающий адрес войны. Советский военный рассказ. М., Книга, 1988.

Посвященный знаменательной дате — 70-летию Советских Вооруженных Сил — и вовремя выпущенный (но, к сожалению, малым тиражом, всего 28 тысяч), этот малоформатный, со вкусом оформленный сборник включает в себя рассказы, написанные с 1941 до мая 1945 года. На страницах книги — печать минувших сражений. Ограниченный объем продиктовал и жесткий принцип отбора — 34 произведения русских писателей помечены разными годами, разными фронтами, но у них, по существу, одна дата и один адрес: война.

Прошедшие после Победы десятилетия еще более подняли значение рассказа времен войны как художественного документа истории. Н. Тихонов, В. Катаев, М. Шолохов, В. Иванов, Н. Атаров, П. Нилин, В. Кожевников, А. Гайдар, К. Симонов... Свидетельства писателей-фронтовиков обжигают правдой увиденного и пережитого, подтверждают героизм защитников Отечества не только в бою. Поистине драгоценные свидетельства о самих писателях-фронтовиках, известных и малоизвестных, почерпнет читатель в разделе «Об авторах — их собратьях по перу».

Сведения о книге были бы неполными, если не отметить точной, взвешенной в суждениях и оценках статьи-предисловия Е. Майорова «Фронтовые дороги рассказа» и послесловие П. Топера «Возвращаясь к пережитому», также не кажущееся лишним, ибо несет в себе новые грани осмысления жанра фронтового рассказа: автор знал о войне не понаслышке, сам шел трудными фронтовыми дорогами.

О. Спасов. Полыханье. Документальная повесть. Л. Вивиницкий. Страницы жизни маршала Говорова. Звезда, № 1, 1988.

«...Тридцать пять дней разделяют 20 ноября и 25 декабря — день первой хлебной прибавки, восемьсот сорок часов, пятьдесят тысяч четыреста самых голодных минут. В декабре 1941 года от голода в Ленинграде умерли 52881 человек, значит, каждая ленинградская декабрьская минута означала чью-то голодную смерть». Эта горькая статистика войны из документальной повести «Полыханье», опубликованной журналом в числе других материалов, посвященных 45-летию прорыва блокады Ленинграда.

Не перестаешь удивляться самоотверженности и высокому духу тех, кого не смогли поставить на колени ни вражеские артналеты, ни тридцатиградусные морозы, ни голод. Семнадцатилетние девушки-сандружинницы приняли на свои плечи заботу об оставшихся в осажденном городе, они спасали раненых, вылавливали топляк из стылой невской воды, помогали выжить тысячам и тысячам не только каждодневной своей работой, но и теплом своего сердца, неистребимой верой в Победу. И потому, зная о тех, кто остался за спиной у надевших шинели отцов, сыновей и братьев, с особым волнением читаешь повесть «Страницы жизни маршала Говорова», рассказывающую об операции «Искра», следишь за ходом боев у стен блокадного Ленинграда.

Перестройка управления экономикой: ответ на вызов времени. М., Политиздат, 1987.

«Экономика должна быть экономной» — гласил один из лозунгов застойного периода, заставляя ломать головы над его скрытым смыслом. Сегодня, наконец, прояснилось, что экономика должна быть прежде всего гибкой, должна умело сочетать нужды потребителя и интересы производителя,

что необходима полная переориентация с показателей количественных на показатели качества — только таким путем можно насытить рынок хорошими, конкурентоспособными товарами.

Авторы сборника доказывают, что опирайся мы лишь на старую административную систему управления, сформировавшуюся в 30-х годах и дожившую до дней сегодняшних, мы рискуем повторить ошибки реформ 60-х годов, когда задача хозяйственной демократизации была не выполнена из-за того, что ставку мы сделали не на экономические методы, а все на то же командно-директивное «давай-давай», на чиновно-бюрократический аппарат. Суть сегодняшней перестройки управления экономикой — переход от административных методов руководства к методам экономическим, к управлению интересами и через интересы, к демократизации управления, к активизации человеческого фактора, а не обезличенных «трудовых ресурсов». Вернуть истинному труженику утерянное чувство хозяина старая система управления не способна. Задача дня в том и состоит, чтобы, сломав эту систему, заменив рычаги административного воздействия на рычаги экономические, дать простор инициативе и творчеству масс. В этом вызов времени.

Виктор Астафьев. Зрячий посох. Повесть. Москва, №№ 1, 2, 1988.

«И как же мне не благодарить судьбу, которая послала мне так ко времени и такого умного и чуткого старшего друга, как Александр Николаевич Макаров... Он был старше меня во всех отношениях, но он был мудр, деликатен, чист мыслями, и я в наших с ним отношениях никогда не чувствовал... подавляющего его превосходства в интеллектуальном развитии», — признается В. Астафьев.

Бережно хранил он письма старшего товарища, доброго, умного наставника, с которым счастливо свела его судьба еще во времена учебы на высших литературных курсах. Перед нами не совсем обычная повесть-воспоминание, и мы, читатели, обрели счастливую возможность приобщиться к этим письмам незаурядного литератора и критика. Но о чем бы ни писал Макаров, все мысли его обращены к родной литературе, ее завтрашнему дню. Он всегда был, по признанию Л. Аннинского, «вне групп... не размежевывал, не делил и не считался силами — он силы собирал...» А. Н. Макаров всегда сомневался в своей правоте, не боялся показаться слабым, признавался, что не может ответить на иные вопросы, которые вставали перед ним. Нередко, чтоб «кормить» очередную собственную книжку, был вынужден заниматься литературной поденщиной, но никогда не кривил душой.

Увы, многие ли писатели в наши дни могут перечислить своих наставников, старших товарищей, столь щедро одаривших их таким количеством тонких, умных писем, где бы нелицеприятно разбирались их произведения, еще не пришедшие к читателю, содержащие поистине драгоценные советы. В. Астафьев в их числе, и повесть «Зрячий посох» свидетельство тому. Она дань памяти редкому таланту, дань благодарной памяти мужественному человеку, сохранившему верность своему призванию и во времена жесткой и беспощадной казуистики.

Наталия Долинина. Первые уроки. Повесть. Нева, № 1, 1988.

Внешне бесхитростная хроника жизни автора — начинающей учительницы вечерней школы, юной матери двух неугомонных близнецов достойна внимания, ибо за повседневностью событий и чередой лиц возникает графически четкий, жесткий и милосердный портрет времени: 1951—1953 годы... От страницы к странице крепнет тема человеческого достоинства, тема для русской литературы важнейшая.

«Первые уроки» оказываются своего рода постскриптумом, но и ключом к жизни и работе Натальи Григорьевны Долининой, педагога-новатора, автора многих книг, преодолевающих косность «школьного литературоведения», возвращающих юных к Пушкину, Лермонтову, Льву Толстому.

Ф. Искандер. Путь. М., Советский писатель, 1987.

Поэтические зарисовки, проникнутые теплотой строки о детях и стариках, правдивые лирические картины жизни родного края, переводы из Киплинга, обращения к мастерам поэзии — все это уместилось под обложкой изящно изданного сборника небольшого формата. Признанный мастер советской прозы Фазиль Искандер не забыл юношеской привязанности к поэзии. И наряду со стихами 50—60-х годов читатель найдет в книге «Путь» свидетельства того, что многогранный талант Искандера с годами не померк: по-прежнему подвластны ему легкий слог, ясность мысли, особая метафоричность. Стихи с годами стали мудрее, порою в них, правда, ощутима назидательность, но она не навязчива, идет от жизненного опыта. Остроумие не изменяет Искандеру и в поэзии: «Умей с толпою говорить, не опрощаясь, не мельтеша — беседовать с царем»...

С. Липкин. «Угль, пылающий огнем». Встречи и разговоры с Осипом Мандельштамом. Литературное обозрение, № 12, 1987.

Семен Липкин вспоминает о Мандельштаме. Несколько штрихов — и возникает образ: «...читает высоко, с бессмысленным чванством задрав голову, подчеркивая просодию стиха, его гармонию. Беззубый рот не мешает ему». Или — «...бедный, странный, нервный, стряхивающий почему-то пепел от папиросы на левое плечо, отчего как бы образовывался серебристый эполет». С. Липкин пишет об объективности литературных оценок О. Э. Мандельштама,— качество для писателя редкое во все времена, стремится очертить круг его интересов и пристрастий.

Письма из деревни. Очерки о крестьянстве в России второй половины XIX века. М., Современник, 1987.

«...Все разрушится, если дети мои не перейдут к новой форме хозяйства, ...не сумеют создать интеллигентную деревню, работающую на артельных началах. ...Нет никакого другого исхода, как артельное хозяйство на общих землях».

Автор этих строк, ученый и публицист А. Н. Энгельгардт знал крестьянский труд не понаслышке. Он организовал образцовое хозяйство, ходил за плугом, к нему приезжали учиться хлебопашеству молодые люди и даже «барышни из хороших семей».

Не случайно сейчас возрастает интерес к писателям-народникам, среди которых и представленные в сборнике Г. И. Успенский, Н. Н. Златовратский, А. Н. Энгельгардт, В. В. Селиванов. На чем держалась крестьянская община? Что ее разрушало? Как преобразовать деревню?.. Они искали ответы на эти вопросы с азартом первооткрывателей, исследователей неизвестной страны, какой была для интеллигентов крестьянская Россия XIX века.

Вс. Иванов. Пасмурный лист. Фантастические повести и рассказы. М., Правда, 1987.

Ценители таланта Михаила Булгакова хорошо помнят о таинственном визите сатаны в Москву 30-х годов и о необыкновенных событиях, которые в связи с этим произошли. Но не все, наверное, знают, что в дни Великой Отечественной войны нашу столицу посетил... бессмертный Агасфер. Описал это чрезвычайное происшествие известный писатель Всеволод Иванов (1895—1963). Его повесть так и называется «Агасфер», и она вошла в сборник «Пасмурный лист». В книгу включены и другие произведения фантастического и приключенческого жанров. Составителем и автором послесловия стала вдова писателя, Т. В. Иванова. Жаль, что в статью вкралась досадная опечатка: имя поэта Велимира Хлебникова воспроизведено грамматически неверно.

Н. Эйдельман. Пушкин. Из биографии и творчества. 1826—1837. М., Художественная литература, 1987.

«Возможно, нигде как в России биография писателя, мыслителя столь тесно не сплеталась с его творениями... Такие события, как гибель Пушкина, уход Льва Толстого, внезапно открывали, сколь много значат в истории, культуре не только их творения — их личности!» — пишет Н. Эйдельман в заключение книги, составляющей вместе с вышедшей несколько лет назад монографией «Пушкин и декабристы» летопись дней и трудов поэта. Центральная проблема книги — взаимоотношения культуры и государства. «Пушкин выполнил взятый на себя обет — просвещать, облагораживать народ, страну своим творчеством. В историческом состязании с «властью роковой» — его победа!..»

Анастасия Цветаева. Соловьиная кровь. Рассказ. Простор, № 1, 1988.

Это случается не часто: прошлое и настоящее совместились в одном человеке. Две эпохи встретились и мирно уживаются рядом. Анастасии Цветаевой, сестре известной поэтессы, идет 94-й год, и она в равной степени принадлежит и «той» и «этой» жизни. Ее новый рассказ «Соловьиная кровь» повествует об удивительных, почти неправдоподобных событиях из истории

цветаевской семьи. Со старинных, прошлого века фотографий смотрят на потомков прекрасные лица... Это повесть о большой и несчастной любви русского историка Д. И. Иловайского и знаменитой итальянской певицы Аделины Патти.

Михаил Жванецкий. Жизнь моя, побудь со мной! Роман-фельетон. Аврора, №№ 4, 5, 6, 1987.

Мы привыкли видеть Жванецкого на эстраде. Знакомый голос зазвучал теперь с журнальных страниц, причем автор с присущим ему лукавством утверждает, что «не собирался стать писателем и, видимо, им не стал».

Роман М. Жванецкого сродни эстрадному концерту. Не только потому, что среди «монологов, диалогов, сцен, размышлений и воспоминаний», составляющих роман, многие пришли сюда с подмостков. Важнее та особая короткость общения, что создается между актером и залом. Автор романа достигает того же эффекта, сохраняя непосредственность своей разговорной манеры.

Вместе с тем роман-фельетон обнаруживает в творчестве Жванецкого новые грани. Его социально-психологические наблюдения, язвительные парадоксы, меланхолические раздумья обретают личностный исповедальный оттенок... Одно можно сказать: оставшись один на один с романом, куда яснее различаешь боль и тревогу в остроумных монологах сатирика.

Владимир Огнев. Семь тетрадей. Этюды о литературе социалистических стран Европы. М., Художественная литература, 1987.

В одной из своих работ В. Огнев писал о том, что жизнь убеждала его: никакие заранее сложившиеся представления о процессах, протекающих в странах социализма, «не соответствовали истинному богатству и сложному многообразию (не говорю уже — противоречивости) реальных путей, которыми шли литература и искусство этих стран».

И в новой своей книге В. Огнев ведет разговор о литературах Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Югославии, ГДР, Румынии. Очерки опираются на личные наблюдения автора в сочетании с анализом творчества Иво Андрича, Дюлы Ийеша, Лацо Новомеского, Ярослава Ивашкевича и других писателей. В «Тетрадях» обращают на себя внимание новые материалы. Так, интересна публикация писем Б. Пастернака Дюле Ийешу, которые хранились в архиве автора и печатаются впервые.

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефон для справок: 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 07.03.88. Подписано к печати 05.04.88. А 05347. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Учетно-изд. л. 23,27.
Тираж 500 000 экз. Заказ № 2120.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.